

A. Lopez

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

А. П. ЧЕХОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

*в двенадцати
томах*

Под общей редакцией
*В. В. ЕРМИЛОВА, К. Д. МУРАТОВОЙ,
З. С. ПАПЕРНОГО, А. И. РЕВЯКИНА*

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1960

А. П. ЧЕХОВ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том второй

РАССКАЗЫ

1883—1885

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1960

Примечания

И. С. Ежова и Е. М. Шуб

Оформление художника

Н. ШИШЛОВСКОГО



А. П. ЧЕХОВ

1883

**ДЕПУТАТ,
ИЛИ ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК У ДЕЗДЕМОНОВА
25 РУБЛЕЙ ПРОПАЛО**

Посвящается Л. И. Пальмину

— Тссс... Пойдемте в швейцарскую, здесь неудобно... Услышит...

Отправились в швейцарскую. Швейцара Макара, чтоб он не подслушал и не донес, поспешили услать в казначейство. Макар взял рассыльную книгу, надел шапку, но в казначейство не пошел, а спрятался под лестницей: он знал, что бунт будет... Первый заговорил Кашалотов, за ним Дездемонов, после Дездемонова Зрачков... забушевали опасные страсти! По красным лицам забегали судороги, по грудям застучали кулаки...

— Мы живем во второй половине девятнадцатого столетия, а не черт знает когда, не в допотопное время! — заговорил Кашалотов. — Что позволялось этим толстопузам прежде, того не позволят теперь! Нам надоело наконец! Прошло уже то время, когда... И т. д. ...

Дездемонов прогремел приблизительно то же самое. Зрачков даже выругался неприлично... Все загалдели! Нашелся, впрочем, один благоразумный. Этот благоразумный соорил озабоченное лицо, вытерся засморканным платочком и проговорил:

— Ну, стоит ли? Ах... Ну, положим, пусть... это правда; но с какой стати? Какою мерою мерите, такую и вам возмерится: и против вас бунтовать будут, когда вы будете начальниками. Верьте слову! Губите только себя.

Но не послушали благоразумного. Ему не дали договорить и оттиснули его к двери. Видя, что благоразумием ничего не возьмешь, он стал неблагоразумным и сам забурлил.

— Пора же наконец дать ему понять, что мы такие же люди, как и он! — сказал Дездемонов. — Мы, повторяю, не холуи, не плебеи! Мы не гладиаторы! Издеваться над собой мы не позволим! Он тыкает на нас, не отвечает на поклоны, морду воротит, когда доклад делаешь, бранится... Нынче и на лакеев тыкать нельзя, а не то что на благородных людей! Так и сказать ему!

— А наемни обращается ко мне и спрашивает: «В чем это у тебя рыло? Пойди к Макару, пусть он тебе шваброй вымоет!» Хороши шутки! А то однажды...

— Иду я с женой однажды, — перебил Зрачков, — встречается он... «А ты, говорит, губастый, вечно с девками шляешься! Среди бела дня даже!» Это, говорю, моя жена, ваше-ство... И не извинился, а только губами чмокнул! Жена от этого самого оскорбления три дня рева редела. Она не девка, а напротив... сами знаете...

— Одним словом, господа, жить так долее невозможно! Или мы, или он, а вместе служить нам ни в каком случае не возможно! Пусть или он уйдет, или мы уйдем! Лучше без должности жить, чем реноме свое в ничтожестве иметь! Теперь девятнадцатое столетие. У всякого свое самолюбие есть! Я хоть и маленький человек, а все-таки я не субъект какой-нибудь и у меня в душе свой жанр есть! Не позволю! Так и сказать ему! Пусть один из нас пойдет и скажет ему, что так невозможно! От нашего имени! Ступай! Кто пойдет? Так-таки прямо и сказать! Не бойтесь, ничего не будет! Кто пойдет? Тьфу, черт... охрип совсем...

Стали выбирать депутата. После долгих споров и пререканий самым умным, красноречивым и самым смелым признан был Дездемонов. В библиотеке записан, пишет прекрасно, с барышнями образованными знаком — значит, умен: найдется, что и как сказать. А о смелости и толковать нечего. Всем известно, как он однажды потребовал у квартального извинения, когда тот в клубе принял его за «человека»; не успел квар-

тальный нахмуриться на это требование, как молва о смелости расплылась уже по миру и заняла умы...

— Ступай, Сеня! Не бойся! Так и скажи ему! Накося, выкуси, мол! Не на тех наскочил, мол, ваше-ство! Шалишь! Ищи себе других холуев, а мы сам с усам, сами, ваше-ство, умеем фертикулясы выкидывать. Нечего тень наводить! Так-то... Ступай, Сеня... друг... Причешись только... Так и скажи.

— Вспыльчив я, господа... Наговорю, чего доброго. Шел бы Зрачков лучше!

— Нет, Сеня, ты иди... Зрачков молодец только против овец, да и то в пьяном виде... дурак он, а ты все-таки... Иди, душечка...

Дездемонов причесался, поправил жилет, кашлянул в кулак и пошел... Все притаили дыхание. Войдя в кабинет, Дездемонов остановился у двери и дрожащей рукой провел себя по губам: ну, как начать? Под ложечкой похолодело и перетянуло, точно поясом, когда он увидел лысину с знакомой черненькой бородавкой... По спине загулял ветерок... Это не беда, впрочем; со всяким от непривычки случается, робеть только не нужно... Смелей!

— Эээ... чего тебе?

Дездемонов сделал шаг вперед, шевельнул языком, но не издал ни одного звука: во рту что-то запуталось. Одновременно почувствовал депутат, что не в одном только рту идет путаница: и во внутренностях тоже... Из души храбрость пошла в живот, пробурчала там, по бедрам ушла в пятки и застряла в сапогах... А сапоги порванные... Беда!

— Эээ... чего тебе? Не слышишь?

— Гм... Я ничего... Я только так. Я, ваше-ство, слышал... слышал...

Дездемонов придержал язык, но язык не слушался и продолжал:

— Я слышал, что ее-ство разыгрывают в лотерею карету... Билетик, ваше-ство... Кгм... ваше-ство...

— Билет? Хорошо... У меня пять билетов осталось, только... Все пять возьмешь?

— Не... не... нет, ваше-ство... Один билетик... достаточно...

— Все пять возьмешь, я тебя спрашиваю?

— Очень хорошо-с, ваше-ство!

— По шести рублей... Но с тебя можно по пяти...
Распишись... От души желаю тебе выиграть...

— Хе-хе-хис... Мерси-с, ваше-ство... Гм... Очень приятно...

— Ссступай!

Через минуту Дездемонов стоял среди швейцарской и красный, как рак, со слезами на глазах просил у приятелей двадцать пять рублей взаймы.

— Отдал сму, братцы, двадцать пять рублей, а это не мои деньги! Это теща дала за квартиру заплатить...
Дайте, господа! Прошу вас!

— Чего же ты плачешь? В карете ездить будешь...

— В карете... Карета... Людей пугать я каретой буду, что ли? Я не духовное лицо! Да куда я ее поставлю, если выиграю? Куда я ее дену?

Говорили долго, а пока они говорили, Макар (он грамотен) записывал, записав же... и т. д. Длинно, господа! Во всяком случае, из сего проистекает мораль: не бунтуй!

ГЕРОЙ-БАРЫНЯ

Лидия Егоровна вышла на террасу пить утренний кофе. Время было уже близко к жаркому и душному полудню, однако это не помешало моей героине наряжаться в черное шелковое платье, застегнутое у самого подбородка и тискаами сжимавшее талию. Она знала, что этот черный цвет идет к ее золотистым кудряшкам и строгому профилю, и расставалась с ним только ночью. Когда она сделала первый глоток из своей китайской чашечки, к террасе подошел почтальон и подал ей письмо. Письмо было от мужа: «Дядя не дал ни гроша, и твое имение продано. Ничего не поделал...» Лидия Егоровна побледнела, покачнулась на стуле и продолжала читать: «Уезжаю месяца на два в Одессу по важному делу. Целую».

— Разорены! На два месяца в Одессу...— простонала Лидия Егоровна.— К своей, значит, поехал... Боже мой!

Она подкатила глаза, зашаталась, ухватила руку за перила и готова уже была упасть, как послышались внизу голоса. На террасу взбирался ее сосед по даче и кузен, отставной генерал Зазубрин, старый, как анекдот о собаке Каквасе, и хилый, как новорожденный котенок. Он ступал еле-еле, осторожно, перебирая палкой ступени, словно боясь за их прочность. За ним семенил маленький бритый старичок, отставной профессор Павел Иванович Кнопка, в большом

стародавнем цилиндре с широкими приподнятыми полями. Генерал, по обыкновению, был весь в пуху и крошках, а профессор поражал белизною своих одежд и гладкостью подбородка. Оба сияли.

— А мы к вам, шарманочка! — продребезжал генерал, довольный тем, что сумел по-своему переделать слово «*charmant*»¹.— С добрым утром, фея! Фея пьет кофёя.

Генерал сострил глупо, но Кнопка и Лидия Егоровна расхохотались. Моя героиня отдернула от перил руку, вытянулась и, бесконечно улыбаясь, протянула к гостям обе руки. Те облобызали и сели.

— Вы, кузен, вечно веселы! — начала кузина гостинный разговор.— Счастливым характер!

— Как бишь я сказал? Ах, да! Фея пьет кофёя... Ха-ха-ха. А мы с герром² профессором уж выкупались, позавтракали и визиты делаем... Беда мне с этим профессором! Жалуюсь вам, фея! Беда! Собираюсь его под суд отдать! Хе-хе-хе... Либерал! Вольтер, можно сказать!

— Что вы?! — улыбнулась Лидия Егоровна и подумала: «В Одессу на два месяца... к той...»

— Честное слово! Такие идеи проповедует... такие идеи! Совсем красный! А знаете ли вы, Павел Иванович, друг мой, кто красному рад? Знаете, кто? Хххе... Ответьте-ка! Вот вам и запятая, либералам!

— Каков генерал? — захохотал Кнопка, кривя свой ученый подбородок.— И мы, ваше превосходительство, сумеем вам, консерваторам, запятую поставить: одни только быки боятся красного! Ха-ха-ха... Что, съели-с?

— Однако! Что вижу! У вас цветут олеандры! — слышался внизу террасы женский голос, и через минуту на террасу входила княгиня Дромадерова, соседка по даче.— Ах! У вас мужчины, а я такая растрепка! Извините, пожалуйста! О чем вы тут? Продолжайте, генерал, я не помешаю...

¹ очаровательная (франц.).

² господином (от нем.— herr).

— Мы о красном-с! — продолжал Зазубрин. — Авот-с, кстати, о быках... Вы это верно, Павел Иванович, насчет быков! Раз в Грузии, где я баталионом командовал, бык увидал мою красную подкладку, испугался и полетел на меня... рогами прямо... Саблю пришлось обнажить. Честное слово! Спасибо, казак близко был и пикой его, каналью, отогнал... Чего вы смеетесь? Не верите? Ей-богу, отогнал...

Лидия Егоровна изумилась, ахнула и подумала: «В Одессе теперь... развратник!»

Кнопка заговорил о быках и буйволах. Княгиня Дромадерова заявила, что все это скучно. Заговорили о красной подкладке...

— Касательно этой подкладки у меня в памяти случай есть, — сказал Зазубрин, обсасывая сухарик. — Был у меня в баталионе полковничек, некий Конвертов, Петр Петрович... Старичок славный такой, добром его помянуть, простачок, басенник... Из простых солдафонов в высшие чины вышел, за заслуги особенные... В боях был. Любил я его, покойника. Лет ему семьдесят было, когда его в полковники произвели, на лошадь уж не умел садиться и подагрой его ломало во все корки. Вынет, бывало, на маневрах саблю из ножен, а вложить ее уже не может, ординарец вкладывал... Расстегнется, извините, а застегнуться уж и не может... И у этого расслабленника мечта в голове была генералом быть. Стар, слаб, помирать собирается, а мечтает... натура, значит, такая... воин! И в отставку не хотел из-за генеральства... Прослужил лет пять в полковниках, представили его... И что ж вы думаете? А? Вот судьба! Трах его паралич в самый тот раз, когда производство вышло... Отняло ему, сердяге, левую щеку и правую руку, да ноги поослабили сильно... Поневоле пришлось в отставку выйти и не довелось литых погонов носить честолюбцу! Взял отставку и поехал со своей старухой в Тифлис на покой. Едет, плачет и смеется, что его ямщик превосходительством обзывает. Одна щека плачет и смеется, а другая недвижима, как монумент. Одно только утешение осталось ему: красная подкладка. Идет по Тифлису, растопыривает фалды, как

крылья, и показывает публике красноту. Знай, мол, кого видишь! Целый день по городу шкандыляет и хвастает подкладкой... Только и было у него, друга, радостей. В баню пойдет и разложит пальто на лавке подкладкой вверх... Утешался, утешался так малый дите, да и ослеп от старости. Наняли ему человека по городу его водить и подкладку показывать... Идет слепенький, седенький, еле-еле телепкается, о воздух спотыкается, а у самого на лице гордыня написана! Зима лютая, холод, а у него пальто нараспашку... Чудачок! Скоро затем померла у него старушка. Хоронит ее, ноет, в могилку к ней просится и подкладку духовенству показывает. Приставили к нему другую особу, вдовицу какую-то, чтоб поберегла... А вдовица, известное дело, знает свою долю лучше хозяйской. Скопидомка... Сахарку припрячет, чайку там, копеечку... Кругом его ощипала. Щипала, щипала, ерзала, ерзала подлая баба, да и дошла до апофеоза! Взяла, стервоза, да и отпорола его красную подкладку себе на кофту, а вместо красной подкладки серенькую сарпинку подшила. Идет мой Петр Петрович, выворачивает перед публикой свое пальто, а сам, слепенький, и не видит, что у него вместо генеральской подкладки сарпинка с крапушками!..

Дромадерова нашла, что все это очень скучно, и заговорила о сыне-поручике. Перед обедом явились соседки — девицы Клянчины с тапан. Они сели за рояль и запели любимую песню Зазубрина. Сели обедать.

— Отличный редис! — заметил профессор. — Где вы такой покупаете?

— Он теперь в Одессе... с этой женщиной! — ответила Лидия Егоровна.

— Что-с?

— Ах... Я не о том! Не знаю, где повар берет... Что это со мной?

И Лидия Егоровна, закинув назад голову, захотала над своей рассеянностью... После обеда пришла толстая профессорша с детьми. Сели за карты. Вечером приезжали гости из города...

Только в ночь, проводив последнего гостя и простояв неподвижно, пока не перестали слышаться его шаги, Лидия Егоровна могла ухватиться одной рукой за те же перила, покачнуться и зарыдать.

— Мало того, что прокутил! Ему мало этого! Он еще изменил!

Из глаз вырвались на свободу горячие слезы, и бледное лицо исказилось отчаянием. Уж не было нужды в этикете, и она могла рыдать!

Черт знает, на что уходит иногда силища!

О ТОМ, КАК Я В ЗАКОННЫЙ БРАК ВСТУПИЛ

Рассказец

Когда пунш был выпит, родители пошептались и оставили нас.

— Валяй! — шепнул мне папаша, уходя.— Нарывай!

— Но могу ли я объясняться ей в любви,— прошептал я,— ежели я ее не люблю?

— Не твое дело... Ты, дурак, ничего не понимаешь...

Сказав это, папаша измерил меня гневным взглядом и вышел из беседки. Чья-то старушечья рука показалась в притворенной двери и утащила со стола свечку. Мы остались в темноте.

«Ну, чему быть, того не миновать!» — подумал я и, кашлянув, сказал бойко:— Обстоятельства мне благоприятствуют, Зоя Андреевна. Мы наконец одни, и темнота способствует мне, ибо она скрывает стыд лица моего... Стыд сей от чувств происходит, коими моя душа пылает...

Но тут я остановился. Я услышал, как билось сердце Зои Желваковой и как стучали ее зубки. Во всем ее организме происходило дрожание, которое было слышимо и чувствуемо через дрожание скамьи. Бедная девочка не любила меня. Она ненавидела меня, как собака палку, и презирала, ежели только можно допустить, что глупые презирать способны. Я теперь на орангуташку похож, безобразен, хоть и украшен чинами и орденами, тогда же я всем зверям подобен

был: толстомордый, угреватый, щетинистый... От постоянного насморка и спиртуозов нос имел красный, раздутый. Ловкости моей не могли завидовать даже медведи. А касательно душевных качеств и говорить нечего. С нее же, с Зои-то, когда еще моей невестой не была, несправедливую взятку взял. Я остановился, потому что мне жалко ее стало.

— Выйдемте в сад,— сказал я.— Здесь душно...

Вышли и пошли по аллейке. Родители, подслушивавшие за дверью, при нашем появлении юркнули в кусты. По Зоиному лицу забежал лунный свет. Глуп я был тогда, а сумел прочесть на этом лице всю сладость неволи! Я вздохнул и продолжал:

— Соловей поет, женушку свою забавляет... А кого-то я, одинокий, могу позабавить?

Зоя покраснела и опустила глазки. Это ей было приказано так сактрисничать. Сели на скамью, лицом к речке. За речкой белела церковь, а позади церкви возвышался господина графа Кулдарова дом, в котором жил конторщик Больницын, любимый Зоєю человек. Зоя как села на скамью, так и вперила взгляд свой в этот дом... Сердце у меня съежилось и поморщилось от жалости. Боже мой, боже мой! Царство небесное нашим родителям, но... хоть бы недельку в аду они посидели!

— От одной особы все мое счастье зависит,— продолжал я.— Я питаю к этой особе чувства... обоняние... Я люблю ее, и ежели она меня не любит, то я, значит, погиб... помер... Эта особа есть вы. Можете вы меня любить? а? Любите?

— Люблю,— прошептала она.

Я, признаться, помертвел от этого ее слова. Думал я раньше, что она закандрычится и откажет мне, так как сильно другого любит. Надеялся я на это страсть как, а вышло насупротив... Не хватило у ней силы против рожна идти.

— Люблю,— повторила она и заплакала.

— Не может этого быть-с! — заговорил я, сам не зная, что говорю, и дрожа всем телом.— Разве это возможно? Зоя Андреевна, голубушка моя, не верьте! Ей же богу, не верьте! Не люблю я вас! Будь я трижды

знафема проклят, ежели я люблю! И вы меня не любите! Все это чепуха одна только...

Я вскочил и забегал около скамьи.

— Не надо! Все это одна только комедь! Женят нас насильно, Зоя Андреевна, ради имущественных интересов; какая же тут любовь? Мне легче камень осельный на шею, чем вас за себя взять, вот что! Какого ж черта! Какое они имеют полное право? Что мы для них? Крепостные? Собаки? Не женимся! Назло! Дряни этакие! Довольно уж мы им поблажку делали! Пойду сейчас и скажу, что не хочу жениться на вас, вот и все!

Лицо Зои вдруг перестало плакать и в мгновение ока высохло.

— Пойду и скажу! — продолжал я. — И вы тоже скажете. Вы скажете им, что вовсе меня не любите, а что любите Больницына. И я буду руку Больницына держать... Мне известно, как страстно вы его любите!

Зоя засмеялась от счастья и заходила рядом со мной.

— Да ведь и вы любите другую! — сказала она, потирая руки. — Вы любите мадмуазель Дэбе.

— Да, — говорю, — мадмуазель Дэбе. Она хоть не православная и не богатая, а я ее люблю за ум и душевспасительные качества... Пусть проклинают, а я женюсь на ней. Я люблю ее, может быть, больше, чем жизнь люблю! Я без нее жить не могу! Ежели я не женюсь на ней, то я и жить не захочу! Сейчас пойду... Пойдемте и скажем этим шутам... Спасибо вам, голубушка... Как вы меня утешили!

В душу мою хлынуло счастье, и стал я благодарить Зою, а Зоя меня. И оба мы, счастливые, благодарные, стали друг другу руки целовать, благородными друг друга называть... Я ей руки целую, а она меня в голову, в мою щетину. И, кажется, даже обнял ее, этикетки забыв. И, можно вам сказать, это объяснение в нелюбви было счастливее любого любовного объяснения. Пошли мы, радостные, розовые и трепещущие, к дому, волю нашим родителям объявить. Идем и друг друга подбодряем.

— Пусть нас поругают,— говорю,— побьют, выгонят даже, да зато мы счастливы будем!

Входим в дом, а там у дверей стоят родители и ждут. Глядят на нас, видят, что мы счастливы, и давай махать лакею. Лакей подходит с шампанским. Я начинаю протестовать, махать руками, стучать... Зоя плачет, кричит... Шум поднялся, гвалт, и не удалось выпить шампанского.

Но нас все-таки поженили.

Сегодня мы празднуем нашу серебряную свадьбу. Четверть столетия вместе прожили! Сначала жутко приходилось. Бранил ее, лупцевал, принимался любить ее с горя... Детей имели с горя... Потом... ничего себе... попривыкли... А в настоящий момент стоит она, Зочка, за моей спиной и, положив ручки на мои плечи, целует меня в лысину.

ИЗ ДНЕВНИКА ПОМОЩНИКА БУХГАЛТЕРА

1863 г. Май, 11. Наш шестидесятилетний бухгалтер Глоткин пил молоко с коньяком по случаю кашля и заболел по сему случаю белою горячкой. Доктора, со свойственною им самоуверенностью, утверждают, что завтра помрет. Наконец таки я буду бухгалтером! Это место мне уже давно обещано.

Секретарь Клещев пойдет под суд за нанесение побоев просителю, назвавшему его бюрократором. Это, по-видимому, решено.

Принимал декокт от катара желудка.

1865 г. Август, 3. У бухгалтера Глоткина опять заболела грудь. Стал кашлять и пьет молоко с коньяком. Если помрет, то место останется за мной. Питаю надежду, но слабую, ибо, по-видимому, белая горячка не всегда смертельна!

Клещев вырвал у армянина вексель и порвал. Пожалуй, дело до суда дойдет.

Одна старушка (Гурьевна) вчера говорила, что у меня не катар, а скрытый геморрой. Очень может быть!

1867 г. Июнь, 30. В Аравии, пишут, холера. Быть может, в Россию придет, и тогда откроется много вакансий. Быть может, старик Глоткин помрет и я получу место бухгалтера. Живуч человек! Жить так долго, по-моему, даже предосудительно.

Что бы такое от катара принять? Не принять ли цитварного семени?

1870 г. Январь, 2. Во дворе Глоткина всю ночь выла собака. Моя кухарка Пелагея говорит, что это верная примета, и мы с нею до двух часов ночи говорили о том, как я, ставши бухгалтером, куплю себе енотовую шубу и шлафрок. И, пожалуй, женюсь. Конечно, не на девушке — это мне не по годам, а на вдове.

Вчера Клещев выведен был из клуба за то, что вслух неприличный анекдот рассказывал и смеялся над патриотизмом члена торговой депутации Понюхова. Последний, как слышно, подает в суд.

Хочу с катаром к доктору Боткину сходить. Говорят, хорошо лечит...

1878 г. Июнь, 4. В Ветлянке, пишут, чума. Народ так и валится, пишут. Глоткин пьет по этому случаю перцовку. Ну, такому старику едва ли поможет перцовка. Если придет чума, то уж наверное я буду бухгалтером.

1883 г. Июнь, 4. Умирает Глоткин. Был у него и со слезами просил прощения за то, что смерти его с нетерпением ждал. Простил со слезами великодушно и посоветовал мне употреблять от катара желудочный кофий.

А Клещев опять едва не угодил под суд: заложил еврейку взятый напрокат фортепьян. И несмотря на все это, имеет уже Станислава и чин коллежского асессора. Удивительно, что творится на этом свете!

Инбиря 2 золотника, калгана $1\frac{1}{2}$ зол., острой водки 1 зол., семиротной крови 5 зол.; все смешав, настоять на штофе водки и принимать от катара натошак по рюмке.

Того же года. Июнь, 7. Вчера хоронили Глоткина. Увы! Не в пользу мне смерть сего старца! Снится мне по ночам в белой хламиде и кивает пальцем. И, о горе, горе мне, окаянному: бухгалтер не я, а Чаликов. Получил это место не я, а молодой человек, имеющий протекцию от тетки генеральши. Пропали все мои надежды!

1886 г. Июнь, 10. У Чаликова жена сбежала. Тоскует, бедный. Может быть, с горя руки на себя наложит. Ежели наложит, то я — бухгалтер. Об этом

уже разговор. Значит, надежда еще не потеряна, жить можно и, пожалуй, до енотовой шубы уже недалеко. Что же касается женитьбы, то я не прочь. Отчего не жениться, ежели представится хороший случай, только нужно посоветоваться с кем-нибудь; это шаг серьезный.

Клещев обменялся калошами с тайным советником Лирмансом. Скандал!

Швейцар Паисий посоветовал от катара сулему употреблять. Попробую.

ВЕСЬ В ДЕДУШКУ

Душная ночь с открытыми настежь окнами, с блохами и комарами. Жажда, как после селедки. Я лежу на своей кровати, ворочаюсь с боку на бок и стараюсь уснуть. За стеной в другой комнате и не спит и ворочается мой дедушка, отставной генерал, живущий у меня на хлебах. Обоих нас кусают блохи, и оба мы сердимся на них и ворчим. Дедушка кряхтит, сопит и шуршит своим накрахмаленным колпаком.

— Безумец! — бормочет он. — Ммо... молокосос! Мало тебя пороли, бессмысленный молодой человек!

— Кого это вы, дедушка?

— Известно, кого... Поблажку вам дают, балуют, не взыскивают с вас... (Дедушка втягивает в себя воздух и раздражается старческим кашлем.) Прогнать бы тебя сквозь строй разика три, так ты понял бы... Почему не купил персидского порошку? Почему, я тебя спрашиваю? Лениость? Нерадение?

— Дедушка, вы не даете мне спать! Замолчите!

— Не рассуждать! Понимай, с кем разговариваешь! (Дедушка громче чешется и возвышает голос.) Повторяю: почему ты не купил персидского порошку? И как ты смеешь, милостивый государь, позволять себе такие возмутительные поступки, что на тебя даже поступают жалобы? А? Вчера полковник Дубякин

жаловался, что ты у него жену увез! Кто это тебе позволил? И какое ты имеешь право?

Дедушка долго бранит меня и с брани переходит на мораль: седьмая заповедь, брачные основы и пр.

— Все это я понимаю лучше вас, дедушка,— говорю я.— Каюсь, меня мучает совесть, но ничего я не могу с собой поделать. Весь в вас! С кровью и плотью унаследовал от вас и все ваши добродетели. Трудно бороться с наследственностью!

— Я.. я чужих жен не трогал... Выдумываешь!

— Будто бы? А лет десять тому назад, когда вам было шестьдесят лет, припомните-ка, вы увезли у ближнего не жену, не соломенную вдову, а невесту! Вспомните-ка Ниночку.

— Я того... я венчался...

— Еще бы! Ниночку воспитывали, лелеяли и готовили совсем не для шестидесятилетнего старца. На этой умнице и красавице женился бы любой добрый молодец, и у нее уже был подходящий жених, а вы пришли со своим чином и деньгами, поугали родителей и вскружили семнадцатилетней девочке голову разной мишурой. Как она плакала, когда венчалась с вами! Как каялась потом, бедняжка! И с пьяницей-поручиком бежала потом, только чтоб от вас подальше... Гусь вы, дедушка!

— Постой... постой... Это не твое дело... Вот ежели бы тебя разиков пять сквозь строй, так ты бы не того... не ограбил бы сестру свою Дашу... Обидчик... За что ты у нее сто десятин оттягал?

— С вас пример взял. Весь в вас, дедушка! У вас научился грабастать! Помните, когда вы служили в интендантстве, потом когда вас назначили в Уфимскую губернию и...

И долго этак мы спорим. Дедушка обвиняет меня в двадцати преступлениях, и все двадцать я сваливаю на родовое, на наследственность. Наконец дедушка хрипнет и начинает от злости царапать стену.

— Вот что, дедушка,— говорю я.— Нам долго так не уснуть. Давайте-ка выкупаемся и водочки выпьем. Отлично уснем!

Дедушка, сердито шамкая губами, одевается, и мы идем к речке. Ночь хорошая, лунная. Выкупавшись, мы возвращаемся к себе. Графинчик стоит на столе. Я наливаю две рюмки. Дедушка берет одну рюмку, крестится и говорит:

— Вот ежели бы тебя... разиков десять сквозь строй... понимал бы тогда! Пья... пьяница!

Поворчав, дедушка сердито выпивает и закусывает колбасой. Я тоже — потому что унаследовал любовь к спиртным напиткам — выпиваю и иду спать.

И этак у нас каждую ночь.

РАЗ В ГОД

Маленький трехконный домик княжны имеет праздничный вид. Он помолодел точно. Вокруг него тщательно подметено, ворота открыты, с окон сняты решетчатые жалюзи. Свежевымытые оконные стекла робко заигрывают с весенним солнышком. У парадной двери стоит швейцар Марк, старый и дряхлый, одетый в изъеденную молью ливрею. Его колючий подбородок, над бритьем которого провозились дрожющие руки целое утро, свежевычищенные сапоги и гербовые пуговицы тоже отражают в себе солнце. Марк выполз из своей каморки недаром. Сегодня день именин княжны, и он должен отворять дверь визитерам и выкрикивать их имена. В передней пахнет не кофейной гущей, как обыкновенно, не постным супом, а какими-то духами, напоминающими запах яичного мыла. В комнатах старательно прибрано. Повешены гардины, снята кисея с картин, навощены потертые, занозистые полы. Злая Жулька, кошка с котятками и цыплята заперты до вечера в кухню.

Сама княжна, хозяйка трехконного домика, сгорбленная и сморщенная старушка, сидит в большом кресле и то и дело поправляет складки своего белого кисейного платья. Одна только роза, приколотая к ее тощей груди, говорит, что на этом свете есть еще молодость!

Княжна ожидает визитеров-поздравителей. У нее должны быть: барон Трамб с сыном, князь Халахадзе,

камергер Бурластов, кузен генерал Битков и многие другие... человек двадцать!

Уже полдень. Княжна поправляет платье и розу. Она прислушивается: не звонит ли кто? С шумом проезжает экипаж, останавливается. Проходят пять минут.

«Не к нам!» — думает княжна.

Да, не к вам, княжна! Повторяется история прошлых годов. Безжалостная история! В два часа княжна, как и в прошлом году, идет к себе в спальную, нюхает нашатырный спирт и плачет.

— Никто не приехал! Никто!

Около княжны суетится старый Марк. Он не менее огорчен: испортились люди! Прежде валили в гостиную, как мухи, а теперь...

— Никто не приехал! — плачет княжна. — Ни барон, ни князь Халахадзе, ни Жорж Бувицкий... Оставили меня! А ведь, не будь меня, что бы из них вышло? Мне обязаны они своим счастьем, своей карьерой — только мне! Без меня из них ничего бы не вышло.

— Не вышло бы-с! — поддакивает Марк.

— Я не прошу благодарности... Не нужна она мне! Мне нужно чувство! Боже мой, как обидно! Даже племянник Жан не приехал. Отчего он не приехал? Что я ему худого сделала? Я заплатила по всем его векселям, выдала замуж его сестру Таню за хорошего человека. Дорого мне стоит этот Жан! Я сдержала слово, данное моему брату, его отцу... Я истратила на него... сам знаешь...

— И родителям их вы, можно сказать, ваше сиятельство, заместо родителей были.

— И вот... вот она, благодарность! О, люди!

В три часа, как и в прошлом году, с княжной делается истерический припадок. Встревоженный Марк надевает свою шляпу с галунами, долго торгуется с извозчиком и едет к племяннику Жану. К счастью, меблированные комнаты, в которых обитает князь Жан, не слишком далеко. Марк застаёт князя валяющимся на кровати. Жан только что воротился со вчерашней попойки. Его помятое, мордастое лицо багро-

во, на лбу пот. Он рад бы уснуть, да нельзя: мутит. Его скучающие глаза устремлены на рукомойник, наполненный доверху сором и мыльной водой.

Марк входит в грязный номер и, брезгливо пожимаясь, робко подходит к кровати.

— Нехорошо-с, Иван Михалыч! — говорит он, укоризненно покачивая головой. — Нехорошо-с!

— Что плохо?

— Почему вы сегодня не пожаловали вашу тетушку с ангелом поздравить? Нешто это хорошо?

— Убирайся к черту! — говорит Жан, не отрывая глаз от мыльной воды.

— Нешто это тетушке не обидно? А? Эх, Иван Михалыч, ваше сиятельство! Чувств у вас никаких нету!

— Я не делаю визитов... Так и скажи ей. Этот обычай давно уже устарел... Некогда нам разъезжать. Разъезжайте сами, коли делать вам нечего, а меня оставьте. Ну, проваливай! Спать хочу...

— Спать хочу... Лицо-то небось воротите! стыдно в глаза глядеть!

— Ну... тсс... Дрянь ты этакая! Паршак!

Продолжительное молчание.

— А уж вы, батюшка, съездите, поздравьте! — говорит Марк ласково. — Они плачут, мечутся на постельке... Уж вы будьте такие добрые, окажите им свое почтение... Съездите, батюшка!

— Не поеду. Незачем и некогда... Да и что я буду делать у старой девки?

— Съездите, ваше сиятельство! Уважьте, батюшка! Сделайте такую милость! Страсть как огорчены они вашею, можно сказать, неблагодарностью и бесчувствием!

Марк проводит рукавом по глазам.

— Сделайте милость!

— Гм!.. А коньяк будет? — говорит Жан.

— Будет, батюшка, ваше сиятельство!

— Тэк-с!.. Н-да...

Князь подмигивает глазом.

— Ну, а сто рублей будет? — спрашивает он.

— Никак это невозможно! Самим вам небезызвестно, ваше сиятельство, капиталов у нас уж нет тех,

что были... Разорили нас родственники, Иван Михалыч. Когда были у нас деньги, все хаживали, а теперь... Божья воля!

— В прошлом году я за визит с вас... сколько взял? Двести рублей взял. А теперь и ста нет? Шутки шутишь, ворона! Поройся-ка у старухи, найдешь... Впрочем, убирайся. Спать хочу.

— Будьте так благодушны, ваше сиятельство! Стары они, слабы... Душа в теле еле держится. Пожалейте их, Иван Михалыч, ваше сиятельство!

Жан неумолим. Марк начинает торговаться. В пятом часу Жан сдается, надевает фрак и едет к княжне...

— Ma tante¹,— говорит он, прижимаясь к ее руке.

И, севши на софу, он начинает прошлогодний разговор.

— Мари Крыскина, ma tante, получила письмо из Ниццы... Муженек-то! А? Каков? Очень развязно описывает дуэль, которая была у него с одним англичанином из-за какой-то певицы... забыл ее фамилию...

— Неужели?

Княжна закатывает глаза, всплескивает руками и с изумлением, смешанным с долей ужаса, повторяет:

— Неужели?

— Да... На дуэлях дерется, за певицами бегаёт, тут жена... чахни и сохни по его милости... Не понимаю таких людей, ma tante!

Счастливая княжна поближе подсаживается к Жану, и разговор их затягивается... Подается чай с коньяком.

И в то время, как счастливая княжна, слушая Жана, хохочет, ужасается, поражается, старый Марк роется в своих сундучках и собирает кредитные бумажки. Князь Жан сделал большую уступку. Ему нужно заплатить только пятьдесят рублей. Но, чтобы заплатить эти пятьдесят рублей, нужно перерыть не один сундучок!

¹ Тетушка (франц.).

СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА

В один прекрасный вечер не менее прекрасный эскутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя на вершине блаженства. Но вдруг... В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось... он отвел от глаз бинокль, нагнулся и... апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков несколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения.

«Я его обрызгал! — подумал Червяков. — Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:

— Извините, ваше-ство, я вас обрызгал... я нечаянно...

— Ничего, ничего...

— Ради бога, извините. Я ведь... я не желал!

— Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!

Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Брижжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:

— Я вас обрызгал, ваше-ство... Простите... Я ведь... не то чтобы...

— Ах, полноте... Я уж забыл, а вы все о том же! — сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.

«Забыл, а у самого ехидство в глазах,— подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала.— И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал... что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..»

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Брижжалов «чужой», успокоилась.

— А все-таки ты сходи, извинись,— сказала она.— Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!

— То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно... Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.

На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Брижжалову объяснить... Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.

— Вчера в «Аркадии», ежели припомните, ваше-ство,— начал докладывать экзекутор,— я чихнул-с и... нечаянно обрызгал... Изв...

— Какие пустяки... Бог знает что! Вам что угодно? — обратился генерал к следующему просителю.

«Говорить не хочет! — подумал Червяков бледнея. — Сердится, значит... Нет, этого нельзя так оставить... Я ему объясню...»

Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:

— Ваше-ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше-ство, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!

Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.

— Да вы просто смеетесь, милостисдарь! — сказал он, скрываясь за дверью.

«Какие же тут насмешки? — подумал Червяков. — Все тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.

— Я вчера приходил беспокоить ваше-ство, — забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, — не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с... а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам... не будет...

— Пошел вон!! — гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.

— Что-с? — спросил шепотом Червяков, млея от ужаса.

— Пошел вон!! — повторил генерал, затопав ногами.

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся... Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и... помер.

СУЩАЯ ПРАВДА

Шесть коллежских регистраторов и один не имеющий чина сидели в пригородной роще и пьянствовали.

Пьянство было шумное, но печальное и грустное. Не видно было ни улыбок, ни радостных телодвижений; не слышно было ни смеха, ни веселого говора... Пахло чем-то похоронным...

Не далее как неделю тому назад коллежский регистратор Канифолев, явившись в присутствие в пьяном виде, поскользнулся на чем-то плевке, упал на стеклянный шкаф, разбил и сам разбился. На другой же день после этого грехопадения он потерял две бумаги из дела № 2423. Мало этого... Он приходил в присутствие, имея в кармане порох и пистоны. Вообще же он ведет жизнь нетрезвую и буйную. Все было принято во внимание. Он слетел и теперь кушал прощальный обед.

— Вечная тебе память, Алеша! — говорили чиновники перед каждой рюмкой, обращаясь к Канифолеву. — Аминь тебе!

Канифолев, маленький человечек с длинным, заплаканным лицом, после каждого подобного приветствия всхлипывал, стучал кулаком по столу и говорил:

— Все одно погибать!

И изгнанник с ожесточением выпивал свою рюмку, громко всхлипывал и лез лобызать своих друзей.

— Меня прогнали! — говорил он, трагически мотая головой. — Прогнали за то, что я выпивохом! А не понимают того, что я пил с горя, с досады!

— С какого горя?

— А с такого, что я не мог ихней неправды видеть! Меня их неправда подлая за сердце ела! Видеть я не мог равнодушно всех их пакостей! Этого они не хотели понять... Ладно же! Я им покажу, где раки зимуют! Покажу я им! Пойду и прямо в глаза наплюю! Всю сущую правду им выскажу! Всю правду!

— Не выскажешь... Одно хвастовство только... Все мы мастера в пьяном виде глотку драть, а чуть что, так и хвост поджал... И ты такой...

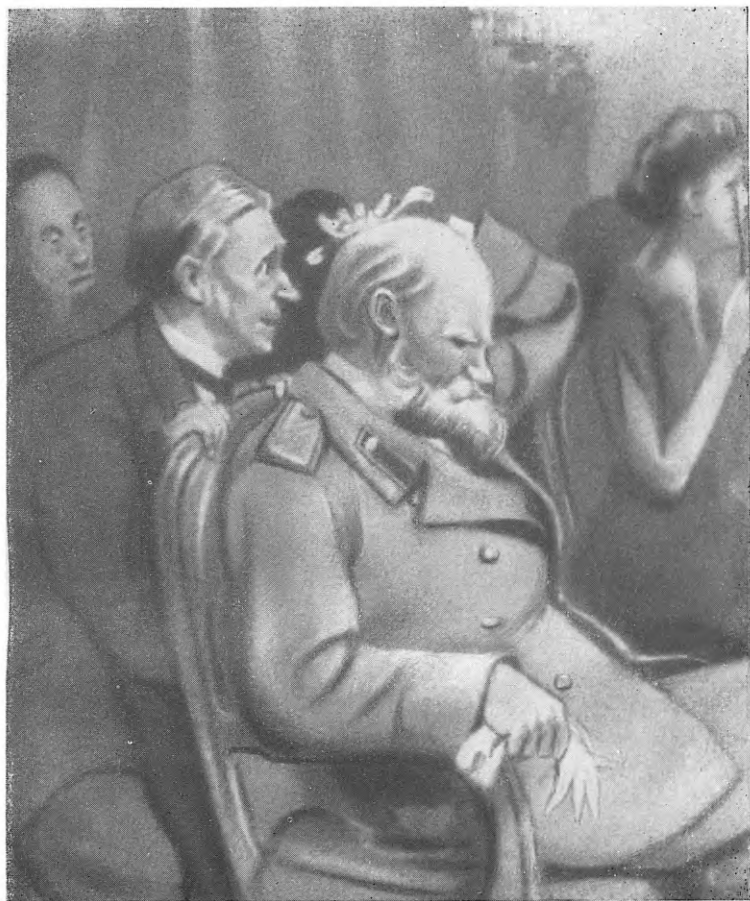
— Ты думаешь, не выскажу? Ты думаешь? Аааа... ты так думаешь... Ладно... Хорошо, посмотрим... Будь я трижды анафема... лопни... Подлецом меня в глаза обзови, плюнь тогда, ежели не выскажу!

Канифолев стукнул кулаком по столу и побагровел.

— Все одно погибать! Сейчас же пойду и выскажу! Сию минуту! Он тут недалеко с женой сидит! Пропадать так пропадать, шут возьми, а я им открою глаза! Все на чистую воду выведу! Узнают, что значит Алешка Канифолев!

Канифолев рванулся с места и, покачиваясь, побежал... Когда приятели протянули за ним руки, чтобы удержать его за фалды, он был уже далеко. А когда они надумали побежать за ним и удержать его, он стоял уже перед столом, за которым сидело начальство, и говорил:

— Я, ваше-ство, ворвался к вам в дом без доклада, но все это я как честный человек, а потому извините... Я, ваше-ство, выпивши, это верно, — говорил он, — но я в памяти-с! Что у трезвого на душе, то у пьяного на языке, и я вам всю сущую правду выскажу! Да-с, ваше-ство! Довольно терпеть! Почему, на-



К рассказу «Смерть чиновника».

Художник А. Базилевич. 1955.

пример, у вас в канцелярии полы давно не крашены? Зачем вы позволяете бухгалтеру спать до одиннадцати часов? Отчего вы Митяеву позволяете брать на дом газеты из присутствия, а другим не позволяете? Все одно мне погибать, и я вам всю сущую...

И эту сущую правду говорил Канифолев с дрожью в голосе, со слезами на глазах, стуча кулаком по груди.

Начальство смотрело на него выпуча глаза и не понимало, в чем дело.

ЗЛОЙ МАЛЬЧИК

Иван Иванович Лапкин, молодой человек приятной наружности, и Анна Семеновна Замблицкая, молодая девушка со вздернутым носиком, спустились вниз по крутому берегу и уселись на скамеечке. Скамеечка стояла у самой воды, между густыми кустами молодого ивняка. Чудное местечко! Сели вы тут, и вы скрыты от мира — видят вас одни только рыбы да пауки-плауны, молнией бегающие по воде. Молодые люди были вооружены удочками, сачками, банками с червями и прочими рыболовными принадлежностями. Усевшись, они тотчас же принялись за рыбную ловлю.

— Я рад, что мы наконец одни,— начал Лапкин, оглядываясь.— Я должен сказать вам многое, Анна Семеновна... Очень многое... Когда я увидел вас в первый раз... У вас клюет... Я понял тогда, для чего я живу, понял, где мой кумир, которому я должен посвятить свою честную, трудовую жизнь... Это, должно быть, большая клюет... Увидя вас, я полюбил впервые, полюбил страстно! Подождите дергать... пусть лучше клюнет... Скажите мне, моя дорогая, заклинаю вас, могу ли я рассчитывать — не на взаимность, нет! — этого я не стою, я не смею даже помыслить об этом,— могу ли я рассчитывать на... Тащите!

Анна Семеновна подняла вверх руку с удилищем, рванула и вскрикнула. В воздухе блеснула серебристо-зеленая рыбка.

— Боже мой, окунь! Ах, ах... Скорей! Сорвался!

Окунь сорвался с крючка, запрыгал по травке к родной стихии и... бултых в воду!

В погоне за рыбой Лапкин вместо рыбы как-то нечаянно схватил руку Анны Семеновны, нечаянно прижал ее к губам... Та отдернула, но уже было поздно: уста нечаянно слились в поцелуй. Это вышло как-то нечаянно. За поцелуем следовал другой поцелуй, затем клятвы, уверения... Счастливые минуты! Впрочем, в этой земной жизни нет ничего абсолютно счастливого. Счастливое обыкновенно носит отраву в себе самом или же отравляется чем-нибудь извне. Так и на этот раз. Когда молодые люди целовались, вдруг послышался смех. Они взглянули на реку и обомлели: в воде по пояс стоял голый мальчик. Это был Коля, гимназист, брат Анны Семеновны. Он стоял в воде, глядел на молодых людей и ехидно улыбался.

— А-а-а... вы целуетесь? — сказал он. — Хорошо же! Я скажу мамаше.

— Надеюсь, что вы, как честный человек... — забормotal Лапкин краснея. — Подсматривать подло, а пересказывать низко, гнусно и мерзко... Полагаю, что вы, как честный и благородный человек...

— Дайте рубль, тогда не скажу! — сказал благородный человек. — А то скажу.

Лапкин вынул из кармана рубль и подал его Коле. Тот сжал рубль в мокром кулаке, свистнул и поплыл. И молодые люди на этот раз уже больше не целовались.

На другой день Лапкин привез Коле из города краски и мячик, а сестра подарила ему все свои коробочки из-под пилюль. Потом пришлось подарить и запонки с собачьими мордочками. Злому мальчику, очевидно, все это очень нравилось, и, чтобы получить еще больше, он стал наблюдать. Куда Лапкин с Анной Семеновной, туда и он. Ни на минуту не оставлял их одних.

— Подлец! — скрежетал зубами Лапкин. — Как мал, и какой уже большой подлец! Что же из него дальше будет?!

Весь июнь Коля не давал житья бедным влюбленным. Он грозил доносом, наблюдал и требовал подарков; и ему все было мало, и в конце концов он

стал поговаривать о карманных часах. И что же? Пришлось пообещать часы.

Как-то раз за обедом, когда подали вафли, он вдруг захохотал, подмигнул одним глазом и спросил у Лапкина:

— Сказать? А?

Лапкин страшно покраснел и зажевал вместо вафли салфетку. Анна Семеновна вскочила из-за стола и убежала в другую комнату.

И в таком положении молодые люди находились до конца августа, до того самого дня, когда наконец Лапкин сделал Анне Семеновне предложение. О, какой это был счастливый день! Поговоривши с родителями невесты и получив согласие, Лапкин прежде всего побежал в сад и принялся искать Колю. Найдя его, он чуть не зарыдал от восторга и схватил злого мальчика за ухо. Подбежала Анна Семеновна, тоже искавшая Колю, и схватила за другое ухо. И нужно было видеть, какое наслаждение было написано на лицах у влюбленных, когда Коля плакал и умолял их:

— Миленькие, славненькие, голубчики, не буду! Ай, ай, простите!

И потом оба они сознавались, что за все время, пока были влюблены друг в друга, они ни разу не испытывали такого счастья, такого захватывающего блаженства, как в те минуты, когда драли злого мальчика за уши.

ПРИДАНОЕ

Много я видал на своем веку домов, больших и малых, каменных и деревянных, старых и новых, но особенно врезался мне в память один дом. Это, впрочем, не дом, а домик. Он мал, в один маленький этаж и в три окна, и ужасно похож на маленькую, горбатую старушку в чепце. Оштукатуренный в белый цвет, с черепичной крышей и ободранной трубой, он весь утонул в зелени шелковиц, акаций и тополей, посаженных дедами и прадедами теперешних хозяев. Его не видно за зеленью. Эта масса зелени не мешает ему, впрочем, быть городским домиком. Его широкий двор стоит в ряд с другими, тоже широкими зелеными дворами, и входит в состав Московской улицы. Никто по этой улице никогда не ездит, редко кто ходит.

Ставни в домике постоянно прикрыты: жильцы не нуждаются в свете. Свет им не нужен. Окна никогда не открываются, потому что обитатели домика не любят свежего воздуха. Люди, постоянно живущие среди шелковиц, акаций и репейника, равнодушны к природе. Одним только дачникам бог дал способность понимать красоты природы, остальное же человечество относительно этих красот коснеет в глубоком невежестве. Не ценят люди того, чем богаты. «Что имеем, не храним»; мало того,— что имеем, того не любим. Вокруг домика рай земной, зелень, живут веселые птицы, в домике же,— увы! Летом в нем знойно и душно, зимою — жарко, как в бане, угарно и скучно, скучно...

В первый раз посетил я этот домик уже давно, по делу: я привез поклон от хозяина дома, полковника Чикамасова, его жене и дочери. Это первое мое посещение я помню прекрасно. Да и нельзя не помнить.

Вообразите себе маленькую, сырую женщину, лет сорока, с ужасом и изумлением глядящую на вас в то время, когда вы входите из передней в залу. Вы «чужой», гость, «молодой человек» — и этого уже достаточно, чтобы повергнуть в изумление и ужас. В руках у вас нет ни кистеня, ни топора, ни револьвера, вы дружески улыбаетесь, но вас встречают тревогой.

— Кого я имею честь и удовольствие видеть? — спрашивает вас дрожащим голосом пожилая женщина, в которой вы узнаете хозяйку Чикамасову.

Вы называете себя и объясняете, зачем пришли. Ужас и изумление сменяются пронзительным, радостным «ах!» и закатыванием глаз. Это «ах», как эхо, передается из передней в зал, из зала в гостиную, из гостиной в кухню... и так до самого погреба. Скоро весь домик наполняется разноголосыми, радостными «ах». Минут через пять вы сидите в гостиной, на большом, мягком, горячем диване и слышите, как ахает уж вся Московская улица.

Пахло порошком от моли и новыми козловыми башмаками, которые, завернутые в платочек, лежали возле меня на стуле. На окнах герань, кисейные тряпочки. На тряпочках сытые мухи. На стене портрет какого-то архиерея, написанный масляными красками и прикрытый стеклом с разбитым уголышком. От архиерея идет ряд предков с желто-лимонными цыганскими физиономиями. На столе наперсток, катушка ниток и недовязанный чулок, на полу выкройки и черная кофточка с живыми нитками. В соседней комнате две встревоженные, оторопевшие старухи хватают с пола выкройки и куски ланкорта...

— У нас, извините, ужасный беспорядок! — сказала Чикамасова.

Чикамасова беседовала со мной и конфузливо косилась на дверь, за которой все еще подбирали выкройки. Дверь тоже как-то конфузливо то отворялась на вершок, то затворялась.

— Ну, что тебе? — обратилась Чикамасова к двери.
— Où est mon cravatte, lequel mon père m'avait en-
voyé de Koursk? ¹ — спросил за дверью женский го-
лосок.

— Ah, est ce que, Marie, que... ² Ах, разве можно...
Nous avons donc chez nous un homme très peu connu
par nous... ³ Спроси у Лукерьи...

«Однако как хорошо говорим мы по-французски!» — прочел я в глазах у Чикамасовой, покрасневшей от удовольствия.

Скоро отворилась дверь, и я увидел высокую худую девицу, лет девятнадцати, в длинном кисейном платье и золотом поясе, на котором, помню, висел перламутровый веер. Она вошла, присела и вспыхнула. Вспыхнул сначала ее длинный, несколько рябоватый нос, с носа пошло к глазам, от глаз к вискам.

— Моя дочь! — пропела Чикамасова. — А это, Манечка, молодой человек, который...

Я познакомился и выразил свое удивление по поводу множества выкроек. Мать и дочь опустили глаза.

— У нас на вознесенье была ярмарка, — сказала мать. — На ярмарке мы всегда покупаем материй и шьем потом целый год до следующей ярмарки. В люди шитье мы никогда не отдаем. Мой Петр Семеныч достает не особенно много, и нам нельзя позволять себе роскошь. Приходится самим шить.

— Но кто же у вас носит такую массу? Ведь вас только двое.

— Ах... разве это можно носить? Это не носить! Это — приданое!

— Ах, татап, что вы? — сказала дочь и зарумянилась. — Они и вправду могут подумать... Я никогда не выйду замуж! Никогда!

Сказала это, а у самой при слове «замуж» загорелись глазки.

¹ Где мой галстук, который прислал мне отец из Курска? (франц.)

² Ах, разве, Мария... (франц.)

³ У нас же человек, очень мало нам знакомый... (франц.)

Принесли чай, сухари, варенья, масло, потом покормили малиной со сливками. В семь часов вечера был ужин из шести блюд, и во время этого ужина я услышал громкий зевок; кто-то громко зевнул в соседней комнате. Я с удивлением поглядел на дверь: так зевать может только мужчина.

— Это брат Петра Семеныча, Егор Семеныч... — пояснила Чикамасова, заметив мое удивление. — Он живет у нас с прошлого года. Вы извините его, он не может выйти к вам. Дикарь такой... конфузится чужих... В монастырь собирается... На службе огорчили его... Так вот с горя...

После ужина Чикамасова показала мне епитрахиль, которую собственноручно вышивал Егор Семеныч, чтобы потом пожертвовать в церковь. Манечка сбросила с себя на минуту робость и показала мне кисет, который она вышивала для своего папаша. Когда я сделал вид, что поражен ее работой, она вспыхнула и шепнула что-то на ухо матери. Та просияла и предложила мне пойти с ней в кладовую. В кладовой я увидел штук пять больших сундуков и множество сундучков и ящичков.

— Это... приданое! — шепнула мне мать. — Сами нашили.

Поглядев на эти угрюмые сундуки, я стал прощаться с хлебосольными хозяевами. И с меня взяли слово, что я еще побываю когда-нибудь.

Это слово пришлось мне сдерживать лет через семь после первого моего посещения, когда я послан был в городок в качестве эксперта по одному судебному делу. Зайдя в знакомый домик, я услышал те же аханья... Меня узнали... Еще бы! Мое первое посещение в жизни их было целым событием, а события там, где их мало, помнятся долго. Когда я вошел в гостиную, мать, еще более потолстевшая и уже поседевшая, ползала по полу и кроила какую-то синюю материю; дочь сидела на диване и вышивала. Те же выкройки, тот же запах порошка от моли, тот же портрет с разбитым углышком. Но перемены все-таки были. Возле архиерейского портрета висел портрет Петра Семеныча, и

дамы были в трауре. Петр Семеныч умер через неделю после производства своего в генералы.

Начались воспоминания... Генеральша всплакнула.

— У нас большое горе! — сказала она. — Петра Семеныча — вы знаете? — уже нет. Мы с ней сироты и сами должны о себе заботиться. А Егор Семеныч жив, но мы не можем сказать о нем ничего хорошего. В монастырь его не приняли за... за горячие напитки. И он пьет теперь еще больше с горя. Я собираюсь съездить к предводителю, хочу жаловаться. Вообразите, он несколько раз открывал сундуки и... забирал Манечкино приданое и жертвовал его странникам. Из двух сундуков все повытаскал! Если так будет продолжаться, то моя Манечка останется совсем без приданого...

— Что вы говорите, тата! — сказала Манечка и сконфузилась. — Они и взаправду могут бог знает что подумать... Я никогда, никогда не выйду замуж!

Манечка вдохновенно, с надеждой глядела в потолок и, видимо, не верила в то, что говорила.

В передней юркнула маленькая мужская фигурка с большой лысиной и в коричневом сюртуке, в калошах вместо сапог, и прошуршала, как мышь.

«Егор Семеныч, должно быть», — подумал я.

Я смотрел на мать и дочь вместе: обе они страшно постарели и осунулись. Голова матери отливала серебром, а дочь поблекла, завяла, и казалось, что мать старше дочери лет на пять, не больше.

— Я собираюсь съездить к предводителю, — сказала мне старуха, забывши, что уже говорила об этом. — Хочу жаловаться! Егор Семеныч забирает у нас все, что мы нашиваем, и куда-то жертвует за спасение души. Моя Манечка осталась без приданого!

Манечка вспыхнула, но уже не сказала ни слова.

— Приходится все снова шить, а ведь мы не бог знает какие богачки! Мы с ней сироты!

— Мы сироты! — повторила Манечка.

В прошлом году судьба опять забросила меня в знакомый домик. Войдя в гостиную, я увидел старушку Чикамасову. Она, одетая во все черное, с плерезами, сидела на диване и шила что-то. Рядом с ней сидел

старичок в коричневом сюртуке и в калошах вместо сапог. Увидев меня, старичок вскочил и побежал вон из гостиной...

В ответ на мое приветствие старушка улыбнулась и сказала:

— Je suis charmée de vous revoir, monsieur ¹.

— Что вы шьете? — спросил я немного погодя.

— Это рубашечка. Я сошью и отнесу к батюшке спрятать, а то Егор Семеныч унесет. Я теперь все прячу у батюшки, — сказала она шепотом.

И, взглянув на портрет дочери, стоявший перед ней на столе, она вздохнула и сказала:

— Ведь мы сироты!

А где же дочь? Где же Манечка? Я не расспрашивал; не хотелось расспрашивать старушку, одетую в глубокий траур, и пока я сидел в домике и потом уходил, Манечка не вышла ко мне, я не слышал ни ее голоса, ни ее тихих, робких шагов... Было все понятно, и было так тяжело на душе.

¹ Очень рада снова видеть вас, сударь (франц.).

ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ КАБАТЧИК

Плач оскудевшего

«Подай, голубчик, холоденькой
закусочки... Ну и... водочки...»

Надгробная эпитафия

Сижу теперь, тоскую и мудрствую.

Во время оно в родовой усадьбе моей были куры, гуси, индейки — птица глупая, нерассудительная, но весьма и весьма вкусная. На моем конском заводе плодились и размножались «ах вы, кони мои, кони»... мельницы не стояли без дела, копи уголь давали, бабы малину собирали. На десятинах преизбыточествовали флора и фауна, хочешь — ешь, хочешь — зоологией занимайся... Можно было и в первом ряду посидеть, и в картишки поиграть, и содержаночкой похвастать...

Теперь не то, совсем не то!

Год тому назад, на Ильин день, сидел я у себя на террасе и тосковал. Передо мной стоял чайник, засыпанный рублевым чаем... На душе кошки скребли, реветь хотелось...

Я тосковал и не заметил, как подошел ко мне Ефим Цуцыков, кабатчик, мой бывший крепостной. Он подошел и почтительно остановился возле стола.

— Вы бы приказали, барин, крышу выкрасить! — сказал он, ставя на стол бутылку водки.— Крыша железная, без краски ржавеет. А ржа, известно, ест... Дыры будут!

— За какие же деньги я выкрашу, Ефимушка? — говорю я.— Сам знаешь...

— Займите-с! Дыры будут, ежели... Да приказали бы еще, барин, сторожа в сад принанять... Деревья воруют!

— Ах, опять-таки нужны деньги!

— Я дам... Все одно, отдадите. Не в первый раз берете-то...

Отвалил мне Цуцыков пятьсот целковых, взял вексель и ушел. По уходе его я подпер голову кулаками и задумался о народе и его свойствах... Хотел даже в «Русь» статью писать...

— Благодетельствует мне, великодушничает... за что? За то, что я его... сек когда-то... Какое отсутствие злопамятности! Учитесь, иностранцы!

Через неделю загорелся у меня во дворе сарайчик. Первым прибежал на пожар Цуцыков. Он собственноручно разнес сарайчик и притащил свои брезенты, чтобы в случае чего укрыть ими мой дом. Он дрожал, был красен, мокр, точно свое добро отстаивал.

— Теперь новый строить нужно,— сказал он мне после пожара.— У меня лесок есть, пришлю... Приказали бы, барин, прудик почистить... Вчерась карасей ловили и весь невод о водоросль разорвали... Триста рублей стоит... Возьмите! Не впервой берете-то...

И так далее... Почистили пруд, выкрасили все крыши, ремонтировали конюшни — и все это на деньги Цуцыкова.

Неделю тому назад приходит ко мне Цуцыков, становится у дверей и почтительно кашляет в кулак.

— И не узнаешь теперь вашей усадьбы-то,— говорит он.— Графу аль князю впору жить... И пруды вычистили, и озимь посеяли, лошадушек завели...

— А все ты, Ефимушка! — говорю я, чуть не плача от умиления.

Встаю и самым искреннейшим образом обнимаю мужика...

— Бог даст, дела поправятся, все отдам, Ефимушка... С процентами. Дай мне еще раз обнять тебя!

— Все починили и благоустроили... Помог бог! Осталось теперь одно только: лисицу отседа выкурить...

— Какую лисицу, Ефимушка?

— Известно, какую...

И, помолчав немного, Цуцыков добавляет:

— Судебный пристав там приехал... Вы бутылки приберите-то... Неравно пристав увидит... Подумает, что у меня в имении только и дела, что пьянство... Фатеру прикажете вам в деревне нанять, аль в город поедете?

Сижу теперь и мудрствую.

ДОЧЬ АЛБИОНА

К дому помещика Грябова подкатила прекрасная коляска с каучуковыми шинами, толстым кучером и бархатным сиденьем. Из коляски выскочил уездный предводитель дворянства Федор Андреич Отцов. В передней встретил его сонный лакей.

— Господа дома? — спросил предводитель.

— Никак нет-с. Барыня с детьми в гости поехали, а барин с мамзелью-гувернанткой рыбу ловят-с. С самого утра-с.

Отцов постоял, подумал и пошел к реке искать Грябова. Нашел он его версты за две от дома, подойдя к реке. Поглядев вниз с крутого берега и увидев Грябова, Отцов прыснул... Грябов, большой, толстый человек с очень большой головой, сидел на песочке, поджав под себя по-турецки ноги, и удил. Шляпа у него была на затылке, галстук сполз набок. Возле него стояла высокая, тонкая англичанка с выпуклыми рачьими глазами и большим птичьим носом, похожим скорей на крючок, чем на нос. Одета она была в белое кисейное платье, сквозь которое сильно просвечивали тощие, желтые плечи. На золотом поясе висели золотые часики. Она тоже удила. Вокруг обоих царила гробовая тишина. Оба были неподвижны, как река, на которой плавали их поплавки.

— Охота смертная, да участь горькая! — засмеялся Отцов.— Здравствуй, Иван Кузьмич!

— А... это ты? — спросил Грябов, не отрывая глаз от воды.— Приехал?

— Как видишь... А ты все еще своей ерундой занимаешься! Не отвык еще?

— Кой черт... Весь день ловлю, с утра... Плохо что-то сегодня ловится. Ничего не поймал ни я, ни эта кикимора. Сидим, сидим, и хоть бы один черт! Просто хоть караул кричи.

— А ты наплюй. Пойдем водку пить!

— Постой... Может быть, что-нибудь да поймаем. Под вечер рыба клюет лучше... Сижу, брат, здесь с самого утра! Такая скучища, что и выразить тебе не могу. Дернул же меня черт привыкнуть к этой ловле! Знаю, что чепуха, а сижу! Сижу, как подлец какой-нибудь, как каторжный, и на воду гляжу, как дурак какой-нибудь! На покос надо ехать, а я рыбу ловлю. Вчера в Хапоньеве преосвященный служил, а я не поехал, здесь присидел вот с этой стерлядью... с чертовкой с этой...

— Но... ты с ума сошел? — спросил Отцов, конфузливо косясь на англичанку.— Бранишься при даме... и ее же...

— Да черт с ней! Все одно, ни бельмеса по-русски не смыслит. Ты ее хоть хвали, хоть брани — ей все равно! Ты на нос посмотри! От одного носа в обморок упадешь! Сидим по целым дням вместе, и хоть бы одно слово! Стоит, как чучело, и бельмы на воду таращит.

Англичанка зевнула, переменяла червячка и закинула удочку.

— Удивляюсь, брат, я немало! — продолжал Грябов.— Живет дурища в России десять лет, и хоть бы одно слово по-русски!.. Наш какой-нибудь аристократиска поедет к ним и живо по-ихнему брехать научится, а они... черт их знает! Ты посмотри на нос! На нос ты посмотри!

— Ну, перестань... Неловко... Что напал на женщину?

— Она не женщина, а девица... О женихах небось мечтает, чертова кукла. И пахнет от нее какую-то гнилью... Возненавидел, брат, ее! Видеть равнодушно не могу! Как взглянет на меня своими глазищами, так меня и покоробит всего, словно я локтем о перила ударился. Тоже любит рыбу ловить. Погляди: ловит и священнодействует! С презрением на все смотрит...

Стоит, каналья, и сознает, что она человек и что, стало быть, она царь природы. А знаешь, как ее зовут? Уильяма Чарльзовна Тфайс! Тьфу!.. и не выговоришь!

Англичанка, услышав свое имя, медленно повела нос в сторону Грябова и измерила его презрительным взглядом. С Грябова подняла она глаза на Отцова и его облила презрением. И все это молча, важно и медленно.

— Видал? — спросил Грябов хохоча.— Натё, мол, вам! Ах ты кикимора! Для детей только и держу этого тритона. Не будь детей, я бы ее и за десять верст к своему имению не подпустил... Нос точно у ястреба... А талия? Эта кукла напоминает мне длинный гвоздь. Так, знаешь, взял бы и в землю вбил. Постой... У меня, кажется, клюет...

Грябов вскочил и поднял удилице. Леска натянулась... Грябов дернул еще раз и не вытащил крючка.

— Зацепилась! — сказал он и поморщился.— За камень, должно быть... Черт возьми...

На лице у Грябова выразилось страдание. Вздыхая, беспокойно двугаясь и бормоча проклятья, он начал дергать за лесу. Дерганье ни к чему не привело. Грябов побледнел.

— Экая жалость! В воду лезть надо.

— Да ты брось!

— Нельзя... Под вечер хорошо ловится... Ведь этакая комиссия, прости господи! Придется лезть в воду. Придется! А если бы ты знал, как мне не хочется раздеваться! Англичанку-то турнуть надо... При ней неловко раздеваться. Все-таки ведь дама!

Грябов сбросил шляпу и галстук.

— Мисс... эээ...— обратился он к англичанке.— Мисс Тфайс! Же ву при...¹ Ну, как ей сказать? Ну, как тебе сказать, чтобы ты поняла? Послушайте... туда! Туда уходите! Слышишь?

Мисс Тфайс облила Грябова презрением и издала носовой звук.

— Что-с? Не понимаете? Ступай, тебе говорят, отсюда! Мне раздеваться нужно, чертова кукла! Туда ступай! Туда!

¹ Прошу вас... (от франц.— je vous pris)

Грябов дернул мисс за рукав, указал ей на кусты и присел: ступай, мол, за кусты и спрячься там... Англичанка, энергически двигая бровями, быстро проговорила длинную английскую фразу. Помещики прыснули.

— Первый раз в жизни ее голос слышу... Нечего сказать, голосок! Не понимает! Ну, что мне делать с ней?

— Плюнь! Пойдем водки выпьем!

— Нельзя, теперь ловиться должно... Вечер... Ну, что ты прикажешь делать? Вот комиссия! Придется при ней раздеваться...

Грябов сбросил сюртук и жилет и сел на песок снимать сапоги.

— Послушай, Иван Кузьмич,— сказал предводитель, хохоча в кулак.— Это уж, друг мой, глумление, издевательство.

— Ее никто не просит не понимать. Это наука им, иностранцам!

Грябов снял сапоги, панталоны, сбросил с себя белье и очутился в костюме Адама. Отцов ухватился за живот. Он покраснел и от смеха и от конфуза. Англичанка задвигала бровями и замигала глазами... По желтому лицу ее пробежала надменная, презрительная улыбка.

— Надо остынуть,— сказал Грябов, хлопая себя по бедрам.— Скажи на милость, Федор Андреич, отчего это у меня каждое лето сыпь на груди бывает?

— Да полезай скорей в воду или прикройся чем-нибудь! Скотина!

— И хоть бы сконфузилась, подлая! — сказал Грябов, полезая в воду и крестясь.— Брр... холодная вода... Посмотри, как бровями двигает! Не уходит... Выше толпы стоит! Хе-хе-хе... И за людей нас не считает!

Войдя по колена в воду и вытянувшись во весь свой громадный рост, он мигнул глазом и сказал:

— Это, брат, ей не Англия!

Мисс Тфайс хладнокровно переменяла червячка, зевнула и закинула удочку. Отцов отвернулся. Грябов отцепил крючок, окунулся и с сопеньем вылез из воды. Через две минуты он сидел уже на песочке и опять удил рыбу.

ПРОТЕКЦИЯ

По Невскому шел маленький, сморщенный старичок с орденом на шее. За ним вприпрыжку следовал маленький молодой человек с кокардой и лиловым носиком. Старичок был нахмурен и сосредоточен, молодой человек озабоченно мигал глазками и, казалось, собирался плакать. Оба шли к Евлампию Степановичу.

— Я не виноват, дяденька! — говорил молодой человек, едва поспевая за старичком. — Меня понапрасну уволили. Дрянковский больше меня пьет, однако же его не уволили! Он каждый день являлся в присутствие пьяным, а я не каждый день. Это такая несправедливость от его превосходительства, дяденька, что и выразить вам не могу!

— Молчи... Свинья!

— Гм... Ну, пушай я буду свинья, хоть у меня и самолюбие есть. Меня не за пьянство уволили, а за портрет. Подносили ему наши альбом с карточками. Все снимались, и я снимался, но моя карточка не сгодилась, дяденька. Глаза выпученные вышли и руки растопырены. Носа у меня никогда такого длинного не было, как на карточке вышло. Я и постыдился свою карточку в альбом вставлять. Ведь у его превосходительства дамы бывают, портреты рассматривают, а я не желаю себя перед дамами компрометировать. Моя наружность не красивая, но привлекательная, а на карточке какой-то шут вышел. Евлампий Степаныч и оби-

делись, что моей карточки нет. Подумали, что я из гордости или вольномыслия... А какое у меня вольномыслие? Я и в церковь хожу, и постное ем, и носа не задираю, как Дрянковский. Заступитесь, дяденька! Век буду бога молить! Лучше в гробу лежать, чем без места шляться.

Старичок и его спутник повернули за угол, прошли еще три переулка и наконец дернули за звонок у двери Евлампия Степановича.

— Ты здесь посиди,— сказал старичок, войдя с молодым человеком в приемную,— а я к нему пойду. Из-за тебя беспокойства одни только. Болван... Стань и стой тут... Дрянь...

Старичок высморкался, поправил на шее орден и пошел в кабинет. Молодой человек остался в приемной. Сердце его застучало.

«О чем они там говорят? — подумал он, холодея и переминаясь от тоски с ноги на ногу, когда из кабинета донеслось к нему бормотанье двух старческих голосов.— Слушает ли он дяденьку?»

Не вынося неизвестности, он подошел к двери и приложил к ней свое большое ухо.

— Не могу-с! — услышал он голос Евлампия Степановича.— Верьте богу, не могу-с! Я вас уважаю, друг я вам, Прохор Михайлыч, на все для вас готов, но... не могу-с! И не просите!

— Я согласен с вами, ваше превосходительство, это испорченный мальчишка. Не стану этого отрицать и скажу даже вам как другу и благодетелю, что мало того, что он пьяница. Это бы еще ничего-с. Он негодяй! И уворует, ежели что плохо лежит, и подчистить мастер, и наябедничать готов... Такой паршивец, что и выразить вам не могу! Вы ему сегодня одолжение делаете, а завтра он донос на вас пишет. Сволочь человек... Мне его нисколько не жалко. Коли бы моя воля, я бы его давно к чертям на кулички... Но мне, ваше-ство, мать его жалко! Для матери только и прошу. Обокрал, подлец, мать, пропилил всё...

Молодой человек отошел от двери и прошелся по приемной. Через пять минут он опять подошел к двери и приложил ухо.

— Для старушечки сделайте, ваше-ство,— говорил дядя.— Она с тоски умирает, что ее подлец без дела ходит.

— Ну, ладно, так и быть. Только с условием: чуть что малейшее, сейчас же вон!

— Сейчас и выгоняйте, ежели что, подлеца этакого.

Молодой человек отошел от двери и зашагал по приемной.

— Молодец дядька! — прошептал он, в восторге потирая руки.— Трогательно расписывает! Необразованный человек, а как все это умно у него выходит...

Из кабинета показался дядя.

— Тебя приняли,— сказал он угрюмо.— Дряннь...
Пойдем.

— Благодарю вас, дяденька! — вздохнул молодой человек, мигая глазами, полными благодарности, и целуя руку.— Без вашей протекции я давно бы пропал...

Оба вышли на улицу и зашагали к себе домой. Старичок был нахмурен и сосредоточен, молодой человек сиял и был весел.

СПРАВКА

Был полдень. Помещик Волдырев, высокий, плотный мужчина с стриженной головой и с глазами навыкате, снял пальто, вытер шелковым платком лоб и несмело вошел в присутствие. Там скрипели...

— Где здесь я могу навести справку? — обратился он к швейцару, который нес из глубины присутствия поднос со стаканами.— Мне нужно тут справиться и взять копию с журнального постановления.

— Пожалуйста туда-с! Вот к энтому, что около окна сидит! — сказал швейцар, указав подносом на крайнее окно.

Волдырев кашлянул и направился к окну. Там за зеленым, пятнистым, как тиф, столом сидел молодой человек с четырьмя хохлами на голове, длинным угреватым носом и в полинялом мундире. Уткнув свой большой нос в бумаги, он писал. Около правой ноздри его гуляла муха, и он то и дело вытягивал нижнюю губу и дул себе под нос, что придавало его лицу крайнее озабоченное выражение.

— Могу ли я здесь... у вас,— обратился к нему Волдырев,— навести справку о моем деле? Я Волдырев... И кстати же мне нужно взять копию с журнального постановления от второго марта.

Чинovníк умокнул перо в чернильницу и поглядел, не много ли он набрал? Убедившись, что перо не

капнет, он заскрипел. Губа его вытянулась, но дуть уже не нужно было: муха села на ухо.

— Могу ли я навести здесь справку? — повторил через минуту Волдырев.— Я Волдырев, землевладелец...

— Иван Алексеич! — крикнул чиновник в воздух, как бы не замечая Волдырева.— Скажешь купцу Яликову, когда придет, чтобы копию с заявления в полиции засвидетельствовал! Тысячу раз говорил ему!

— Я относительно тяжбы моей с наследниками княгини Гугулиной,— пробормотал Волдырев.— Дело известное. Убедительно вас прошу заняться мною.

Все не замечая Волдырева, чиновник поймал на губе муху, посмотрел на нее со вниманием и бросил. Помещик кашлянул и громко высморкался в свой клетчатый платок. Но и это не помогло. Его продолжали не слышать. Минуты две длилось молчание. Волдырев вынул из кармана рублевую бумажку и положил ее перед чиновником на раскрытую книгу. Чиновник сморщил лоб, потянул к себе книгу с озабоченным лицом и закрыл ее.

— Маленькую справочку... Мне хотелось бы только узнать, на каком таком основании наследники княгини Гугулиной... Могу ли я вас побеспокоить?

А чиновник, занятый своими мыслями, встал и, почесывая локоть, пошел зачем-то к шкафу. Возвратившись через минуту к своему столу, он опять занялся книгой: на ней лежала рублевка.

— Я побеспокою вас на одну только минуту... Мне справочку сделать, только...

Чиновник не слышал; он стал что-то переписывать.

Волдырев поморщился и безнадежно поглядел на всю скрипевшую братию.

«Пишут! — подумал он, вздыхая.— Пишут, чтобы черт их взял совсем!»

Он отошел от стола и остановился среди комнаты, безнадежно опустив руки. Швейцар, опять проходивший со стаканами, заметил, вероятно, беспомощное выражение на его лице, потому что подошел к нему совсем близко и спросил тихо:

— Ну, что? Справлялись?

- Справлялся, но со мной говорить не хотят.
- А вы дайте ему три рубля...— шепнул швейцар.
- Я уже дал два.
- А вы еще дайте.

Волдырев вернулся к столу и положил на раскрытую книгу зеленую бумажку.

Чиновник снова потянул к себе книгу и занялся перелистыванием и вдруг, как бы нечаянно, поднял глаза на Волдырева. Нос его залоснился, покраснел и поморщился улыбкой.

— Ах... что вам угодно? — спросил он.

— Я хотел бы навести справку относительно моего дела... Я Волдырев.

— Очень приятно-с! По гугулинскому делу-с? Очень хорошо-с! Так вам что же, собственно говоря?

Волдырев изложил ему свою просьбу.

Чиновник ожил, точно его подхватил вихрь. Он дал справку, распорядился, чтобы написали копию, подал просящему стул — и все это в одно мгновение. Он даже поговорил о погоде и спросил насчет урожая. И когда Волдырев уходил, он провожал его вниз по лестнице, приветливо и почтительно улыбаясь и делая вид, что он каждую минуту готов перед просителем пасть ниц. Волдыреву почему-то стало неловко, и, повинувшись какому-то внутреннему влечению, он достал из кармана рублевку и подал ее чиновнику. А тот все кланялся, и улыбался, и принял рублевку, как фокусник, так что она только промелькнула в воздухе...

«Ну, люди...» — подумал помещик, выйдя на улицу, остановился и вытер лоб платком.

ОТСТАВНОЙ РАБ

— Наша речка извивалась змейкой, словно зигзага... Бежала она по полю изгибами, вертикулясами этакими, как поломанная... Когда, бывало, на гору взлезешь и вниз посмотришь, то всю ее, как на ладонке, видать. Днем она как зеркало, а ночью ртутью отливает. По бережку камыш стоит и в воду поглядывает... Красота! Тут камыш, там ивнячок, а там вербы...

Так расписывал Никифор Филимоныч, сидя в портерной за столиком и глотая пиво. Говорил он с увлечением, с жаром... Его морщинистое, бритое лицо и коричневая шея вздрагивали и подергивались судорогой всякий раз, когда он подчеркивал в своем рассказе какое-либо особенно поэтическое место. Слушала его хорошенькая шестнадцатилетняя сиделица Таня. Лежа грудью на прилавке и подперев голову кулаками, она, изумляясь, бледнея и не мигая глазами, восторженно ловила каждое слово.

Никифор Филимоныч каждый вечер бывал в портерной и беседовал с Таней. Любил он ее за сиротство и тихую ласковость, которою залито было все ее бледное, остроглазое лицо. А кого он любил, тому отдавал все тайны своего прошлого. Начинал он беседы обыкновенно с самого начала — с описания природы. С природы переходил он на охоту, с охоты — на личность покойного барина, князя Свинцова.

— Знаменитый был человек! — рассказывал он про князя. — Славен он был не столько богатством и широтою земель, сколько характером. Он был донжуан-с.

— А что значит донжуан?

— Это обозначает, что он до женского пола большой донжуан был. Любил вашего брата. Все свое состояние на женский пол провалил. Да-с... А когда мы в Москве жили, у нас в грандатеде почти весь верхний этаж на наши средства существовал. В Петербурге мы с баронессой фон Туссих большие связи имели и дитятю прижили. Баронесса эта самая в одну ночь все свое состояние в штосс проиграла и руки на себя наложить хотела, а князь не дал ей жизнь прикончить. Красивая была, молодая такая... Год с ним попуталась и померла... А как женщины любили его, Танечка! Как любили! Жить без него не могли!

— Он был красив?

— Какой... Старый был, некрасивый... Вот и вы бы, Танечка, ему понравились... Он любил таких худеньких, бледненьких... Вы не конфузьтесь. Чего конфузиться? Не врал я во веки веков и теперь не вру-с...

Потом Никифор Филимоныч принимался за описание экипажей, лошадей, нарядов... Во всем этом он знал толк. Потом начинал перечислять вина.

— А есть такие вина, что четвертную за бутылку стоит. Выпьешь ты рюмку, а у тебя в животе делается, словно ты от радости помер...

Тане более всего нравилось описание тихих лунных ночей... Летом шумная оргия в зелени, среди цветов, и зимой — в санях с теплой полостью, в санях, которые летят, как молния.

— Летят санки-с, а вам кажется, что луна бежит... Чудно-с!

Долго рассказывал таким образом Никифор Филимоныч. Оканчивал он, когда мальчишка тушил над дверью фонарь и вносил в портерную дверную вывеску.

В один зимний вечер Никифор Филимоныч лежал пьяный под забором и простудился. Его свезли в

больницу. Выписавшись через месяц из больницы, он уже не нашел в портерной своей слушательницы. Она исчезла.

Через полтора года шел Никифор Филимоныч в Москве по Тверской и продавал поношенное летнее пальто. Ему встретилась его любимица, Таня. Она, набеленная, расфранченная, в шляпе с отчаянно загнутыми полями, шла под руку с каким-то господином в цилиндре и чему-то громко хохотала... Старик поглядел на нее, узнал, проводил глазами и медленно снял шапку. По его лицу пробежало умиление, на глазах сверкнула слезинка.

— Ну, дай бог ей...— прошептал он.— Она хорошая.

И, надевши шапку, он тихо засмеялся.

ДУРА, ИЛИ КАПИТАН В ОТСТАВКЕ

Сценка из несуществующего водевиля

Свадебный сезон. *Отставной капитан Соусов* (сидит на клеенчатом диване, поджав под себя одну ногу и держась обеими руками за другую. Говорит и покачивается). *Сваха Лукинишна* (расплывшаяся старуха с глупым, но добродушным лицом, помещается в стороне на табурете. На лице выражение ужаса, смешанного с удивлением. В профиль похожа на улитку, en face¹ — на черного таракана. Говорит с подбострастием и после каждого слова икает).

Капитан. Впрочем, ежели взглянуть на это с точки зрения, то Иван Николаич поступил весьма существенно. Он хорошо сделал, что женился. Будь ты хоть профессор, хоть гений, а ежели ты не женат, то ты и гроша медного не стоишь. Ни ценза в тебе, ни общественного мнения... Кто не женат, тот не может иметь в обществе настоящий вес... Возьмем хоть меня для примера... Я человек образованного класса, домовладелец, при деньгах... Чин тоже вот... и орден, а что с меня толку? Кто я, ежели взглянуть на меня с точки зрения? Бобыль... Синоним какой-то, и больше ничего. (Задумывается.) Все женаты, у всех есть деточки, один только я... как в романсе этом... (Поет тенором печальный романс.) Так вот и в моей жизни... Хоть бы какую завалиющую невесту!

Лукинишна. Зачем завалиющую? За тебя, батюшка, и не завалиющая пойдет. При твоём благородстве

¹ спереди (франц.).

и, можно сказать, при твоих таких качествах за тебя любая пойдет, и с деньгами...

Капитан. С деньгами мне не нужно. Я не позволю себе сделать такой подлости, чтоб на деньгах жениться. Я сам имею деньги и желаю, чтоб не я женин хлеб ел, а чтоб она мой. Ежели бедную возьмешь, то она будет чувствовать, понимать... Во мне нет настолько эгоизма, чтоб я из-за интереса...

Лукинишна. Оно, действительно, батюшка... Иная бедная покрасивей богачки будет...

Капитан. И красоты мне тоже не надо. К чему она? С лица воды не пить. Красота должна быть не в естестве, а в душе... Мне нужны доброта, кротость, невинность этакая... Я желаю, чтоб жена меня уважала, почитала...

Лукинишна. Гм... Как же ей тебя не почитать, ежели ты для нее законный супруг есть? Образование в ней нет, что ли?

Капитан. Постой, не перебивай. И образованной мне тоже не нужно. Без образования нынче нельзя, это конечно, но образование разное бывает. Приятно, ежели жена по-французски и по-немецки, на разные голоса там, очень приятно; но что из этого толку, ежели она не умеет тебе пуговицы, положим, пришить? Я образованного класса, принят везде, с князем Канителиным, могу сказать, все одно, как вот с тобой теперь, но я имею простой характер. Мне нужна простая девушка. Ума мне не нужно. Ум в мужчине имеет вес, а женское существо может и без ума обойтись.

Лукинишна. Это верно, батюшка. Про умных нынче и в газетах писано, что они не годятся.

Капитан. Дура и любить тебя будет, и почитать, и чувствовать, какого я звания человек. Страх в ней будет. А умная будет хлеб твой кушать, но чувствовать она не будет, чей это хлеб. Дуру мне и ищи... Так и знай: дуру. Есть у тебя такая на примете?

Лукинишна. Разные есть на примете. (Задумывается.) Какую же тебе? Дур-то много, да всё умные дуры... У кажинной дуры свой ум... Тебе совсем

дуру? (Думает.) Есть у меня одна дурочка, да не знаю, пондравится ли... Купеческого она звания и тысяч пять приданого... Собой не то чтобы не красива,— а так — ни то ни се... худенькая, тонюсенькая... Ласковая, деликатная... Доброты страсть сколько! Последнее отдаст, ежели кто попросит... Ну, и кроткая... Мать ее за волосы, а она хоть бы тебе пискнула — ни словечка! И страх в ней от родителей вложен, и в церковь ее водят, и в хозяйстве, ежели что... Но это самое... (Водит пальцем около лба.) Не осуди ты меня, грешницу, за мои осуждения, а истинное мое тебе слово, как перед богом: не в себе она! Дура!.. Молчит, молчит, как убитая молчит... Сидит, молчит, да вдруг ни с того ни с сего — прыг! Словно ты ее кипятком ошпарил. Вскочит со стула, как угорелая, и давай молотить... Мелет, мелет... Без конца-краю мелет... И родители у нее дураки тогда выйдут, и пища не такая, и слова не такие ей говорят. И жить будто ей не с кем, и жизнь-то ее будто заели... «Понять, говорит, вы меня не можете...» Дура девка! Сватался за нее купец Кашалотов — отказала ведь! Засмеялась ему в лицо, и только... Богатый купец, красивый, алигантный, словно молоденький офицерик. А то, бывает, возьмет какую ни на есть дурацкую книжку, пойдет в чулан и давай читать...

Капитан. Ну, эта дура не подходит мне под категорию... Другую поищи... (Встает и глядит на часы.) А пока бонжур! Мне идти пора... Пойду по своей холостой части...

Лукинишна. Иди, батюшка! Скатертью дорожка! (Встает.) В субботу ввечеру зайду касательно невесты... (Идет к двери.) Ну, а тово... по холостой части тебе не требуется?

Дочери действительного статского советника Брындина, Кити и Зина, катались по Невскому в ландо. С ними каталась и их кузина Марфуша, маленькая, шестнадцатилетняя провинциалка-помещица, приехавшая на днях в Питер погостить у знатной родни и поглядеть на «достопримечательности». Рядом с нею сидел барон Дронкель, свежевывымытый и слишком заметно вычищенный человек в синем пальто и синей шляпе. Сестры катались и искоса поглядывали на свою кузину. Кузина и смешила и компрометировала их. Наивная девочка, отродясь не ездившая в ландо и не слышавшая столичного шума, с любопытством рассматривала обивку в экипаже, лакейскую шляпу с галунами, вскрикивала при каждой встрече с вагоном конножелезки... А ее вопросы были еще наивнее и смешнее...

— Сколько получает жалованья ваш Порфирий? — спросила она между прочим, кивнув на лакея.

— Кажется, сорок в месяц...

— Не-уже-ли? Мой брат Сережа, учитель, получает только тридцать! Неужели у вас в Петербурге так дорого ценится труд?

— Не задавайте, Марфуша, таких вопросов, — сказала Зина, — и не глядите по сторонам. Это неприлично. А вон поглядите, — поглядите искоса, а то неприлично, — какой смешной офицер! Ха-ха! Точно

уксусу выпил! Вы, барон, бываете таким, когда ухаживаете за Амфиладовой.

— Вам, mesdames¹, смешно и весело, а меня терзает совесть,— сказал барон.— Сегодня у наших служащих панихида по Тургеневе, а я, по вашей милости, не поехал. Неловко, знаете ли... Комедия, а все-таки следовало бы поехать, показать свое сочувствие... идеям... Mesdames, скажите мне откровенно, приложу руку к сердцу, нравится вам Тургенев?

— О да... понятно! Тургенев ведь...

— Подите же вот... Всем, кого ни спрошу, нравится, а мне... не понимаю! Или у меня мозга нет или же я такой отчаянный скептик, но мне кажется преувеличенной, если не смешной, вся эта галиматья, поднятая из-за Тургенева! Писатель он, не стану отрицать, хороший... Пишет гладко, слог местами даже боек, юмор есть, но... ничего особенного... Пишет, как и все русские писаки... Как и Григорьевич, как и Краевский... Взял я вчера нарочно из библиотеки «Заметки охотника», прочел от доски до доски и не нашел решительно ничего особенного... Ни самосознания, ни про свободу печати... никакой идеи! А про охоту так и вовсе ничего нет. Написано, впрочем, недурно!

— Очень даже недурно! Он очень хороший писатель! А как он про любовь писал! — вздохнула Кити.— Лучше всех!

— Хорошо писал про любовь, но есть и лучше. Жан Ришпен, например. Что за прелесть! Вы читали его «Клейкую»? Другое дело! Вы читаете и чувствуете, как все это на самом деле бывает! А Тургенев... что он написал? Идеи всё... но какие в России идеи? Всё с иностранной почвы! Ничего оригинального, ничего самородного!

— А природу как он описывал!

— Не люблю я читать описания природы. Тянет, тянет... «Солнце зашло... Птицы запели... Лес шелестит...» Я всегда пропускаю эти прелести. Тургенев хороший писатель, я не отрицаю, но не признаю за

¹ сударыни (франц.).

ним способности творить чудеса, как о нем кричат. Дал будто толчок к самосознанию, какую-то там политическую совесть в русском народе ушипнул за живое... Не вижу всего этого... Не понимаю...

— А вы читали его «Обломова»? — спросила Зина.— Там он против крепостного права!

— Верно... Но ведь и я же против крепостного права! Так и про меня кричать?

— Попросите его, чтоб он замолчал! Ради бога! — шепнула Марфуша Зине.

Зина удивленно поглядела на наивную, робкую девочку. Глаза провинциалки беспокойно бегали по ландо, с лица на лицо, светились нехорошим чувством и, казалось, искали, на кого бы излить свою ненависть и презрение. Губы ее дрожали от гнева.

— Неприлично, Марфуша! — шепнула Зина.— У вас слезы!

— Говорят также, что он имел большое влияние на развитие нашего общества,— продолжал барон.— Откуда это видно? Не вижу этого влияния, грешный человек. На меня по крайней мере он не имел ни малейшего влияния.

Ландо остановилось возле подъезда Брындиных.

Время было близко к ночи.

В кабаке дяди Тихона сидела компания извозчиков и богомольцев. Их загнал в кабак осенний ливень и неистовый мокрый ветер, хлеставший по лицам, как плётью. Промокшие и уставшие путники сидели у стен на скамьях и, прислушиваясь к ветру, дремали. На лицах была написана скука. У одного извозчика, малого с рябым, исцарапанным лицом, лежала на коленях мокрая гармонийка: играл и машинально перестал.

Над дверью, вокруг тусклого, засаленного фонарика, летали дождевые брызги. Ветер выл волком, визжал и, видимо, старался сорвать с петель кабацкую дверь. Со двора слышалось фырканье лошадей и шлепанье по грязи. Было сыро и холодно.

За прилавком сидел сам дядя Тихон, высокий, мордастый мужик с сонными, заплывшими глазками. Перед ним, по сю сторону прилавка, стоял человек лет сорока, одетый грязно, больше чем дешево, но интеллигентно. На нем было помятое, вымоченное в грязи летнее пальто, сарпинковые брюки и резиновые калоши на босую ногу. Голова, руки, заложенные в карманы, и худые, колючие локти его тряслись как в лихорадке. Изредка по всему исхудалому телу, начиная с страшно испитого лица и кончая резиновыми калошами, пробегала легкая судорога.

— Дай, Христа ради! — просил он Тихона разбитым, дребезжащим тенором.— Рюмочку... вот эту, маленькую. В долг ведь!

— Ладно... Много вас шляется тут, прохвостов!

Прохвост поглядел на Тихона с презрением, с ненавистью. Он убил бы его, если б можно было!

— Пойми ты, дура ты этакая, невежа! Не я прошу, нутро, выражаясь по-твоему, по-мужицкому, просит! Болезнь моя просит! Пойми!

— Нечего нам понимать... Отходи...

— Ведь если я не выпью сейчас, пойми ты это, если я не удовлетворю своей страсти, то я могу преступление совершить! Я бог знает что могу сделать! Видал ты, хам, на своем кабацком веку много пьяного люда; неужели же до сих пор ты не сумел уяснить себе, что это за люди? Это больные! На цепь их посади, бей, режь, а водки дай! Ну, покорнейше прошу! Сделай милость! Унижаюсь... Боже мой, как я унижаюсь!

Прохвост покачал головой и медленно сплюнул.

— Деньги давай, тогда и водка будет! — сказал Тихон.

— Где же мне взять денег! Все пропито! Все дотла! Пальто вот одно только осталось. Его дать тебе не могу, потому что оно на голом теле... Хочешь шапку?

Прохвост подал Тихону свою драповую шапочку, из которой кое-где выглядывала вата. Тихон взял шапку, оглядел ее и отрицательно покачал головой.

— И даром не надо... — сказал он.— Навоз...

— Не нравится? Ну, так в долг дай, ежели не нравится. Буду идти из города обратно, занесу тебе твой пятак. Подавись ты тогда этим пятаком! Подавись!

— Какой такой ты жулик? Что за человек? Зачем пришел?

— Выпить хочу. Не я хочу, болезнь моя хочет! Пойми!

— Чего беспокоишь? Много вас, шельмованных, по большой дороге шатается! Ступай вон проси православных, пушай угощают тебя Христа ради, коли

желают, а я Христа ради только хлеб подаю. Сво-
лочь!

— Дери ты с них, бедняков, а я уж... извини! Не
мне их обирать! Не мне!

Прохвост вдруг оборвал свою речь, покраснел и
обратился к богомольцам:

— А ведь это идея, православные! Пожертвуйте
пятачишку! Нутро просит! Болен!

— Водицы выпей,— усмехнулся малый с рябым
лицом.

Прохвосту стало совестно. Он закашлялся и
умолк. Через минуту он опять умолял Тихона. В кон-
це концов он заплакал и стал предлагать за рюмку
водки свое мокрое пальто. В темноте не увидели его
слез, а пальто не приняли, потому что в кабаке были
богомолки, которые не пожелали видеть мужскую на-
готу.

— Что же мне теперь делать? — спросил тихо
прохвост голосом, полным отчаяния.— Что же де-
лать? Не выпить мне нельзя. Иначе я преступление
совершу или на самоубийство решусь... Что же де-
лать?

Он прошелся по кабаку.

Подъехал со звонками почтовый тарантас. Мок-
рый почтальон вошел в кабак, выпил стакан водки и
вышел. Почта поехала дальше.

— Я тебе дам одну золотую вещь,— обратился
прохвост к Тихону, ставши вдруг бледным как по-
лотно.— Изволь, я тебе дам. Так и быть... Хотя это
подло, мерзко с моей стороны, но возьми... Я делаю
эту гадость, будучи невменяем... И на суде бы меня
оправдали... Возьми, но только с условием: возвра-
тить мне потом, когда обратно пойду. Даю тебе при
свидетелях...

Прохвост полез мокрой рукой себе за пазуху и до-
стал оттуда маленький золотой медальон. Он рас-
крыл его и мельком взглянул на портрет.

— Надо бы портрет вынуть, да некуда мне его по-
ложить: я весь мокрый. Черт с тобой, грабь с портре-
том. Только с условием... Голубчик мой, до-
рогой... я прошу... Ты пальцами не трогай за это

лицо... Умоляю, голубчик! Ты извини меня за грубости, за то, что я с тобой грубо говорил... Я глуп... Не трогай пальцами и не гляди своими глазами на это лицо...

Тихон взял медальон, поглядел на пробу и положил его к себе в карман.

— Краденые часики,— сказал он, наливая стакан.— Ну, ладно... Пей...

Пьяница взял в руки стакан, сверкнул на него глазами, насколько хватило силы сверкнуть у его пьяных, мутных глаз, и выпил... выпил с чувством, с судорожной расстановкой. Пропив медальон с портретом, он стыдливо опустил глаза и пошел в угол. Там он примостился на скамье возле богомолки, съелся и закрыл глаза.

Прошло полчаса в тишине и безмолвии. Шумел только ветер, напевая в трубе свою осеннюю рапсодию. Богомолки стали молиться богу и бесшумно располагаться под скамьями на ночлег. Тихон раскрыл медальон и загляделся на женскую головку, улыбающуюся из золотой рамочки кабаку, Тихону, бутылкам.

На дворе скрипнула телега. Послышалось «тпррр» и шлепанье по грязи... В кабак вбежал маленький мужичонок в длинном тулупе и с острой бородой. Он был мокр и грязен.

— Ну-кося! — крикнул он, стуча пятак о прилавок.— Стакан мадеры настоящей! Наливай!

И, ухарски повернувшись на одной ноге, он окинул взглядом всю компанию.

— Растаяли сахарные, тетка ваша подкурятина! Дождя испужались, ахиды! Нежные! А это что за изюмина?

Мужичонок прыгнул к прохвосту и поглядел ему в лицо.

— Вот туды! Барин! — сказал он.— Семен Сергеич! Господа наши! А? С какой такой стати вы в этом кабаке прохладаетесь? Нешто вам здесь место? Эх... мученик несчастный!

Барин взглянул на мужичонка и закрылся рукавом. Мужичонок вздохнул, покачал головой, отчаян-

но махнул обеими руками и пошел к прилавку пить водку.

— Это наш барин,— шепнул он Тихону, кивнув на прохвоста.— Наш помещик, Семен Сергеич. Видал, каков? На какого человека похож теперь? А? То-то вот... пьянство до какой степени...

Выпив водку, мужичонок вытер рукавом губы и продолжал:

— Я из его деревни. За четыреста верст отседа, из Ахтиловки... Крепостными у его отца были... Этакая жалость, брат! Этакая жалость! Славный такой господин был... Вон она, лошадка-то на дворе! Видишь? Это он мне на лошадку дал! Ха-ха! Судьба!

Через десять минут вокруг мужичонка сидели извозчики и богомольцы. Тихим, нервным тенорком, под шумок осени, рассказывал он им повесть. Семен Сергеич сидел в том же углу, закрыв глаза и бормоча. Он тоже слушал.

— Все это из-за одного малодушества вышло,— рассказывал мужичонок, двигаясь и жестикулируя руками.— С жиру... Господин он был богатый, большой, на всю, значит, губернию... Ешь, пей — не хочу! Сами небось видали... Сколько разов тут в коляске мимо этого самого кабака проезжал. Богатый был... Помню, лет пять тому назад едет через Микишкинский паром и вместо пятака рупь выкидывает... Из-за пустяшного предмета разоренье его началось. Первое дело — из-за бабы. Полюбил он, сердешный, одну городскую... Пуще жизни. Полюбилась ворона пуще ясна сокола... Марьей Егоровной, подлая, прозывалась, а фамилия такая чудная, что и не выразишь. Полюбил и посватался, стало быть, как это побожецки требуется. А она, известно, согласие дала, потому — барин он не из пустяшных, тверезый и при деньгах... Прохожу я однажды вечером, помню это, через ихний сад; смотрю, а они сидят на лавочке и друг дружку целуют. Он ее раз, она, змея, его — два. Он ее за белу ручку, а она — вспых! так и жметя к ему, чтоб ей шут!.. Люблю, говорит, тебя, Сеня... А Сеня, как окаянный человек, ходит везде и счастье

ем похваляется сдуру... Тому рупь, тому два... Мне вот на лошадь дал... Всем нам долги простил на радостях. Подошло дело к свадьбе... Повенчались, как следует... В самый раз, когда господам за ужин садиться, она возьми да и убеги в карете... В город к аблакату бежала, к полюбовнику. После венца-то, шкура! А? В самый настоящий момент! А? Очумел с той поры, запил... Вот как видишь... Ходит, как шальной, и об ней, шкуре, думает. Любит! Должно, идет теперь пешком в город на нее одним глазочком взглянуть... Второе дело, братцы, откуда разоренье пошло — зять, сестрин муж... Вздумал он за зятя в банковом обчестве поручиться... тысяч на тридцать... Зять, известно, знает, шельма, свою пользу и ухом своим собачьим не ведет, а с нашего взяли все тридцать тысяч... Глупый человек за глупость и муки терпит... Жена со своим аблакатом детей прижила, зять около Полтавы именье купил, а наш ходит, как дурак, по кабакам да к нашему брату мужику с жалобой лезет: «Потерял я, братцы, веру! Не в кого мне теперь, это самое, верить!» Малодушество! У всякого человека свое горе бывает, так и пить, значит? Вот у нас, к примеру взять, старшина. Жена к себе учителя среди бела дня водит, мужнины деньги на хмель изводит, а старшина ходит себе да усмешки на лице делает... Поосунулся только малость...

— Кому какую бог силу дал...— вздохнул Тихон.

— Сила разная бывает — это правильно.

Долго мужичонок рассказывал... Когда он кончил, воцарилась в кабаке тишина.

— Эй, ты... как вас?.. несчастный человек! Иди, выпей! — сказал Тихон, обращаясь к барину.

Барин подошел к прилавку и с наслаждением выпил милостыню...

— Дай мне на минутку медальон! — шепнул он Тихону.— Посмотрю только и... отдам...

Тихон нахмурился и молча отдал ему медальон. Малый с рябым лицом вздохнул, покрутил головой и потребовал водки.

— Выпей, барин! Эх! Без водки хорошо, а с водкой еще лучше! При водке и горе не горе! Валяй!

Выпив пять стаканов, барин отправился в угол, раскрыл медальон и пьяными, мутными глазами стал искать дорогое лицо... Но лица уже не было... Оно было выцарапано из медальона ногтями добродетельного Тихона.

Фонарь вспыхнул и потух. В углу скороговоркой забредила богомолка. Малый с рябым лицом вслух помолился богу и растянулся на прилавке. Кто-то еще подъехал... А дождь лил и лил... Холод становился все сильнее и сильнее, и казалось, конца не будет этой подлой, темной осени. Барин впивался глазами в медальон и все искал женское лицо... Тухла свеча.

Весна, где ты?

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флердоранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.

— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого. — Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

— Батюшки! — изумился тонкий. — Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.

— Милый мой! — начал тонкий после лобызания. — Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ван-

ценбах... лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!

Нафанаил немного подумал и снял шапку.

— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий. — Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.

— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга. — Служишь где? Дослужился?

— Служу, милый мой! Коллежским ассессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось уже статский? А?

— Нет, милый мой, поднимай повыше, — сказал толстый. — Я уже до тайного дослужился... Две звезды имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фронт и застегнул все пуговицы своего мундира...

— Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

— Ну, полно! — поморщился толстый.— Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочитание!

— Помилуйте... Что вы-с...— захихикал тонкий, еще более съеживаясь.— Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «Хи-хи-хи». Жена улынулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.

ТРАГИК

Был бенефис трагика Феногенова.

Давали «Князя Серебряного». Сам бенефициант играл Вяземского, антрепренер Лимонадов — Дружину Морозова, г-жа Беобахтова — Елену... Спектакль вышел на славу. Трагик делал буквально чудеса. Он похищал Елену одной рукой и держал ее выше головы, когда проносил через сцену. Он кричал, шипел, стучал ногами, рвал у себя на груди кафтан. Отказываясь от поединка с Морозовым, он трясся всем телом, как в действительности никогда не трясутся, и с шумом задыхался. Театр дрожал от аплодисментов. Вызовам не было конца. Феногенову поднесли серебряный портсигар и букет с длинными лентами. Дамы махали платками, заставляли мужчин аплодировать, многие плакали... Но более всех восторгалась игрой и волновалась дочь исправника Сидорецкого, Маша. Она сидела в первом ряду кресел, рядом со своим папашей, не отрывала глаз от сцены даже в антрактах и была в полном восторге. Ее тоненькие ручки и ножки дрожали, глазки были полны слез, лицо становилось все бледней и бледней. И немудрено: она была в театре первый раз в жизни!

— Как хорошо они представляют! Как отлично! — обращалась она к своему папаше-исправнику всякий раз, когда опускался занавес. — Как хорош Феногенов!

И если бы папаша мог читать на лицах, он прочел бы на бледном личике своей дочки восторг, доходящий до страдания. Она страдала и от игры, и от пьесы, и от обстановки. Когда в антракте полковой оркестр начинал играть свою музыку, она в изнеможении закрывала глаза.

— Папа! — обратилась она к отцу в последнем антракте. — Пойди на сцену и скажи им всем, чтобы приходили к нам завтра обедать!

Исправник пошел за сцену, похвалил там всех за хорошую игру и сказал г-же Беобахтовой комплимент:

— Ваше красивое лицо просится на полотно. О, зачем я не владею кистью!

И шаркнул ногой, потом пригласил артистов к себе на обед.

— Все приходите, кроме женского пола, — шепнул он. — Актрис не надо, потому что у меня дочка.

На другой день у исправника обедали артисты. Пришли только антрепренер Лимонадов, трагик Феногенов и комик Водолазов; остальные сослались на недосуг и не пришли. Обед прошел скучно. Лимонадов все время уверял исправника, что он его уважает и вообще чтит всякое начальство, Водолазов представлял пьяных купцов и армян, а Феногенов, высокий, плотный малоросс (в паспорте он назывался Кныш) с черными глазами и нахмуренным лбом, продекламировал «У парадного подъезда» и «Быть или не быть?». Лимонадов со слезами на глазах рассказал о свидании своем с бывшим губернатором, генералом Канючиным. Исправник слушал, скучал и благодушно улыбался. Несмотря даже на то, что от Лимонадова сильно пахло жжеными перьями, а на Феногенове был чужой фрак и сапоги с кривыми каблуками, он был доволен. Они нравились его дочке, веселили ее, и этого ему было достаточно! А Маша глядела на артистов, не отрывала от них глаз ни на минуту. Никогда ранее она не видала таких умных, необыкновенных людей!

Вечером исправник и Маша опять были в театре. Через неделю артисты опять обедали у начальства, и с этого раза стали почти каждый день приходиться в дом исправника то обедать, то ужинать, и Маша еще сильнее привязалась к театру и стала бывать в нем ежедневно.

Она влюбилась в трагика Феногенова. В одно прекрасное утро, когда исправник ездил встречать архиерея, она бежала с труппой Лимонадова и на пути повенчалась со своим возлюбленным. Отпраздновав свадьбу, артисты сочинили длинное, чувствительное письмо и отправили его к исправнику. Сочиняли все разом.

— Ты ему мотивы, мотивы ты ему! — говорил Лимонадов, диктуя Водолазову. — Почтения ему подпусти... Они, чинодралы, любят это. Надбавь чего-нибудь этакого... чтоб прослезился...

Ответ на это письмо был самый неутешительный. Исправник отрекался от дочери, вышедшей, как он писал, «за глупого, праздношатающегося хохла, не имеющего определенных занятий».

И на другой день после того, как пришел этот ответ, Маша писала своему отцу:

«Папа, он бьет меня! Прости нас!»

Он бил ее, бил за кулисами в присутствии Лимонадова, прачки и двух ламповщиков! Он помнил, как за четыре дня до свадьбы, вечером, сидел он со всей труппой в трактире «Лондон»; все говорили о Маше, труппа советовала ему «рискнуть», а Лимонадов убеждал со слезами на глазах:

— Глупо и нерационально отказываться от такого случая! Да ведь за этакие деньги не то что жениться, в Сибирь пойти можно! Женишься, построишь свой собственный театр, и бери меня тогда к себе в труппу. Не я уж тогда владыка, а ты владыка.

Феногенов помнил об этом и теперь бормотал, сжимая кулаки:

— Если он не пришлет денег, так я из нее щепы нащеплю. Я не позволю себя обманывать, черт меня раздери!

Из одного губернского города труппа хотела уехать тайком от Маши, но Маша узнала и прибежала на вокзал после второго звонка, когда актеры уже сидели в вагонах.

— Я оскорблен вашим отцом! — сказал ей трагик. — Между нами все кончено!

А она, несмотря на то что в вагоне был народ, согнула свои маленькие ножки, стала перед ним на колени и протянула с мольбой руки.

— Я люблю вас! — просила она. — Не гоните меня, Кондратий Иванович! Я не могу жить без вас!

Вняли ее мольбам и, посоветовавшись, приняли ее в труппу на амплуа «сплошной графини», — так называли маленьких актрис, выходивших на сцену обыкновенно толпой и игравших роли без речей... Сначала Маша играла горничных и пажей, но потом, когда г-жа Беобахтова, цвет лимонадовской труппы, бежала, то ее сделали ingénue¹. Играла она плохо: сюсюкала, конфузилась. Скоро, впрочем, привыкла и стала нравиться публике. Феногенов был очень недоволен.

— Разве это актриса? — говорил он. — Ни фигуры, ни манер, а так только... одна глупость...

В одном губерском городе труппа Лимонадова давала «Разбойников» Шиллера. Феногенов изображал Франца, Маша — Амалию. Трагик кричал и трясся, Маша читала свою роль, как хорошо заученный урок, и пьеса сошла бы, как сходят вообще пьесы, если бы не случился маленький скандал. Все шло благополучно до того места в пьесе, где Франц объясняется в любви Амалии, а она хватает его шпагу. Малоросс прокричал, прошипел, затрясся и сжал в своих железных объятиях Машу. А Маша, вместо того чтобы отпихнуть его, крикнуть ему «прочь!», задрожала в его объятиях, как птичка, и не двигалась... Она точно застыла.

— Пожалейте меня! — прошептала она ему на ухо. — О, пожалейте меня! Я так несчастна!

¹ инженерю — актриса, исполняющая роли наивной девушки (франц.).

— Роли не знаешь! Суфлера слушай! — прошипел трагик и сунул ей в руки шпагу.

После спектакля Лимонадов и Феногенов сидели в кассе и вели беседу.

— Жена твоя ролей не учит, это ты правильно...— говорил антрепренер.— Функции своей не знает... У всякого человека есть своя функция... Так вот она ее-то не знает...

Феногенов слушал, вздыхал и хмурился, хмурился...

На другой день утром Маша сидела в мелочной лавочке и писала:

«Папа, он бьет меня! Прости нас! Вышли нам денег!»

ДОЧЬ КОММЕРЦИИ СОВЕТНИКА

Р о м а н

Коммерции советник Механизмов имеет трех дочерей: Зину, Машу и Сашу. За каждой из них положено в банк по сто тысяч приданого. Впрочем, не в этом дело.

Саша и Маша особенного из себя ничего не представляют. Они отлично пляшут, вышивают, вспыхивают, мечтают, любят поручиков — и больше, кажется, ничего; но зато старшая, Зина, принадлежит к числу редких, недюжинных натур. Легче встретиться на жизненном пути с непьющим репортером, чем с этойкой натурой.

Были именины Саши. Мы, соседи-помещики, нарядились в лучшие одежды, запрягли лучших коней и поехали с поздравлениями в имение Механизмова. Лет двадцать тому назад на месте этого имения стоял кабак. Кабак рос, рос и вырос в прекраснейшую ферму с садами, прудами, фонтанами и бульдогообразными лакеями. Приехав и поздравив, мы тотчас же сели обедать. Подали суп жульен. Перед жульен мы выпили по две рюмки и закусили.

— Не выпить ли нам по третьей? — предложил Механизмов. — Бог троицу любит и твою... трес хвацунт консыллиум...¹ Латынь, братцы! Яшка, подай-ка,

¹ трое составляют совет (искаж. лат.— *trias faciunt consilium*).

свиная твоя морда, с того стола селедочку! Господа дворяне, ну-кося! Без церемониев! Митрий Петрыч, же ву при але машер!¹

— Ах, папа! — заметила Маша. — Зачем же ты пристаешь? Ты точно купец Водянкин... с угощениями.

— Знаю, что говорю! Твое дело — зась! Это я только при гостях позволяю им на себя тыкать! — зашептал мне через стол Механизмов. — Для цивилизации! А без гостей — ни-ни!

— Из хама не выйдет пана! — вздохнул сидевший рядом со мной генерал с лентой. — Свиной был, свинья и есть...

Механизмов мало-помалу напился, вспомнил свою кабацкую старину и задурил. Он икал, брался говорить по-французски, сквернословил...

— Перестань! — заметил ему его друг генерал. — Всякому безобразию есть свое приличье! Какой же ты... братец!

— Безображу не за твои деньги, а за свои! Сам «Льва и Солнца» имею! Господа, а сколько вы с меня взяли, чтоб меня в почетные мировые произвести?

На одном конце стола отчаянно заворочался и треснул чей-то стул. Мы поглядели по направлению треска и увидели два больших черных глаза, метавших молнии и искры на Механизмова. Эти два глаза принадлежали Зине, высокой, стройной брUNETке, затянутой во все черное. По ее бледному лицу бегали розовые пятна, а в каждом пятне сидела злоба.

— Прошу тебя, отец, перестать! — сказала Зина. — Я не люблю шутов!

Механизмов робко взглянул на ее глаза, завертелся, выпил залпом стакан коньяку и умолк.

«Эге! — подумали мы. — Эта не Саша и не Маша... С этой нельзя шутить... Натура недюжинная... Тово-с...»

И я залюбовался разгневанным лицом. Признаюсь, я и ранее был равнодушен к Зине. Она прекрасна, глядит, как Диана, и вечно молчит. А вечно молчащая дева, сами знаете, носит в себе столько тайн! Это

¹ прошу вас, дорогой, начинайте! (Искаж. франц. — je vous pris, allez, ma chère.)

бутыль с неизвестного рода жидкостью — выпил бы, да бойшься: а вдруг яд?

После обеда я подошел к Зине и, чтобы показать ей, что есть люди, которые понимают ее, заговорил о среде заедающей, о правде, труде, женской свободе. С женской свободы под влиянием «шефе»¹ переехал я на паспортную систему, денежный курс, женские курсы... Я говорил с жаром, с дрожью, раз десять порывался схватить ее за руку... Говорил, впрочем, искренно и складно, точно передовую статью вслух читал. А она слушала и глядела на меня. Глаза ее становились все шире и круглее... Щеки заметно побледнели под влиянием моей речи... Наконец в глазах ее почему-то мелькнул испуг.

— Неужели вы говорите все это искренно? — спросила она, почему-то млея от ужаса.

— Я... не искренно?! Вам? Мне... Да клянусь вам, что...

Она схватила меня за руку, нагнулась к моему лицу и, задыхаясь, прошептала:

— Будьте сегодня в десять часов вечера в мраморной беседке... Умоляю вас! Я вам все скажу! Все!

Прошептала и скрылась за дверь. Я замер...

«Полюбила! — подумал я, заглядывая на себя в зеркало. — Не устояла!»

Я — к чему скромничать? — обаятельный мужчина. Рослый, статный, с черной, как смоль, бородой... В голубых глазах и на смуглом лице выражение пережитого страдания. В каждом жесте сквозит разочарованность. И, кроме всего этого, я богат. (Состояние нажил я литературой.)

В десятом часу я уже сидел в беседке и умирал от ожидания. В моей голове и в груди шумела буря. В сладкой, мучительной истоме закрывал я глаза и во мраке своих орбит видел Зину... Рядом с ней во мраке торчала почему-то и одна ехидная картинка, виденная мной в каком-то журнале: высокая рожь, дамская шляпка, зонт, палка, цилиндр... Да не осудит читатель меня за эту картинку! Не у одного только меня такая

¹ навеселе (от *франц.* — *chauffé*).

клубничная душа. Я знаю одного поэта-лирика, который облизывается и причмокивает губами всякий раз, когда к нему, вдохновенному, является муза... Ежели поэт позволяет себе такие вольности, то нам, прозаикам, и подавно простительно.

Ровно в десять у дверей беседки показалась освещенная луной Зина. Я подскочил к ней и схватил ее за руку.

— Дорогая моя...— забормотал я.— Я люблю вас... Люблю бешено, страстно!

— Позвольте! — сказала она, садясь и медленно поворачивая ко мне свое бледное лицо.— Отстраните (sic!) ¹ вашу руку!

Это было сказано так торжественно, что быстро один за другим повыскакивали из моей головы и цилиндр, и палка, и женская шляпка, и рожь...

— Вы говорите, что вы меня любите... Вы тоже мне нравитесь. Я могу выйти за вас замуж, но прежде всего я должна спасти вас, несчастный. Вы на краю гибели. Ваши убеждения губят вас! Неужели, несчастный, вы этого не видите? И неужели вы смеете думать, что я соединю свою судьбу с человеком, у которого такие убеждения? Нет! Вы мне нравитесь, но я сумею пересилить свое чувство. Спасайтесь же, пока не поздно! На первый раз хоть вот... вот это прочтите! Прочтите, и вы увидите, как вы заблуждаетесь!

И она сунула в мою руку какую-то бумагу. Я зажег спичку и в своей бедной руке увидел прошлогодний номер «Гражданина». Минуту я сидел молча, неподвижно, потом вскочил и схватил себя за голову.

— Батюшки! — воскликнул я.— Одна во всем Лохмотьевском уезде недюжинная натура, да и та... и та дура! Боже мой!

Через десять минут я уже сидел в бричке и катил к себе домой.

¹ так! (лат.)

Я поборол свою робость и вошел в кабинет генерала Шмыгалова. Генерал сидел у стола и раскладывал пасьянс «каприз де дам».

— Что вам, милый мой? — спросил он меня ласково, кивнув на кресло.

— Я к вам, ваше-ство, по делу,— сказал я, садясь и неизвестно для чего застегивая свой сюртук.— Я к вам по делу, имеющему частный характер, не служебный. Я пришел просить у вас руки вашей племянницы Варвары Максимовны.

Генерал медленно повернул ко мне свое лицо, со вниманием поглядел на меня и уронил на пол карты. Он долго шевелил губами и выговорил:

— Вы... тово?.. Вы рехнулись, что ли? Вы рехнулись, я вас спрашиваю? Вы... осмеливаетесь? — прошипел он, багровея.— Вы осмеливаетесь, мальчишка, молокосос?! Осмеливаетеесь шутить... милостисдарь...

И, топнув ногою, Шмыгалов крикнул так громко, что даже дрогнули стекла:

— Встать!! Вы забываете, с кем вы говорите! Извольте-с убираться и не показываться мне на глаза! Извольте выйти! Вон-с!

— Но я хочу жениться, ваше превосходительство!

— Можете жениться в другом месте, но не у меня! Вы еще не доросли до моей племянницы, милостисдарь! Вы ей не пара! Ни ваше состояние, ни ваше общественное положение не дают вам права предлагать мне такое... предложение! С вашей стороны это дерзость!

Прощаю вам, мальчишка, и прошу вас больше меня не беспокоить!

— Гм... Вы уже пятерых женихов спровадили таким образом... Ну, шестого вам не удастся спроводить. Я знаю причину этих отказов. Вот что, ваше превосходительство... Даю вам честное и благородное слово, что, женившись на Варе, я не потребую от вас ни копейки из тех денег, которые вы растратили, будучи Вариным опекуном. Даю честное слово!

— Повторите, что вы сказали! — проговорил генерал каким-то неестественно-трескучим голосом, нагнувшись и подбежав ко мне рысцой, как раздраженный гусак. — Повтори! Повтори, негодяй!

Я повторил. Генерал побагровел и забегал.

— Этого еще недоставало! — задрезбезжал, он, бегая и поднимая вверх руки. — Недоставало еще, чтобы мои подчиненные наносили мне страшные, несмываемые оскорбления в моем же доме! Боже мой, до чего я дожил! Мне... дурно!

— Но уверяю вас, ваше превосходительство! Не только не потребую, но даже ни единым словом не намекну вам на то, что вы по слабости характера растратили Варини деньги! И Варе прикажу молчать! Честное слово! Чего же вы еще кипятитесь, комод ломаете? Не отдам под суд!

— Какой-нибудь мальчишка, молокосос... нищий... осмеливается говорить прямо в лицо такие мерзости! Извольте выйти, молодой человек, и помните, что я этого никогда не забуду! Вы меня страшно оскорбили! Впрочем... прощаю вам! Вы сказали эту дерзость по легкомыслию своему, по глупости... Ах, не извольте трогать у меня на столе своими пальцами, черт вас возьми! Не трогайте карт! Уходите, я занят!

— Я ничего не трогаю! Что вы выдумываете? Я даю честное слово, генерал! Даю слово, что даже не намекну! И Варе запрешу требовать с вас! Что же вам еще нужно? Чудак вы, ей-богу... Растратили вы десять тысяч, оставленные ее отцом... Ну что ж? Десять тысяч не велики деньги... Можно простить...

— Я ничего не растрачивал... да-с! Я вам сейчас докажу! Сейчас вот... Я докажу!

Генерал дрожащими руками выдвинул из стола ящик, вынул оттуда кипу каких-то бумаг и, красный как рак, начал перелистывать. Перелистывал он долго, медленно и без цели. Бедняга был страшно взволнован и сконфужен. К его счастью, в кабинет вошел лакэй и доложил о поданном обеде.

— Хорошо... После обеда я вам докажу! — забормотал генерал, пряча бумаги.— Раз навсегда... во избежание сплетни... Дайте только пообедать... увидите! Какой-нибудь, прости господи... молокосос, шаромыжка... молоко на губах не обсохло... Идите обедать! Я после обеда... вам...

Мы пошли обедать. Во время первого и второго блюда генерал был сердит и нахмурен. Он с остервенением солил себе суп, рычал, как отдаленный гром, и громко двигался на стуле.

— Чего ты сегодня такой злой? — заметила ему Варя.— Не нравишься ты мне, когда ты такой... право...

— Как ты смеешь говорить, что я тебе не нравлюсь! — окрысился на нее генерал.

Во время третьего и последнего блюда Шмыгалов глубоко вздохнул и замигал глазами. По лицу его разлилось выражение пришибленности, забитости... Он стал казаться таким несчастным, обиженным! На лбу и на носу его выступил крупный пот. После обеда генерал пригласил меня к себе в кабинет.

— Голубчик мой! — начал он, не глядя на меня и теребя в руках мою фалду.— Берите Варю, я согласен... Вы хороший, добрый человек... Согласен... Благословляю вас... ее и тебя, мои ангелы... Ты меня извини, что до обеда я бранил тебя здесь... сердился... Это ведь я любя... отчески... Но только тово... я истратил не десять тысяч, а тово... шестнадцать. Я и те, что тетка Наталья ей оставила, ухнул... проиграл... Давай на радостях... шампанского стебанем... Простил?

И генерал уставил на меня свои серые, готовые заплакать и в то же время ликующие глаза. Я простил ему еще шесть тысяч и женился на Варе.

Хорошие рассказы всегда оканчиваются свадьбой!

ЗНАМЕННЕ ВРЕМЕНИ

В гостиной со светло-голубыми обоями объяснялись в любви.

Молодой человек приятной наружности стоял, преклонив одно колено, перед молодой девушкой и клялся.

— Жить я без вас не могу, моя дорогая! Клянусь вам! — задыхался он. — С тех пор как я увидел вас, я потерял покой! Дорогая моя, скажите мне... скажите... Да или нет?

Девушка открыла ротик, чтобы ответить, но в это время в дверях показалась голова ее брата.

— Лили, на минутку! — сказал брат.

— Чего тебе? — спросила Лили, выйдя к брату.

— Извини, моя дорогая, что я помешал вам, но... я брат, и моя священная обязанность предостеречь тебя... Будь поосторожнее с этим господином. Держи язык за зубами... Поберегись сказать что-нибудь лишнее.

— Но он делает мне предложение!

— Это твое дело... Объясняйся с ним, выходи за него замуж, но, ради бога, будь осторожна... Я знаю этого субъекта... Большой руки подлец! Сейчас же донесет, ежели что...

— Мерсі, Макс... А я и не знала!

Девушка воротилась в гостиную. Она ответила молодому человеку «да», целовалась с ним, обнималась, клялась, но была осторожна: говорила только о любви.

В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

Хоронили мы как-то на днях молоденькую жену нашего старого почтмейстера Сладкоперцева. Закопавши красавицу, мы, по обычаю дедов и отцов, отправились в почтовое отделение «помянуть».

Когда были поданы блины, старик вдовец горько заплакал и сказал:

— Блины такие же румяненские, как и покойница. Такие же красавцы! Точь-в-точь!

— Да,— согласились поминавшие,— она у вас действительно была красавица... Женщина первый сорт!

— Да-с... Все удивлялись, на нее гляючи... Но, господа, любил я ее не за красоту и не за добрый нрав. Эти два качества присущественны всей женской природе и встречаются довольно часто в подлунном мире. Я ее любил за иное качество души. А именно-с: любил я ее, покойницу, дай бог ей царство небесное, за то, что она, при бойкости и игривости своего характера, мужу своему была верна. Она была верна мне, несмотря на то что ей было только двадцать, а мне скоро уж шестьдесят стукнет! Она была верна мне, старику!

Дьякон, трапезовавший с нами, красноречивым мычанием и кашлем выразил свое сомнение.

— Вы не верите, стало быть? — обратился к нему вдовец.

— Не то, что не верю,— смутился дьякон,— а так... Молодые жены нынче уж слишком тово... рандеву, соус провансаль...

— Вы сомневаетесь, а я вам докажу-с! Я в ней подерживал ее верность разными способами, так сказать, стратегического свойства, вроде как бы фортификации. При моем поведении и хитром характере жена моя не могла изменить мне ни в каком случае. Я хитрость употреблял для охранения своего супружеского ложа. Слова такие знаю, вроде как бы пароль. Скажу эти самые слова и — баста, могу спать в спокойствии насчет верности...

— Какие же это слова?

— Самые простые. Я распространял по городу хороший слух. Вам этот слух доподлинно известен. Я говорил всякому: «Жена моя Алена находится в сожительстве с нашим полицеймейстером Иваном Алексеичем Залихватским». Этих слов было достаточно. Ни один человек не осмеливался ухаживать за Аленой, ибо боялся полицеймейстерского гнева. Как, бывало, увидят ее, так и бегут прочь, чтоб Залихватский чего не подумал. Хе-хе-хе. Ведь с этим усатым идиолом свяжись, так потом не рад будешь, пять протоколов составит насчет санитарного состояния. К примеру, увидит твою кошку на улице и составит протокол, как будто это бродячий скот.

— Так жена ваша, значит, не жила с Иваном Алексеичем? — удивились мы протяжно.

— Нет-с, это моя хитрость... Хе-хе... Что, ловко надувал я вас, молодежь? То-то вот оно и есть.

Прошло минуты три в молчании. Мы сидели и молчали, и нам было обидно и совестно, что нас так хитро провел этот толстый красноносый старик.

— Ну, бог даст, в другой раз женишься! — проворчал дьякон.

ИЗ ДНЕВНИКА ОДНОЙ ДЕВЦЫ

13-го октября. Наконец-то и на моей улице праздник! Гляжу и не верю своим глазам. Перед моими окнами взад и вперед ходит высокий, статный брюнет с глубокими черными глазами. Усы — прелесть! Ходит уже пятый день, от раннего утра до поздней ночи, и все на наши окна смотрит. Делаю вид, что не обращаю внимания.

15-го. Сегодня с самого утра проливной дождь, а он, бедняжка, ходит. В награду сделала ему глазки и послала воздушный поцелуй. Ответил обворожительной улыбкой. Кто он? Сестра Варя говорит, что он в нее влюблен и что ради нее мокнет на дожде. Как она не развита! Ну, может ли брюнет любить брюнетку? Мама велела нам получше одеваться и сидеть у окон. «Может быть, он жулик какой-нибудь, а может быть, и порядочный господин», — сказала она. Жулик... quel...¹ Глупы вы, мамаша!

16-го. Варя говорит, что я заела ее жизнь. Виновата я, что он любит меня, а не ее! Нечаянно уронила ему на тротуар записочку. О, коварщик! Написал у себя мелом на рукаве: «После». А потом ходил, ходил и написал на воротах vis-à-vis:² «Я не прочь, только после». Написал мелом и быстро стер. Отчего у меня сердце так бьется?

¹ какой (франц.).

² напротив (франц.).

17-го. Варя ударила меня локтем в грудь. Подлая, мерзкая завистница! Сегодня *он* остановил городского и долго говорил ему что-то, показывая на наши окна. Интригу затевает! Подкупает, должно быть... Тираны и деспоты вы, мужчины, но как вы хитры и прекрасны!

18-го. Сегодня, после долгого отсутствия, приехал ночью брат Сережа. Не успел он лечь в постель, как его потребовали в квартал.

19-го. Гадина! Мерзость! Оказывается, что *он* все эти двенадцать дней выслеживал брата Сережу, который растратил чьи-то деньги и скрылся.

Сегодня он написал на воротах: «Я свободен и могу». Скотина... Показала ему язык.

В МОРЕ

Рассказ матроса

Видны были только тускнеющие огни оставленной гавани да черное, как тушь, небо. Дул холодный, сырой ветер. Мы чувствовали над собой тяжелые тучи, чувствовали их желание разразиться дождем, и нам было душно, несмотря на ветер и холод.

Мы, матросы, столпившись у себя в кубрике, бросали жеребий. Раздавался громкий, пьяный смех нашей братии, слышались прибаутки, кто-то для потехи пел петухом.

Мелкая дрожь пробежала у меня от затылка до самых пят, точно в моем затылке была дыра, из которой сыпалась вниз по голому телу мелкая, холодная дробь. Дрожал я и от холода и от других причин, о которых хочу здесь рассказать.

Человек, по моему мнению, вообще гадок, а матрос, признаться, бывает иногда гаже всего на свете, гаже самого скверного животного, которое все-таки имеет оправдание, так как подчиняется инстинкту. Может быть, я и ошибаюсь, так как жизни не знаю, но, мне кажется, все-таки у матроса больше поводов ненавидеть и бранить себя, чем у кого-либо другого. Человеку, который каждую минуту может сорваться с мачты, скрыться навсегда под волной, который знает бога, только когда утопает или летит вниз головой, нет нужды ни до чего, и ничего ему на суше не жаль. Мы пьем

много водки, мы развратничаем, потому что не знаем, кому и для чего нужна в море добродетель.

Но буду, однако, продолжать.

Мы бросали жеребий. Нас всех, не занятых, отбывших свою вахту, было двадцать два. Из этого числа только двоим могло выпасть на долю счастье насладиться редким спектаклем. Дело в том, что «каюта для новобрачных», которая была у нас на пароходе, в описываемую ночь имела пассажиров, а в стенах этой каюты было только два отверстия, которыми мы могли распорядиться. Одно отверстие выпилил я сам тонкой пилкой, пробуравив предварительно стену штопором, другое же вырезал ножом один мой товарищ, и оба мы работали больше недели.

— Одно отверстие досталось тебе!

— Кому?

Указали на меня.

— Другое кому?

— Твоему отцу!

Мой отец, старый, горбатый матрос, с лицом, похожим на печеное яблоко, подошел ко мне и хлопнул меня по плечу.

— Сегодня, мальчишка, мы с тобой счастливы,— сказал он мне.— Слышишь, мальчишка? Счастье в одно время выпало тебе и мне. Это что-нибудь да значит.

Он нетерпеливо спросил, который час. Было только одиннадцать.

Я вышел из кубрика, закурил трубку и стал глядеть на море. Было темно, но, надо полагать, и в глазах моих отражалось то, что происходило в душе, так как на черном фоне ночи я различал образы, я видел то, чего так недоставало в моей тогда еще молодой, но уже сгубленной жизни...

В двенадцать я прошелся мимо общей каюты и заглянул в дверь. Новобрачный, молодой пастор с красивой белокурой головой, сидел за столом и держал в руках евангелие. Он объяснял что-то высокой, худой англичанке. Новобрачная, молодая, стройная, очень красивая, сидела рядом с мужем и не отрывала своих голубых глаз от его белокурой головы. По каюте из угла в угол ходил банкир, высокий, полный старик

англичанин с рыжим, отталкивающим лицом. Это был муж пожилой дамы, с которой беседовал новобрачный.

«Пасторы имеют привычку беседовать по целым часам! — подумал я.— Он не кончит до утра!»

В час подошел ко мне отец и, дернув меня за рукав, сказал:

— Пора! Они вышли из общей каюты.

Я мигом слетел вниз по крутой лестнице и направился к знакомой стене. Между этой стеной и стеной корабля был промежуток, полный сажки, воды, крыс. Скоро я услышал тяжелые шаги старика отца. Он спотыкался о кули, ящики с керосином и бранился.

Я нащупал свое отверстие и вынул из него четырехугольный кусок дерева, который я так долго выпиливал. И я увидел тонкую, прозрачную кисею, сквозь которую пробивался ко мне мягкий, розовый свет. И вместе со светом до моего горячего лица коснулся удушающий, в высшей степени приятный запах; это был, должно быть, запах аристократической спальни. Чтобы увидеть спальную, нужно было раздвинуть кисею двумя пальцами, что я и поспешил сделать.

Я увидел бронзу, бархат, кружева. И все было залито розовым светом. В полутора саженьях от моего лица стояла кровать.

— Пусти меня к твоему отверстию,— сказал отец, нетерпеливо толкая меня в бок.— В твое лучше видно!

Я молчал.

— У тебя, мальчишка, глаза сильнее моих, и для тебя решительно все равно, глядеть издали или вблизи!

— Тише! — сказал я.— Не шуми, нас могут услышать!

Новобрачная сидела на краю кровати, свесив свои маленькие ноги на мех. Она глядела в землю. Перед ней стоял ее муж, молодой пастор. Он говорил ей что-то, а что именно — не знаю. Шум парохода мешал мне слышать. Пастор говорил горячо, жестикулируя, сверкая глазами. Она слушала и отрицательно качала головой...

— Черрт, меня укусила крыса! — проворчал отец.

Я плотнее прижал грудь к стене, как бы боясь, чтобы не выскочило сердце. Голова моя горела.

Говорили новобрачные долго. Пастор наконец опустился на колени и, протягивая к ней руки, стал ее умолять. Она отрицательно покачала головой. Тогда он вскочил и заходил по каюте. По выражению его лица и по движению рук я догадался, что он угрожал.

Его молодая жена поднялась, медленно пошла к стене, где я стоял, и остановилась у самого моего отверстия. Она стояла неподвижно и думала, а я пожираал глазами ее лицо. Мне казалось, что она страдает, что она борется с собой, колеблется, и в то же время черты ее выражали гнев. Я ничего не понимал.

Вероятно, минут пять мы простояли так лицом к лицу, потом она отошла и, остановившись среди каюты, кивнула своему пастору — в знак согласия, должно быть. Тот радостно улыбнулся, поцеловал у нее руку и вышел из спальни.

Через три минуты дверь отворилась, и в спальную вошел пастор, а вслед за ним высокий, полный англичанин, о котором я говорил выше. Англичанин подошел к кровати и спросил о чем-то у красавицы. Та, бледная, не глядя на него, утвердительно кивнула головой.

Англичанин банкир вынул из кармана какую-то пачку, быть может пачку банковых билетов, и подал пастору. Тот осмотрел, сосчитал и с поклоном вышел. Старик англичанин запер за ним дверь...

Я отскочил от стены, как ужаленный. Я испугался. Мне показалось, что ветер разорвал наш пароход на части, что мы идем ко дну.

Старик отец, этот пьяный, развратный человек, взял меня за руку и сказал:

— Выйдем отсюда! Ты не должен этого видеть! Ты еще мальчик...

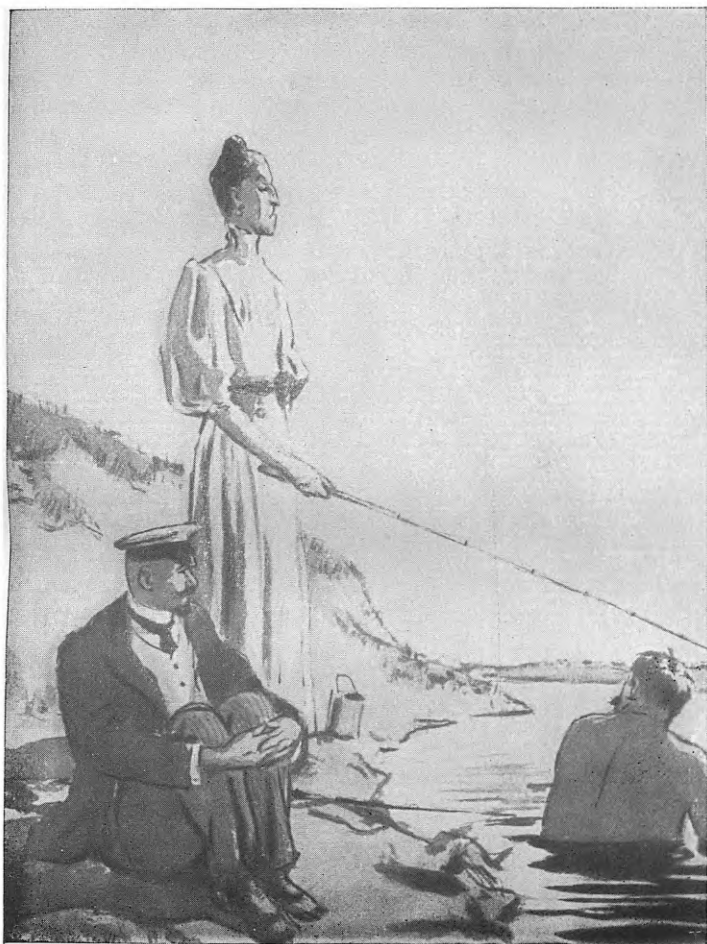
Он едва стоял на ногах. Я вынес его по крутой, извилистой лестнице наверх, где уже шел настоящий осенний дождь...

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ

Начальника станции Дребезги зовут Степаном Степанычем, а фамилия его Шептунов. С ним в минувшее лето случился маленький скандал. Этот скандал, несмотря на свою видимую ничтожность, обошелся ему очень дорого. Благодаря ему он потерял свою новую форменную фуражку и веру в человечество.

Летом поезд № 8 проходил через его станцию в 2 часа 40 минут ночи. Время самое неудобное. Вместо того чтобы спать, Степан Степаныч должен был гулять по платформе и торчать около телеграфистки Почты до утра.

Его помощник, Алеутов, каждое лето ездил куда-то жениться, и бедному Шептунову одному приходилось дежурить. Большое свинство со стороны судьбы! Впрочем, он скучал не каждую ночь. Иногда ночью приходила к нему на станцию из соседнего княжеского имения жена управляющего Назара Кузьмича Куцапетова, Марья Ильинишна. Дама эта была не особенно молода, не особенно красива, но, господа, в темноте и столб за городского примешь, да, кстати сказать, скука такая же не тетка, как и голод: все сойдет! Когда Куцапетова приходила на станцию, Шептунов брал ее обыкновенно под руку, спускался с нею вниз с платформы и шел к товарным вагонам. Там, у вагонов, в ожидании поезда № 8, он начинал свои клятвы и продолжал их вплоть до свистка.



К рассказу «Дочь Альбиона».
Художники Кукрыниксы. 1941.

Так в одну прекрасную ночь стоял он с Марьей Ильинишной у вагонов и ожидал поезд. По безоблачному небу тихо, чуть заметно плыла луна. Она заливала своим светом станцию, поле, необозримую даль... Кругом было тихо, спокойно... Шептунов держал Марью Ильинишну за талию и молчал. Она тоже молчала. Оба были в каком-то сладостном, тихом, как лунный свет, забытьи...

— Какая чудная погода! — изредка вздыхал Шептунов. — Ты не озябла?

Вместо ответа она теснее и теснее прижималась к его форменному сюртуку.

В 2 часа 20 минут начальник станции поглядел на часы и сказал:

— Скоро поезд придет... Давай, Маша, глядеть на путь... Кто из нас первый увидит огни поезда, тот, значит, дольше любить будет... Давай глядеть...

Они вперили свой взгляд в глубокую даль. Кое-где на бесконечном пути ласково мигали огоньки. Поезда не было еще видно... Вглядываясь в даль, Шептунов увидел нечто другое... Он увидел две длинные тени, шагавшие через шпалы... Тени двигались прямо к нему и делались все больше и шире... Одна тень, по-видимому, исходила от человеческой фигуры, другая — от длинной палки, которую держала фигура...

Тень приближалась. Скоро послышалось, что на-свистывали из «Мадам Анго».

— Не ходить по рельсам! Запрещено... — крикнул Шептунов. — Долой с рельсов!

— Не распоряжайся, сволочь! — послышался ответ.

Обруганный Шептунов рванулся вперед, но в это время Марья Ильинишна ухватилась за его фалды.

— Ради бога, Степа! — зашептала она. — Это мой муж! Назарка!

Не успела она это сказать, как Куцапетов стоял уже перед оскорбленным начальником станции. Оскорбленный Шептунов вскрикнул, ударился головой о что-то железное и нырнул под вагон. Выползши на животе из-под вагона, он побежал по полотну. Прыгая через шпалы, спотыкаясь о рельсы, он, как

сумасшедший, как собака, которой привязали к хвосту колючую палку, полетел к водокачалке...

«Какая у него, однако... палка!» — думал он, улетающая.

Добежав до водокачалки, он остановился, чтобы перевести дух, но в это время послышались шаги. Оглянувшись он и увидел сзади себя быстро двигавшуюся тень человека с тенью палки. Объятый паническим страхом, он побежал далее.

— Погодите! Постойте! — услышал он за собой голос Куцапетова. — Стойте! Берегитесь! Поезд!

Шептунов поглядел вперед и увидел перед собой поезд с парой страшных, огненных глаз... Волосы его стали дыбом... Сердце застучало и вдруг замерло... Он собрал все свои силы и прыгнул, куда глаза глядят... Секунды четыре он летел в воздухе, потом упал на что-то твердое и покатоое и покатился вниз, цепляясь за репейник.

«Насыпь,— подумал он.— Ну, это ничего. Лучше с насыпи скатиться, чем дворянину принять побои от хама».

Через минуту возле его правого уха ступил в лужу большой, тяжеловесный сапог. По спине у него заходили ощупывающие руки...

— Это вы? — услышал он голос Куцапетова. — Вы, Степан Степаныч?

— Пощадите! — простонал Шептунов.

— Что с вами, ангел мой? Чего вы испужались? Это я, Куцапетов! Неужели не узнали? Я бежал за вами, бежал... Кричал, кричал... Чуть было под поезд не попали, ангел мой... Маша, как увидела, что вы побегли, тоже испужалась и на платформе теперь без чувств лежит... Вы, может быть, испужались, что я вас сволочью назвал? Вы не обижайтесь... Я вас за стрелочника принял...

— Ах, не издевайтесь... Если мстить, то мстите поскорей... Я в ваших руках... — простонал Шептунов. — Бейте... увечьте...

— Гм... Что с вами, батюшка? Ведь я к вам по делу шел, благодетель! Я и бежал за вами, чтобы о деле поговорить...

Куцапетов помолчал и продолжал:

— Дело важное-с... Маша моя говорила мне, что вы из-за удовольствия изволите с ней путаться. Я касательно этого ничего-с, потому что мне от Марьи Ильинишны приходится в общем сюжете кукиш с маслом, но ежели рассуждать по справедливости, то соблаговолите со мной договор сделать, потому что я муж, глава все-таки... по писанию. Князь Михайла Дмитрич, когда с ней путались, мне в месяц две четвертные выдавали. А вы сколько пожалуете? Уговор лучше денег. Да вы встаньте-с...

Шептунов поднялся. Чувствуя себя поломанным, исковерканным, он поплелся к насыпи...

— Сколько вы пожалуете? — продолжал Куцапетов.— С вас я четвертную возьму... И потом-с, хотел попросить у вас, нет ли у вас местечка моему племяннику...

Шептунов, ничего не слыша и не видя, кое-как доплелся до станции и повалился в постель. Проснувшись на другой день, он не нашел своей форменной фуражки и одного погона.

Ему и до сих пор совестно.

В МОСКВЕ НА ТРУБНОЙ ПЛОЩАДИ

Небольшая площадь близ Рождественского монастыря, которую называют Трубной, или просто Трубой; по воскресеньям на ней бывает торг. Копшатся, как раки в решете, сотни тулупов, бекеш, меховых картузов, цилиндров. Слышно разноголосое пение птиц, напоминающее весну. Если светит солнце и на небе нет облаков, то пение и запах сена чувствуются сильнее, и это воспоминание о весне возбуждает мысль и уносит ее далеко-далеко. По одному краю площадки тянется ряд возов. На возах не сено, не капуста, не бобы, а щеглы, чижи, красавки, жаворонки, черные и серые дрозды, синицы, снегири. Все это прыгает в плохих, самодельковых клетках, поглядывает с завистью на свободных воробьев и щебечет. Щеглы по пятаку, чижи подороже, остальная же птица имеет самую неопределенную ценность.

— Почему жаворонок?

Продавец и сам не знает, какая цена его жаворонку. Он чешет затылок и спрашивает сколько бог на душу положит — или рубль, или три копейки, смотря по покупателю. Есть и дорогие птицы. На запачканной жердочке сидит полинялый старик дрозд с ошипанным хвостом. Он солиден, важен и неподвижен, как отставной генерал. На свою неволю он давно уже махнул лапкой и на голубое небо давно уже смотрит равнодушно. Должно быть, за это свое равнодушие он и почитается рассудительной птицей. Его нельзя продать дешевле, как за сорок копеек. Около птиц толкуются, шлепая по грязи, гимназисты, мастера-вые, молодые люди в модных пальто, любители в до-

нельзя поношенных шапках, в подсученных, истрепанных, точно мышами изъеденных брюках. Юнцам и мастеровым продают самок за самцов, молодых за старых... Они мало смыслят в птицах. Зато любителя не обманешь. Любитель издали видит и понимает птицу.

— Положительности нет в этой птице,— говорит любитель, засматривая чижу в рот и считая перья в его хвосте.— Он теперь поет, это верно, но что ж из этого? И я в компании запою. Нет, ты, брат, мне без компании, брат, запой; запой в одиночку, ежели можешь... Ты подай мне того вон, что сидит и молчит! Тихоню подай! Этот молчит, стало быть, себе на уме...

Между возами с птицей попадают ввозы и с другого рода живностью. Тут вы видите зайцев, кроликов, ежей, морских свинок, хорьков. Сидит заяц и с горя солону жует. Морские свинки дрожат от холода, а ежи с любопытством посматривают из-под своих колючек на публику.

— Я где-то читал,— говорит чиновник почтового ведомства, в полинялом пальто, ни к кому не обращаясь и любовно поглядывая на зайца,— я читал, что у какого-то ученого кошка, мышь, кобчик и воробей из одной чашки ели.

— Очень это возможно, господин. Потому кошка битая, и у кобчика небось весь хвост повыдерган. Никакой учености тут нет, сударь. У моего кума была кошка, которая, извините, огурцы ела. Недели две полосовал кнутовищем, покудова выучил. Заяц, ежели его бить, спички может зажигать. Чему вы удивляетесь? Очень просто! Возьмет в рот спичку и — чирик! Животное то же, что и человек. Человек от битья умней бывает, так и тварь.

В толпе снуют чуйки с петухами и утками под мышкой. Птица вся тощая, голодная. Из клеток высовывают свои некрасивые, облезлые головы цыплята и клюют что-то в грязи. Мальчишки с голубями засматривают вам в лицо и тшчатся узнать в вас голубиногo любителя.

— Да-с! Говорить вам нечего! — кричит кто-то сердито.— Вы посмотрите, а потом и говорите! Нешто это голубь? Это орел, а не голубь!

Высокий, тонкий человек с бачками и бритыми усами, по наружности лакей, больной и пьяный, продает белую, как снег, болонку. Старуха болонка плачет.

— Велела вот продать эту пакость,— говорит лакей, презрительно усмехаясь.— Обанкрутилась на старости лет, есть нечего и теперь вот собак да кошек продает. Плачет, целует их в поганые морды, а сама продает от нужды. Ей-богу, факт! Купите, господа! На кофий деньги надобны.

Но никто не смеется. Мальчишка стоит возле и, прищулив один глаз, смотрит на него серьезно, с состраданием.

Интереснее всего рыбный отдел. Душ десять мужиков сидят в ряд. Перед каждым из них ведро, в ведрах же маленький кромешный ад. Там в зеленоватой, мутной воде копошатся карасики, вьюнки, малявки, улитки, лягушки-жерлянки, тритоны. Большие речные жуки с поломанными ногами шныряют по маленькой поверхности, карабкаясь на карасей и перескакивая через лягушек. Лягушки лезут на жуков, тритоны на лягушек. Живуча тварь! Темно-зеленые лини, как более дорогая рыба, пользуются льготой: их держат в особой баночке, где плавать нельзя, но все же не так тесно...

— Важная рыба карась! Держанный карась, ваше высокоблагородие, чтоб он издох! Его хоть год держи в ведре, а он все жив! Неделя уж, как поймал я этих самых рыб. Наловил я их, милостивый государь, в Перерве и оттуда пешком. Караси по две копейки, вьюны по три, а малявки гривенник за десяток, чтоб они издохли! Извольте малявок за пятак. Червячков не прикажете ли?

Продавец лезет в ведро и достает оттуда своими грубыми, жесткими пальцами нежную малявку или карасика величиной с ноготь. Около ведер разложены лески, крючки, жерлицы, и отливают на солнце пунцовым огнем прудовые червяки.

Около возов с птицей и около ведер с рыбой ходит старец любитель в меховом картузе, железных очках и калошах, похожих на два броненосца. Это, как его называют здесь, «тип». За душой у него ни копейки, но, несмотря на это, он торгуется, волнуется, пристаёт

к покупателям с советами. За какой-нибудь час он успевает осмотреть всех зайцев, голубей и рыб, осмотреть до тонкостей, определить всем, каждой из этих тварей породу, возраст и цену. Его, как ребенка, интересуют щеглята, карасики и малявки. Заговорите с ним, например, о дроздах, и чудак расскажет вам такое, чего вы не найдете ни в одной книге. Расскажет вам с восхищением, страстно и вдобавок еще и в невежестве упрекнет. Про щеглят и снегирей он готов говорить без конца, выпучив глаза и сильно размахивая руками. Здесь, на Трубе, его можно встретить только в холодное время, летом же он где-то за Московской перепелов на дудочку ловит и рыбку удит.

А вот и другой «тип», — очень высокий, очень худой господин в темных очках, бритый, в фуражке с кокардой, похожий на подьячего старого времени. Это любитель; он имеет не малый чин, служит учителем в гимназии, и это известно завсегдатаям Трубы, и они относятся к нему с уважением, встречают его поклонами и даже придумали для него особенный титул: «Ваше местоимение». Под Сухаревой он роется в книгах, а на Трубе ищет хороших голубей.

— Пожалуйте! — кричат ему голубятники. — Господин учитель, ваше местоимение, обратите ваше внимание на турманов! Ваше местоимение!

— Ваше местоимение! — кричат ему с разных сторон.

— Ваше местоимение! — повторяет где-то на бульваре мальчишка.

А «его местоимение», очевидно, давно уже привыкший к этому своему титулу, серьезный, строгий, берет в обе руки голубя и, подняв его выше головы, начинает рассматривать и при этом хмурится и становится еще более серьезным, как заговорщик.

И Труба, этот небольшой кусочек Москвы, где животных любят так нежно и где их так мучают, живет своей маленькой жизнью, шумит и волнуется, и тем деловым и богомольным людям, которые проходят мимо по бульвару, непонятно, зачем собралась эта толпа людей, эта пестрая смесь шапок, картузов и цилиндров, о чем тут говорят, чем торгуют.

КЛЕВЕТА

Учитель чистописания Сергей Капитоныч Ахинеев выдавал свою дочку Наталью за учителя истории и географии Ивана Петровича Лошадиных. Свадебное веселье текло как по маслу. В зале пели, играли, плясали. По комнатам как угорелые сновали взад и вперед взятые напрокат из клуба лакеи в черных фраках и белых запачканных галстуках. Стоял шум и говор. Учитель математики Тарантулов, француз Падекуа и младший ревизор контрольной палаты Егор Венедиктыч Мзда, сидя рядом на диване, спеша и перебивая друг друга, рассказывали гостям случаи погребения заживо и высказывали свое мнение о спиритизме. Все трое не верили в спиритизм, но допускали, что на этом свете есть много такого, чего никогда не постигнет ум человеческий. В другой комнате учитель словесности Додонский объяснял гостям случаи, когда часовой имеет право стрелять в проходящих. Разговоры были, как видите, страшные, но весьма приятные. В окна со двора засматривали люди, по своему социальному положению не имевшие права войти внутрь.

Ровно в полночь хозяин Ахинеев прошел в кухню поглядеть, все ли готово к ужину. В кухне от пола до потолка стоял дым, состоявший из гусиных, утиных и многих других запахов. На двух столах были разложены и расставлены в художественном беспорядке атрибуты закусок и выпивок. Около столов суетилась

кухарка Марфа, красная баба с двойным перетянутым животом.

— Покажи-ка мне, матушка, осетра! — сказал Ахинеев, потирая руки и облизываясь. — Запах-то какой, миазма какая! Так бы и съел всю кухню! Ну-кося, покажи осетра!

Марфа подошла к одной из скамей и осторожно приподняла засаленный газетный лист. Под этим листом, на огромнейшем блюде, покоился большой заливной осетр, пестрешивший каперсами, оливками и морковкой. Ахинеев поглядел на осетра и ахнул. Лицо его просияло, глаза подкатились. Он нагнулся и издал губами звук неподмазанного колеса. Постояв немного, он щелкнул от удовольствия пальцами и еще раз чмокнул губами.

— Ба! Звук горячего поцелуя... Ты с кем это здесь целуешься, Марфуша? — слышался голос из соседней комнаты, и в дверях показалась стриженная голова помощника классных наставников, Ванькина. — С кем это ты? А-а-а... очень приятно! С Сергей Капитонычем! Хорош дед, нечего сказать! С женским полонезом тет-а-тет!¹

— Я вовсе не целуюсь, — сконфузился Ахинеев, — кто это тебе, дураку, сказал? Это я тово... губами чмокнул в отношении... в рассуждении удовольствия... При виде рыбы...

— Рассказывай!

Голова Ванькина широко улыбнулась и скрылась за дверью. Ахинеев покраснел.

«Черт знает что! — подумал он. — Пойдет теперь, мерзавец, и наслетничает. На весь город осрамит, скотина...»

Ахинеев робко вошел в залу и искоса поглядел в сторону: где Ванькин? Ванькин стоял около фортепиано и, ухарски изогнувшись, шептал что-то смеявшейся свояченице инспектора.

«Это про меня! — подумал Ахинеев. — Про меня, чтоб его разорвало! А та и верит... и верит! Смеется!

¹ наедине (от франц. — tête-à-tête).

Боже ты мой! Нет, так нельзя оставить... нет... Нужно будет сделать, чтоб ему не поверили... Поговорю со всеми с ними, и он же у меня в дураках-сплетниках останется».

Ахинеев почесался и, не переставая конфузиться, подошел к Падекуа.

— Сейчас я в кухне был и насчет ужина распорядился,— сказал он французу.— Вы, я знаю, рыбу любите, а у меня, батенька, осетр, вво! В два аршина! Хе-хе-хе... Да, кстати... чуть было не забыл... В кухне-то сейчас, с осетром с этим — суший анекдот! Вхожу я сейчас в кухню и хочу кушанья оглядеть... Гляжу на осетра и от удовольствия... от пикантности губами чмок! А в это время вдруг дурак этот Ванькин входит и говорит... ха-ха-ха... и говорит: «Ааа... вы целуетесь здесь?» С Марфой-то, с кухаркой! Выдумал же, глупый человек! У бабы ни рожи, ни кожи, на всех зверей похожа, а он... целоваться! Чудак!

— Кто чудак? — спросил подошедший Тарантулов.

— Да вон тот, Ванькин! Вхожу это я в кухню... И он рассказал про Ванькина.

— Насмешил, чудак! А по-моему, приятней с барбосом целоваться, чем с Марфой,— прибавил Ахинеев, оглянувшись и увидел сзади себя Мзду.

— Мы насчет Ванькина,— сказал он ему.— Чудачина! Входит это в кухню, увидел меня рядом с Марфой, да и давай штуки разные выдумывать. «Чего, говорит, вы целуетесь?» Спьяна-то ему примерещилось. А я, говорю, скорей с индюком поцелуюсь, чем с Марфой. Да у меня и жена есть, говорю, дурак ты этакий. Насмешил!

— Кто вас насмешил? — спросил подошедший к Ахинееву отец-законоучитель.

— Ванькин. Стою я, знаете, в кухне и на осетра гляжу...

И так далее. Через какие-нибудь полчаса уже все гости знали про историю с осетром и Ванькиным.

«Пусть теперь им рассказывает! — думал Ахинеев, потирая руки.— Пусть! Он начнет рассказывать, а

ему сейчас: «Полно тебе, дурак, чепуху городить! Нам все известно!»

И Ахинеев до того успокоился, что выпил от радости лишних четыре рюмки. Проводив после ужина молодых в спальню, он отправился к себе и уснул, как ни в чем не повинный ребенок, а на другой день он уже не помнил истории с осетром. Но, увы! Человек предполагает, а бог располагает. Злой язык сделал свое злое дело, и не помогла Ахинееву его хитрость! Ровно через неделю, а именно в среду после третьего урока, когда Ахинеев стоял среди учительской и толковал о порочных наклонностях ученика Высекина, к нему подошел директор и отозвал его в сторону.

— Вот что, Сергей Капитоныч,— сказал директор.— Вы извините... Не мое это дело, но все-таки я должен дать понять... Моя обязанность... Видите ли, ходят слухи, что вы живете с этой... с кухаркой... Не мое это дело, но... Живите с ней, целуйтесь... что хотите, только, пожалуйста, не так гласно! Прошу вас! Не забывайте, что вы педагог!

Ахинеев озяб и обомлел. Как ужаленный сразу целым роем и как ошпаренный кипятком, он пошел домой. Шел он домой, и ему казалось, что на него весь город глядит, как на вымазанного дегтем... Дома ожидала его новая беда.

— Ты что же это ничего не трескаешь? — спросила его за обедом жена.— О чем задумался? Об амурах думаешь? О Марфушке стосковался? Все мне, махамет, известно! Открыли глаза люди добрые! Ууу... вварвар!

И шлеп его по щеке!.. Он встал из-за стола и, не чувствуя под собой земли, без шапки и пальто, побрел к Ванькину. Ванькина он застал дома.

— Подлец ты! — обратился Ахинеев к Ванькину.— За что ты меня перед всем светом в грязи выпачкал? За что ты на меня клевету пустил?

— Какую клевету? Что вы выдумываете!

— А кто насплетничал, будто я с Марфой целовался? Не ты, скажешь? Не ты, разбойник?

Ванькин заморгал и замигал всеми фибрами своего поношенного лица, поднял глаза к образу и проговорил:

— Накажи меня бог! Лопни мои глаза и чтоб я издох, ежели хоть одно слово про вас сказал! Чтоб мне ни дна, ни покрышки! Холеры мало!..

Искренность Ванькина не подлежала сомнению. Очевидно, не он насплетничал.

«Но кто же? Кто? — задумался Ахинеев, перебирая в своей памяти всех своих знакомых и стуча себя по груди.— Кто же?»

— Кто же? — спросим и мы читателя...

О Н П О Н Я Л

Душное июньское утро. В воздухе висит зной, от которого клонится лист и покрывается трещиной земля. Чувствуется тоска за грозой. Хочется, чтобы всплакнула природа и прогнала дождевой слезой свою тоску.

Вероятно, и будет гроза. На западе синее и хмурится какая-то полоска. Добро пожаловать!

По опушке леса крадется маленький сутуловатый мужичонок, ростом в полтора аршина, в огромнейших серо-коричневых сапогах и синих панталонах с белыми полосками. Голенищи сапог спустились до половины. Донельзя изношенные, заплатаанные штаны мешками отвисают у колен и болтаются, как фалды. Засаленный веревочный поясок сполз с живота на бедра, а рубаху так и тянет вверх к лопаткам.

В руках мужичонка ружье. Заржавленная трубка в аршин длиною, с прицелом, напоминающим добрый сапожный гвоздь, вделана в белый самодельковый приклад, выточенный очень искусно из ели, с вырезками, полосками и цветами. Не будь этого приклада, ружье не было бы похоже на ружье, да и с ним оно напоминает что-то средневековое, не теперешнее... Курок, коричневый от ржавчины, весь опутан проволокой и нитками. А всего смешнее белый, лоснящийся шомпол, только что срезанный с вербы. Он сыр, свеж и много длиннее ствола.

Мужичонок бледен. Его косые воспаленные глазки беспокойно глядят вверх и по сторонам. Жиденькая, козлиная бородка дрожит, как тряпочка, вместе с нижней губой. Он широко шагает, нагибает туловище вперед и, видимо, спешит. За ним, высунув свой длинный, серый от пыли язык, бежит большая дворняга, худая, как собачий скелет, с всклокоченной шерстью. На ее боках и хвосте висят большие клочья старой, отлинявшей шерсти. Задняя нога повязана тряпочкой: болит, должно быть. Мужичонок то и дело оборачивается к своему спутнику.

— Пшла! — говорит он пугливо.

Дворняга отскакивает назад, оглядывается и, постояв немного, продолжает шествовать за своим хозяином.

Охотник рад бы шмыгнуть в сторону, в лес, но нельзя: по краю стеной тянется густой, колючий терновник, а за терновником высокий, душный болиголов с крапивой. Но вот наконец тропинка. Мужичонок еще раз машет собаке и бросается по тропинке в кусты. Под ногами всхлипывает почва: тут еще не высохло. Пахнет сырьем и менее душно. По сторонам кусты, можжевельник, а до настоящего леса еще далеко, шагов триста.

В стороне что-то издает звук неподмазанного колеса. Мужичонок вздрагивает и косится на молодую ольху. На ольхе усматривает он черное, подвижное пятнышко, подходит ближе и узнает в пятнышке молодого скворца. Скворец сидит на ветке и глядит себе под поднятое крылышко. Мужичонок топчется на одном месте, сбрасывает с себя шапку, прижимает к плечу приклад и начинает прицеливаться. Прицелившись, он поднимает курок и придерживает его, чтобы он не опустился раньше, чем следует. Пружина испорчена, собачка не действует, а курок не слушается: ходнем ходит. Скворец опускает крыло и начинает подозрительно поглядывать на стрелка. Еще секунда, и он улетит. Стрелок еще раз прицеливается и отнимает руку от курка. Курок сверх ожидания не опускается. Мужичонок разрывает ногтем какую-то ниточку, гнет проволочку и дает курку

щелчок. Слышится щелканье, а за щелканьем выстрел. Стрелку сильно отдает в плечо. Видно, что он не пожалел пороха. Бросив наземь ружье, он бежит к ольхе и начинает шарить в траве. Около гнилого, заплесневелого сучка он находит кровавое пятно и пушок, а поискав еще немного, узнает в маленьком, еще горячем трупе, лежащем у самого ствола, свою жертву.

— В голову попал! — говорит он с восторгом дворняге.

Дворняга нюхает скворца и видит, что хозяин попал не в одну только голову. На груди зияет рана, перебита одна ножка, на клюве висит большая кровавая капля... Мужичонок быстро лезет в карман за новым зарядом, причем из кармана сыплются на траву тряпочки, бумажки, ниточки. Он заряжает ружье и, готовый продолжать свою охоту, идет далее.

Как из земли вырастает перед ним поляк Кржевецкий, господский приказчик. Мужичонок видит его надменно-строгое, рыжеволосое лицо и холодеет от ужаса. Шапка сама собой валится с его головы.

— Вы что же это? Стреляете? — говорит поляк насмешливым голосом. — Очень приятно!

Охотник робко косится в сторону и видит воз с хворостом и около воза мужиков. Увлечшись охотой, он и не заметил, как набрел на людей.

— Как же вы смеете стрелять? — спрашивает Кржевецкий, возвышая голос. — Это, стало быть, ваш лес? Или, может быть, по-вашему, уже прошел Петров день? Вы кто такой?

— Павел Хромой, — еле-еле выговаривает мужичонок, прижимая к себе ружье. — Из Кашиловки.

— Из Кашиловки, черт побрал! Кто же позволял вам стрелять? — продолжает поляк, стараясь не делать ударения на втором слогое от конца. — Дайте сюда ружье!

Хромой подает поляку ружье и думает:

«Лучше б ты меня по морде, чем выкать...»

— И шапку давайте...

Хромой подает и шапку.

— Вот я вам покажу, как стрелять! Черт побрал! Поидемте!

Кржевецкий поворачивается к нему спиной и шагает за заскрипевшим возом. Павел Хромой, ошупывая в кармане свою дичину, идет за ним.

Через час Кржевецкий и Хромой входят в просторную комнату с низким потолком и синими, полинялыми стенами. Это господская контора. В конторе никого нет, но тем не менее сильно пахнет жильем. Посреди конторы — большой дубовый стол. На столе двести счетные книги, чернильница с песочницей и чайник с отбитым носиком. Все это покрыто серым слоем пыли. В углу стоит большой шкаф, с которого давно уже слезла краска. На шкафу жестянка из-под керосина и бутылъ с какою-то смесью. В другом углу маленький образ, затянутый паутиной...

— Надо будет акт составить,— говорит Кржевецкий.— Сейчас барину доложу и за урядником пошлю. Снимайте сапоги!

Хромой садится на пол и молча, дрожащими руками стаскивает с себя сапоги.

— Вы у меня не уйдете,— говорит приказчик, зевая.— А уйдете босиком, хуже будет... Сидите здесь и дожидайтесь, пока урядник придет...

Поляк запирает в шкаф сапоги и ружье и выходит из конторы.

По уходе Кржевецкого Хромой долго и медленно чешет свой маленький затылок, точно решает вопрос — где он. Он вздыхает и пугливо осматривается. Шкаф, стол, чайник без носика и образок глядят на него укоризненно, тоскливо... Мухи, которыми так изобилуют господские конторы, жужжат над его головой так жалобно, что ему делается нестерпимо жутко.

— Дззз...— жужжат мухи.— Попался? Попался?

По окну ползет большая оса. Ей хочется вылететь на воздух, но не пускает стекло. Ее движения полны скуки, тоски... Хромой пятится к двери, становится у косяка и, опустив руки по швам, задумывается...

Проходит час, другой, а он стоит у косяка, ждет и думает.

Глаза его косятся на осу.

«Отчего она, дура, в дверь не летит?» — думает он.

Проходит еще два часа. Кругом все тихо, беззвучно, мертво... Хромому начинает думаться, что про него забыли и что ему не скоро еще вырваться отсюда, как и осе, которая все еще то и дело падает со стекла. Оса уснет к ночи, — ну, а ему-то как быть?

— Так вот и люди, — философствует Хромой, глядя на осу. — Так и человек, стало быть... Есть место, где ему на волю выскочить, а он по невежеству и не знает, где оно, место-то это самое...

Наконец где-то хлопают дверью. Слышатся чьи-то поспешные шаги, и через минуту в контору входит маленький толстенький человечек в широчайших брюках и помочах. Он без сюртука и без жилетки. На спине в уровень с лопатками идет полоса от пота; на груди такая же полоса. Это сам барин, Петр Егорыч Волчков, отставной подполковник. Толстое красное лицо и вспотевшая лысина говорят, что он дорого бы дал, если бы вместо этой жары пристукнул крещенский мороз. Он страдает от зноя и духоты. По заплывшим, сонным глазам видно, что он только что поднялся со своей ужасно мягкой и душной перины.

Войдя, он прохаживается несколько раз вдоль по комнате, как бы не замечая Хромого, потом останавливается перед пленником и долго пристально смотрит ему в лицо. Смотрит в упор, с презрением, которое сначала светится чуть заметно в одних только глазках, потом же постепенно разливается по всему жирному лицу. Хромой не выносит этого взгляда и опускает глаза. Ему стыдно...

— Покажи-ка, что ты убил! — шепчет Волчков. — Ну-кася, покажи, молодчик, Вильгельм Телль! Покажи, образина!

Хромой лезет в карман и достает оттуда несчастного скворца. Скворец уже потерял свой птичий образ. Он сильно помят и начинает сохнуть. Волчков презрительно усмешается и пожимает плечами.

— Дурак! — говорит он. — Дурандас ты! Дурьнда пустоголовая! И тебе не грех? И тебе не стыдно?

— Стыдно, батюшка Петр Егорыч! — говорит Хромой, пересиливая глотательные движения, мешающие ему говорить...

— Мало того, что ты, разбойник-иуда, без спра-са в моем лесу охотишься, ты смеешь еще идти про-тив государственных законов! Разве тебе не известен закон, возбраняющий несвоевременную охоту? В за-коне сказано, чтобы никто не смел стрелять до Пе-трова дня. Тебе это не известно? Подойди-ка сюда!

Волчков подходит к столу; за ним идет к тому же столу и Хромой. Барин раскрывает книгу, долго перелистывает и начинает читать высоким протяж-ным тенором статью, возбраняющую охоту до Пет-рова дня.

— Так ты этого не знаешь? — спрашивает барин, окончив чтение.

— Как не знать? Знаем, ваше высокоблагородие. Да нешто мы понимаем? Нешто в нас есть понятие?

— А? Какое же тут понятие, ежели ты безо вся-кого смысла тварь божию портишь? Птичку вот эту убил. За что ты ее убил? Ты ее нешто можешь вос-кресить? Можешь, я тебя спрашиваю?

— Не могу, батюшка!

— А убил... И какая из этой птицы корысть, не понимаю! Скворец! Ни мяса, ни перья... Так... Взял себе да сдуру и убил...

Волчков шурит глаза и начинает выпрямлять у скворца перебитую ножку. Ножка отрывается и па-дает на босую ногу Хромого.

— Анафема ты, анафема! — продолжает Волч-ков. — Жада ты, хищник! От жадности ты этот по-ступок сделал! Видит пташку, и ему досадно, что пташка по воле летает, бога прославляет! Дай, мол, ее убью и... сожру... Жадность человеческая! Видеть тебя не могу! Не гляди и ты на меня своими глаза-ми! Косая ты шельма, косая! Ты вот убил ее, а у нее, может быть, маленькие деточки есть... Пищат теперь...

Волчков делает плаксивую гримасу и, опустив руку к земле, показывает, как малы могут быть деточки...

— Не от жадности это я сделал, Петр Егорыч,— оправдывается дрожащим голосом Хромой.

— От чего же? Известно, от жадности!

— Никак нет, Петр Егорыч... Ежели я взял грех на душу, то не от жадности, не из корысти-с, Петр Егорыч! Нечистый попутал...

— Таковский ты, чтоб тебя нечистый попутал! Сам ты нечистого попутать можешь! Все вы, кашилловские, разбойники!

Волчков с сопеньем выпускает из груди струю воздуха, вбирает в себя новую порцию и продолжает, понизив голос:

— Что ж мне теперь с тобой делать? А? Принимая во внимание твое умственное убожество, тебя отпустить бы следовало; соображаясь же с поступком и твоею наглостью, тебе задать надо... Непременно надо... Довольно уж вас баловать... Довольно! Послал за урядником... Акт сейчас составим... Послал... Улика налицо... Пеняй на себя... не я тебя наказываю, а тебя твой грех наказывает... Умел грешить, сумей и наказание претерпеть... Охо-хоххх... Господи, прости нас, грешных! Беда с этими... Ну, как у вас яровое?..

— Ничего... милости господни...

— Чего же ты глазами моргаешь?

Хромой конфузливо кашляет в кулак и поправляет поясок.

— Чего глазами моргаешь? — повторяет Волчков.— Ты скворца убил, ты же и плакать собираешься?

— Ваше высокоблагородие! — говорит Хромой дребезжащей фистулой, громко, как бы собравшись с силами.— Вам, по вашему человеколюбию, обидно за то, что я птаху, положим, убил... Укоряете вы меня, это самое, не потому, стало быть, что вы барин есть, а потому, что обидно... по вашему человеколюбию... А мне нешто не обидно? Я человек глу-

пый, хоть и без понятия, а и мне... обидно-с... Раз-
рази, господи...

— Так зачем же ты стрелял, ежели тебе обидно?

— Нечистый попутал. Дозвольте мне рассказать, Петр Егорыч! Я чистую правду, как перед богом... Пушай урядник наезжает... Мой грех, я за него и ответчик перед богом и судом, а вам всю сущую правду, как на духу... Дозвольте, ваше высокоблагородие!

— Да что мне позволять? Позволяй там или не позволяй, а все умного не скажешь. Мне что? Не я буду составлять... Говори! Чего же молчишь? Говори, Вильгельм Телль!

Хромой проводит рукавом по дрожащим губам. Глаза его делаются еще косее и мельче...

— Никакого мне антитресу нет от этого скворца,— говорит он.— Будь их, скворцов, хоть тыща, да что с них толку? Ни продашь, ни съешь, так только... пустяк один. Сами можете понимать...

— Нет, не говори... Ты охотник вот, а не понимаешь... Скворец, ежели поджаренный, в каше хорош... И соус можно... Как рябчик — один вкус почти...

И, как бы спохватившись за свой равнодушный тон, Волчков хмурится и добавляет:

— Узнаешь сейчас, какого он вкуса.. Увидишь...

— Не разбираем мы вкусов... Был бы хлеб, Петр Егорыч... Самим небезызвестно... А убил скворца от тоски... Тоска прижала...

— Какая тоска?

— А нечистый знает, какая она! Дозвольте вам объяснить. Зачала она мучить меня с самой святой, тоска-то эта... Дозвольте вам объяснить... Выхожу это я, значит, утром после заутрени, как пасхи освятили, и иду себе... Наши бабы впереди пошли, а я позади иду. Шел-шел, да и остановился на плотине... Стою и смотрю на свет божий, как все в нем происходит, как всякая тварь и былинка, можно сказать, свое место знает... Утро рассвело, и солнышко всходит... Вижу все это, радуюсь и на пташек

гляжу, Петр Егорыч. Вдруг у меня в сердце что-то ёк! Екнуло, стало быть...

— Отчего же это?

— Оттого, что пташек увидал. Сейчас же мне в голову и мысль пришла. Хорошо бы, думаю, пострелять, да, жалко, закон не приказывает. А тут еще в поднебесье две уточки пролетели, да куличок прокричал где-то-сь за речкой. Страсть как охоты захотел! С таким воображением и домой пришел. Сижу, разговляюсь с бабами, а у самого в глазах пташки. Ем и слышу, как лес шумит и пташка кричит: цвиринь! цвиринь! Ах ты, господи! Хочется мне на охоту, да и шабаш! А водки как выпил, разговлявшись, так и совсем шальной стал. Голоса стал слышать. Слышно мне, как какой-то тоненький, словно как будто андельский, голосочек звенит тебе в ухе и рассказывает: поди, Пашка, постреляй! Наваждение! Могу предположить, ваше высокоблагородие, Петр Егорыч, што это самое чертененок, а не кто другой. И так сладко и тоненько, словно дите. С того утра и взяла меня, это самое, тоска. Сижу на призбе¹, опущу руки, как дурной, да и думаю себе... Думаю, думаю... И все у меня в воображении братец ваш покойник, Сергей, стало быть, Егорыч, царство им небесное. Вспоминалось мне, глупому, как я с ними, с покойничком, на охоту хаживал. Я у ихнего высокоблагородия, дай им бог... в наипервейших охотниках состоял. Занимательно и трогательно им было, что я, косою на оба глаза, стрелять был артист! Хотели в город везти докторам показывать мою способность при моем безобразии-с. Удивительно и чувствительно оно было, Петр Егорыч. Выйдем мы, бывалыча, чуть свет, кликнем собак Кару и Ледку, да... аах! Верст тридцать в день проходим! Да что говорить! Петр Егорыч! Батюшка благородный! Истинно вам говорю, что кроме вашего братца во всем свете нет и не было человека настоящего! Жестокий они были человек, грозный, строптивый, но никто супротив него по охотничьей части устоять не мог! Его сия-

¹ Призба — завалинка.

тельство, граф Тирборк, бился-бился со своею охотой, да так и помер завидуючи. Куда ему! И красоты той не было, и ружья такого в руках держать не приходилось, как у вашего брата! Двустволка, извольте понимать, марсельская, фабрики Лепелье и компании. На двести шагов-с! Утку! Шутка сказать!

Хромой быстро вытирает губы и, мигая косыми глазами, продолжает:

— От них я и тоску эту самую получил. Как нет стрельбы, так и беда — за сердце душит!

— Баловство!

— Никак нет, Петр Егорыч! Всю святую неделю как шальной ходил, не пил, не ел. На фоминой почистил ружье, поисправил — отлегло малость. На преполовенье опять затощило. Тянет, да и тянет на охоту, хоть ты тресни тут. Водку ходил пить — не помогает, еще того хуже. Не баловство-с! После водосветья напился... На завтра тоска пуще прежнего... Ломит тебя да из избы гонит... Так и гонит, так и гонит! Сила! Взял я ружье, вышел с ним на огород и давай галок стрелять! Набил их штук с десять, а самому не легче: в лес тянет... к болоту. Да и старуха срамить начала: «Галок нешто можно стрелять? Птица она неблагородная, и перед богом грех: неурожай будет, ежели галку убьешь». Взял, Петр Егорыч, и разбил ружье... Шут с ним! Отлегло...

— Баловство!

— Не баловство-с! Истинно вам говорю, что не баловство, Петр Егорыч! Дозвольте уж вам объяснить... Просыпаюсь вчера ночью. Лежу и думаю... Баба моя спит, и не с кем мне слово вымолвить. «А можно ли мое ружье таперича починить, али нет?» — думаю. Встал, да и давай починять.

— Ну?

— Ну, и ничего... Починил да выбежал с ним, как оглашенный. Поймался вот... Туда мне и дорога... Птицу эту саму взять да и по морде, чтобы понимал...

— Сейчас урядник придет... Ступай в сени!

— Пойду-с... И на духу каялся.. Батюшка, отец

Пётра, тож рассказывает, что баловство... А по моему глупому предположению, как я это дело понимаю, это не баловство, а болесть... Все одно, как запой... Один шут... Ты не хочешь, а тебя за душу тянет. Рад бы не пить, перед образом зарок даешь, а тебя подмывает: выпей! выпей! Пил, знаю...

Красный нос Волчкова делается багровым.

— Запой — другое дело, — говорит он.

— Одинаково-с! Разрази бог, одинаково-с! Истинно вам говорю!

И молчание... Молчат минут пять и друг на друга смотрят.

Багровый нос Волчкова делается темно-синим.

— Одно слово-с — запой... Сами изволите понимать по человеколюбию своему, какая это слабость есть.

Не по человеколюбию понимает подполковник, а по опыту.

— Ступай! — говорит он Хромому.

Хромой не понимает.

— Ступай и больше не попадайся!

— Сапожки пожалуйста-с! — говорит понявший и просиявший мужичонок.

— А где они?

— В шкафе-с...

Хромой получает свою обувь, шапку и ружье. С легкой душою выходит он из конторы, косится вверх, а на небе уж черная, тяжелая туча. Ветер шалит по траве и деревьям. Первые брызги уже застучали по горячей кровле. В душном воздухе делается все легче и легче.

Волчков пихает изнутри окно. Окно с шумом отворяется, и Хромой видит улетающую осу.

Воздух, Хромой и оса празднуют свою свободу.

СБОРНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

Предисловие. Милые и дорогие дети! Только тот счастлив в этой жизни, кто честен и справедлив. Мерзавцы и подлецы не могут быть счастливы, а потому будьте честны и справедливы. Не мошенничайте в картах не потому, что за это могут съездить подсвечником, а потому, что это нечестно; почитайте старших не потому, что за непочтение угощают березовой кашей, а потому, что этого требует справедливость. Привожу вам в назидание несколько сказок и повестей...

1. Наказанная скупость. Три приятеля, Иванов, Петров и Смирнов, зашли в трактир пообедать. Иванов и Петров были не скупы, а потому тотчас же потребовали себе по шестидесятикопеечному обеду. Смирнов же, будучи скуп, отказался от обеда. Его спросили о причине отказа.

— Я не люблю трактирных шей,— сказал он.— Да и к тому же у меня в кармане всего-навсего шесть гривен. Надо же и на папиросы себе оставить. Вот что: я скушаю яблоко.

Сказав это, Смирнов потребовал яблоко и стал есть его, с завистью поглядывая на друзей, евших щи и вкусных рябчиков. Но мысль, что он мало потратился, утешала его. Каково же было его удивле-

ние, когда на поданном счете прочел он следующее: «2 обеда — 1 р. 20 к.; яблоко — 75 коп.». С этих пор он никогда не скупится и не покупает фруктов в трактирных буфетах.

2. *Дурной пример заразителен.* Червонец подружился с тестовским рублевым обедом и стал совращать его с пути истины.

— Друг мой! — говорил он рублевому обеду. — Погляди на меня! Я много меньше, но сколь я лучше тебя! Не говоря уже о том сиянии, которое я испускаю из себя, как я дорог! Номинальная моя стоимость равна 5 р. 15 к., а между тем люди дают за меня восемь с хвостиком!

И долго таким образом смущал он рублевый обед. Обед слушал-слушал и наконец совратился. Через несколько времени он говорил русскому кредитному рублю:

— Как жаль мне тебя, несчастный целковый! И как ты смешон! Моя номинальная стоимость равна рублю, а между тем за меня платят теперь в трактирах рубль с четвертаком, ты же... ты! о, стыд! ты дешевле своей стоимости! Ха-ха!

— Друг мой! — кротко заметил ему рубль. — Ты и друг твой, червонец, построили свое величие на моем унижении, и я рад, что мог служить вам!

Рублевому обеду стало стыдно.

3. *Примерная неблагодарность.* Один благочестивый человек в день своих именин созвал к себе во двор со всего города хромых, слепых, гнойных и убогих и стал угощать их обедом. Угощал он их постными щами, горохом и пирогами с изюмом. «Кушайте во славу божию, братья мои!» — говорил он нищим, упрашивая их есть. Те ели и не благодарили. Пообедав, убогие, хромые, слепые и гнойные наскоро помолились богу и вышли на улицу.

— Ну, что? Как угостил вас благочестивый человек? — обратился к одному из хромых стоявший неподалеку городской.

Хромой махнул рукой и ничего не ответил. Тогда городской с тем же вопросом обратился к одному из гнойных.

— Аппетит только испортил! — ответил гнойный, с досадой махнув рукой. — Сегодня нам предстоит еще обедать на похоронах купчихи Ярлыковой!

4. *Достойное возмездие.* Один злой мальчик имел дурную привычку писать на заборах неприличные слова. Он писал и думал, что не будет за это наказан. Но, дети, ни один злой поступок не проходит без наказания. Однажды, идя мимо забора, злой мальчик взял мел и на самом видном месте написал: «Дурак! Дурак! Дурак!» Проходили мимо забора люди и читали. Прошел Умный, прочел и пошел далее. Прошел Дурак, прочел и отдал злого мальчика под суд за диффамацию.

— Отдаю его под суд не потому, что мне обидно это писанье, — сказал Дурак, — а из принципа!

5. *Излишнее усердие.* В одной газете завелись черви. Тогда редактор призвал болотных птиц и сказал им: «Клюйте червей!» Птицы стали клевать и склевали не только червей, но и газету, и самого редактора.

6. *Ложь до правды стоит.* Персидский царь Дарий, умирая, призвал к себе сына своего Артаксеркса и сказал ему:

— Сын мой, я умираю! После моей смерти созови со всей земли мудрецов и предложи им на разрешение эту задачу. Решивших сделай своими министрами.

И, нагнувшись к уху сына, Дарий прошептал ему тайну задачи.

После смерти отца Артаксеркс созвал со всей земли мудрецов и, обратясь к ним, сказал:

— Мудрецы! Отец поручил мне дать вам вот эту задачу на разрешение. Кто решит ее, тот будет моим министром.

И Артаксеркс задал мудрецам задачу. Всех мудрецов было пять.

— Но кто же, государь, будет контролировать наши решения? — спросил царя один из мудрецов.

— Никто, — отвечал царь. — Я поверю вашему честному слову. Если вы скажете, что вы решили, я поверю, не проверяя вас.

Мудрецы сели за стол и стали решать задачу. В тот же день вечером один из мудрецов явился к царю и сказал:

— Я решил задачу.

— Отлично. Будь моим министром.

На другой день задача была решена еще тремя мудрецами. Остался за столом один только мудрец, именем Артозостр. Он не мог решить задачи. Прошла неделя, прошел месяц, а он все сидел за задачей и потел над ее разрешением. Прошел год, прошло два года. Он побледнел, похудел, осунулся, перепачкал сто стоп бумаги, но до решения было еще далеко.

— Вели его казнить, царь! — говорили четыре министра, решившие задачу. — Он, выдавая себя за мудреца, обманывал тебя.

Но царь не казнил Артозостра, а терпеливо ждал. Через пять лет пришел к царю Артозостр, пал перед ним на колени и сказал:

— Государь! Эта задача неразрешима!

Тогда царь поднял мудреца, поцеловал его и сказал:

— Ты прав, мудрый! Эта задача действительно неразрешима. Но, решая ее, ты разрешил главную задачу, написанную на моем сердце: ты доказал мне, что на земле есть еще честные люди. А вы, — обратился он к четырем министрам, — жулики!

Те сконфузились и спросили:

— Теперь нам, стало быть, убираться отсюда?

— Нет, оставайтесь! — сказал Артаксеркс. — Вы хоть и жулики, но мне тяжело с вами расстаться. Оставайтесь.

И они, слава богу, остались.

7. *И за зло нужно быть благодарным.* «О Зевс великий! О сильный громовержец! — молился один поэт Зевсу. — Пошли мне для вдохновения музу! Молю тебя!»

Зевс не учил древней истории. Не мудро поэтому, что он ошибся и вместо Мельпомены послал к поэту Терпсихору. Терпсихора явилась к поэту, и последний, вместо того чтобы работать в журналах и

получать за это гонорар, поступил в танцкласс. Танцевал он сто дней и сто ночей напролет, пока не подумал:

«Меня не послушал Зевс. Он посмеялся надо мной. Я просил у него вдохновения, а он научил меня выкидывать коленце...»

И дерзкий написал на Зевса едкую эпиграмму. Громовержец разгневался и швырнул в него одну из своих молний. Так погиб поэт.

Заключение. Итак, дети, добродетель торжествует.

ШВЕДСКАЯ СПИЧКА

Уголовный рассказ

I

Утром, 6 октября 1885 года, в канцелярию станового пристава 2-го участка С—го уезда явился прилично одетый молодой человек и заявил, что его хозяин, отставной гвардии корнет Марк Иванович Кляузов, убит. Заявляя об этом, молодой человек был бледен и крайне взволнован. Руки его дрожали, и глаза были полны ужаса.

— С кем я имею честь говорить? — спросил его становой.

— Псеков, управляющий Кляузова. Агроном и механик.

Становой и понятые, прибывшие вместе с Псековым на место происшествия, нашли следующее. Около флигеля, в котором жил Кляузов, толпилась масса народу. Весть о происшествии с быстротою молнии облетела окрестности, и народ благодаря праздничному дню стекался к флигелю со всех окрестных деревень. Стоял шум и говор. Кое-где попадались бледные, заплаканные физиономии. Дверь в спальню Кляузова найдена была запертой. Изнутри торчал ключ.

— Очевидно, злодеи пробрались к нему через окно, — заметил при осмотре двери Псеков.

Пошли в сад, куда выходило окно из спальни. Окно глядело мрачно, зловеще. Оно было занаве-

шено зеленой, полинялой занавеской. Один угол занавески был слегка заворочен, что давало возможность заглянуть в спальню.

— Смотрел ли кто-нибудь из вас в окно? — спросил становой.

— Никак нет, ваше высокородие, — сказал садовник Ефрем, маленький седовласый старичок с лицом отставного унтера. — Не до гляденья тут, коли все поджилки трясутся!

— Эх, Марк Иваныч, Марк Иваныч! — вздохнул становой, глядя на окно. — Говорил я тебе, что ты плохим кончишь! Говорил я тебе, сердяге, — не слушайся! Распутство не доводит до добра!

— Спасибо Ефрему, — сказал Псеков, — без него мы и не догадались бы. Ему первому пришло на мысль, что здесь что-то не так. Приходит сегодня ко мне утром и говорит: «А отчего это наш барин так долго не просыпается? Целую неделю из спальни не выходит!» Как сказал он мне это, меня точно кто обухом... Мысль сейчас мелькнула... Он не показывался с прошлой субботы, а ведь сегодня воскресенье! Семь дней — шутка сказать!

— Да, бедняга... — вздохнул еще раз становой. — Умный малый, образованный, добрый такой. В компании, можно сказать, первый человек. Но распутник, царствие ему небесное! Я всего ожидал! Степан, — обратился становой к одному из понятых, — съезди сию минуту ко мне и пошли Андриюшку к исправнику, пушай доложит! Скажи: Марка Иваныча убили! Да забеги к уряднику — чего он там прохлаждается? Пушай сюда едет! А сам ты поезжай как можно скорее к следователю Николаю Ермолаичу и скажи ему, чтобы ехал сюда! Постой, я ему письмо напишу.

Становой расставил вокруг флигеля сторожей, написал следователю письмо и пошел к управляющему пить чай. Минут через десять он сидел на табурете, осторожно кусал сахар и глотал горячий, как уголь, чай.

— Вот-с... — говорил он Псекову. — Вот-с... Дворянин, богатый человек... любимец богов, можно сказать,

как выразился Пушкин, а что из него вышло? Ничего! Пьянствовал, распутничал, и... вот-с!.. убили.

Через два часа прикатил следователь. Николай Ермолаевич Чубиков (так зовут следователя), высокий, плотный старик, лет шестидесяти, подвизается на своем поприще уже четверть столетия. Известен всему уезду как человек честный, умный, энергичный и любящий свое дело. На место происшествия прибыл с ним и его неперменный спутник, помощник и письмоводитель Дюковский, высокий молодой человек лет двадцати шести.

— Неужели, господа? — заговорил Чубиков, входя в комнату Псекова и наскоро пожимая всем руки.— Неужели? Марка Иваныча? Убили? Нет, это невозможно! Не-воз-мож-но!

— Подите же вот...— вздохнул становой.

— Господи ты боже мой! Да ведь я же его в прошлую пятницу на ярмарке в Тарабанькове видел! Я с ним, извините, водку пил!

— Подите же вот...— вздохнул еще раз становой.

Повздыхали, поужасались, выпили по стакану чаю и пошли к флигелю.

— Расступись! — крикнул урядник народу.

Войдя во флигель, следователь занялся прежде всего осмотром двери в спальню. Дверь оказалась сосновою, выкрашенной в желтую краску и неповрежденной. Особых примет, могущих послужить какими-либо указаниями, найдено не было. Приступлено было ко взлому.

— Прошу, господа, лишних удалиться! — сказал следователь, когда после долгого стука и треска дверь уступила топору и долоту.— Прошу это в интересах следствия... Урядник, никого не впускать!

Чубиков, его помощник и становой открыли дверь и нерешительно, один за другим, вошли в спальню. Их глазам представилось следующее зрелище. У единственного окна стояла большая деревянная кровать с огромной пуховой периной. На измятой перине лежало скомканное, измятое одеяло. Подушка в ситцевой наволочке, тоже сильно помятая, валялась на полу. На столике перед кроватью лежали серебряные

часы и серебряная монета двадцатикопеечного достоинства. Тут же лежали и серные спички. Кроме кровати, столика и единственного стула, другой мебели в спальне не было. Заглянув под кровать, становой увидел десятка два пустых бутылок, старую соломенную шляпу и четверть водки. Под столиком валялся один сапог, покрытый пылью. Окинув взглядом комнату, следователь нахмурился и покраснел.

— Мерзавцы! — пробормотал он, сжимая кулаки.

— А где же Марк Иваныч? — тихо спросил Дюковский.

— Прошу вас не вмешиваться! — грубо сказал ему Чубиков. — Извольте осмотреть пол! Это второй такой случай в моей практике, Евграф Кузьмич, — обратился он к становому, понизив голос. — В тысяча восемьсот семидесятом году был у меня тоже такой случай. Да вы наверное помните... Убийство купца Портретова. Там тоже так. Мерзавцы убили и вытащили труп через окно...

Чубиков подошел к окну, отдернул в сторону занавеску и осторожно пихнул окно. Окно отворилось.

— Отворяется, значит не было заперто... Гм! Следы на подоконнике. Видите? Вот следы от колена... Кто-то лез оттуда... Нужно будет как следует осмотреть окно.

— На полу ничего особенного не заметно, — сказал Дюковский. — Ни пятен, ни царапин. Нашел одну только обгоревшую шведскую спичку. Вот она! Насколько я помню, Марк Иваныч не курил; в общежитии же он употреблял серные спички, отнюдь же не шведские. Эта спичка может служить уликой...

— Ах... замолчите, пожалуйста! — махнул рукой следователь. — Лезет со своей спичкой! Не терплю горячих голов! Чем спички искать, вы бы лучше постель осмотрели!

По осмотре постели Дюковский отрапортовал:

— Ни кровяных, ни каких-либо других пятен... Свежих разрывов также нет. На подушке следы зубов. Одеяло облито жидкостью, имеющей запах пива и вкус его же... Общий вид постели дает право думать, что на ней происходила борьба.

— Без вас знаю, что борьба! Вас не о борьбе спрашивают. Чем борьбу-то искать, вы бы лучше...

— Один сапог здесь, другого же нет налицо.

— Ну, так что же?

— А то, что его задушили, когда он снимал сапоги. Не успел он снять другого сапога, как...

— Понес!.. И почему вы знаете, что его задушили?

— На подушке следы зубов. Сама подушка сильно помята и отброшена от кровати на два с половиной аршина.

— Толкует, пустомеля! Пойдемте-ка лучше в сад. Вы бы лучше в саду посмотрели, чем здесь рыться... Это я и без вас сделаю.

Придя в сад, следствие прежде всего занялось осмотром травы. Трава под окном была помята. Куст репейника под окном у самой стены оказался тоже помятым. Дюковскому удалось найти на нем несколько поломанных веточек и кусочек ваты. На верхних головках были найдены тонкие волоски темно-синей шерсти.

— Какого цвета был его последний костюм? — спросил Дюковский у Псекова.

— Желтый, парусинковый.

— Отлично. Они, значит, были в синем.

Несколько головок репейника было срезано и старательно заворочено в бумагу. В это время приехали исправник Арцыбашев-Свистаковский и доктор Тютюев. Исправник поздоровался и тотчас же принялся удовлетворять свое любопытство; доктор же, высокий и в высшей степени тощий человек со впалыми глазами, длинным носом и острым подбородком, ни с кем не здороваясь и ни о чем не спрашивая, сел на пень, вздохнул и проговорил:

— А сербы опять взбудоражились! Что им нужно, не понимаю! Ах, Австрия, Австрия! Твои это дела!

Осмотр окна снаружи не дал решительно ничего; осмотр же травы и ближайших к окну кустов дал следствию много полезных указаний. Дюковскому удалось, например, проследить на траве длинную темную полосу, состоявшую из пятен и тянувшуюся

от окна на несколько сажен в глубь сада. Полоса заканчивалась под одним из сиреневых кустов большим темно-коричневым пятном. Под тем же кустом был найден сапог, который оказался парой сапога, найденного в спальне.

— Это давнишняя кровь! — сказал Дюковский, осматривая пятна.

Доктор при слове «кровь» поднялся и лениво, мельком взглянул на пятна.

— Да, кровь,— пробормотал он.

— Значит, не задушен, коли кровь! — сказал Чубиков, язвительно поглядев на Дюковского.

— В спальне его задушили, здесь же, боясь, чтобы он не ожил, его ударили чем-то острым. Пятно под кустом показывает, что он лежал там относительно долгое время, пока они искали способов, как и на чем вынести его из сада.

— Ну, а сапог?

— Этот сапог еще более подтверждает мою мысль, что его убили, когда он снимал перед сном сапоги. Один сапог он снял, другой же, то есть этот, он успел снять только наполовину. Наполовину снятый сапог во время тряски и падения сам снялся...

— Сообразительность, посмотришь! — усмехнулся Чубиков.— Так и режет, так и режет! И когда вы отучитесь лезть со своими рассуждениями? Чем рассуждать, вы бы лучше взяли для анализа немного травы с кровью!

По осмотре и снятии плана местности следствие отправилось к управляющему писать протокол и завтракать. За завтраком разговорились.

— Часы, деньги и прочее... все цело,— начал разговор Чубиков.— Как дважды два четыре, убийство совершено не с корыстными целями.

— Совершено человеком интеллигентным,— вставил Дюковский.

— Из чего же это вы заключаете?

— К моим услугам шведская спичка, употребления которой еще не знают здешние крестьяне. Употребляют такие спички только помещики, и то не все. Убивал, кстати сказать, не один, а минимум

трое: двое держали, а третий душил. Кляузов был силен, и убийцы должны были знать это.

— К чему могла послужить ему его сила, ежели он, положим, спал?

— Убийцы застали его за сниманием сапог. Снимал сапоги, значит не спал.

— Нечего выдумывать! Ешьте лучше!

— А по моему понятию, ваше высокоблагородие,— сказал садовник Ефрем, ставя на стол самовар,— пакость эту самую сделал не кто другой, как Николашка.

— Весьма возможно,— сказал Псеков.

— А кто этот Николашка?

— Баринов камердинер, ваше высокоблагородие,— отвечал Ефрем.— Кому другому, как не ему? Разбойник, ваше высокоблагородие! Пьяница и распутник такой, что и не приведи царица небесная! Барину он водку завсегда носил, барина он укладывал в постелю... Кому же, как не ему? А еще тоже, смею предположить вашему высокоблагородию, похвалялся раз, шельма, в кабаке, что барина убьет. Из-за Акульки все вышло, из-за бабы... Была у него солдатка такая... Барину она пондравилась, они ее к себе приблизили, ну, а он... известно, осерчал... На кухне пьяный валяется теперь. Плачет... врет, что барина жалко...

— А действительно, из-за Акульки можно осерчать,— сказал Псеков.— Она солдатка, баба, но... Недаром Марк Иваныч прозвал ее Наной. В ней есть что-то, напоминающее Нану... привлекательное...

— Видал... Знаю...— сказал следователь, сморкаясь в красный платок.

Дюковский покраснел и опустил глаза. Становой забарабанил пальцем по блюдечку. Исправник закашлялся и полез зачем-то в портфель. На одного только доктора, по-видимому, не произвело никакого впечатления напоминание об Акульке и Нане. Следователь приказал привести Николашку. Николашка, молодой долговязый парень с длинным, рябым носом и впалой грудью, в пиджаке с барского плеча, вошел в комнату Псекова и поклонился сле-

дователю в ноги. Лицо его было сонно и заплакано. Сам он был пьян и еле держался на ногах.

— Где барин? — спросил его Чубиков.

— Убили, ваше высокоблагородие.

Сказав это, Николашка замигал глазами и заплакал.

— Знаем, что убили. А где он теперь? Тело-то его где?

— Сказывают, в окно вытащили и в саду закопали.

— Гм!.. О результатах следствия уже известно на кухне... Скверно. Любезный, где ты был в ту ночь, когда убили барина? В субботу то есть?

Николашка поднял вверх голову, вытянул шею и задумался.

— Не могу знать, ваше высокоблагородие, — сказал он. — Был выпимши и не помню.

— Alibi!¹ — шепнул Дюковский, усмехаясь и потирая руки.

— Так-с. Ну, а отчего это у барина под окном кровь?

Николашка задрал вверх голову и задумался.

— Скорей думай! — сказал исправник.

— Сичас. Кровь эта от пустяка, ваше высокоблагородие. Курицу я резал. Я ее резал очень просто, как обыкновенно, а она возьми да и вырвись из рук, возьми да побегит... От этого самого и кровь.

Ефрем показал, что действительно Николашка каждый вечер режет кур и в разных местах, но никто не видел, чтобы недорезанная курица бегала по саду, чего, впрочем, нельзя отрицать безусловно.

— Alibi, — усмехнулся Дюковский. — И какое дурацкое alibi!

— С Акулькой знавался?

— Был грех.

— А барин у тебя сманил ее?

— Никак нет. У меня Акульку отбили вот они-с, господин Псеков, Иван Михайлыч-с, а у Ивана Михайлыча отбил барин. Так дело было.

¹ Alibi — в уголовном праве доказательство, что обвиняемый в момент совершения преступления находился в другом месте (лат).

Псеков смутился и принялся чесать себе левый глаз. Дюковский впился в него глазами, прочел смущение и вздрогнул. На управляющем увидел он синие панталоны, на которые ранее не обратил внимания. Панталоны напомнили ему о синих волосках, найденных на репейнике. Чубиков, в свою очередь, подозрительно взглянул на Псекова.

— Ступай! — сказал он Николашке. — А теперь позвольте вам задать один вопрос, господин Псеков. Вы, конечно, были в субботу под воскресенье здесь?

— Да, в десять часов я ужинал с Марком Ивановичем.

— А потом?

Псеков смутился и встал из-за стола.

— Потом... потом... Право, не помню, — забормотал он. — Я много выпил тогда... Не помню, где и когда уснул... Чего вы на меня все так смотрите? Точно я убил!

— Где вы проснулись?

— Проснулся в людской кухне на печи... Все могут подтвердить. Как я попал на печь, не знаю...

— Вы не волнуйтесь... Акулину вы знали?

— Ничего нет тут особенного...

— От вас она перешла к Клязову?

— Да... Ефрем, подай еще грибов! Хотите чаю, Евграф Кузьмич?

Наступило молчание тяжелое, жуткое, длившееся минут пять. Дюковский молчал и не отрывал своих колочих глаз от побледневшего лица Псекова. Молчание нарушил следователь.

— Нужно будет, — сказал он, — сходить в большой дом и поговорить там с сестрой покойного, Марьей Ивановной. Не даст ли она нам каких-либо указаний.

Чубиков и его помощник поблагодарили за завтрак и пошли в барский дом. Сестру Клязова, Марью Ивановну, сорокапятилетнюю деву, застали они молящейся перед высоким фамильным киотом. Увидев в руках гостей портфели и фуражки с кокардами, она побледнела.

— Приношу, прежде всего, извинение за нарушение, так сказать, вашего молитвенного настроения, — начал расшаркиваясь, галантный Чубиков. — Мы к вам

с просьбой. Вы, конечно, уже слышали... Существует подозрение, что ваш братец, некоторым образом, убит. Божья воля, знаете ли... Смерти не миновать никому, ни царям, ни пахарям. Не можете ли вы помочь нам каким-либо указанием, разъяснением...

— Ах, не спрашивайте меня! — сказала Марья Ивановна, еще более бледнея и закрывая лицо руками.— Ничего я не могу вам сказать! Ничего! Умоляю вас! Я ничего... Что я могу? Ах, нет, нет... ни слова про брата! Умирать буду, не скажу!

Марья Ивановна заплакала и ушла в другую комнату. Следователи переглянулись, пожали плечами и ретировались.

— Чертова баба! — выругался Дюковский, выходя из большого дома.— По-видимому, что-то знает и скрывает. И у горничной что-то на лице написано... Пойдите же, черти! Все разберем!

Вечером Чубиков и его помощник, освещенные бледнолицей луной, возвращались к себе домой; они сидели в шарабанах и подводили в своих головах итоги минувшего дня. Оба были утомлены и молчали. Чубиков вообще не любил говорить в дороге, болтун же Дюковский молчал в угоду старику. В конце пути, однако, помощник не вынес молчания и заговорил.

— Что Николашка причастен в этом деле, — сказал он, — *non dubitandum est*¹. И по роже его видно, что он за штука... *Alibi* выдает его с руками и ногами. Нет также сомнения, что в этом деле не он инициатор. Он был только глупым, нанятым орудием. Согласны? Не последнюю также роль в этом деле играет и скромный Псеков. Синие панталоны, смущение, лежанье на печи от страха после убийства, *alibi* и Акулька.

— Мели, Емеля, твоя неделя. По-вашему, значит, тот и убийца, кто Акульку знал? Эх, вы, горячка! Соску бы вам сосать, а не дела разбирать! Вы тоже за Акулькой ухаживали, — значит, и вы участник в этом деле?

— У вас тоже Акулька месяц в кухарках жила, но... я ничего не говорю. В ночь под то воскресенье я играл с вами в карты, видел вас, иначе бы я и к вам при-

¹ нет сомнения (лат.).

дрался. Дело, батенька, не в бабе. Дело в подленьком, гаденьком, скверненьком чувстве... Скромному молодому человеку не понравилось, видите ли, что не он верх взял. Самолюбие, видите ли... Мстить захотелось. Потом-с... Толстые губы его сильно говорят о чувственности. Помните, как он губами причмокивал, когда Акульку с Наной сравнивал? Что он, мерзавец, сгорает страстью — несомненно! Итак: оскорбленное самолюбие и неудовлетворенная страсть. Этого достаточно для того, чтобы совершить убийство. Двое в наших руках; но кто же третий? Николашка и Псеков держали. Кто же душил? Псеков робок, конфузлив, вообще трус. Николашки же не умеют душить подушкой; они действуют топором, обухом... Душил кто-то третий, но кто он?

Дюковский нахлобучил на глаза шляпу и задумался. Молчал он до тех пор, пока шарaban не подъехал к дому следователя.

— Эврика! — сказал он, входя в домик и снимая пальто.— Эврика, Николай Ермолаич! Не знаю только, как мне это раньше в голову не пришло. Знаете, кто третий?

— Отстаньте, пожалуйста! Вон ужин готов! Садитесь ужинать!

Следователь и Дюковский сели ужинать. Дюковский налил себе рюмку водки, поднялся, вытянулся и, сверкая глазами, сказал:

— Так знайте же, что третий, действовавший заодно с негодяем Псековым и душивший,— была женщина! Да-с! Я говорю о сестре убитого, Марье Ивановне!

Чубиков поперхнулся водкой и уставил глаза на Дюковского.

— Вы... не тово? Голова у вас... не тово? Не болит?

— Я здоров. Хорошо, пусть я с ума сошел, но чем вы объясните ее смущение при нашем появлении? Как вы объясните ее нежелание давать показания? Допустим, что это пустяки — хорошо! ладно! — так вспомните про их отношения! Она ненавидела своего брата! Она староверка, он развратник, безбожник... Вот где гнездится ненависть! Говорят, что он успел убедить ее

в том, что он аггел сатаны. При ней он занимался спиритизмом!

— Ну, так что же?

— Вы не понимаете? Она, староверка, убила его из фанатизма! Мало того, что она убила плевел, развратника, она освободила мир от антихриста — и в этом, мнит она, ее заслуга, ее религиозный подвиг! О, вы не знаете этих старых дев, староверок! Прочитайте-ка Достоевского! А что пишут Лесков, Печерский!.. Она и она, хоть зарежьте! Она душила! О, ехидная баба! Разве не затем только стояла она у икон, когда мы вошли, чтобы отвести нам глаза? Дай, мол, стану и буду молиться, а они подумают, что я покойна, что я не ожидаю их! Это метод всех преступников-новичков. Голубчик, Николай Ермолаич! Родной мой! Отдайте мне это дело! Дайте мне лично довести его до конца! Милый мой! Я начал, я и до конца доведу!

Чубиков замотал головой и нахмурился.

— Мы и сами умеем трудные дела разбирать,— сказал он.— А ваше дело не лезть, куда не следует. Пишите себе под диктовку, когда вам диктуют,— вот ваше дело!

Дюковский вспыхнул, хлопнул дверью и вышел.

— Умница, шельма! — пробормотал, глядя ему вслед, Чубиков.— Бо-ольшая умница! Горяч только некстати. Нужно будет ему на ярмарке портсигар в презент купить...

На другой день утром к следователю был приведен из Клязовки молодой парень с большой головой и заячьей губой, который, назвавшись пастухом Данилкой, дал очень интересное показание.

— Был я выпимши,— сказал он.— До полночи у кумы просидел. Идучи домой, спьяна полез в реку купаться. Купаюсь я... глядь! Идут по плотине два человека и что-то черное несут. «Тю!» — крикнул я на них. Они испужались и что есть духу давай стрекача к макарьевским огородам. Побей меня бог, коли то не барина волокля!

В тот же день перед вечером Псеков и Николашка были арестованы и отправлены под конвоем в уездный город. В городе они были посажены в тюремный замок.

Прошло двенадцать дней.

Было утро. Следователь Николай Ермолаич сидел у себя за зеленым столом и перелистывал «кляузовское» дело; Дюковский беспокойно, как волк в клетке, шагал из угла в угол.

— Вы убеждены в виновности Николашки и Псекова, — говорил он, нервно теребя свою молодую бородку. — Отчего же вы не хотите убедиться в виновности Марьи Ивановны? Вам мало улик, что ли?

— Я не говорю, что я не убежден. Я убежден, но не верится как-то... Улик настоящих нет, а все какая-то философия... Фанатизм, то да се...

— А вам непременно подавай топор, окровавленные простыни!.. Юристы! Так я же вам докажу! Вы перестанете у меня так халатно относиться к психической стороне дела! Быть вашей Марье Ивановне в Сибири! Я докажу! Мало вам философии, так у меня есть нечто вещественное... Оно покажет вам, как права моя философия! Дайте мне только поездить.

— О чем это вы?

— Про шведскую спичку-с... Забыли? А я не забыл! Я узнаю, кто зажигал ее в комнате убитого! Зажигал не Николашка, не Псеков, у которых при обыске спичек не оказалось, а третий, то есть Марья Ивановна. И я докажу!.. Дайте только поездить по уезду, поразузнать...

— Ну, ладно, садитесь... Давайте допрос делать.

Дюковский сел за столик и уткнул свой длинный нос в бумаги.

— Ввести Николая Тетехова! — крикнул следователь.

Ввели Николашку. Николашка был бледен и худ, как щепка. Он дрожал.

— Тетехов! — начал Чубиков. — В тысяча восемьсот семьдесят девятом году вы судились у судьи первого участка за кражу и были приговорены к тюремному заключению. В тысяча восемьсот восемьдесят втором году вы вторично судились за кражу и вторично попали в тюрьму... Нам все известно...

На лице у Николашки выразилось удивление. Всеведение следователя изумило его. Но скоро удивление сменилось выражением крайней скорби. Он зарыдал и попросил позволения пойти умыться и успокоиться. Его увели.

— Ввести Псекова! — приказал следователь.

Ввели Псекова. Молодой человек за последние дни сильно изменился в лице. Он похудел, побледнел и осунулся. В глазах читалась апатия.

— Садитесь, Псеков, — сказал Чубиков. — Надеюсь, что сегодняшней раз вы будете благоразумны и не станете лгать, как те разы. Во все те дни вы отрицали свое участие в убийстве Кляузова, несмотря на всю массу улик, говорящих против вас. Это неразумно. Сознание облегчает вину. Сегодня я беседую с вами в последний раз. Если сегодня не сознаетесь, то завтра будет уже поздно. Ну, рассказывайте нам...

— Ничего я не знаю... И улики ваших не знаю, — прошептал Псеков.

— Напрасно-с! Ну, так позвольте же мне рассказать вам, как было дело. В субботу вечером вы сидели в спальне Кляузова и пили с ним водку и пиво (Дюковский вонзил свой взгляд в лицо Псекова и не отрывал его в продолжение всего монолога). Вам прислуживал Николай. В первом часу Марк Иванович заявил вам о своем желании ложиться спать. В первом часу он всегда ложился. Когда он снимал сапоги и отдавал вам приказания по хозяйству, вы и Николай, по данному знаку, схватили опьяневшего хозяина и опрокинули его на постель. Один из вас сел ему на ноги, другой на голову. В это время из сеней вошла известная вам женщина в черном платье, которая ранее условилась с вами относительно своего участия в этом преступном деле. Она схватила подушку и стала душить его ею. Во время борьбы потухла свеча. Женщина вынула из кармана коробку со шведскими спичками и зажгла свечу. Не так ли? Я по лицу вашему вижу, что говорю правду. Но далее... Задушив его и убедившись, что он не дышит, вы и Николай вытащили его через окно и положили около репейника. Боясь, чтобы он не ожил, вы ударили его чем-то острым.

Затем вы понесли и положили его на некоторое время под сиреневый куст. Отдохнув и подумав, вы понесли его... Перенесли через плетень... Потом пошли по дороге... Далее следует плотина. Около плотины испугал вас какой-то мужик. Но что с вами?

Псеков, бледный как полотно, поднялся и зашатался.

— Мне душно! — сказал он. — Хорошо... пусть... Только я выйду... пожалуйста.

Псекова вывели.

— Наконец таки сознался! — сладко потянулся Чубиков. — Выдал себя! Как я его ловко, однако! Так и засыпал...

— И женщину в черном не отрицает! — засмеялся Дюковский. — Но, однако, меня ужасно мучит шведская спичка! Не могу долее терпеть! Прощайте! Еду.

Дюковский надел фуражку и уехал. Чубиков начал допрашивать Акульку. Акулька заявила, что она знать ничего не знает...

— Жила я только с вами, а больше ни с кем! — сказала она.

В шестом часу вечера воротился Дюковский. Он был взволнован, как никогда. Руки его дрожали до такой степени, что он был не в состоянии расстегнуть пальто. Щеки его горели. Видно было, что он воротился не без новости.

— Veni, vidi, vici! ¹ — сказал он, влетая в комнату Чубикова и падая в кресло. — Клянусь вам честью, я начинаю веровать в свою гениальность. Слушайте, черт нас возьми совсем! Слушайте и удивляйтесь, старина! Смешно и грустно! В ваших руках уже есть трое... не так ли? Я нашел четвертого или, вернее — четвертую, ибо и эта есть женщина! И какая женщина! За одно прикосновение к ее плечам я отдал бы десять лет жизни! Но... слушайте... Поехал я в Кляузовку и давай вокруг нее описывать спираль. Посетил я на пути все лавочки, кабачки, погребки, спрашивая всюду шведские спички. Всюду мне говорили «нет». Колесил я до сей поры. Двадцать раз я терял надежду и столько же раз

¹ Пришел, увидел, победил! (лат.)

получал ее обратно. Валандался целый день и только час тому назад набрел на искомое. За три версты отсюда. Подают мне пачку из десяти коробочек. Одной коробки нет как нет... Сейчас: «Кто купил эту коробку?» Такая-то... — «Пондравилось ей... пшикают». Голубчик мой! Николай Ермолаич! Что может иногда сделать человек, изгнанный из семинарии и начитавшийся Габорио, так уму непостижимо! С сегодняшнего дня начинаю уважать себя!.. Уффф... Ну, едем!

— Куда это?

— К ней, к четвертой... Поспешить нужно, иначе... иначе я сгорю от нетерпения! Знаете, кто она? Не угадаете! Молоденькая жена нашего станового, старца Еврафа Кузьмича, Ольга Петровна — вот кто! Она купила ту коробку спичек!

— Вы... ты... вы... с ума сошел?

— Очень понятно! Во-первых, она курит. Во-вторых, она по уши была влюблена в Кляузова. Он отверг ее любовь для какой-нибудь Акульки. Месть. Теперь я вспоминаю, как однажды застал их в кухне за ширмой. Она клялась ему, а он курил ее папиросу и пускал ей дым в лицо. Но, однако, поедemте... Скорее, а то уже темнеет... Поедemте!

— Я еще не сошел с ума настолько, чтобы из-за какого-нибудь мальчишки беспокоить ночью благородную, честную женщину!

— Благородная, честная... Тряпка вы после этого, а не следователь! Никогда не осмеливался бранить вас, а теперь вы меня вынуждаете! Тряпка! Халат! Ну, голубчик, Николай Ермолаич! Прошу вас!

Следователь махнул рукой и плюнул.

— Прошу вас! Прошу не для себя, а в интересах правосудия! Умоляю наконец! Сделайте мне одолжение хоть раз в жизни!

Дюковский стал на колени.

— Николай Ермолаич! Ну, будьте так добры! Назовите меня подлецом, негодяем, если я заблуждаюсь относительно этой женщины! Дело ведь какое! Дело-то! Роман, а не дело! На всю Россию слава пойдет! Следователем по особо важным делам вас сделают! Поймите вы, неразумный старик!

Следователь нахмурился и нерешительно протянул руку к шляпе.

— Ну, черт с тобой! — сказал он. — Едем.

Было уже темно, когда шарабан следователя подкатил к крыльцу станového.

— Какие мы свиньи! — сказал Чубиков, берясь за звонок. — Беспokoим людей.

— Ничего, ничего... Не робейте... Скажем, что у нас рессора лопнула.

Чубикова и Дюковского встретила на пороге высокая полная женщина лет двадцати трех, с черными, как смоль, бровями и жирными, красными губами. Это была сама Ольга Петровна.

— Ах... очень приятно! — сказала она, улыбаясь во все лицо. — Как раз к ужину поспели. Моего Евграфа Кузьмича нет дома... У попа засиделся... Но мы и без него обойдемся... Садитесь! Вы это со следствия?..

— Да-с... У нас, знаете ли, рессора лопнула, — начал Чубиков, войдя в гостиную и усаживаясь в кресло.

— Вы сразу... ошеломите! — шепнул ему Дюковский. — Ошеломите!

— Рессора... Мм... да... Взяли и захали.

— Ошеломите, вам говорят! Догадается, коли канитель будет!

— Ну, так делай, как сам знаешь, а меня избавь! — пробормотал Чубиков, вставая и отходя к окну. — Не могу! Ты заварил кашу, ты и расхлебывай!

— Да, рессора... — начал Дюковский, подходя к становихе и морща свой длинный нос. — Мы захали не для того, чтобы... э-э-э... ужинать и не к Евграфу Кузьмичу. Мы приехали затем, чтобы спросить вас, милостивая государыня, где находится Марк Иванович, которого вы убили?

— Что? Какой Марк Иванович? — залепетала становиха, и ее большое лицо вдруг, в один миг, залилось алой краской. — Я... не понимаю.

— Спрашиваю вас именем закона! Где Кляузов? Нам все известно!

— Через кого? — спросила тихо становиха, не вынося взгляда Дюковского.

— Извольте указать нам, где он?!

— Но откуда вы узнали? Кто вам рассказал?

— Нам все известно-с! Я требую именем закона!

Следователь, ободренный замешательством становихи, подошел к ней и сказал:

— Укажите нам, и мы уйдем. Иначе же мы...

— На что он вам?

— К чему эти вопросы, сударыня? Мы вас просим указать! Вы дрожите, смущены... Да, он убит и, если хотите, убит вами! Сообщники выдали вас!

Становиха побледнела.

— Пойдемте,— сказала она тихо, ломая руки.— Он у меня в бане спрятан. Только, ради бога, не говорите мужу! Умоляю вас! Он не вынесет.

Становиха сняла со стены большой ключ и повела своих гостей через кухню и сени во двор. На дворе было темно. Накрапывал мелкий дождь. Становиха пошла вперед. Чубиков и Дюковский зашагали за ней по высокой траве, вдыхая в себя запахи дикой конопли и помоев, всхлипывавших под ногами. Двор был большой. Скоро кончились помои, и ноги почувствовали вспаханную землю. В темноте показались силуэты деревьев, а между деревьями — маленький домик с покривившеюся трубой.

— Это баня,— сказала становиха.— Но, умоляю вас, не говорите никому!

Подойдя к бане, Чубиков и Дюковский увидели на дверях огромный висячий замок.

— Приготовьте огарок и спички! — шепнул следователь своему помощнику.

Становиха отперла замок ипустила гостей в баню. Дюковский чиркнул спичкой и осветил предбанник. Среди предбанника стоял стол. На столе рядом с маленьким толстеньким самоваром стоял супник с остывшими шами и блюдо с остатками какого-то соуса.

— Дальше!

Вошли в следующую комнату, в баню. Там тоже стоял стол. На столе большое блюдо с окороком, бутылка с водкой, тарелки, ножи, вилки.

— Но где же... этот? Где убитый? — спросил следователь.

— Он на верхней полочке! — прошептала становаха, все еще бледная и дрожащая.

Дюковский взял в руки огарок и полез на верхнюю полку. Там он увидел длинное человеческое тело, лежавшее неподвижно на большой пуховой перине. Тело издавало легкий храп...

— Нас морочат, черт возьми! — закричал Дюковский. — Это не он! Здесь лежит какой-то живой болван. Эй, кто вы, черт вас возьми?

Тело потянуло в себя со свистом воздуха и задвигалось. Дюковский толкнул его локтем. Оно подняло вверх руки, потянулось и приподняло голову.

— Кто это лезет? — спросил охрипший, тяжелый бас. — Тебе что нужно?

Дюковский поднес к лицу неизвестного огарок и вскрикнул. В багровом носе, взъерошенных, нечесанных волосах, в черных, как смоль, усах, из которых один был ухарски закручен и с нахальством глядел вверх на потолок, он узнал корнета Кляузова.

— Вы... Марк... Иваныч?! Не может быть!

Следователь взглянул наверх и замер...

— Это я, да... А это вы, Дюковский! Какого дьявола вам здесь нужно? А там, внизу, что еще за рожа? Батюшки, следователь! Какими судьбами?

Кляузов сбежал вниз и обнял Чубикова. Ольга Петровна шмыгнула в дверь.

— Какими путями? Выпьем, черт возьми! Тра-та-ти-то-том... Выпьем! Кто вас привел сюда, однако? Откуда вы узнали, что я здесь? Впрочем, все равно! Выпьем!

Кляузов зажег лампу и налил три рюмки водки.

— То есть, я тебя не понимаю, — сказал следователь, разводя руками. — Ты это или не ты?

— Будет тебе... Мораль читать хочешь? Не трудись! Юноша Дюковский, выпивай свою рюмку! Проведемте ж, друзья-я, эту... Чего смотрите? Пейте!

— Все-таки я не могу понять, — сказал следователь, машинально выпивая водку. — Зачем ты здесь?

— Почему же мне не быть здесь, ежели мне здесь хорошо?

Кляузов выпил и закусил ветчиной.

— Живу у становихи, как видишь. В глуши, в дебрях, как домовою какой-нибудь. Пей! Жалко, брат, мне ее стало! Сжалился, ну, и живу здесь, в заброшенной бане, отшельником... Питаюсь. На будущей неделе думаю убраться отсюда... Уж надоело...

— Непостижимо! — сказал Дюковский.

— Что же тут непостижимого?

— Непостижимо! Ради бога, как попал ваш сапог в сад?

— Какой сапог?

— Мы нашли один сапог в спальне, а другой в саду.

— А вам для чего это знать? Не ваше дело... Да пейте же, черт вас возьми. Разбудили, так пейте! Интересная история, братец, с этим сапогом. Я не хотел идти к Оле. Не в духе, знаешь, был, под шефе... Она приходит под окно и начинает ругаться... Знаешь, как бабы... вообще... Я, спьяна, возьми да и пусти в нее сапогом... Ха-ха... Не ругайся, мол. Она влезла в окно, зажгла лампу, да и давай меня мутузить пьяного. Вздудла, приволокла сюда и заперла. Питаюсь теперь... Любовь, водка и закуска! Но куда вы? Чубиков, куда ты?

Следователь плюнул и вышел из бани. За ним, повесив голову, вышел Дюковский. Оба молча сели в шарабан и поехали. Никогда в другое время дорога не казалась им такою скучной и длинной, как в этот раз. Оба молчали. Чубиков всю дорогу дрожал от злости, Дюковский прятал свое лицо в воротник, точно боялся, чтобы темнота и моросивший дождь не прочли стыда на его лице.

Приехав домой, следователь застал у себя доктора Тютюева. Доктор сидел за столом и, глубоко вздыхая, перелистывал «Ниву».

— Дела-то какие на белом свете! — сказал он, встречая следователя с грустной улыбкой. — Опять Австрия того!.. И Гладстон тоже некоторым образом...

Чубиков бросил под стол шляпу и затрясся.

— Скелет чертов! Не лезь ко мне! Тысячу раз говорил я тебе, чтобы ты не лез ко мне со своею политикой! Не до политики тут! А тебе, — обратился Чубиков к Дюковскому, потрясая кулаком, — а тебе... во веки веков не забуду!

— Но... шведская спичка ведь! Мог ли я знать!

— Подавись своей спичкой! Уйди и не раздражай, а то я из тебя черт знает что сделаю! Чтобы и ноги твоей не было!

Дюковский вздохнул, взял шляпу и вышел.

— Пойду запью! — решил он, выйдя за ворота, и побрел печально в трактир.

Становиха, придя из бани домой, нашла мужа в гостиной.

— Зачем следователь приезжал? — спросил муж.

— Приезжал сказать, что Кляузова нашли. Вообрази, нашли его у чужой жены.

— Эх, Марк Иваныч, Марк Иваныч! — вздохнул становой, поднимая вверх глаза.— Говорил я тебе, что распутство не доводит до добра! Говорил я тебе,— не слушался!

В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ

Молодая женщина лет двадцати трех, с страшно бледным лицом, стояла на берегу моря и глядела вдаль. От ее маленьких ножек, обутых в бархатные полусапожки, шла вниз к морю ветхая, узкая лесенка с одним очень подвижным перилом.

Женщина глядела вдаль, где зиял простор, залитый глубоким, непроницаемым мраком. Не было видно ни звезд, ни моря, покрытого снегом, ни огней. Шел сильный дождь...

«Что там?» — думала женщина, вглядываясь вдаль и кутаясь от ветра и дождя в измокшую шубейку и шаль.

Где-то там, в этой непроницаемой тьме, верст за пять — за десять или даже больше, должен быть в это время ее муж, помещик Литвинов, со своею рыболовной артелью. Если метель в последние два дня на море не засыпала снегом Литвинова и его рыбаков, то они спешат теперь к берегу. Море вздулось и, говорят, скоро начнет ломать лед. Лед не может вынести этого ветра. Успеют ли их рыбацьи сани с безобразными крыльями, тяжелые и неповоротливые, достигнуть берега прежде, чем бледная женщина услышит рев проснувшегося моря?

Женщине страстно захотелось спуститься вниз. Перило задвигалось под ее рукой и, мокрое, липкое, выскользнуло из ее рук, как вьюн. Она присела на ступени

и стала спускаться на четвереньках, крепко держась руками за холодные грязные ступени. Рванул ветер и распахнул ее шубу. На грудь пахнуло сыростью.

— Святой чудотворец Николай, этой лестнице и конца не будет! — шептала молодая женщина, перебирая ступени.

В лестнице было ровно девяносто ступеней. Она шла не изгибами, а вниз по прямой линии, под острым углом к отвесу. Ветер зло шатал ее из стороны в сторону, и она скрипела, как доска, готовая треснуть.

Через десять минут женщина была уже внизу, у самого моря. И здесь внизу была такая же тьма. Ветер здесь стал еще злее, чем наверху. Дождь лил, и, казалось, конца ему не было.

— Кто идет? — послышался мужской голос.

— Это я, Денис...

Денис, высокий плотный старик, с большой седой бородой, стоял на берегу, с большой палкой, и тоже глядел в непроницаемую даль. Он стоял и искал на своей одежде сухого места, чтобы зажечь о него спичку и закурить трубку.

— Это вы, барыня Наталья Сергеевна? — спросил он недоумевающим голосом. — В этакое ненастье?! И что вам тут делать? При вашей комплекции после родов простуда — первая гибель. Идите, матушка, домой!

Послышался плач старухи. Плакала мать рыбака Евсея, поехавшего с Литвиновым на ловлю. Денис вздохнул и махнул рукой.

— Жила ты, старуха, — сказал он в пространство, — семьдесят годков на эфтом свете, а словно малый ребенок, без понятия. Ведь на все, дура ты, воля божья! При твоей старческой слабости тебе на печи лежать, а не в сырости сидеть! Иди отсюда с богом!

— Да ведь Евсей мой, Евсей! Один он у меня, Денисушка!

— Божья воля! Ежели ему не суждено, скажем, в море помереть, так пушай море хоть сто раз ломает, а он живой останется. А коли, мать моя, суждено ему в нынешний раз смерть принять, так не нам судить.

Не плачь, старуха! Не один Евсей в море! Там и барин Андрей Петрович. Там и Федька, и Кузьма, и Тарасенков Алешка.

— А они живы, Денисушка? — спросила Наталья Сергеевна дрожащим голосом.

— А кто ж их знает, барыня! Ежели вчерась и третьего дня их не занесло метелью, то, стало быть, живы. Море ежели не взломает, то и вовсе живы будут. Ишь ведь, какой ветер! Словно нанялся, бог с ним!

— Кто-то идет по льду! — сказала вдруг молодая женщина неестественно хриплым голосом, словно с испугом, сделав шаг назад.

Денис прищурил глаза и прислушался.

— Нет, барыня, никто нейдет, — сказал он. — Это в лодке дурачок Петруша сидит и веслами двигает. Петруша! — крикнул Денис. — Сидишь?

— Сижу, дед! — послышался слабый, больной голос.

— Больно?

— Больно, дед! Силы моей нету!

На берегу, у самого льда стояла лодка. В лодке на самом дне ее сидел высокий парень с безобразно длинными руками и ногами. Это был дурачок Петруша. Стиснув зубы и дрожа всем телом, он глядел в темную даль и тоже старался разглядеть что-то. Чего-то и он ждал от моря. Длинные руки его держались за весла, а левая нога была подогнута под туловище.

— Болеет наш дурачок! — сказал Денис, подходя к лодке. — Нога у него болит, у сердешного. И рассудок парень потерял от боли. Ты бы, Петруша, в тепло пошел! Здесь еще хуже простудишься...

Петруша молчал. Он дрожал и морщился от боли. Болело левое бедро, задняя сторона его, в том именно месте, где проходит нерв.

— Поди, Петруша! — сказал Денис мягким, отеческим голосом. — Приляг на печку, а бог даст, к утрени и уймется нога!

— Чую! — пробормотал Петруша, разжав челюсти.

— Что ты чуешь, дурачок?

— Лед взломало.

— Откуда ты чуешь?

— Шум такой слышу. Один шум от ветра, другой

от воды. И ветер другой стал: помягче. Верст за десять отседа уж ломает.

Старик прислушался. Он долго слушал, но в общем гуле не понял ничего, кроме воя ветра и ровного шума от дождя.

Прошло полчаса в ожидании и молчании. Ветер делал свое дело. Он становился все злее и злее и, казалось, решил во что бы то ни стало взломать лед и отнять у старухи сына Евсея, а у бледной женщины мужа. Дождь между тем становился все слабей и слабей. Скоро он стал так редок, что можно уже было различить в темноте человеческие фигуры, силуэт лодки и белизну снега. Сквозь вой ветра можно было расслышать звон. Это звонили наверху в рыбацкой деревушке, на ветхой колокольне. Люди, застигнутые в море метелью, а потом дождем, должны были ехать на этот звон,— соломинка, за которую хватается утопающий.

— Дед, вода уж близко! Слышишь?

Дед прислушался. На этот раз он услышал гул, не похожий на вой ветра или шум деревьев. Дурачок был прав. Нельзя уже было сомневаться, что Литвинов со своими рыбаками не воротится на сушу праздновать рождество.

— Кончено! — сказал Денис. — Ломает!

Старуха взвизгнула и присела к земле. Барыня, мокрая и дрожащая от холода, подошла к лодке и стала слушать. И она услышала зловеший гул.

— Может быть, это ветер! — сказала она. — Ты убежден, Денис, что это лед ломает?

— Божья воля-с!.. За грехи наши, сударыня..

Денис вздохнул и добавил нежным голосом:

— Пожалуйте наверх, сударыня! Вы и так вымокли.

И люди, стоявшие на берегу, слышали тихий смех, смех детский, счастливый.. Смеялась бледная женщина. Денис крикнул. Он всегда кричал, когда ему хотелось плакать.

— Тронулась в уме-то! — шепнул он темному силуэту мужика.

В воздухе стало светлей. Выглянула луна. Теперь все было видно: и море с наполовину истаявшими

сугробами, и барыню, и Дениса, и дурачка Петрушу, морщившегося от невыносимой боли. В стороне стояли мужики и держали в руках для чего-то веревки.

Раздался первый явственный треск невдалеке от берега. Скоро раздался другой, третий, и воздух огласился ужасающим треском. Белая, бесконечная громада заколыхалась и потемнела. Чудовище проснулось и начало свою бурную жизнь.

Вой ветра, шум деревьев, стоны Петруши и звон — все умолкло за ревом моря.

— Надо уходить наверх! — крикнул Денис. — Сейчас берег зальет и занесет кригами¹. Да и утренняя сейчас начнется, ребята! Пойдите, матушка-барыня! Богу так угодно!

Денис подошел к Наталье Сергеевне и осторожно взял ее под локти...

— Пойдемте, матушка! — сказал он нежно, голосом, полным сострадания.

Барыня отстранила рукой Дениса и, бодро подняв голову, пошла к лестнице. Она уже не была так смертельно бледна; на щеках ее играл здоровый румянец, словно в ее организм налили свежей крови; глаза не глядели уже плачущими, и руки, придерживавшие на груди шаль, не дрожали, как прежде... Она теперь чувствовала, что сама, без посторонней помощи, сумеет пройти высокую лестницу...

Ступив на третью ступень, она остановилась как вкопанная. Перед ней стоял высокий, статный мужчина в больших сапогах и полушубке...

— Это я, Наташа... Не бойся! — сказал мужчина.

Наталья Сергеевна пошатнулась. В высокой мерлушковой шапке, черных усах и черных глазах она узнала своего мужа, помещика Литвинова. Муж поднял ее на руки и поцеловал в щеку, причем обдал ее парами хереса и коньяка. Он был слегка пьян.

— Радуйся, Наташа! — сказал он. — Я не пропал под снегом и не утонул. Во время метели я со своими ребятами добрал до Таганрога, откуда вот и приехал к тебе... и приехал...

¹ Крига — плавучий лед, глыба льда.

Он бормотал, а она, опять бледная и дрожащая, глядела на него недоумевающими, испуганными глазами. Она не верила...

— Как ты измокла, как дрожишь! — прошептал он, прижимая ее к груди...

И по его опьяневшему от счастья и вина лицу разлилась мягкая, детски-добрая улыбка... Его ждали на этом холоде, в эту ночную пору! Это ли не любовь? И он засмеялся от счастья...

Пронзительный, душу раздирающий вопль ответил на этот тихий, счастливый смех. Ни рев моря, ни ветер, ничто не было в состоянии заглушить его. С лицом, искаженным отчаянием, молодая женщина не была в силах удержать этот вопль, и он вырвался наружу. В нем слышалось все: и замужество поневоле, и непреоборимая антипатия к мужу, и тоска одиночества, и, наконец, рухнувшая надежда на свободное вдовство. Вся ее жизнь с ее горем, слезами и болью вылилась в этом вопле, не заглушенном даже трещавшими льдинами. Муж понял этот вопль, да и нельзя было не понять его...

— Тебе горько, что меня не занесло снегом или не раздавило льдом! — пробормотал он.

Нижняя губа его задрожала, и по лицу разлилась горькая улыбка. Он сошел со ступеней и опустил жену наземь.

— Пусть будет по-твоему! — сказал он.

И, отвернувшись от жены, он пошел к лодке. Там дурачок Петруша, стиснув зубы, дрожа и прыгая на одной ноге, тащил лодку в воду.

— Куда ты? — спросил его Литвинов.

— Больно мне, ваше высокоблагородие! Я утонуть хочу... Покойникам не больно...

Литвинов прыгнул в лодку. Дурачок полез за ним.

— Прощай, Наташа! — крикнул помещик. — Пусть будет по-твоему! Получай то, чего ждала, стоя здесь на холоде! С богом!

Дурачок взмахнул веслами, и лодка, толкнувшись о большую льдину, поплыла навстречу высоким волнам.

— Греби, Петруша, греби! — говорил Литвинов. — Дальше, дальше!

Литвинов, держась за края лодки, качался и глядел назад. Исчезла его Наташа, исчезли огоньки от трубок, исчез, наконец, берег...

— Воротись! — услышал он женский, надорванный голос.

И в этом «воротись», казалось ему, слышалось отчаяние.

— Воротись!

У Литвинова забилося сердце... Его звала жена; а тут еще на берегу в церкви зазвонили к рождественской заутрене.

— Воротись! — повторил с мольбой тот же голос.

Эхо повторило это слово. Протрещали это слово льдины, взвизгнул его ветер, да и рождественский звон говорил: «Воротись».

— Едем назад! — сказал Литвинов, дернув дурачка за рукав.

Но дурачок не слышал. Стиснув зубы от боли и глядя с надеждою вдаль, он работал своими длинными руками... Ему никто не кричал «воротись», а боль в нерве, начавшаяся сызмальства, делалась все острее и жгучей... Литвинов схватил его за руки и потянул их назад. Но руки были тверды, как камень, и не легко было оторвать их от весел. Да и поздно было. Навстречу лодке неслась громадная льдина. Эта льдина должна была избавить навсегда Петрушу от боли...

До утра простояла бледная женщина на берегу моря. Когда ее, полузамерзшую и изнемогшую от нравственной муки, отнесли домой и уложили в постель, губы ее все еще продолжали шептать: «Воротись!»

В ночь под рождество она полюбила своего мужа...

ЛИБЕРАЛ

Новогодний рассказ

Прекрасную и умилительную картину представляло собой человечество в первый день Нового года. Все радовались, ликовали, поздравляли друг друга. Воздух оглашался самыми искренними и сердечными пожеланиями. Все были счастливы и довольны...

Один только губернский секретарь Понимаев был недоволен. В новогодний полдень он стоял на одной из столичных улиц и протестовал. Обняв правой рукой фонарный столб, а левой отмахиваясь неизвестно от чего, он бормотал вещи непростительные и предусмотренные... Возле него стояла его жена и тащила его за рукав. Лицо ее было заплакано и выражало скорбь.

— Идол ты мой! — говорила она. — Наказание ты мое! Глаза твои бесстыжие, махамет! Иди, тебе говорю! Иди, покедова не прошло время, и распишись! Иди, пьяная образина!

— Ни в каком случае! Я образованный человек и не желаю подчиняться невежеству! Иди сама распишись, если хочешь, а меня оставь!.. Не желаю быть в рабстве.

— Иди! Ежели ты не распишешься, то горе тебе будет! Выгонят тебя, подлеца моего, и тогда я с голоду, значит, сдыхай? Иди, собака!

— Ладно... И погибну... За правду? Да хоть сейчас!

Понимаев поднял руку, чтобы отмахнуться от жены, и описал ею в воздухе полукруг... Шедший мимо около-

точный надзиратель в новой шинели остановился на секунду и, обратясь к Понимаеву, сказал:

— Стыдитесь! Ведите себя по примеру прочих!

Понимаеву стало совестно. Он стыдливо замигал глазами и отдернул от фонарного столба руку. Жена воспользовалась этим моментом и потащила его за рукав вдоль по улице, старательно обходя все, за что можно ухватиться. Минут через десять, не более, она дотащила своего мужа до подъезда начальника.

— Ну, иди, Алеша! — сказала она нежно, введя мужа на крыльцо. — Иди, Алешечка! Распишись только, да и уходи назад. А я тебе за это коньяку к чаю куплю. Не буду тебя ругать, когда ты выпивши... Не губи ты меня, сироту!

— Ааа... гм... Это, стало быть, его дом? Отлично! Очень хорошо-с! Рраспишемся, черт возьми! Так распишемся, что долго будет помнить! Все ему напишу на этой бумаге! Напишу, какого я мнения! Пусть тогда гонит! А ежели выгонит, то ты виновата! Ты!

Понимаев покачулся, пхнул плечом дверь и с шумом вошел в подъезд. Там около двери стоял швейцар Егор с свежевыбритой, новогодней физиономией. Около столика с листом бумаги стояли Везувиев и Черносвинский, сослуживцы Понимаева. Высокий и тощий Везувиев расписывался, а Черносвинский, маленький, рябенький человечек, дожидался своей очереди. У обоих на лицах было написано: «С Новым годом, с новым счастьем!» Видно было, что они расписывались не только физически, но и нравственно. Увидев их, Понимаев презрительно усмехнулся и с негодованием запахнулся в шубу.

— Разумеется! — заговорил он. — Разумеется! Как не поздравить его превосходительство? Нельзя не поздравить! Ха-ха! Надо выразить свои рабские чувства!

Везувиев и Черносвинский с удивлением поглядели на него. Отродясь они не слышали таких слов!

— Разве это не невежество, не лакейство? — продолжал Понимаев. — Брось, не расписывайся! Вырази протест!

Он ударил кулаком по листу и смазал подпись Везуиева.

— Бунтуешь, ваше благородие! — сказал Егор, подскочив к столу и подняв лист выше головы.— За это, ваше благородие, вашего брата... знаешь, как?

В это время дверь отворилась, и в подъезд вошел высокий, пожилой мужчина в медвежьей шубе и золотой треуголке. Это был начальник Понимаева, Велелептов. При входе его Егор, Везуиев и Черносвинский проглотили по аршину и вытянулись. Понимаев тоже вытянулся, но усмехнулся и крутнул один ус.

— А! — сказал Велелептов, увидев чиновников.— Вы... здесь? Мда... друзья... Понятно... (очевидно, что его превосходительство был слегка навеселе). Понятно... И вас также... Спасибо, что не забыли... Спасибо... Мда... Приятно видеть... Желаю вам... А ты, Понимаев, уж назюзюкался? Это ничего, не конфузья... Пей, да дело разумей... Пейте и веселитесь...

— Всяк злак на пользу человека, ваше-ство! — рискнул вставить Везуиев.

— Ну да, понятно... Как ты сказал? Где злак? Ну, идите себе... с богом... Или нет... Вы были уже у Никиты Прохорыча? Не были еще? Отлично. Я дам вам книги... отнесете к нему... Он дал мне почитать «Странник» за два года... Так вот его надо отнести... Пойдемте, я вам дам... Скиньте шубы!

Чиновники сняли шубы и пошли за Велелептовым. Сначала они вошли в приемную, а потом в большую, роскошно убранную залу, где за круглым столом сидела сама генеральша. По обе стороны ее сидели две молодые дамы, одна в белых перчатках, другая в черных. Велелептов оставил в зале чиновников и пошел к себе в кабинет. Чиновники сконфузились.

Минут десять стояли они молча, не двигаясь и не зная, куда девать свои руки. Дамы говорили по-французски и то и дело вскидывали на них глаза... Мука! Наконец из кабинета показался Велелептов, держа в обеих руках по большой связке книг.

— Вот,— сказал он.— Отдайте ему и поблагодарите... Это «Странник». Я читал иногда по вечерам... А вам... спасибо, что не забыли... пришли почтить...

Чиновников моих рассматриваете? — обратился Велелептов к дамам. — Хе-хе... Смотрите, смотрите... Это вот Везувиев, это Черносвинский... а это мой Понимаев. Вхожу однажды в дежурную, а он, этот Понимаев, там машину представляет. Каков? Пш! пш! пш! Свистит этак, ногами топочет... Натурально так выходило... Мда... А ну-ка, изобрази! Представь-ка нам.

Дамы вперили в Понимаева глаза и заулыбались. Он закашлялся.

— Не умею... Забыл, ваше-ство... — пробормотал он. — Не могу и не желаю.

— Не желаешь? — удивился Велелептов. — А? Жаль... Жаль, что не можешь уважить старика... Прощай... Обидно... Ступай...

Везувиев и Черносвинский затолкали в бок Понимаева. Да и сам он испугался своего отказа. В глазах его помутилось... Черные перчатки смешались с белыми, лица покосились, мебель запрыгала, и сам Велелептов обратился в большой кивающий палец. Постояв немного и пробормотав что-то, Понимаев прижал к груди «Странник» и вышел на улицу. Там он увидел свою жену, бледную, дрожавшую от холода и ужаса. Везувиев и Черносвинский стояли уже возле нее и, сильно жестикулируя руками, говорили ей что-то ужасное и сразу в оба уха. «Что теперь будет?!» — читалось в их фигурах и движениях. Понимаев, безнадежно взглянув на жену, поплелся с книгами за приятелями.

Воротясь домой, он не обедал и чаю не пил... Ночью его разбудил кошмар.

Он поднялся и поглядел в темноту. Черные и белые перчатки, бакены Велелептова — все это заплясало перед его глазами, закружилось, и он вспомнил миновавшее.

— Скотина я, скотина! — проворчал он. — Протестуй ты, осел, ежели хочешь, но не смей не уважать старших! Что стоило тебе представить машину?

Более он не мог уснуть. Всю ночь до самого утра промучили его угрызения совести, тоска и всхлипывания жены. Поглядевшись утром в зеркало, он увидел не себя, а чью-то другую физиономию, бледную, истощенную, печальную...

— Не пойду на службу! — решил он.— Все одно...
Один конец!

Весь второй день Нового года он посвятил хождению из угла в угол.

Ходил он, вздыхал и думал:

«У кого бы это револьвер достать? Чем этак жить, так лучше уж... право... Пулю в лоб, и конец...»

На третий день он бежал от тоски на службу.

«Что-то будет?!» — думали все чиновники, поглядывая на него из-за чернильниц.

То же самое думал и Понимаев.

— Что ж? — шепнул он Везувиеву.— Пусть гонит!
Ему же скверно будет, ежели руки на себя наложу.

В одиннадцать часов приехал Велелептов. Проходя мимо Понимаева и взглянув на его бледное, сильно похудевшее, испуганное лицо, он остановился, покачал головой и сказал:

— А здорово ты тогда хватил, братец! До сих пор рожка в свои рамки не вошла. Надо быть, друг, поумеренней... Нехорошо... Долго ли здоровье потерять?

И, похлопав Понимаева по плечу, Велелептов прошел далее.

«Только-то?» — подумало все присутствие.

Понимаев засмеялся от удовольствия. Даже пискнул по-птичьи — так ему было приятно! Но скоро лицо его изменилось... Он нахмурился и ослабил презрительной улыбкой.

— Счастье твое, что я тогда был выпивши! — проворчал он вслух вслед Велелептову.— Счастье твое, а то бы... Помнишь, Везувиев, как я его отщелкал?

Придя со службы домой, Понимаев обедал с большим аппетитом.

О Р Д Е Н

Учитель военной прогимназии, коллежский регистратор Лев Пустяков, обитал рядом с другом своим, поручиком Леденцовым. К последнему он и направил свои стопы в новогоднее утро.

— Видишь ли, в чем дело, Гриша,— сказал он поручику после обычного поздравления с Новым годом.— Я не стал бы тебя беспокоить, если бы не крайняя необходимость. Одолжи мне, голубчик, на сегодняшний день твоего Станислава. Сегодня, видишь ли, я обедаю у купца Спичкина. А ты знаешь этого подлеца Спичкина: он страшно любит ордена и чуть ли не мерзавцами считает тех, у кого не болтается что-нибудь на шее или в петлице. И к тому же у него две дочери... Настя, знаешь, и Зина... Говорю, как другу... Ты меня понимаешь, милый мой. Дай, сделай милость!

Все это проговорил Пустяков, заикаясь, краснея и робко оглядываясь на дверь. Поручик выругался, но согласился.

В два часа пополудни Пустяков ехал на извозчике к Спичкиным и, распахнувши чуточку шубу, глядел себе на грудь. На груди сверкал золотом и отливал эмалью чужой Станислав.

«Как-то и уважения к себе больше чувствуешь! — думал учитель, побрякивая.— Маленькая штучка, рублей пять, не больше стоит, а какой фурор производит!»

Подъехав к дому Спичкина, он распахнул шубу и стал медленно расплываться с извозчиком. Извозчик,

как показалось ему, увидев его погоны, пуговицы и Станислава, окаменел. Пустяков самодовольно кашлянул и вошел в дом. Снимая в передней шубу, он заглянул в залу. Там за длинным обеденным столом сидели уже человек пятнадцать и обедали. Слышался говор и звяканье посуды.

— Кто это там звонит? — слышался голос хозяина. — Ба, Лев Николаич! Милости просим. Немножко опоздали, но это не беда... Сейчас только сели.

Пустяков выставил вперед грудь, поднял голову и, потирая руки, вошел в залу. Но тут он увидел нечто ужасное. За столом, рядом с Зиной, сидел его товарищ по службе, учитель французского языка Трамблян. Показать французу орден — значило бы вызвать массу самых неприятных вопросов, значило бы осрамиться навеки, обесславиться... Первою мыслью Пустякова было сорвать орден или бежать назад; но орден был крепко пришит, и отступление было уже невозможно. Быстро прикрыв правой рукой орден, он сгорбился, неловко отдал общий поклон и, никому не подавая руки, тяжело опустился на свободный стул, как раз против сослуживца француза.

«Выпивши, должно быть!» — подумал Спичкин, поглядев на его сконфуженное лицо.

Перед Пустяковым поставили тарелку супу. Он взял левой рукой ложку, но, вспомнив, что левой рукой не подобает есть в благоустроенном обществе, заявил, что он уже отобедал и есть не хочет.

— Я уже покушал-с... Мерси-с... — пробормотал он. — Был я с визитом у дяди, протоиерея Елеева, и он упросил меня... тово... пообедать.

Душа Пустякова наполнилась щемящей тоской и злобствующей досадой: суп издавал вкусный запах, а от паровой осетрины шел необыкновенно аппетитный дымок. Учитель попробовал освободить правую руку и прикрыть орден левой, но это оказалось неудобным.

«Заметят... И через всю грудь рука будет протянута, точно петь собираюсь. Господи, хоть бы скорее обед кончился! В трактире ужю пообедаю!»

После третьего блюда он робко, одним глазком поглядел на француза. Трамблян, почему-то сильно

skonфуженный, глядел на него и тоже ничего не ел. Поглядев друг на друга, оба еще более сконфузились и опустили глаза в пустые тарелки.

«Заметил, подлец! — подумал Пустяков.— По роже вижу, что заметил! А он, мерзавец, кляузник. Завтра же донесет директору!»

Съели хозяева и гости четвертое блюдо, съели, волею судеб, и пятое...

Поднялся какой-то высокий господин с широкими волосистыми ноздрями, горбатым носом и от природы прищуренными глазами. Он погладил себя по голове и провозгласил:

— Э-э-э... эп... эп... эпредлагаю эвыпить за процветание сидящих здесь дам!

Обедающие шумно поднялись и взялись за бокалы. Громкое «ура» пронеслось по всем комнатам. Дамы заулыбались и потянулись чокаться. Пустяков поднялся и взял свою рюмку в левую руку.

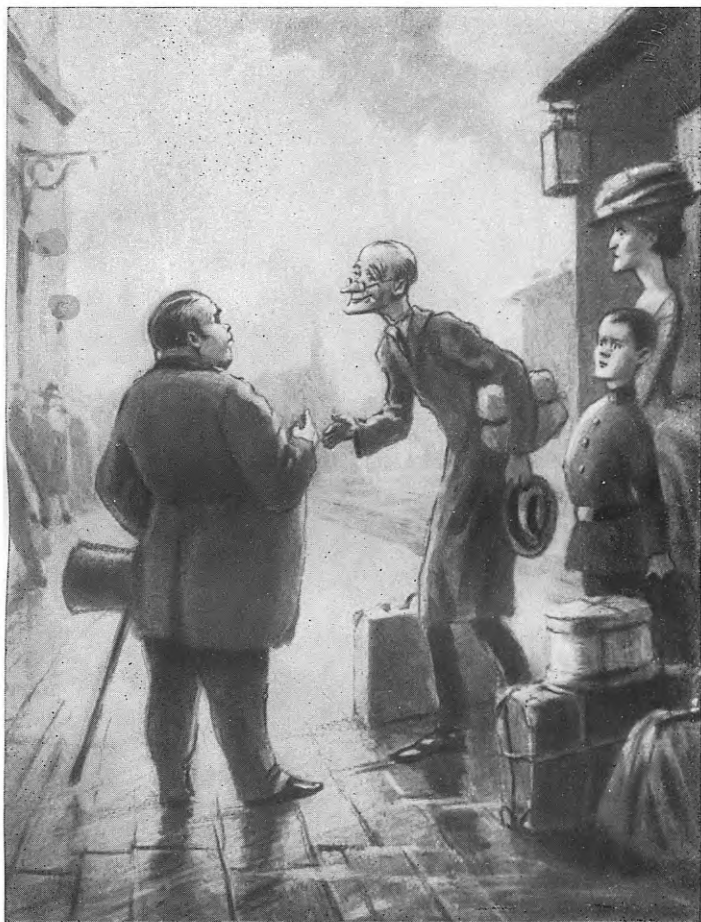
— Лев Николаич, потрудитесь передать этот бокал Настасье Тимофеевне! — обратился к нему какой-то мужчина, подавая бокал.— Заставьте ее выпить!

На этот раз Пустяков, к великому своему ужасу, должен был пустить в дело и правую руку. Станислав с помятой красной ленточкой увидел наконец свет и засиял. Учитель побледнел, опустил голову и робко поглядел в сторону француза. Тот глядел на него удивленными, вопрошающими глазами. Губы его хитро улыбались, и с лица медленно сползал конфуз...

— Юлий Августович! — обратился к французу хозяин.— Передайте бутылочку по принадлежности!

Трамблян нерешительно протянул правую руку к бутылке, и... о, счастье! Пустяков увидал на его груди орден. И то был не Станислав, а целая Анна! Значит, и француз **сж**ульничал! Пустяков засмеялся от удовольствия, сел на стул и развалился... Теперь уже не было надобности скрывать Станислава! Оба грешны одним грехом, и некому, стало быть, доносить и бесславить...

— А-а-а... гм!..— промычал Спичкин, увидев на груди учителя орден.



К рассказу «Толстый и тонкий».

Художник Б. Калаушин. 1954.

— Да-с! — сказал Пустяков.— Удивительное дело, Юлий Августович! Как было мало у нас перед праздниками представлений! Сколько у нас народу, а получили только вы да я! Уди-ви-тель-ное дело!

Трамблян весело закивал головой и выставил вперед левый лацкан, на котором красовалась Анна 3-й степени.

После обеда Пустяков ходил по всем комнатам и показывал барышням орден. На душе у него было легко, вольготно, хотя и пощипывал под ложечкой голод.

«Знай я такую штуку,— думал он, завистливо поглядывая на Трамбляна, беседовавшего со Спичкиным об орденах,— я бы Владимира нацепил. Эх, не догадался!»

Только эта одна мысль и помучивала его. В остальном же он был совершенно счастлив.

Ночью, часов в двенадцать, по Тверскому бульвару шли два приятеля. Один — высокий, красивый брюнет в поношенной медвежьей шубе и цилиндре, другой — маленький рыженький человек в рыжем пальто с белыми костяными пуговицами. Оба шли и молчали. Брюнет слегка насвистывал мазурку, рыжий угрюмо глядел себе под ноги и то и дело сплевывал в сторону.

— Не посидеть ли нам? — предложил наконец брюнет, когда оба приятеля увидели темный силуэт Пушкина и огонек над воротами Страстного монастыря.

Рыжий молча согласился, и приятели уселись.

— У меня есть к тебе маленькая просьба, Николай Борисыч, — сказал брюнет после некоторого молчания. — Не можешь ли ты, друг, дать мне займы рублей десять — пятнадцать? Через неделю отдам...

Рыжий молчал.

— Я не стал бы тебя и беспокоить, если бы не нужда. Скверную штуку сыграла со мной сегодня судьба... Жена дала мне сегодня утром заложить свой браслет... Нужно ей за свою сестренку в гимназию заплатить... Я, знаешь, заложил и вот... при тебе сегодня в стуколку нечаянно проиграл...

Рыжий задвигался и крякнул.

— Пустой ты человек, Василий Иваныч! — сказал он, покрививши рот злой усмешкой. — Пустой человек! Какое ты право имел садиться с барынями играть в стуколку, если ты знал, что эти деньги не твои, а чужие? Ну, не пустой ли ты человек, не фат ли? Постой, не перебивай... Дай, я тебе раз навсегда выскажу... К чему эти вечно новые костюмы, эта вот булавка на

галстук? Для тебя ли, нищего, мода? К чему этот дурацкий цилиндр? Тебе, живущему на счет жены, платить пятнадцать рублей за цилиндр, когда отлично, не в ущерб ни моде, ни эстетике, ты мог бы проходить в трехрублевой шапке! К чему это вечное хвастанье своими несуществующими знакомствами? Знаком и с Хохловым, и с Плевако, и со всеми редакторами! Когда ты сегодня лгал о своих знакомствах, у меня за тебя глаза и уши горели! Лжешь и не краснеешь! А когда ты играешь с этими барынями, проигрываешь им женщины деньги, ты так пошло и глупо улыбаешься, что просто... пощечины жалко!

— Ну оставь, оставь... Ты не в духе сегодня...

— Ну, пусть это фатовство есть мальчишество, школьничество... Я согласен допустить это, Василий Иваныч... ты еще молод... Но не допущу я... не пойму одной вещи... Как мог ты, играя с теми куклами... сподличать? Я видел, как ты, сдавая, достал себе из-под низу пикового туза!

Василий Иваныч покраснел, как школьник, и начал оправдываться. Рыжий настаивал на своем. Спорили громко и долго. Наконец оба мало-помалу умолкли и задумались.

— Это правда, я сильно завертелся,— сказал брюнет после долгого молчания.— Правда... Весь я потрагился, задолжался, растратил кое-что чужое и теперь не знаю, как выпутаться. Знаешь ли ты то невыносимое, скверное чувство, когда все тело чешется и когда у тебя нет средства от этой чесотки? Нечто вроде этого чувства я испытываю теперь... Весь по уши залез в дебри... Совестно и людей и самого себя... Делаю массу глупостей, гадостей из самых мелких побуждений и в то же время никак не могу остановиться... Скверно! Получи я наследство или выиграй, так бросил бы, кажется, все на свете и родился бы снова... А ты, Николай Борисыч, не осуждай меня... не бросай камня... Вспомни пальмовского Неклюжева...

— Помню я твоего Неклюжева,— сказал рыжий.— Помню... Сожрал чужие деньги, налопался и после обеда захотел покойфовать: перед девчонкой расхныкался!.. До обеда небось не похныкал... Стыдно писа-

телям идеализировать подобных подлецов! Не будь у этого Неклюжева счастливой наружности и галантных манер, не влюбилась бы в него купеческая дочка, и не было бы раскаяния... Вообще подлецам судьба дает счастливые наружности... Все ведь вы купидоны. Вас любят, в вас влюбляются... Вам страшно везет по части женщин!

Рыжий встал и заходил около скамьи.

— Твоя жена, например... честная, благородная женщина... за что она могла полюбить тебя? За что? И сегодня вот, целый вечер, в то время когда ты врал и ломался, не отрывала от тебя глаз хорошенькая блондинка... Вас, Неклюжевых, любят, вам жертвуют, а тут всю жизнь работаешь, бьешься как рыба об лед... честен, как сама честность, и — хоть бы одна счастливая минута! А еще тоже... помнишь? Был я женихом твоей жены, Ольги Алексеевны, когда она еще не знала тебя, был немножко счастлив, но подвернулся ты, и... я пропал...

— Ррревность! — усмехнулся брюнет. — А я и не знал, что ты так ревнив!

По лицу Николая Борисыча пробежало чувство досады и гадливости... Он машинально, сам того не сознавая, протянул вперед руку и... махнул ею. Звук пощечины нарушил тишину ночи... Цилиндр слетел с головы брюнета и покатился по утоптанному снегу. Все это произошло в одну секунду, неожиданно, и вышло глупо, нелепо. Рыжему тотчас же стало стыдно этой пощечины. Он уткнул лицо в полинялый воротник своего пальто и зашагал по бульвару. Дойдя до Пушкина, он оглянулся на брюнета, постоял минуту неподвижно и, словно испугавшись чего-то, побежал к Тверской...

Василий Иванович долго просидел молча и не двигаясь. Мимо него прошла какая-то женщина и со смехом подала ему его цилиндр. Он машинально поблагодарил, поднялся и пошел.

«Сейчас зуденье начнется, — думал он через полчаса, взбираясь по длинной лестнице к себе на квартиру... — Достанется мне от супруги за проигрыш! Всю ночь будет проповедь читать! Черт бы ее взял со всем! Скажу, что потерял деньги...»

Дойдя до своей двери, он робко позвонил. Его пустила кухарка...

— Проздравляем вас! — сказала ему кухарка, ухмыляясь во все лицо.

— С чем это?

— А вот увидите-с! Смилоствивился бог!

Василий Иванович пожал плечами и вошел в спальную. Там за письменным столом сидела его жена Ольга Алексеевна, маленькая блондиночка, с папильотками в волосах. Она писала. Перед ней лежало несколько уже готовых, запечатанных писем. Увидев мужа, она вскочила и бросилась ему на шею.

— Ты пришел? — заговорила она. — Какое счастье! Ты не можешь себе представить, какое счастье! Со мной истерика была, Вася, от такой неожиданности... На, читай!

И она, прыгнув к столу, взяла газету и поднесла ее к лицу мужа.

— Читай! Мой билет выиграл семьдесят пять тысяч! Ведь у меня есть билет! Честное слово, есть! Я скрывала его от тебя, потому что... потому что... ты бы заложил его. Николай Борисыч, когда был женихом, подарил мне этот билет, а потом не захотел его взять обратно. Какой хороший человек этот Николай Борисыч! Теперь мы ужасно богаты! Ты теперь справишься, не будешь вести беспорядочную жизнь. Ведь ты кутил и обманывал меня от недостатков, от бедности. Я это понимаю. Ты умный, порядочный...

Ольга Алексеевна прошла по комнате и засмеялась.

— Вот неожиданность! Ходила я, ходила из угла в угол, бранила тебя за твое распутство, ненавидела и потом села от тоски газету читать... И вдруг вижу!.. Написала всем письма... сестрам, матери... То-то обрадуются, бедные! Но куда же ты?

Василий Иванович заглянул в газету... Ошеломленный, бледный, не слушая жены, он простоял некоторое время молча, что-то придумывая, потом надел свой цилиндр и вышел из дому.

— На Большую Дмитровку, номера NN! — крикнул он извозчику.

В номерах он не застал того, кто ему был нужен. Знакомый ему номер был заперт.

«Она, должно быть, в театре,— подумал он,— а из театра... ужинать поехала... Подожду немного...»

И он остался ждать... Прошло полчаса, прошел час... Он прошелся по коридору и поговорил с сонным лакеем... Внизу на номерных часах пробило три... Наконец потеряв терпение, он начал медленно спускаться вниз к выходу... Но судьба сжалилась над ним...

У самого подъезда он встретился с высокой, тощей брюнеткой, окутанной в длинное боа. За ней по пятам следовал какой-то господин в синих очках и мерлушковой шапке.

— Виноват,— обратился Василий Иванович к даме...— Могу ли я обеспокоить вас на одну минуту?

Дама и мужчина нахмурились.

— Я сейчас,— сказала дама мужчине и пошла с Василием Ивановичем к газовому рожку...— Что вам нужно?

— Я к тебе... к вам, Надин, по делу,— начал, заикаясь, Василий Иванович...— Жаль, что с тобою этот господин, а то я бы тебе все рассказал...

— Да что такое? Мне некогда!

— Завела себе новых обожателей, да и некогда! Хороша, нечего сказать! За что ты прогнала меня от себя под рождество? Ты не захотела со мной жить, потому что... потому что я тебе не доставлял достаточно средств к жизни... Вот ты и не права, оказывается... Да... Помнишь ты тот билет, что я подарил тебе на именины? На, читай! Он выиграл семьдесят пять тысяч!

Дама взяла в руки газету и жадными, словно испуганными глазами стала искать телеграммы из Петербурга... И она нашла...

В это же самое время другие глаза, заплаканные, тупые от горя, почти безумные, глядели в шкатулку и искали билета... Всю ночь искали эти глаза и не нашли. Билет был украден, и Ольга Алексеевна знала, кто украл его.

В эту же самую ночь рыжий Николай Борисыч ворочался с боку на бок и старался уснуть, но не уснул до самого утра. Ему было стыдно той пощечины.

Комик Иван Акимович Воробьев-Соколов заложил руки в карманы своих широких панталон, повернулся к окну и устремил свои ленивые глаза на окно противоположного дома. Прошло минут пять в молчании...

— Ску-ка! — зевнула *ingéne* ¹ Марья Андреевна.— Что же вы молчите, Иван Акимыч? Коли пришли и помешали зубрить роль, то хоть разговаривайте! Несносный вы, право...

— Гм... Собираюсь сказать вам одну штуку, да как-то неловко... Скажешь вам спроста, без деликатесов... по-мужицки, а вы сейчас и осудите, на смех поднимете... Нет, не скажу лучше! Удержу язык мой от зла...

«О чем же это он собирается говорить? — подумала *ingéne*.— Возбужден, как-то странно смотрит, переминается с ноги на ногу... Уж не объясниться ли в любви хочет? Гм... Беда с этими сорванцами! Вчера первая скрипка объяснялась, сегодня всю репетицию резонер провздыхал... Перебесились все от скуки!»

Комик отошел от окна и, подойдя к комоду, стал рассматривать ножницы и баночку от губной помады.

— Тэк-ссс... Хочется сказать, а боюсь... неловко... Вам скажешь спроста, по-российски, а вы сейчас: невежа! мужик! то да се... Знаем вас... Лучше уж молчать...

«А что ему сказать, если он в самом деле начнет объясняться в любви? — продолжала думать *ingéne*.— Он добрый, славный такой, талантливый, но... мне не нравится. Некрасив уж больно... Сгорбившись ходит,

¹ и н ж е н ю — актриса, играющая наивных девушек (*франц.*).

и на лице какие-то волдыри... Голос хриплый... И к тому же эти манеры... Нет, никогда!»

Комик молча прошелся по комнате, тяжело опустился в кресло и с шумом потянул к себе со стола газету. Глаза его забегали по газете, словно ища чего-то, потом остановились на одной букве и задремали.

— Господи... хоть бы мухи были! — проворчал он. — Все-таки веселей.

«Впрочем, у него глаза недурны, — продолжала думать Ингэние. — Но что у него лучше всего, так это характер, а у мужчины не так важна красота, как душа, ум... Замуж еще, пожалуй, можно пойти за него, но так жить с ним... ни за что! Как он, однако, сейчас на меня взглянул... Ожег! И чего он робеет, не понимаю!»

Комик тяжело вздохнул и крикнул. Видно было, что ему дорого стоило его молчание. Он стал красен, как рак, и покривил рот в сторону... На лице его выражалось страдание...

«Пожалуй, с ним и так жить можно, — не переставала думать Ингэние. — Содержание он получает хорошее... Во всяком случае, с ним лучше жить, чем с каким-нибудь оборвышем капитаном. Право, возьму и скажу ему, что я согласна! Зачем обижать его, бедного, отказом? Ему и так горько живется!»

— Нет! Не могу! — закричал комик, поднимаясь и бросая газету. — Ведь этакая у меня разанафемская натура! Не могу себя побороть! Бейте, браните, а уж я скажу, Марья Андреевна!

— Да говорите, говорите. Будет вам юродствовать!

— Матушка! Голубушка! Простите великодушно... ручку целую коленопреклоненно...

На глазах комика выступили слезы с горошину величиной.

— Да говорите... противный! Что такое?

— Нет ли у вас, голубушка... рюмочки водочки? Душа горит! Такие во рту после вчерашнего перепоя окиси, закиси и перекиси, что никакой химик не берет! Верите ли? Душу воротит! Жить не могу!

Ингэние покраснела, нахмурилась, но потом спохватилась и выдала комику рюмку водки... Тот выпил, ожил и принялся рассказывать анекдоты.

МЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ

Кто-то рванул за звонок. Надежда Петровна, хозяйка квартиры, в которой происходила описываемая история, вскочила с дивана и побежала отворить дверь.

«Должно быть, муж...» — подумала она.

Но, отворив дверь, она увидела не мужа. Перед ней стоял высокий, красивый мужчина в дорогой медвежьей шубе и золотых очках. Лоб его был нахмурен, и сонные глаза глядели на мир божий равнодушно-лениво.

— Что вам угодно? — спросила Надежда Петровна.

— Я доктор, сударыня. Меня звали сюда как-то... э-э-э... Челобитьевы... Вы Челобитьевы?

— Мы Челобитьевы, но... ради бога, извините, доктор. У моего мужа флюс и лихорадка. Он послал вам письмо, но вы так долго не приезжали, что он потерял всякое терпение и побежал к зубному врачу.

— Гм... Он мог бы сходить к зубному врачу и не беспокоя меня...

Доктор нахмурился. Прошла минута в молчании.

— Извините, доктор, что мы вас обеспокоили и заставили даром проехать... Если бы мой муж знал, что вы приедете, то, верьте, он не побежал бы к дантисту... Извините...

Прошла еще одна минута в молчании. Надежда Петровна почесала себе затылок.

«Чего же он ждет, не понимаю?» — подумала она, косясь на дверь.

— Отпустите меня, сударыня! — пробормотал доктор... — Не держите меня. Время так дорого, знаете, что...

— То есть... Я, то есть... Я не держу вас...

— Но, сударыня, не могу же я уехать, не получив за свой труд!

— За труд? Ах, да... — залепетала Надежда Петровна, сильно покраснев. — Вы правы... За визит нужно заплатить, это верно... Вы трудились, ехали... Но, доктор... мне даже совестно... муж мой пошел из дому и взял с собой все наши деньги... Дома у меня теперь решительно ничего нет...

— Гм... Странно... Как же быть? Не дожидаться же мне вашего мужа! Да вы поищите, может быть, найдется что-нибудь... Сумма, в сущности, ничтожная...

— Но уверяю вас, что муж все унес... Мне совестно... Не стала бы я из-за какого-нибудь рубля переживать подобное... глупое положение...

— Станный у вас, у публики, взгляд на труд врачей... ей-богу, странный... Словно мы и не люди, словно наш труд не труд... Ведь я ехал к вам, терял время... трудился...

— Да я это очень хорошо понимаю, но, согласитесь, бывают же такие случаи, когда в доме нет ни копейки!

— Ах, да какое же мне дело до этих случаев? Вы, сударыня, просто... наивны и нелогичны... Не заплатить человеку... это даже нечестно... Пользуетесь тем, что я не могу подать на вас мировому, и... так бесцеремонно, ей-богу... Больше, чем странно!

Доктор замялся. Ему стало стыдно за человечество... Надежда Петровна вспыхнула. Ее покорило...

— Хорошо! — сказала она резким тоном. — Пойдите... Я пошлю в лавочку, и там, может быть, мне дадут денег... Я вам заплачу.

Надежда Петровна пошла в гостиную и села писать записку к лавочнику. Доктор снял шубу, вошел

в гостиную и развалился в кресле. В ожидании ответа от лавочника оба сидели и молчали. Минут через пять пришел ответ. Надежда Петровна вынула из запяски рубль и сунула его доктору. У доктора вспыхнули глаза.

— Вы смеетесь, сударыня,— сказал он, кладя рубль на стол.— Мой человек, пожалуй, возьмет рубль, но я... нет-с, извините-с!

— Сколько же вам нужно?

— Обыкновенно я беру десять... С вас же, пожалуй, я возьму и пять, если хотите.

— Ну, пяти вы от меня не дождетесь... У меня нет для вас денег.

— Пошлите к лавочнику. Если он мог дать вам рубль, то почему же ему не дать вам и пяти? Не все ли равно? Я прошу вас, сударыня, не задерживать меня. Мне некогда.

— Послушайте, доктор... Вы не любезны, если... не дерзки! Нет, вы грубы, бесчеловечны! Понимаете? Вы... гадки!

Надежда Петровна повернулась к окну и прикусила губу. На ее глазах выступили крупные слезы.

«Подлец! Мерзавец! — думала она.— Животнос! Он смеет... смеет! Не может понять моего ужасного, обидного положения! Ну, подожди же... черт!»

И, немного подумав, она повернула свое лицо к доктору. На этот раз на лице ее выражалось страдание, мольба.

— Доктор!— сказала она тихим, умоляющим голосом.— Доктор! Если бы у вас было сердце, если бы вы захотели понять... вы не стали бы мучить меня из-за этих денег... И без того много муки, много пыток.

Надежда Петровна сжала себе виски и словно сдвинула пружину; волосы прядями посыпались на ее плеча...

— Страдаешь от невежды-мужа... выносишь эту жуткую, тяжелую среду, а тут еще образованный человек позволяет себе бросать упрек. Боже мой! Это невыносимо!

— Но поймите же, сударыня, что специальное положение нашего сословия...

Но доктор должен был прервать свою речь. Надежда Петровна пошатнулась и упала без чувств на протянутые им руки... Голова ее склонилась к нему на плечо.

— Сюда, к камину, доктор...— шептала она через минуту.— Поближе... Я вам все расскажу... все...

Через час доктор выходил из квартиры Челобитьевых. Ему было и досадно, и совестно, и приятно...

«Черт возьми...— думал он, садясь в свои сани.— Никогда не следует брать с собой из дому много денег! Того и гляди, что нарвешься!»

ВАНЬКА

Был второй час ночи.

Коммерции советник Иван Васильевич Котлов вышел из ресторана «Славянский базар» и поплелся вдоль по Никольской, к Кремлю. Ночь была хорошая, звездная... Из-за облачных клочков и обрывков весело мигали звезды, словно им приятно было глядеть на землю. Воздух был тих и прозрачен.

«Около ресторана извозчики дороги,— думал Котлов,— нужно отойти немного... Там дальше дешевле... И к тому же мне надо пройтись: я объелся и пьян».

Около Кремля он нанял ночного ваньку.

— На Якиманку! — скомандовал он.

Ванька, малый лет двадцати пяти, причмокнул губами и лениво передернул вожжами. Лошаденка рванулась с места и поплелась мелкой, плохенькой рысцой... Ванька попался Котлову самый настоящий, типичный... Поглядишь на его заспанное, толстокожее, угреватое лицо — и сразу определишь в нем извозчика.

Поехали через Кремль.

— Который теперь час будет? — спросил ванька.

— Второй, — ответил коммерции советник.

— Так-с... А теплей стало! Были холода, а теперь опять потеплело... Хромаешь, подлая! Э-э-э... каторжная!

Извозчик приподнялся и проехался кнутом по лошадиной спине,

— Зима! — продолжал он, поудобней усаживаясь и оборачиваясь к седоку.— Не люблю! Уж больно я зябкий! Стою на морозе и весь коченею, трясусь... Подуй холод, а у меня уж и морда распухла... Комплекция такая! Не привык!

— Привыкай... У тебя, братец, ремесло такое, что привыкать надо...

— Человек ко всему привыкнуть может, это действительно, ваше степенство... Да покуда привыкнешь, так раз двадцать замерзнешь... Нежный я человек, балованный, ваше степенство... Меня отец и мать избаловали. Не думали, что мне в извозчиках быть. Нежность на меня напускали. Царство им небесное! Как породили меня на теплой печке, так до десятого годка и не снимали оттеда. Лежал я на печке и пироги лопал, как свинья какая непутная... Любимой у них был... Одевали меня наилучшим манером, грамоте для нежности обучали. Бывалыча и босиком не пробегу: «Простудишься, миленькой!» Словно не мужик, а барин. Побьет отец, а мать плачет... Мать побьет — отцу жалко. Поедешь с отцом в лес за хворостом, а мать тебя в три шубы кутает, словно ты в Москву собрался аль в Киев...

— Разве богато жили?

— Обнаковенно жили, по-мужицки... День прошел — и слава богу. Богаты не были, да и с голоду, благодарить бога, не мерли. Жили мы, барин, в семействе... семейством, стало быть... Дед мой тогда жив был, да коло него два сына жили. Один сын, отец мой тоись, женатый был, другой неженатый. А я один паренечек был всего-навсего, всей семье на утеху, — ну и баловали. Дед тоже баловал... У деда, знаешь, деньга была припрятана, и он воображение в себе такое имел, что я не пойду по мужицкой части... «Тебе, говорит, Петруха, лавку открою. Расту!» Напускали на меня нежность-то, напускали, холили, холили, а вышло потом такое недоумение, что совсем не до нежности... Дядя-то мой, дедов сын, а отцов брат, возьми и выкрадь у деда его деньги. Тыщи две было... Как выкрал, так с той поры и пошло разоренье... Лошадей продали, коров... Отец с дедом на-

ниматься пошли... Известно, как это у нас в крестьянстве... А меня, раба божьего, в пастухи... Вот она нежность-то!

— Ну, дядя-то твой? Он же что?

— Он ничего... как и следовало... Снял на большой дороге трахтир и зажил припеваючи... Годов через пять на богатой серпуховской мешанке женился. Тысяч восемь за ней взял... После свадьбы трахтир сгорел... Отчего, это самое, ему не гореть, ежели он в обществе застрахован? Так и следовало... А после пожара уехал он в Москву и снял там бакалейную лавку... Таперь, говорят, богат стал, и приступу к нему нет... Наши мужики, хабаровские, видели его тут, сказывали... Я не видел... Фамилия его будет Котлов, а по имени и отчеству Иван Васильев... Не слыхали?

— Нет... Ну, поезжай скорей!

— Обидел нас Иван Васильев, ух, как обидел! Разорил и по миру пустил... Не будь его, нешто я мерз бы тут при своей этой самой комплекции, при моей слабости? Жил бы я, да поживал в своей деревушке... Эхх! Звонят вот к заутрене... Хочется мне господу богу помолиться, чтоб взыскал с него за всю мою муку... Ну, да бог с ним! Пусть его бог простит! Дотерпим!

— Направо к подъезду!

— Слушаю... Ну, вот и доехали... А за побасенку пятачишко следовало бы...

Котлов вынул из кармана пятиалтынный и подал его ваньке.

— Прибавить бы следовало! Вез ведь как! Да и почин...

— Будет с тебя!

Барин дернул за звонок и через минуту исчез за резною, дубовою дверью.

А извозчик вскочил на козлы и поехал медленно обратно... Подул холодный ветерок... Ванька поморщился и стал совать зябкие руки в оборванные рукава.

Он не привык к холоду... Балованный...

РЕЦЕТИТОР

Гимназист VII класса Егор Зиберов милостиво подает Пете Удодову руку. Петя, двенадцатилетний мальчуган в сером костюмчике, пухлый и краснощекий, с маленьким лбом и щетинистыми волосами, расшаркивается и лезет в шкаф за тетрадками. Занятие начинается.

Согласно условию, заключенному с отцом Удодовым, Зиберов должен заниматься с Петей по два часа ежедневно, за что и получает шесть рублей в месяц. Готовит он его во II класс гимназии. (В прошлом году он готовил его в I класс, но Петя порезался.)

— Ну-с...— начинает Зиберов, закуривая папиросу.— Вам задано четвертое склонение. Склоняйте *fructus*!

Петя начинает склонять.

— Опять вы не выучили! — говорит Зиберов, вставая.— В шестой раз задаю вам четвертое склонение, и вы ни в зуб толкнуть! Когда же наконец вы начнете учить уроки?

— Опять не выучил? — слышится за дверями кашляющий голос, и в комнату входит Петин папаша, отставной губернский секретарь Удодов.— Опять? Почему же ты не выучил? Ах ты, свинья, свинья! Верите ли, Егор Алексеич? Ведь и вчера порол!

И, тяжело вздохнув, Удодов садится около сына и засматривает в истрепанного Кюнера. Зиберов начинает экзаменовывать Петю при отце. Пусть глупый отец

узнает, как глуп его сын! Гимназист входит в экзаменаторский азарт, ненавидит, презирает маленького краснощекого тупицу, готов побить его. Ему даже досадно делается, когда мальчуган отвечает впопад,— так опротивел ему этот Петя!

— Вы даже второго склонения не знаете! Не знаете вы и первого! Вот вы как учитесь! Ну, скажите мне, как будет звательный падеж от *meus filius*?

— От *meus filius*? *Meus filius* будет... это будет...

Петя долго глядит в потолок, долго шевелит губами, но не дает ответа.

— А как будет дательный множественного от *dea*?

— *Deabus... filiabus!* — отчеканивает Петя.

Старик Удодов одобрительно кивает головой. Гимназист, не ожидавший удачного ответа, чувствует досаду.

— А еще какое существительное имеет в дательном *abus*? — спрашивает он.

Оказывается, что и «*anima* — душа» имеет в дательном *abus*, чего нет в Кюнере.

— Звучный язык латинский! — замечает Удодов.— Алон... трон... бонус... антропос... Премудрость! И все ведь это нужно! — говорит он со вздохом.

«Мешает, скотина, заниматься... — думает Зиберов.— Сидит над душой тут и надзирает. Терпеть не могу контроля!» — Ну-с, — обращается он к Пете.— К следующему разу по латыни возьмете то же самое. Теперь по арифметике... Берите доску. Какая следующая задача?

Петя плюет на доску и стирает рукавом. Учитель берет задачник и диктует:

— «Купец купил 138 арш. черного и синего сукна за 540 руб. Спрашивается, сколько аршин купил он того и другого, если синее стоило 5 руб. за аршин, а черное 3 руб.?» Повторите задачу.

Петя повторяет задачу и тотчас же, ни слова не говоря, начинает делить 540 на 138.

— Для чего же это вы делите? Постойте! Впрочем, так... продолжайте. Остаток получается? Здесь не может быть остатка. Дайте-ка я разделю!

Зиберов делит, получает 3 с остатком и быстро стирает.

«Странно...— думает он, ероша волосы и краснея.— Как же она решается? Гм!.. Это задача на неопределенные уравнения, а вовсе не арифметическая...»

Учитель глядит в ответы и видит 75 и 63.

«Гм!.. странно... Сложить 5 и 3, а потом делить 540 на 8? Так, что ли? Нет, не то».

— Решайте же! — говорит он Пете.

— Ну, чего думаешь? Задача-то ведь пустяковая! — говорит Удодов Пете.— Экий ты дурак, братец! Решите уж вы ему, Егор Алексеич.

Егор Алексеич берет в руки грифель и начинает решать. Он заикается, краснеет, бледнеет.

— Эта задача, собственно говоря, алгебраическая,— говорит он.— Ее с иксом и игрэком решить можно. Впрочем, можно и так решить. Я вот разделил... понимаете? Теперь вот надо вычесть... понимаете? Или вот что... Решите мне эту задачу сами к завтраму... Подумайте.

Петя ехидно улыбается. Удодов тоже улыбается. Оба они понимают замешательство учителя. Ученик VII класса еще пуше конфузится, встает и начинает ходить из угла в угол.

— И без алгебры решить можно,— говорит Удодов, протягивая руку к счетам и вздыхая.— Вот, извольте видеть...

Он шелкает на счетах, и у него получается 75 и 63, что и нужно было.

— Вот-с... по-нашему, по-неученому.

Учителю становится нестерпимо жутко. С замиранием сердца поглядывает он на часы и видит, что до конца урока остается еще час с четвертью — целая вечность!

— Теперь диктант.

После диктанта — география, за географией — закон божий, потом русский язык — много на этом свете наук! Но вот наконец кончается двухчасовой урок. Зиберов берет за шапку, милостиво подает Пете руку и прощается с Удодовым.

— Не можете ли вы сегодня дать мне немного денег? — просит он робко. — Завтра мне нужно вносить плату за учение. Вы должны мне за шесть месяцев.

— Я? Ах, да, да... — бормочет Удодов, не глядя на Зиберова. — С удовольствием! Только у меня сейчас нету, а я вам через неделку... или через две...

Зиберов соглашается и, надев свои тяжелые, грязные калоши, идет на другой урок.

Собачья выставка с ее борзыми и гончими напомнила мне один маленький эпизод, имевший большое влияние на мою жизнь.

В одно прекрасное утро я получил от дяди, помещика Екатеринославской губернии, письмо. Между прочим, он писал:

«Если не приедешь ко мне на будущей неделе, то и племянником считать тебя не буду, отца твоего из поминальной книжки вычеркну... Поохотимся,— приезжай!..»

Надо было поехать.

Дядя встретил меня с распростертыми объятиями и, как это водится даже у самых гостеприимных охотников, не дав мне оправиться после долгой дороги и отдохнуть, повел меня на псарню показывать мне своих лошадей и собак. Собаки, по моему мнению, бывают большие, маленькие и средние, белые, черные и серые, злые и смирные; дядя же различал между ними крапчатых, темно-багряных, сохастовых, лещеватых, черно-пегих, черных в подпалинах, брудастых — совсем собачий язык, и мне кажется, что если бы собаки умели говорить, то говорили бы именно на таком языке. Дядя показывал, целовал собак в морды и все требовал, чтобы я шупал собачьих морды, трогал лапы.

На другой день утром меня нарядили в полушубок и валенки и повезли на охоту.

Я вспоминаю теперь большой ольховый лес, седой от инея. Тишина в нем царит гробовая. От леса до горизонта тянется белое поле... И конца не видно этому полю. В лесу и по полю скачут на конях полушубки... У всех лица озабоченные, напряженные, словно всем

этим полушубкам предстоит открыть что-то новое, необыкновенное... Дядя мой, красный как рак, скачет от одного полушубка к другому, отдает приказания, сыплет ругательства... Слышны трубные звуки... Эту картину вспоминаю я теперь. Помню также, как подъехал ко мне дядя и повел меня на окраину леса.

— Стой тут... Как зверь побежит на тебя из лесу, так и стреляй!

— Но ведь я, дядюшка, и ружья-то держать путем не умею!

— Пустяки... Приучайся... Ну, смотри же!.. Чуть только зверь — пли!!

Сказавши это, дядя отъехал от меня, и я остался один. Полушубки поскакали в лес. Долго я ждал зверя. Ждал я, а сам в это время думал о Москве, мечтал, дремал...

«А что, если я убью зверя? — воображал я. — Убью я, а не они! То-то потеха будет!»

После долгого ожидания послышался наконец сдержанный собачий лай... По лесу понеслось ауканье... Я взвел курок и насторожил зрение и слух... У меня забилось сердце, и проснулся во мне инстинкт хищника-охотника. Затрещали недалеко от меня кусты, и я увидел зверя... Зверь, какой-то странный, на длинных ногах и с колючей мордой, несся прямо на меня... Я нажал пальцем, загремел выстрел — и все было кончено. Ура! Мой зверь подпрыгнул, упал и закорчился.

— Сюда! Ко мне! — закричал я. — Дядюшка!

Я указал на умирающего зверя. Дядя поглядел на него и схватил себя за голову.

— Это мой Скачок! — закричал он. — Моя собака!.. Моя горячо любимая собака!..

И, прыгнув с лошади, он припал к своему Скачку. А я поскорее в сани — и был таков.

Непреднамеренное убийство Скачка навсегда расорило меня с дядей. Он перестал мне высылать содержание. Умирая же, три года тому назад, он приказал передать мне, что он и после смерти не простит мне убийства его любимой собаки. И имение свое он завещал не мне, а какой-то даме, своей бывшей любовнице.

О, ЖЕНЩИНЫ, ЖЕНЩИНЫ!..

Сергей Кузьмич Почитаев, редактор провинциальной газеты «Кукиш с маслом», утомленный и измученный, воротился из редакции к себе домой и повалился на диван.

— Славу богу! Я дома наконец... Отдохну душой здесь... у домашнего очага, около жены... Моя Маша — единственный человек, который может понять меня, искренно посочувствовать...

— Чего ты сегодня такой бледный? — спросила его жена, Марья Денисовна.

— Да так, на душе скверно... Пришел вот к тебе и рад: душой отдохну.

— Да что случилось?

— Вообще скверно, а сегодня в особенности. Петров не хочет больше отпускать в кредит бумагу. Секретарь запьянствовал... Но все это пустяки, уладится как-нибудь... А вот где беда, Манечка... Сижу я сегодня в редакции и читаю корректуру своей передовой. Вдруг, знаешь, отворяется дверь и входит князь Прочуханцев, давнишний мой друг и приятель, тот самый, что в любительских спектаклях всегда первых любовников играет и что актрисе Зрякиной за один поцелуй свою белую лошадь отдал... «Зачем, думаю, черти принесли? Это недаром... Зрякиной, думаю, пришел рекламу делать...» Разговорились... То да се, пятое, десятое... Оказывается, что не за рекламой пришел. Стихи свои принес для напечатания...

— Почувствовал, говорит, я в своей груди огненный пламень и... пламенный огонь. Хочется вкусить сладость авторства...

Вынимает из кармана розовую раздушенную бумажку и подает...

— Стихи, говорит... Я, говорит, в них несколько субъективен, но все-таки... И Некрасов был субъективен... Взял я эти самые субъективные стихи и читаю... Чепуха невозможнейшая! Читаешь их и чувствуешь, что у тебя глаза чешутся и под ложечкой давит, словно ты жернов проглотил... Посвятил стихи Зрякиной. Посвяти он мне эти стихи, я бы на него мировому подал! В одном стихотворении пять раз слово «стремглав»! А рифма! Ландышей вместо ландышей! Слово «лошадь» рифмуется с «ношей»!

— Нет, говорю, вы мне друг и приятель, но я не могу поместить ваших стихов...

— Почему-с?

— А потому... По независящим от редакции обстоятельствам... Не подходят под программу газеты...

Покраснел я весь, глаза стал чесать, соврал, что голова трещит... Ну как ему сказать, что его стихи никуда не годятся? Он заметил мое смущение и надулся, как индюк.

— Вы, говорит, сердиты на Зрякину, а потому и не хотите печатать моих стихов. Я понимаю... Па-анимаю, милостивый государь!

В лицепрятии меня упрекнул, назвал филистером, клерикалом и еще чем-то... Битых два часа читал мне нотацию. В конце концов пообещал затеять интригу против моей особы... Не простившись уехал... Такие-то дела, матушка! Четвертого декабря, на Варвару, Зрякина именинница — и стихи должны появиться в печати во что бы то ни стало... Хоть умри, да помещай! Напечатать их невозможно: газету осрамишь на всю Россию. Не напечатать тоже нельзя — Прочуханцев интригу затеет, и ни за грош пропадешь. Изволь-ка теперь придумать, как выбраться из этого ерундистого положения!

— А какие стихи? О чем? — спросила Марья Денисовна.

— Ни о чем... Ерунда... Хочешь, прочту? Начинаются они так:

Сквозь дым мечтательной сигары
Носилась ты в моих мечтах,
Неся с собой любви удары
С улыбкой пламенной в устах...

А потом сразу переход:

Прости меня, мой ангел белоокежный,
Подруга дней моих и идеал мой нежный,
Что я, забыв любовь, стремглав туда бросаюсь,
Где смерти пасть... О, ужасаюсь!

И прочее... Чепуха.

— Что же? Это стихи очень милые! — всплеснула руками Марья Денисовна. — Даже очень милые! Чем не стихи? Ты просто придираешься, Сергей! «Сквозь дым... с улыбкой пламенной...» Значит, ты ничего не понимаешь! Ты не понимаешь, Сергей!

— Ты не понимаешь, а не я!

— Нет, извини... Прозы я не понимаю, а стихи я отлично понимаю! Князь превосходно сочинил! Отлично! Ты ненавидишь его, ну, и не хочешь печатать!

Редактор вздохнул и постучал пальцем сначала по столу, потом по лбу...

— Знатоки! — пробормотал он, презрительно улыбаясь.

И, взяв свой цилиндр, он горько покачал головой и вышел из дома...

«Иду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок... О, жепщины, женщины! Впрочем, все бабы одинаковы!» — думал он, шагая к ресторану «Лондон».

Ему хотелось запить...

НАИВНЫЙ ЛЕШИЙ

Сказка

В лесу, на берегу речки, которую день и ночь сторожит высокий камыш, стоял в одно прекрасное утро молодой, симпатичный леший. Возле него на травке сидела русалочка, молоденькая и такая хорошенькая, что, зная я ее точный адрес, бросил бы все — и литературу, и жену, и науки — и полетел бы к ней... Русалочка была нахмурена и сердито тербила зеленую травку.

— Я прошу вас понять меня, — говорил леший, заикаясь и конфузливо мигая глазами. — Если вы поймете, то не будете так строги. Позвольте мне объяснить вам все с самого начала... Двадцать лет тому назад на этом самом месте, когда я просил у вас руки, вы сказали, что только в таком случае выйдете за меня замуж, если у меня не будет глупого выражения лица, а для этого вы посоветовали мне отправиться к людям и поучиться у них уму-разуму. Я, как вам известно, послушал вас и отправился к людям. Отлично... Придя к ним, я прежде всего справился, какие есть специальности и ремесла. Один правовед сказал мне, что самая лучшая и безвредная специальность, это — лежать на диване, задрав вверх ноги, и плевать в потолок; но я, честный, глупый леший, не поверил ему! Прежде всего я попал по протекции в почтмейстеры. Ужасная, ma chère¹,

¹ моя дорогая (франц.).

должность! Письма обывателей до того скучны, что просто тошно делается!

— Зачем же вы их читали, если они скучны?

— Так принято... Да и к тому же нельзя без этого... Письма разные бывают... Иной подписывается «поручик такой-то», а под этим поручиком Лассалья понимать надо или Спинозу... Ну-с... потом поступил я по протекции в брандмейстеры... Тоже ужасная должность! То и дело пожар... Сядешь, бывало, обедать или в винт играть — пожар. Ляжешь спать — пожар. А изволь-ка тут ехать на пожар, если еще и из естественной истории известно, что казенных лошадей нельзя кормить овсом. Раз я велел накормить лошадей овсом, и — что ж вы думаете? — ревизор так удивился, что мне даже совестно стало... Бросил...

Есть, та снèге, на земле люди, которые смотрят за тем, чтобы у ближних в головах и карманах ничего лишнего не было. От брандмейстера к этой должности рукой подать. Я поступил. Вся моя служба на первых порах состояла в том, что я принимал от людей «благодарности»... Сначала мне это ужасно нравилось... В наш практический век такие чувства, как благодарность, могут не нравиться только камню и должны быть поощряемы... Но потом я совсем разочаровался. Люди ужасно испорчены... Они благодарят купонами тысяча восемьсот восемьдесят девятого года и даже пускают в ход фальшивые купоны. И к тому же — благодарят, а у самих в глазах никаких приятных чувств не выражается... Пошло! От этой должности к педагогии рукой подать. Поступил я в педагоги. Сначала мне повезло, и даже директор несколько раз мне руку пожимал. Ему ужасно нравилось мое глупое лицо. Но — увы! Прочел я однажды в «Вестнике Европы» статью о вреде лесостреления и почувствовал угрызения совести. Мне и ранее, откровенно говоря, было жаль употреблять нашу милую, зеленую березу для таких низменных целей, как педагогия.

Выразил я директору свое сомнение, и мое глупое выражение лица было сочтено за подложное.

Я — фюйть! Потом поступил я в доктора. Сначала мне повезло. Дифтериты, знаете ли, тифы... Хотя я и не увеличил процента смертности, но все-таки был замечен. В повышение меня назначили врачом в московский Воспитательный дом. Здесь, кроме рецептов и посещения палат, с меня потребовали реверансов, книксенов и уменья с достоинством ездить на запятках... Старший доктор Соловьев, тот самый, что в Одессе на съезде себя на эмпириях чувствовал, требовал даже от меня, чтобы я делал ему глазки. Когда я сказал, что реверансы и глазки не преподаются на медицинском факультете, меня сочли за вольнодумца и не помнящего родства...

После неудачного докторства занялся я коммерцией. Открыл булочную и стал булки печь. Но, та шёге, на земле так много насекомых, что просто ужас! Какой калач ни взломай, во всяком таракан или мокрица сидит.

— Ах, полно вам чепуху пороть! — воскликнула русалочка, выйдя из терпения. — Кой черт просил вас, дурака этакого, поступать в брандмейстеры и булки печь? Неужели вы, скотина вы этакая, не могли на земле найти что-нибудь поумнее и возвышеннее? Разве у людей нет наук, литературы?

— Я, знаете ли, хотел поступить в университет, да мне один акцизный сказал, что там все беспорядки... Был я и литератором... черти понесли меня в эту литературу! Писал я хорошо и даже надежды подавал, но, та шёге, в кутузках так холодно и так много клопов, что даже при воспоминании пахнет в воздухе клопами. Литературой я и кончил... В больнице помер... Литературный фонд похоронил меня на свой счет. Репортеры на десять рублей на моих похоронах водки выпили. Дорогая моя! Не посылайте меня вторично к людям! Уверяю вас, что я не вынесу этого испытания!

— Это ужасно! Мне жаль вас, но поглядитесь вы в реку! Ваше лицо стало глупее прежнего! Нет, ступайте опять! Займитесь науками, искусствами... путешествуйте наконец! Не хотите этого? Ну, так сту-

пайте и последуйте тому совету, который дал вам правовед!

Леший начал умолять... Чего уж он только не говорил, чтобы избавиться от неприятной поездки! Он сказал, что у него нет паспорта, что он на замечании, что при теперешнем курсе тяжело совершать какие бы то ни было поездки, но ничто не помогло... Русалочка настояла на своем. И леший опять среди людей. Он теперь служит, дослужился уже до статского советника, но выражение его лица нисколько не изменилось: оно по-прежнему глупое.

СОН РЕПОРТЕРА

«Настоятельно прошу быть сегодня на костюмированном балу французской колонии. Кроме вас, идти некому. Дадите заметку, возможно подробнее. Если же почему-либо не можете быть на балу, то немедленно уведоьте — попрошу кого-нибудь другого. При сем прилагаю билет. Ваш...» (следует подпись редактора).

«P.S. Будет лотерея-аллегри. Будет разыграна ваза, подаренная президентом Французской республики. Желаю вам выиграть».

Прочитав это письмо, Петр Семеныч, репортер, лег на диван, закурил папиросу и самодовольно погладил себя по груди и по животу. (Он только что пообедал.)

— Желаю вам выиграть, — передразнил он редактора. — А на какие деньги я куплю билет? Небось денег на расходы не даст, ска-атина. Скуп, как Плюшкин. Взял бы он пример с заграничных редакций... Там умеют ценить людей. Ты, положим, Стенли, едешь отыскивать Ливингстона. Ладно. Бери столько-то тысяч фунтов стерлингов! Ты, Джон Буль, едешь отыскивать «Жаннету». Ладно. Бери десять тысяч! Ты идешь описывать бал французской колонии. Ладно. Бери... тысяч пятьдесят... Вот как за границей! А он мне прислал один билет, потом запла-

тит по пятаку за строчку и воображает... Ска-а-тина!..

Петр Семеныч закрыл глаза и задумался. Множество мыслей, маленьких и больших, закопошилось в его голове. Но скоро все эти мысли покрылись каким-то приятным розовым туманом. Из всех щелей, дыр, окон медленно поползло во все стороны желе, полупрозрачное, мягкое... Потолок стал опускаться... Забегали человечки, маленькие лошадки с утиными головками, замахало чье-то большое, мягкое крыло, потекла река... Прошел мимо маленький наборщик с очень большими буквами и улыбнулся... Все утонуло в его улыбке, и... Петру Семенычу начало сниться.

Он надел фрак, белые перчатки и вышел на улицу. У подъезда давно уже ожидает его карета с редакционным вензелем. С козел соскакивает лакей в ливрее и помогает ему сесть в карету, подсаживает его, точно барышню-аристократку.

Через какую-нибудь минуту карета останавливается у подъезда Благородного собрания. Он, нахмутив лоб, сдает свое платье и с важностью идет вверх по богато убранной, освещенной лестнице. Тропические растения, цветы из Ниццы, костюмы, стоящие тысячи.

— Корреспондент...— пробегает шепот в многотысячной толпе.— Это он...

К нему подбегает маленький старичок с озабоченным лицом, в орденах.

— Извините, пожалуйста! — говорит он Петру Семенычу.— Ах, извините, пожалуйста!

И вся зала вторит за ним:

— Ах, извините, пожалуйста!

— Ах, полноте! Вы меня конфузите, право...— говорит репортер.

И он вдруг, к великому своему удивлению, начинает трещать по-французски. Ранее знал одно только «тегси», а теперь — на поди!

Петр Семеныч берет цветок и бросает сто рублей, и как раз в это время подают от редактора телеграмму: «Выиграйте дар президента Французской респуб-

лики и опишите ваши впечатления. Ответ на тысячу слов уплачен. Не жалейте денег». Он идет к аллегри и начинает брать билеты. Берет один... два... десять... Берет сто, наконец тысячу и получает вазу из северского фарфора. Обняв обеими руками вазу, спешит дальше.

Навстречу ему идет дамочка с роскошными льняными волосами и голубыми глазами. Костюм у нее замечательный, выше всякой критики. За ней толпа.

— Кто это? — спрашивает репортер.

— А это одна знатная француженка. Выписана из Ниццы вместе с цветами.

Петр Семеныч подходит к ней и рекомендует. Через минуту он берет ее под руку и ходит, ходит... Ему многое нужно разузнать от француженки, очень многое... Она так прелестна!

«Она моя! — думает он. — А где я у себя в комнате поставлю вазу?» — соображает он, любясь француженкой. Комната его мала, а ваза все растет, растет и так разрослась, что не помещается даже в комнате. Он готов заплакать.

— А-а-а... так вы вазу любите больше, чем меня? — говорит вдруг ни с того ни с сего француженка и — трах кулаком по вазе!

Драгоценный сосуд громко трещит и разлетается вдребезги. Француженка хохочет и бежит куда-то в туман, в облако. Все газетчики стоят и хохочут... Петр Семеныч, рассерженный, с пеной у рта, бежит за ними и вдруг, очутившись в Большом театре, падает вниз головой с шестого яруса.

Петр Семеныч открывает глаза и видит себя на полу, около своего дивана. У него от ушиба болят спина и локоть.

«Слава богу, нет француженки, — думает он, протирая глаза. — Ваза, значит, цела. Хорошо, что я не женат, а то, пожалуй, дети стали бы шалить и разбили вазу».

Протерев же глаза как следует, он не видит и вазы.

«Все это сон, — думает он. — Однако уже первый час ночи... Бал давно уже начался, пора ехать... Полежу еще немного и — марш!»

Полежав еще немного, он потянулся и... заснул — и так и не попал на бал французской колонии.

— Ну, что? — спросил у него на другой день редактор. — Были на балу? Понравилось?

— Так себе... Ничего особенного... — сказал он, делая скучающее лицо. — Вяло. Скучно. Я написал заметку в двести строк. Немножко браню наше общество за то, что оно не умеет веселиться. — И, сказавши это, он отвернулся к окну и подумал про редактора: «Ска-атина!!»

С легкой руки мирового, получившего письмо из Питера, разнеслись слухи, что скоро в Ефремово прибудет барин, граф Владимир Иванович. Когда он прибудет,— неизвестно.

— Яко тать в нощи,— говорит отец Кузьма, маленький седенький попик в лиловой ряске.— А ежели он приедет, то и прохода здесь не будет от дворянства и прочего высшего сословия. Все соседи съедутся. Уж ты тово... постарайся, Алексей Алексеич... Сердечно прошу...

— Мне-то что! — говорит Алексей Алексеич, хмурясь.— Я свое дело сделаю. Лишь бы только мой врагектению в тон читал. А то ведь он назло...

— Ну, ну... я умолю дьякона... умолю...

Алексей Алексеич состоит псаломщиком при ефремовской Трехсвятительской церкви. В то же время он обучает школьных мальчиков церковному и светскому пению, за что получает от графской конторы шестьдесят рублей в год. Школьные же мальчишки за свое обучение обязаны петь в церкви. Алексей Алексеич высокий, плотный мужчина с солидною походкой и бритым, жирным лицом, похожим на коровье вымя. Своею статностью и двухэтажным подбородком он более похож на человека, занимающего не последнюю ступень в высшей светской иерархии, чем на дьячка. Странно было глядеть, как он, статный и солидный,

бухал владыке земные поклоны и как однажды, после одной слишком громкой распри с дьяконом Евлампием Авдиесовым, стоял два часа на коленях, по приказу отца благочинного. Величие более прилично его фигуре, чем унижение.

Ввиду слухов о приезде графа он делает спевки каждый день утром и вечером. Спевки производятся в школе. Школьным занятиям они мало мешают. Во время пения учитель Сергей Макарыч задает ученикам чистописание и сам присоединяется к тенорам, как любитель.

Вот как производятся спевки. В классную комнату, хлопая дверью, входит сморкающийся Алексей Алексеич. Из-за ученических столов с шумом выползают дисканты и альты. Со двора, стуча ногами, как лошади, входят давно уже ожидающие тенора и басы. Все становятся на свои места. Алексей Алексеич вытягивается, делает знак, чтобы молчали, и издает камертоном звук.

— То-то-ти-то-том... До-ми-соль-до!

— Аааа-минь!

— Адажьо... адажьо... Еще раз...

После «аминь» следует «Господи помилуй» великой ектении. Все это давно уже выучено, тысячу раз пето, пережевано и поется только так, для проформы. Поется лениво, бессознательно. Алексей Алексеич покойно машет рукой и подпевает то тенором, то басом. Все тихо, ничего интересного... Но перед «Херувимской» весь хор вдруг начинает сморкаться, кашлять и усиленно перелистывать ноты. Регент отворачивается от хора и с таинственным выражением лица начинает настраивать скрипку. Минуты две длятся приготовления.

— Становитесь. Смотрите в ноты получше... Басы, не напирайте... помягче...

Выбирается «Херувимская» Бортнянского, № 7. По данному знаку наступает тишина. Глаза устремляются в ноты, и дисканты раскрывают рты. Алексей Алексеич тихо опускает руку.

— Пиано... пиано... Ведь там «пиано» написано... Легче, легче!

— ...ви... и... мы...

Когда нужно петь *piano*¹, на лице Алексея Алексеича разлита доброта, ласковость, словно он хорошо закуску во сне видит.

— Форте... форте! Напирайте!

И когда нужно петь *forte*², жирное лицо регента выражает сильный испуг и даже ужас.

«Херувимская» поется хорошо, так хорошо, что школьники оставляют свое чистописание и начинают следить за движениями Алексея Алексеича. Под окнами останапливается народ. Входит в класс сторож Василий в фартуке, со столовым ножом в руке, и заслушивается. Как из земли вырастает отец Кузьма с озабоченным лицом... После «отложим попечение» Алексей Алексеич вытирает со лба пот и в волнении подходит к отцу Кузьме.

— Недоумеваю, отец Кузьма! — говорит он, пожимая плечами.— Отчего это в русском народе понимания нет? Недоумеваю, накажи меня бог! Такой необразованный народ, что никак не разберешь, что у него там в горле: глотка или другая какая внутренность? Подавился ты, что ли? — обращается он к басу Геннадию Семичеву, брату кабатчика.

— А что?

— На что у тебя голос похож? Трещит, словно кастрюля. Опять небось вчерась трахнул за галстук? Так и есть! Из рта, как из кабака... Эээх! Мужик, братец, ты! Невежа ты! Какой же ты певчий, ежели ты с мужиками в кабаке компанию водишь? Эх ты, осел, братец!

— Грех, брат, грех... — бормочет отец Кузьма.— Бог все видит... насквозь...

— Оттого ты и пения нисколько не понимаешь, что у тебя в мыслях водка, а не божественное, дурак ты этакой.

— Не раздражайся, не раздражайся... — говорит отец Кузьма.— Не сердись... Я его умолю.

¹ тихо (итал.).

² громко (итал.).

Отец Кузьма подходит к Геннадию Семичеву и пачинает его умолять:

— Зачем же ты? Ты, тово, пойми у себя в уме. Человек, который поет, должен себя воздерживать, потому что глотка у него того... нежная.

Геннадий чешет себе шею и косится на окно, точно не к нему речь.

После «Херувимской» поют «Верую», потом «Достойно и праведно», поют чувствительно, гладенько — и так до «Отче наш».

— А по-моему, отец Кузьма,— говорит регент,— простое «Отче наш» лучше нотного. Его бы и спеть при графе.

— Нет, нет... Пой нотное. Потому граф в столицах, к обедне ходючи, кроме нотного ничего... Небось там в капеллах... Там, брат, еще и не такие ноты!..

После «Отче наш» опять кашель, сморканье и перелистыванье нот. Предстоит исполнить самое трудное: концерт. Алексей Алексеич изучает две вещи: «Кто бог велий» и «Всемирную славу». Что лучше выучат, то и будут петь при графе. Во время концерта регент входит в азарт. Выражение доброты то и дело сменяется испугом. Он машет руками, шевелит пальцами, дергает плечами...

— Форте! — бормочет он.— Анданте! Разжимайте... разжимайте! Пой, идол! Тенора, не доносите! То-то-ти-то-том... Соль... си... соль, дурья твоя голова! Велий! Басы, ве... ве... лий...

Его смычок гуляет по головам и плечам фальшивящих дискантов и альтов. Левая рука то и дело хватает за уши маленьких певцов. Раз даже, увлекшись, он согнутым большим пальцем бьет под подбородок баса Геннадия. Но певчие не плачут и не сердятся на побои: они сознают всю важность исполняемой задачи.

После концерта проходит минута в молчании. Алексей Алексеич, вспотевший, красный, изнеможенный, садится на подоконник и окидывает присутствующих мутным, отяжелевшим, но победным взглядом. В толпе слушателей он, к великому своему неудовольствию,

усматривает дьякона Авдиесова. Дьякон, высокий, плотный мужчина, с красным, рябым лицом и с соломой в волосах, стоит облокотившись о печь, и презрительно ухмыляется.

— Ладно, пой! Выводи ноты! — бормочет он густым басом. — Очень нужно грахву твое пение! Ему хоть по нотам пой, хоть без нот... Потому — атеист...

Отец Кузьма испуганно озирается и шевелит пальцами.

— Ну, ну... — шепчет он. — Молчи, дьякон. Молю...

После концерта поют «Да исполнятся уста наша», и спевка кончается. Певчие расходятся, чтобы сойтись вечером для новой спевки. И так каждый день.

Проходит месяц, другой...

Уже и управляющий получил уведомление о скором приезде графа. Но вот наконец с господских окон снимаются запыленные жалюзи, и Ефремово слышит звуки разбитого, расстроенного рояля. Отец Кузьма чахнет и сам не знает, отчего он чахнет: от восторга ли, от испуга ли... Дьякон ходит и ухмыляется.

В ближайший субботний вечер отец Кузьма входит в квартиру регента. Лицо его бледно, плечи осунулись, блеск лиловой рясы померк.

— Был сейчас у его сиятельства, — говорит он, заикаясь, регенту. — Образованный господин, с деликатными понятиями... Но, тово... обидно, брат... «В каком часу, говорю, ваше сиятельство, прикажете завтра к литургии ударить?» А они мне: «Когда знаете... Только нельзя ли как-нибудь поскорее, покороче... без певчих». Без певчих! Того, понимаешь... без певчих...

Алексей Алексеич багровеет. Легче ему еще раз простоять два часа на коленях, чем такие слова слышать! Всю ночь не спит он. Не так обидно ему, что пропали его труды, как то, что Авдиесов не даст ему теперь прохода своими насмешками. Авдиесов рад его горю. На другой день всю обедню он презрительно косится на клирос, где один как перст басит Алексей Алексеич. Проходя с кадилом мимо клироса, он бормочет:

— Выводи ноты, выводи! Старайся! Грахв красненькую на хор даст!

После обедни регент, уничтоженный и большой от обиды, идет домой. У ворот догоняет его красный Авдесов.

— Пстой, Алеша,— говорит дьякон.— Пстой, дура, не сердись! Не ты один, и я, брат, в накладе! Подходит сейчас после обедни к грахву отец Кузьма и спрашивает: «А какого вы понятия о голосе диакона, ваше сиятельство? Не правда ли, совершеннейшая октава?» А грахв-то, знаешь, что выразил? Конплимент! «Кричать, говорит, всякий может. Не так, говорит, важен в человеке голос, как ум». Питерский дока! Атеист и есть атеист! Пойдем, брат сирота, с обиды тарарахнем точию по единой!

И враги, взявшись под руки, идут в ворота...

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Лежит она, эта книга, в специально построенной для нее конторке на станции железной дороги. Ключ от конторки «хранится у станционного жандарма», на деле же никакого ключа не нужно, так как конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте:

«Милостивый государь! Проба пера?!»

Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожицей написано:

«Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет. Я — морда твоя».

«Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин».

«Кто писал не знаю, а я дурак читаю».

«Оставил память начальник стола претензий Коловроев».

«Приношу начальству мою жалобу на Кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась чтоб все было тихо. А также и насчет жандарма Клятвина который меня грубо за плечо взял. Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева который знает мое поведение. Конторщик Самолучшев».

«Никандров социалист!»

«Находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка... (зачеркнуто). Проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим... (зачеркнуто). На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисуемое яркими красками наши железнодорожные порядки... (далее все зачеркнуто, кроме подписи). Ученик 7-го класса Курской гимназии Алексей Зудьев».

«В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции и остался ею весьма недоволен. Объявляю о сем по линии. Неунывающий дачник».

«Я знаю кто это писал. Это писал М. Д.».

«Господа! Тельцовский шулер!»

«Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку. Желаем всего лучшего. Не унывай, жандарм!»

«Проезжая через станцию и будучи голоден в расуждении чего бы покушать я не мог найти постной пищи. Дьякон Духов».

«Лопай, что дают»...

«Кто найдет кожаный портсигар тот пушай отдаст в кассу Андрею Егорычу».

«Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры. Телеграфист Козьмодемьянский».

«Добродетелью украшайтесь».

«Катенька, я вас люблю безумно!»

«Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника станции Иванов 7-й».

«Хоть ты и седьмой, а дурак».

ДВА ПИСЬМА

I. СЕРЬЕЗНЫЙ ВОПРОС

Милый и дорогой мой дядюшка, Анисим Петрович!

Сейчас был у меня Ваш земляк Курошеев и сообщил мне, между прочим, что на днях воротился из-за границы со своей семьей Ваш сосед Мурдашевич. Это известие тем более поразило меня, что ранее ходили слухи, что Мурдашевичи навсегда останутся за границей. Дорогой и милый дядюшка! Если Вы хотя немного любите вашего племянника, то съездите, голубчик, к Мурдашевичу и узнайте, как поживает его воспитанница, Машенька. Исповедую Вам сокровенную тайну моей души. Только Вам одному могу довериться. Я люблю Машеньку, люблю страстно, больше жизни! Шесть лет разлуки ни на иоту не уменьшили моей любви к ней. Жива ли она, здорова? Напишите, в каком виде Вы ее застали, помнит ли она меня, любит ли по-прежнему? Могу ли я написать к ней письмо? Все узнайте, голубчик, и опишите обстоятельнее.

Скажите ей, что я уже не тот робкий, бедный студент... Я уже присяжный поверенный, имею практику, деньги... Одним словом, для полного счастья не хватает у меня только ее одной... Только!

В ожидании скорейшего ответа обнимаю.

Владимир Гречнев.

II. ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Милый мой племянник Володя!

Получивши же твое письмо, я на другой день поехал к Мурдашевичу. Славный он человек! Постарел и поседел в загранице, но сохранил в себе воспоминание обо мне, своим старинном друге, так что, когда я вошедши, он обнял меня и долго смотря мне в лицо сказал робким, нежным возгласом: «Не узнаю!» Когда же я назвал свою фамилию, он еще раз обнял меня и сказал: «Теперь припоминаю». Хороший человек! Будучи у него, выпил и закусил, потом же и за проферансишку сели по одной десятой. Во многих видах и разных манерах объяснял он мне про заграницу и много смешил меня игривым описанием смешных немецких нравов. Но наука, говорит, у немцев далеко пошла. Показывал мне также картину, купленную проездом через Италию, изображающую женского пола одну особу в странной неприличной одежде. Видал я и Машеньку. Была в богатом платье розового цвета с протчими украшениями драгоценного свойства. Тебя она помнит и даже прослезилась глазами, когда о тебе спрашивала. Ждет от тебя письма и благодарит за память и чувства. Ты пишешь, что имеешь практику и деньги! Береги, душенька, деньги и веди себя умеренно и воздержно. Я, когда будучи в молодости, предавался сластолюбивым излишествам, но кратковременно и воздержно, и все-таки каюсь. Засим благословляю и желаю всего лучшего.

Твой дядя и доброжелатель *Анисим Гречнев*.

Р. С. Пишешь ты хоть непонятно, но очень заманчиво и красноречиво. Показывал твое письмо всем соседям. Прочитавши его, сочли тебя как бы сочинителем, так что даже сын отца Григория, Владимир, переписал его с тем, чтобы послать в газету. Показывал его также Машеньке и ее мужу, немцу Урмахеру, за которого Машенька вышла замуж в прошлом годе. Немец прочел и похвалил. И теперь я всем показываю твое письмо и читаю. Пиши еще! А икра у Мурдашевича очень вкусная.

С подлинным верно: *Человек без селезенки*.

Судебный следователь Гришуткин, старик, начавший службу еще в дореформенное время, и доктор Свистицкий, меланхолический господин, ехали на вскрытие. Ехали они осенью по проселочной дороге, Темнота была страшная, лил неистовый дождь.

— Ведь этакая подлость,— ворчал следователь.— Не то что цивилизации и гуманности, даже климата порядочного нет. Страна, нечего сказать! Европа тоже, подумаешь... Дождь-то, дождь! Словно нанялся, подлец! Да вези ты, анафема, поскорей, если не хочешь, чтобы я тебе, подлецу этакому, негодяю, все зубы выбил! — крикнул он работнику, сидевшему на козлах.

— Странно, Агей Алексеич! — говорил доктор, вздыхая и кутаясь в мокрую шубу.— Я даже не замечаю этой погоды. Меня гнетет какое-то странное, тяжелое предчувствие. Вот-вот, кажется мне, стрясется надо мной какое-то несчастье. А я верю в предчувствия и... жду. Все может случиться. Трупное заражение... смерть любимого существа...

— Хоть при Мишке-то постыдитесь говорить о предчувствиях, баба вы этакая. Хуже того, что есть, не может быть. Этакий дождь — чего хуже? Знаете что, Тимофей Васильич? Я более не в состоянии так ехать. Хоть убейте, а не могу. Нужно остановиться где-нибудь переночевать... Кто тут близко живет?

¹ Вечное движение (лат.).

— Яван Яваныч Ежов,— сказал Мишка.— Сейчас за лесом, только мостик переехать.

— Ежов? Валяй к Ежову! Кстати, давно уж не был у этого старого грешника.

Проехали лес и мостик, повернули налево, потом направо и въехали в большой двор председателя мирового съезда; отставного генерал-майора Ежова.

— Дома! — сказал Гришуткин, вылезая из тарантаса и глядя на окна дома, которые светились.— Это хорошо, что дома. И напьемся, и наедемся, и выспимся... Хоть и дрянной человечиска, но гостеприимен, надо отдать справедливость.

В передней встретил их сам Ежов, маленький, сморщенный старик с лицом, собравшимся в колючий комок.

— Очень кстати, очень кстати, господа...— заговорил он.— А мы только что сели ужинать и буженину едим, тридцать три моментально. А у меня, знаете, товарищ прокурора сидит. Спасибо ему, ангелу, заехал за мной. Завтра с ним на съезд ехать. У нас завтра съезд... тридцать три моментально...

Гришуткин и Свистицкий вошли в зал. Там стоял большой стол, уставленный закусками и винами. За одним прибором сидела дочь хозяина Надежда Ивановна, молодая брюнетка, в глубоком трауре по недавно умершем муже; за другим, рядом с ней, товарищ прокурора Тюльпанский, молодой человек с бачками и множеством синих жилок на лице.

— Знакомы? — говорил Ежов, тыча во всех пальцами.— Это вот прокурор, это — дочь моя...

Брюнетка улыбнулась и, прищутив глаза, подала новоприбывшим руку.

— Итак... с дорожки, господа! — сказал Ежов, наливая три рюмки.— Дерзайте, людие божии! И я выпью за компанию, тридцать три моментально. Ну-с, будемте здоровы...

Выпили. Гришуткин закусил огурчиком и принялся за буженину. Доктор выпил и вздохнул. Тюльпанский закурил сигару, попросив предварительно у дамы позволения, причем оскалил зубы так, что показалось, будто у него во рту по крайней мере сто зубов.

— Ну, что ж, господа? Рюмки-то ведь не ждут! А? Прокурор! Доктор! За медицину! Люблю медицину. Вообще люблю молодежь, тридцать три моментально. Что бы там ни говорили, а молодежь всегда будет идти впереди. Ну-с, будемте здоровы.

Разговорились. Говорили все, кроме прокурора Тюльпанского, который сидел, молчал и пускал через ноздри табачный дым. Было очевидно, что он считал себя аристократом и презирал доктора и следователя. После ужина Ежов, Гришуткин и товарищ прокурора сели играть в винт с болваном. Доктор и Надежда Ивановна сели около рояля и разговорились.

— Вы на вскрытие едете? — начала хорошенькая вдовушка. — Вскрывать мертвеца? Ах! Какую надо иметь силу воли, какой железный характер, чтобы, не морщась, не мигнув глазом, заносить нож и вонзать его по рукоятку в тело бездыханного человека. Я, знаете ли, благоговею перед докторами. Это особенные люди, святые люди. Доктор, отчего вы так печальны? — спросила она.

— Предчувствие какое-то... Меня гнетет какое-то странное, тяжелое предчувствие. Точно ждет меня потеря любимого существа.

— А вы, доктор, женаты? У вас есть близкие?

— Ни души. Я одинок и не имею даже знакомых. Скажите, сударыня, вы верите в предчувствия?

— О, я верю в предчувствия.

И в то время как доктор и вдовушка толковали о предчувствиях, Ежов и следователь Гришуткин то и дело вставали из-за карт и подходили к столу с закуской. В два часа ночи проигравшийся Ежов вдруг вспомнил о завтрашнем съезде и хлопнул себя по лбу.

— Батюшки! Что же мы делаем?! Ах, мы беззаконники, беззаконники! Завтра чуть свет на съезд ехать, а мы играем! Спать, спать, тридцать три моментально! Надька, марш спать! Объявляю заседание закрытым.

— Счастливы вы, доктор, что можете спать в такую ночь! — сказала Надежда Ивановна, прощаясь с доктором. — Я не могу спать, когда дождь барабанит в окна и когда стонут мои бедные сосны. Пойду

сейчас и буду скучать за книгой. Я не в состоянии спать. Вообще, если в коридорчике на окне против моей двери горит лампочка, то это значит, что я не сплю и меня съедает скука...

Доктор и Гришуткин в отведенной для них комнате нашли две громадные постели, постланные на полу из перин. Доктор разделся, лег и укрылся с головой. Следователь разделся и лег, но долго ворочался, потом встал и заходил из угла в угол. Это был беспокойнейший человек.

— Я все про барыньку думаю, про вдовушку, — сказал он. — Этакая роскошь! Жизнь бы отдал! Глаза, плечи, ножки в лиловых чулочках... огонь баба! Баба — ой-ой! Это сейчас видно! И этакая красота принадлежит черт знает кому — правоведу, прокурору! Этому жилистому дуралею, похожему на англичанина! Не выношу, брат, этих правоведа! Когда ты с ней о предчувствиях говорил, он лопался от ревности! Что говорить, шикарная женщина! Замечательно шикарная! Чудо природы!

— Да, почтенная особа, — сказал доктор, высывая голову из-под одеяла. — Особа впечатлительная, нервная, отзывчивая, такая чуткая. Мы вот с вами сейчас уснем, а она, бедная, не может спать. Ее нервы не выносят такой бурной ночи. Она сказала мне, что всю ночь напролет будет скучать и читать книжку. Бедняжка! Наверное, у ней теперь горит лампочка...

— Какая лампочка?

— Она сказала, что если около ее двери на окне горит лампочка, то это значит, что она не спит.

— Она тебе это сказала? Тебе?

— Да, мне.

— В таком случае я тебя не понимаю! Ведь ежели она это тебе сказала, то значит, ты счастливейший из смертных! Молодец доктор! Молодчина! Хвалю, друг! Хоть и завидую, но хвалю! Не так, брат, за тебя рад, как за правоведа, за этого рыжего каналью! Рад, что ты ему рога наставишь! Ну, одевайся! Марш!

Гришуткин, когда бывал пьян, всем говорил «ты».

— Выдумываете вы, Агей Алексеич! Бог знает что, право...— застенчиво отвечал доктор.

— Ну, ну... не разговаривай, доктор! Одевайся и валяй... Как бишь это поется в «Жизни за царя»? И на пути любви денек срываем мы как бы цветок... Одевайся, душа моя. Да ну же! Тимоша! Доктор! Да ну же, скотина!

— Извините, я вас не понимаю.

— Да что же тут не понимать! Астрономия тут, что ли? Одевайся и иди к лампочке, вот и все понятие.

— Странно, что вы такого нелестного мнения об этой особе и обо мне.

— Да брось ты философствовать! — рассердился Гришуткин.— Неужели ты можешь еще колебаться? Ведь это цинизм!

Он долго убеждал доктора, сердился, умолял, даже становился на колени и кончил тем, что громко выбранился, плюнул и повалился в постель. Но через четверть часа вдруг вскочил и разбудил доктора.

— Послушайте! Вы решительно отказываетесь идти к ней? — спросил он строго.

— Ах... зачем я пойду? Какой вы беспокойный человек, Агей Алексеич! С вами ездить на вскрытие — это ужасно!

— Ну так, черт вас возьми, я пойду к ней! Я... я не хуже какого-нибудь правоведа или бабы-доктора. Пойду!

Он быстро оделся и пошел к двери.

Доктор вопросительно поглядел на него, как бы не понимая, потом вскочил.

— Вы, полагаю, это шутите? — спросил он, загораживая Гришуткину дорогу.

— Некогда мне с тобой разговаривать... Пусти!

— Нет, я не пушу вас, Агей Алексеич. Ложитесь спать... Вы пьяны!

— По какому это праву ты, эскулап, меня не пустишь?

— По праву человека, который обязан защитить благородную женщину. Агей Алексеич, опомнитесь, что вы хотите делать! Вы старик! Вам шестьдесят семь лет!

— Я старик? — обиделся Гришуткин. — Какой это негодяй сказал тебе, что я старик?

— Вы, Агей Алексеич, выпивши и возбуждены. Не хорошо! Не забывайте, что вы человек, а не животное! Животному прилично подчиняться инстинкту, а вы царь природы, Агей Алексеич!

Царь природы побагровел и сунул руки в карманы.

— Последний раз спрашиваю:пустишь ты меня или нет? — крикнул он вдруг пронзительным голосом, точно кричал в поле на ямщика. — Каналья!

Но тотчас же он сам испугался своего голоса и отошел от двери к окну. Он хотя был и пьян, но ему стало стыдно этого своего пронзительного крика, который, вероятно, разбудил всех в доме. После некоторого молчания к нему подошел доктор и тронул его за плечо. Глаза доктора были влажны, щеки пылали...

— Агей Алексеич! — сказал он дрожащим голосом. — После резких слов, после того, как вы, забыв всякое приличие, обозвали меня канальей, согласитесь, нам уже нельзя оставаться под одной крышей. Я вами страшно оскорблен... Допустим, что я виноват, но... в чем я, в сущности, виноват? Дама честная, благородная, и вдруг вы позволяете себе подобные выражения. Извините, мы более не товарищи.

— И отлично! Не надо мне таких товарищей.

— Я уезжаю сию минуту, больше оставаться я с вами не могу, и... надеюсь, мы больше не встретимся.

— Вы уедете на чем-с?

— На своих лошадях.

— А я на чем же уеду? Вы что же это! До конца хотите подличать? Вы меня привезли на ваших лошадях, на ваших же обязаны и увезти.

— Я вас довезу, если угодно. Только сейчас... Я сейчас еду. Я так взволнован, что больше не могу здесь оставаться.

Затем Гришуткин и Свистицкий молча оделись и вышли на двор. Разбудили Мишку, потом сели в тарантас и поехали...

— Циник...— бормотал всю дорогу следователь.— Если не умеешь обращаться с порядочными женщинами, то сиди дома, не бывай в домах, где женщины...

Себя ли это бранил он, или доктора, трудно было понять. Когда тарантас остановился около его квартиры, он спрыгнул и, скрываясь за воротами, проговорил:

— Не желаю быть знакомым!

Прошло три дня. Доктор, окончив свою визитацию, лежал у себя на диване и от нечего делать читал в «Календаре для врачей» фамилии петербургских и московских докторов, стараясь отыскать самую звучную и красивую. На душе у него было тихо, хорошо, плавно, как на небе, в синеве которого неподвижно стоит жаворонок, и это благодаря тому, что в прошлую ночь он видел во сне пожар, что означало счастье. Вдруг послышался шум подъехавших саней (выпал снежок), и на пороге показался следователь Гришуткин. Это был неожиданный гость. Доктор поднялся и поглядел на него сконфуженно и со страхом. Гришуткин кашлянул, потупил глаза и медленно направился к дивану.

— Я приехал извиниться, Тимофей Васильич,— начал он.— Я был по отношению к вам немножко не любезен и даже, кажется, сказал вам какую-то неприятность. Вы, конечно, поймете мое тогдашнее возбужденное состояние вследствие наливки, выпитой у той старой канальи, и извините...

Доктор привскочил и со слезами на глазах пожал протянутую руку.

— Ах... помилуйте! Марья, чаю!

— Нет, не надо чаю... Некогда. Вместо чаю, если можно, прикажите квасу подать. Выпьем квасу и поедим труп вскрывать.

— Какой труп?

— Да все тот же унтер-офицерский, который тогда ездили вскрывать, да не доехали.

Гришуткин и Свистицкий выпили квасу и поехали на вскрытие.

— Конечно, я извиняюсь,— говорил дорбгой следователь,— я тогда погорячился, но все же, знаете ли,

обидно, что вы не наставили рогов этому прокурору... ккканалье.

Проезжая через Алимонино, они увидели около трактора ежевскую тройку...

— Ежов тут! — сказал Гришуткин. — Его лошади. Зайдемте повидаемся... Выпьем зельтерской воды и кстати на сиделочку поглядим. Тут знаменитая сиделка! Баба ой-ой! Чудо природы!

Путники вылезли из саней и пошли в трактир. Там сидели Ежов и Тюльпанский и пили чай с клюквенным морсом.

— Вы куда? Откуда? — удивился Ежов, увидев Гришуткина и доктора.

— На вскрытие все ездим, да никак не доедем. В заколдованный круг попали. А вы куда?

— Да на съезд, батенька!

— Зачем так часто? Ведь вы третьего дня ездили!

— Кой черт, ездили... У прокурора зубы болели, да и я не в себе как-то был все эти дни. Ну, что пить будете? Присаживайтесь, тридцать три моментально. Водки или пива? Дай-ка нам, брат сиделочка, того и другого. Ах, что за сиделка!

— Да, знаменитая сиделка, — согласился следователь. — Замечательная сиделка. Баба ой-ой-ой!

Через два часа из трактира вышел докторский Мишка и сказал генеральскому кучеру, чтобы тот распряг и поводил лошадей.

— Барин велел... В карты засели! — сказал он и махнул рукой. — Теперь до завтрага отсюда не выберемся. Н-ну, и исправник едет! Стало быть, до послезавтра тут сидеть будем!

К трактиру подкатил исправник. Узнав ежевских лошадей, он приятно улыбнулся и вбежал по лесенке...

ЧТЕНИЕ

Рассказ старого воробья

Как-то раз в кабинете нашего начальника Ивана Петровича Семипалатова сидел антрепренер нашего театра Галамидов и говорил с ним об игре и красоте наших актрис.

— Но я с вами не согласен,— говорил Иван Петрович, подписывая ассигновки.— Софья Юрьевна сильный, оригинальный талант! Милая такая, грациозная... Прелестная такая...

Иван Петрович хотел дальше продолжать, но от восторга не мог выговорить ни одного слова и улыбнулся так широко и слащаво, что антрепренер, глядя на него, почувствовал во рту сладость.

— Мне нравится в ней... э-э-э... волнение и трепет молодой груди, когда она читает монологи... Так и пышет, так и пышет! В этот момент, передайте ей, я готов... на все!

— Ваше превосходительство, извольте подписать ответ на отношение херсонского полицейского правления касательно...

Семипалатов поднял свое улыбающееся лицо и увидел перед собой чиновника Мердяева. Мердяев стоял перед ним и, выпучив глаза, подносил ему бумагу для подписи. Семипалатов поморщился: проза прервала поэзию на самом интересном месте.

— Об этом можно бы и после,— сказал он.— Видите ведь, я разговариваю! Ужасно невоспитанный, неделикатный народ! Вот-с, господин Галамидов... Вы

говорили, что у нас нет уже гоголевских типов... А вот вам! Чем не тип? Неряха, локти продраны, косой... никогда не чешется... А посмотрите, как он пишет! Это черт знает что! Пишет безграмотно, бессмысленно... как сапожник! Вы посмотрите!

— М-да.— промычал Галамидов, посмотрев на бумагу.— Действительно... Вы, господин Мердяев, вероятно, мало читаете.

— Этак, любезнейший, нельзя! — продолжал начальник.— Мне за вас стыдно! Вы бы хоть книги читали, что ли...

— Чтение много значит! — сказал Галамидов и вздохнул без причины.— Очень много! Вы читайте и сразу увидите, как резко изменится ваш кругозор. А книги вы можете достать, где угодно. У меня, например... Я с удовольствием. Завтра же я завезу, если хотите.

— Поблагодарите, любезнейший! — сказал Семипалатов.

Мердяев неловко поклонился, пошевелил губами и вышел.

На другой день приехал к нам в присутствии Галамидов и привез с собой связку книг. С этого момента и начинается история. Потомство никогда не простит Семипалатову его легкомысленного поступка! Это можно было бы, пожалуй, простить юноше, но опытному действительному статскому советнику — никогда! По приезде антрепренера Мердяев был позван в кабинет.

— Натe вот, читайте, любезнейший! — сказал Семипалатов, подавая ему книгу.— Читайте внимательно.

Мердяев взял дрожащими руками книгу и вышел из кабинета. Он был бледен. Косые глазки его беспокойно бегали и, казалось, искали у окружающих предметов помощи. Мы взяли у него книгу и начали ее осторожно рассматривать.

Книга была «Граф Монте-Кристо».

— Против его воли не пойдешь! — сказал со вздохом наш старый бухгалтер Прохор Семеныч Будылда.— Постарайся как-нибудь, понатужься... Читай себе помаленьку, а там, бог даст, он забудет, и

тогда бросить можно будет. Ты не пугайся... А главное — не вникай... Читай и не вникай в эту умственность.

Мердяев завернул книгу в бумагу и сел писать. Но не писалось ему на этот раз. Руки у него дрожали и глаза косили в разные стороны: один в потолок, другой в чернильницу. На другой день пришел он на службу заплаканный.

— Четыре раза уж начинал,— сказал он,— но ничего не разберу... Какие-то иностранцы...

Через пять дней Семипалатов, проходя мимо столов, остановился перед Мердяевым и спросил:

— Ну, что? Читали книгу?

— Читал, ваше превосходительство.

— О чем же вы читали, любезнейший? А ну-ка, расскажите!

Мердяев поднял вверх голову и зашевелил губами.

— Забыл, ваше превосходительство...— сказал он через минуту.

— Значит, вы не читали, или, э-э-э... невнимательно читали! Авто-мма-тически! Так нельзя! Вы еще раз прочтите! Вообще, господа, рекомендую. Извольте читать! Все читайте! Берите там у меня на окне книги и читайте. Парамонов, подите возьмите себе книгу! Подходцев, ступайте и вы, любезнейший! Смирнов — и вы! Все, господа! Прошу!

Все пошли и взяли себе по книге. Один только Будылда осмелился выразить протест. Он развел руками, покачал головой и сказал:

— А уж меня извините, ваше превосходительство... Скорей в отставку... Я знаю, что от этих самых критик и сочинений бывает. У меня от них старший внук родную мать в глаза дурой зовет и весь пост молоко хлещет. Извините-с!

— Вы ничего не понимаете,— сказал Семипалатов, прощавший обыкновенно старику все его грубости.

Но Семипалатов ошибался: старик все понимал. Через неделю же мы увидели плоды этого чтения. Подходцев, читавший второй том «Вечного жида», называл Будылду «иезуитом»; Смирнов стал являться на

службу в нетрезвом виде. Но ни на кого не подействовало так чтение, как на Мердяева. Он похудел, осунулся, стал пить.

— Прохор Семеныч! — умолял он Будылду. — Заставьте вечно бога молить! Попросите вы его превосходительство, чтобы они меня извинили... Не могу я читать. Читаю день и ночь, не сплю, не ем... Жена вся измучилась, вслух читавши, но, побей бог, ничего не понимаю! Сделайте божескую милость!

Будылда несколько раз осмеливался докладывать Семипалатову, но тот только руками махал и, расхаживая по правлению вместе с Галамидовым, попрекал всех невежеством. Прошло этак два месяца, и кончилась вся эта история ужаснейшим образом.

Однажды Мердяев, придя на службу, вместо того чтобы садиться за стол, стал среди присутствия на колени, заплакал и сказал:

— Простите меня, православные, за то, что я фальшивые бумажки делаю!

Затем он вошел в кабинет и, став перед Семипалатовым на колени, сказал:

— Простите меня, ваше превосходительство: вчера я ребеночка в колодец бросил!

Стукнулся лбом о пол и зарыдал...

— Что это значит?! — удивился Семипалатов.

— А это то значит, ваше превосходительство, — сказал Будылда со слезами на глазах, выступая вперед, — что он ума решился! У него ум за разум зашел! Вот что ваш Галамидка сочинениями наделал! Бог все видит, ваше превосходительство. А ежели вам мои слова не нравятся, то позвольте мне в отставку. Лучше с голоду помереть, чем этакое на старости лет видеть!

Семипалатов побледнел и прошелся из угла в угол.

— Не принимать Галамидова! — сказал он глухим голосом. — А вы, господа, успокойтесь. Я теперь вижу свою ошибку. Благодарю, старик!

И с этой поры у нас больше ничего не было. Мердяев выздоровел, но не совсем. И до сих пор при виде книги он дрожит и отворачивается.

ТРИФОН

«И не жаль мне прошлого ничуть».

Лермонтов

У Григория Семеновича Щеглова заломило в пояснице. Он проснулся и заворочался в постели.

— Настюша! — зашептал он, — возьми-ка, мать, спиртику и натри-ка мне спинозу!

Ответа не последовало. Щеглов зашарил около себя руками и не нашел никого. Постель, если не считать самого Щеглова, была пуста.

«Где же она?» — подумал он. — Настя! Настенька!

И на этот раз не последовало ответа. Послышалось только стучанье сторожа в колотушку да треск тухнувшей лампадки. Щеглов, предчувствуя недоброе, вытер на лбу холодный пот и вскочил с постели. Было три часа ночи — время, в которое Настя спала обыкновенно крепким сном ребенка. Не спать могли заставить ее только особенные причины. Щеглов быстро оделся и вышел на двор.

Луна, полная и солидная, как генеральская эконожка, плыла по небу и заливала своим хорошим светом небо, двор с бесконечными постройками, сад, темневший по обе стороны дома. Свет мягкий, ровный, ласкающий... На земле и на деревьях не было ни одного зеленого листка, сад глядел черно и сурово, но во всем чувствовался конец марта, начало весны. Щеглов окинул глазами двор. На большом простран-

стве не было видно никого, кроме теленка, который, запутавши одну ногу в веревку, неистово прыгал. Щеглов пошел в сад. Там было тихо, светло. От темных кустов веяло сырьем, как из погреба.

«А вдруг она в деревню ушла! — думал Григорий Семеныч, дрожа от беспокойства и холода. — Ежели ее в беседке нет, то придется в деревню посылать».

Щеглов знал за Настей две слабости: она часто с тоски уходила от него к родным в деревню и имела также привычку уходить ночью в беседку, где сидела в темноте и пела грустные песни.

«Я старый, дряхлый... — думал Григорий Семеныч. — Ей не сахар со мной...»

Подойдя к беседке, он услышал женский голос. Но этот голос не пел, а говорил... Говорил он что-то быстро, не останавливаясь, без запинки, словно жаловался...

— Брось ты этого старого черта! — перебил женскую речь грубый мужской голос. — Сделай милость! В шелку только ходишь да с тарелки хрустальной ешь, а оно, того, дура, не понимаешь, грех ведь выходит... Эххх... Шалишь, Настюха! Бить бы тебя, да некому!

— Беспонятный ты, Триша! Коли б одна голова, ушла бы я от него за сто верст, а то ведь... тятка, вон, избу строить хочет... да брат на службе. Табаку послать или что...

Послышались всхлипыванья, затем поцелуи. По спине Щеглова от затылка до пяток пробежал мороз. В мужчине узнал он своего объездчика Трифона.

«Которую я из грязи вытащил, к себе приблизил и, можно сказать, облагодетельствовал, — ужаснулся он, — заместо как бы жены, и вдруг — с Тришкой, с хамом! А? В шелку водил, с собой за один стол, как барыню, а она... с Тришкой!»

У старика от гнева и с горя подогнулись колени. Он послушал еще немного и, больной, ошеломленный, поплелся к себе в дом.

«А мне наплевать! — думал он, ложась в постель. — Она воображает, может быть, что я без нее жить не

могу! Ну, нет... Завтра же ее выгоню. Пусть себе там со своими мужиками мякину жует. А Тришку подлеца... чтоб и духу не было! Утром же расчет...»

Он укрылся одеялом и стал думать. Думы были мучительные, скверные, а когда воротилась из сада Настя и как ни в чем не бывало улеглась спать, его от мыслей бросило в лихорадку.

«Завтра же его прогоню... Впрочем, нет... не прогоню... Его прогонишь, а он на другое место — и ничего себе, словно и не виноват... Его бы наказать, чтоб всю жизнь помнил... Выпороть бы, как прежде... Разложить бы в конюшне и этак... в десять рук, семо и овамо...¹ Ты его порешь, а он просит и молит, а ты стоишь около и только руки потираешь: так его! шибче! шибче! Ее около поставить и смотреть, как у ней на лице. «Ну что, матушка? ааа... то-то!»

Утром Настя, по обыкновению, разливала чай. Он сидел и наблюдал за ней. Лицо ее было покойно, глаза глядели ясно, бесхитростно.

«Я ей ничего не скажу,— думал он.— Пусть сама поймет... Я ее нравственно... нравственно страдать заставлю! Не буду с ней разговаривать, сердиться на нее буду, а она и поймет... Ну, а что, ежели она послушает подлеца Тришку и в самом деле уйдет?»

Была минута, когда последняя мысль до того испугала его, что он побледнел и сказал:

— Настенька, что ж ты, душенька, кренделечка не кушаешь? Для тебя ведь куплено!

В девятом часу приходил с докладом объездчик Трифон. Щеглову показалось, что мужик глядит на него с ненавистью, презрением, с каким-то победным нахальством.

«Мало прогнать...— подумал он, измеряя его взглядом.— Выпороть бы».— Ничего я тут не пойму!— начал он придирается, пробегая квитанции, поданные Трифоном.— Это какая цифра? Семьдесят пять или пятнадцать? Дубина ты этакая! Закорючку не можешь даже как следует над семью поставить! Семь похоже

¹ туда и сюда (церк.-слав.).

на коцергу, а один — на кнутик с коротким хвостиком. Этого не знаешь? Ду-би-на... За это самое вашего брата прежде на конюшне драли!

— Мало ли чего прежде не было...— проворчал Трифон, глядя в потолок.

Щеглов искоса поглядел на Трифона. Мужик, показалось ему, ехидно улыбался и глядел еще с большим нахальством...

— Пошел вон!!— взвизгнул Щеглов, не вынося трифоновской физиономии.

До вечера Щеглов ходил по двору и придумывал план наказания и мести. Многие планы перебивали в его голове, но что он ни придумывал, все подходило под ту или другую статью уложения о наказаниях. После долгого, мучительного размышления оказалось, что он ничего не смел...

В третьем часу ночи, стоя возле беседки, он услышал разговор хуже вчерашнего. Трифон со смехом передавал Насте беседу свою с барином.

— Взять бы его, знаешь, за ворот, потрясти маленько этак— и душа вон.

Щеглов не вынес.

— Кого это, прохвост?— взвизгнул он.— Чья душа вон?

В беседке вдруг умолкли. Трифон конфузливо крикнул. Через минуту он нерешительно вышел из беседки и уперся плечом в косяк.

— Кто здесь кричит? Кто таков? А, это вы!..— сказал он, увидев барина.— Вот кто!

Минута прошла в молчании...

— За это прежде нашего брата на конюшне пороли, а теперь не знаю, что будет...— сказал Трифон, усмехаясь и глядя на луну.— Чай, расчет дадут... Боязно!

Засмеялся и пошел по аллее к дому. Щеглов засеменил рядом с ним.

— Трифон!— забормотал он, хватая его за рукав, когда оба они подошли к садовой калитке.— Триша! Я тебе одно только слово скажу... Пстой! Я ведь ничего... Слово одно только... Послушай!

Прошу и умоляю тебя, подлеца, на старости лет, Голубчик!

— Ну?

— Видишь ли... Я тебе четвертную дам и даже ежели желаешь, жалованья прибавлю... Тридцать рублей дам, а ты... дай я тебя выпорю! Разик! Разик выпорю и больше ничего!

Трифон подумал немного, взглянул на луну и махнул рукой.

— Не согласен! — сказал он и поплелся в людскую...

МАРЬЯ ИВАНОВНА

В роскошно убранной гостиной, на кушетке, обитой темно-фиолетовым бархатом, сидела молодая женщина лет двадцати трех. Звали ее Марьей Ивановной Одношекиной.

— Какое шаблонное, стереотипное начало! — воскликнет читатель. — Вечно эти господа начинают роскошно убранными гостинными! Читать не хочется!

Извиняюсь перед читателем и иду далее. Перед дамой стоял молодой человек лет двадцати шести, с бледным, несколько грустным лицом.

— Ну, вот-вот... Так я и знал, — рассердится читатель. — Молодой человек и непременно двадцати шести лет! Ну, а дальше что? Известно что... Он попросит поэзии, любви, а она ответит прозаической просьбой купить браслет. Или же наоборот, она захочет поэзии, а он... И читать не стану!

Но я все-таки продолжаю. Молодой человек не отрывал глаз от молодой женщины и шептал:

— Я люблю тебя, чудная, даже и теперь, когда от тебя веет холодом могилы!

Тут уж читатель выйдет из терпения и начнет браниться:

— Черт их подери! Угощают публику разной чепухой, роскошно убранными гостинными да какими-то Марьями Ивановнами с могильным холодом!

Кто знает, может быть, вы и правы в своем гневе, читатель. А может быть, вы и не правы. Наш век тем

и хорош, что никак не разберешь, кто прав, кто виноват. Даже присяжные, судящие какого-нибудь человека за кражу, не знают, кто виноват: человек ли, деньги ли, что плохо лежали, сами ли они, присяжные, виноваты, что родились на свет. Ничего не разберешь на этой земле!

Во всяком случае, если вы правы, то и я не виноват. Вы находите, что этот мой рассказ не интересен, не нужен. Допустим, что вы правы и что я виноват... Но тогда допустите хоть смягчающие вину обстоятельства.

В самом деле, могу ли я писать интересное и только нужное, если мне скучно и если вот уже две недели у меня перемежающаяся лихорадка?

— Не пишите, если у вас лихорадка.

Так-то так... Но, чтобы долго не разговаривать, представьте себе, что у меня лихорадка и дурное настроение; в это же самое время у другого литератора тоже лихорадка, у третьего беспокойная жена и болят зубы, четвертый страдает меланхолией. Мы все четверо не пишем. Чем же прикажете наполнить номера газет и журналов? Не теми ли произведениями, которые вы, читатели, шлете ежедневно пудами в редакции наших газет и журналов? Из ваших тяжелых пудов едва ли можно выбрать маленький золотничок, да и то с великой натяжкой, с великим усилием.

Мы все, профессиональные литераторы, не дилетанты, а настоящие литературные поденщики, сколько нас есть, такие же люди — человеки, как и вы, как и ваш брат, как и ваша свояченица, у нас такие же нервы, такие же внутренности, нас мучает то же самое, что и вас, скорбей у нас несравненно больше, чем радостей, и если бы мы захотели, то каждый день могли бы иметь повод к тому, чтобы не работать. Каждый день, уверяю вас! Но если бы мы послушались вашего «не пишите», если бы мы все поддались усталости, скуке или лихорадке, то тогда хоть закрывай всю текущую литературу.

А ее нельзя закрывать ни на один день, читатель. Хотя она и кажется вам маленькой и серенькой, неинтересной, хотя она и не возбуждает в вас ни смеха,

ни гнева, ни радости, но все же она есть и делает свое дело. Без нее нельзя... Если мы уйдем и оставим наше поле хоть на минуту, то нас тотчас же заменят шуты в дурацких колпаках с лошадиными бубенчиками, нас заменят плохие профессора, плохие адвокаты да юнкера, описывающие свои нелепые любовные похождения по команде: левой! правой!

Я должен писать, несмотря ни на скуку, ни на перемежающуюся лихорадку. Должен, как могу и как умею, не переставая. Нас мало, нас можно пересчитать по пальцам. А где мало служащих, там нельзя проситься в отпуск, даже на короткое время. Нельзя и не принято.

— Но все-таки могли бы сюжет избрать посерьезнее! Ну что толку в этой Марье Ивановне, право? Мало ли кругом таких явлений, мало ли кругом вопросов, которые...

Вы правы, много и явлений и вопросов, но укажите, что, собственно, вам нужно. Если вы так возмущены, то укажите, заставьте меня окончательно поверить, что вы правы, что вы в самом деле очень серьезный человек и что ваша жизнь очень серьезна. Укажите же, будьте определены, иначе я могу подумать, что вопросов и явлений, о которых вы говорите, нет вовсе, что вы просто милый малый, которому иногда нравится от нечего делать потолковать о серьезном.

Но пора, однако, кончить рассказ.

Долго стоял молодой человек перед прекрасной женщиной. Наконец он снял сюртук, стащил с себя сапоги и прошептал:

— Прощай, до завтра!

Затем он растянулся на диване и укрылся плюшевым одеялом.

— При даме?! — изумится читатель. — Да это чушь, чепуха! Это возмутительно! Городовой! Цензура!

Да постойте, не спешите, серьезный, строгий, глубокомысленный читатель. Дама в роскошно убранной гостиной была написана масляными красками на

холсте и висела над диваном. Теперь можете возмущаться, сколько вам угодно.

И как это терпит бумага! Если печатают такой вздор, как «Марья Ивановна», то, очевидно, потому, что нет более ценного материала. Это очевидно. Садитесь же поскорее, излагайте ваши глубокие, великолепные мысли, напишите целые три пуда и пошлите в какую-нибудь редакцию. Садитесь поскорей и пишите! Пишите и посылайте поскорей!

И вам возвратят назад.

ГОВОРИТЬ ИЛИ МОЛЧАТЬ

Сказка

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были себе два друга: Крюгер и Смирнов. Крюгер обладал блестящими умственными способностями. Смирнов же был не столько умен, сколько кроток, смирен и слабохарактерен. Первый был разговорчив и красноречив, второй же — молчалив.

Однажды оба они ехали в вагоне железной дороги и старались победить одну девицу. Крюгер сидел около этой девицы и рассыпался перед ней мелким бесом. Смирнов же молчал, мигал глазами и с вожделением облизывался. На одной станции Крюгер вышел с девицей из вагона и долго не возвращался. Возвратившись же, мигнул глазом и прищелкнул языком.

— И как это у тебя, брат, ловко выходит? — сказал с завистью Смирнов. — И как ты все это умеешь! Не успел подсесть к ней, как уже и готово... Счастливчик!

— А ты что зеваешь? Сидел с ней три часа и хоть бы одно слово! Молчишь, как бревно! Молчанием, брат, ничего не возьмешь на этом свете. Ты должен быть боек, разговорчив. Тебе ничего не удастся, почему? Потому что ты — тряпка!

Смирнов согласился с этими доводами и решил в душе изменить свой характер. Через час он, поборов свою робость, подсел к какому-то господину в синем костюме и стал с ним бойко разговаривать. Гос-



К рассказу «Хирургия».
Художники Кукрыниксы. 1954.

подин оказался очень словоохотливым человеком и тотчас начал задавать Смирнову вопросы, преимущественно научного свойства. Он спросил его, как ему нравится земля, небо, доволен ли он законами природы и человеческого общежития, коснулся слегка европейского свободомыслия, положения женщин в Америке и проч. Смирнов отвечал ему охотно и с восторгом.

Но каково, согласитесь, было его удивление, когда господин в синем костюме, взяв его на одной станции за руку, ехидно улыбнулся и сказал: «Следуйте за мной!»

Смирнов последовал и исчез, неизвестно куда. Через два года он встретился Крюгеру бледный, исхудалый, тощий, как рыбий скелет.

— Где ты пропадал до сих пор?! — удивился Крюгер.

Смирнов горько улыбнулся и описал ему все пережитые им страдания.

— А ты не будь глуп, не болтай лишнего! — сказал Крюгер. — Держи язык за зубами — вот что.

ГОРДЫЙ ЧЕЛОВЕК

Рассказ

Дело происходило на свадьбе купца Синерылова.

Шафер Недорезов, высокий молодой человек, с выпученными глазами и стриженной головой, во фраке с оттопыренными фалдочками, стоял в толпе барышень и рассуждал:

— В женщине нужна красота, а мужчина и без красоты обойдется. В мужчине имеют вес ум, образование, а красота для него — наплевать! Ежели в твоём мозге нет образованности и умственных способностей, то грош тебе цена, хоть ты красавец будь... Да-с... Не люблю красивых мужчин! Фи донк!¹

— Это вы потому так объясняете, что сами некрасивы. А вон, посмотрите в дверь, в другую комнату, сидит мужчина! Вот это так настоящий красавец! Одни глаза чего стоят! Поглядите-ка! Прелесть! Кто он?

Шафер поглядел в другую комнату и презрительно усмехнулся. Там, развалясь, сидел на кресле красивый черноглазый брюнет. Положив ногу на ногу и играя цепочкой, брюнет щурил глаза и с достоинством поглядывал на гостей. На его губах играла презрительная улыбка.

— Ничего особенного! — сказал шафер. — Так себе... Даже урод, можно сказать. И лицо какое-то дурацкое... На шее кадык в два аршина.

¹ Фу! (от франц. — *fi donc.*)

— А все-таки душка!

— По-вашему, красивый, а по-моему, нет. А ежели красивый, то, значит, глупый человек, без образования. Кто он будет?

— Не знаем... Должно быть, не купеческого звания...

— Гм... Готов в лотерею пари держать, что глупый человек... Ногами болтает... Противно глядеть! Сейчас я узнаю, что это за птица... какого он ума человек. Сейчас.

Шафер кашлянул и смело пошел в другую комнату. Остановившись перед брюнетом, он еще раз кашлянул, немного подумал и начал:

— Как поживаете-с?

Брюнет поглядел на шафера и усмехнулся.

— Понемножечку,— сказал он нехотя.

— Зачем же понемножечку? Нужно всегда вперед идти.

— Зачем же непременно вперед?

— Да так. Все таперича вперед идет. И электричество, ежели взять, и телеграфы, финифоны там всякие, телефоны. Да-с! Прогресс, к примеру, возьмем... Что это слово обозначает? А то оно обозначает, что всякий должен вперед идти... Вот и вы идите вперед...

— Куда же мне, например, теперь идти? — усмехнулся брюнет.

— Мало ли куда идти? Была бы охота... Местов много... Да вот, хоть бы к буфету, примерно... Не желаете ли? Для первого знакомства, по коньячишке... А? Для идеи...

— Пожалуй,— согласился брюнет...

Шафер и брюнет направились к буфету. Стриженный официант, во фраке и с белым запачканным галстуком, налил две рюмки коньяку. Шафер и брюнет выпили.

— Хороший коньяк,— сказал шафер,— но есть предметы посущественней... Давайте, для первого знакомства, выпьем красенького по стаканчику...

Выпили по стакану красного.

— Таперича, как мы с вами познакомились,—

сказал шафер, вытирая губы,— и, можно сказать, выпили...

— Не «таперича», а «теперь»...— поправил брюнет...— Говорить еще не умеете, а про телефоны объясняете. При такой необразованности, будь я на вашем месте, я молчал бы, не срамился... Таперича... таперича... Ха!

— Чего же вы смеетесь?— обиделся шафер.— Я это для смеху говорил «таперича», для шутки... Зубы-то нечего показывать! Это девицам ндравится, а я не люблю зубов-то... Кто вы будете? С какой стороны?

— Не ваше дело...

— Звание ваше какое? Фамилия?

— Не ваше дело... Я не такой дурак, чтоб всякому встречному свое звание объяснял... Я настолько гордый человек, что не очень-то распространяюсь с вашим братом. Я на вас мало обращаю внимания...

— Ишь ты... Гм... Так не скажете, как ваша фамилия?

— Не желаю... Ежели всякому балбесу имя свое произносить и рекомендоваться, то языка не хватит... И я настолько гордый человек, что вы для меня все едино, как официант... Невежество!

— Ишь ты... Какие вы благородные... Ну, мы сейчас узнаем, что вы за артист будете.

Шафер поднял вверх подбородок и направился к жениху, который в это время сидел с невестой и, красный как рак, моргал глазами...

— Никиша!— обратился шафер к жениху, кивая на брюнета.— Как фамилия этого артиста?

Жених отрицательно замотал головой.

— Не знаю,— сказал он.— Это не мой знакомый. Должно полагать, отец его пригласил. Ты у отца спроси.

— Да твой отец в кабинете в пьянственном недомумении... храпит, как зверь лютый. А вы не знаете его?— обратился шафер к невесте.

Невеста сказала, что не знает брюнета. Шафер пожал плечами и начал спрашивать гостей. Гости заявили, что они первый раз в жизни видят брюнета.

— Жулик он, значит,— решил шафер.— Без билета сюда припожаловал и гуляет, будто у знакомых. Ладно! Мы ему покажем «таперича»!

Шафер подошел к брюнету и подбоченился.

— А билет у вас есть для входа? — спросил он.— Извольте показать ваш билет.

— Я настолько гордый человек, что не стану какому-нибудь субъекту свой билет показывать. Отойдите от меня... Чего пристал?

— Стало быть, у вас нет билета? А коли нет билета, значит вы жулик. Теперь нам известно, с какой вы стороны и как ваше звание. Знаем таперича... теперь то есть, что вы за агент... Вы жулик — вот и все.

— Скажи мне эту грубость умный человек, я бы его по морде, а с вас, дураков, и спрашивать нечего.

Шафер забежал по комнатам, собрал человек шесть приятелей и с ними подошел к брюнету.

— Позвольте, милостивый государь, поглядеть ваш билет! — сказал он.

— Не желаю. Отстаньте, пока я не того...

— Не желаете билета показывать? Стало быть, вы без билета вошли? По какому праву? Вы жулик, значит? Извольте уходить отсюда! Пожалуйте-с! Милости просим! Мы вас сичас с лестницы...

Шафер и его приятели взяли под руки брюнета и повели его к выходу. Гости загалдели Брюнет громко заговорил о невежестве и о своем самолюбии.

— Пожалуйте-с! Милости просим, красивый мужчина! — бормотал торжествующий шафер, ведя его к двери.— Знаем мы вас, красавцев!

У самой двери на брюнета натянули его пальто, надели на него шапку и толкнули в спину. Шафер хихикнул от удовольствия и стукнул его перстнем по затылку... Брюнет покачнулся, упал на спину и съехал вниз по лестнице.

— Прощайте! Кланяйтесь там! — торжествовал шафер.

Брюнет поднялся похлопал по пальто и, подняв вверх голову, сказал:

— Дураки по-дурацкому и поступают. Я гордый человек и унижаться перед вами не стану, а пусть вам

мой кучер объяснит, что я за человек. Пожалуйте сюда! Григорий! — крикнул он на улицу.

Гости спустились вниз. Через минуту в сени вошел со двора кучер.

— Григорий! — обратился к нему брүнет. — Кто я буду?

— Хозяин — Семен Пантелеич...

— А какое во мне звание и как я до этого звания достиг?

— Почетный гражданин, а до звания этого вы достигли учением...

— Где я нахожусь и какая моя служба?

— Служите-с на фабрике купца Подщекина в механиках по технической части, а жалованья вам положено три тысячи...

— Теперь поняли? А вот вам и мой билет! Приглашал на свадьбу меня женихов отец, купец Синерылов, который теперь в пьяном виде...

— Голубчик мой! Милая ты моя душа! — заголозил шафер. — Чего же ты раньше этого не говорил?

— Гордый я человек... Самолюбие во мне... Прощайте-с!

— Ну нет, стой... Грех, брат! Поворачивай оглобли, Семен Пантелеич! Теперь видно, что ты за человек такой... Пойдем выпьем за твое образование... для идеи...

Гордый человек нахмурился и пошел наверх. Через две минуты он стоял уже у буфета и пил коньяк.

— Без гордости на этом свете не проживешь, — объяснял он. — Никому никогда не уступлю! Никому! Понимаю себе цену. Впрочем, вам, невежам, не понять!

Титулярный советник Кратеров, худой и тонкий, как адмиралтейский шпиль, выступил вперед и, обратясь к Жмыхову, сказал:

— Ваше превосходительство! Движимые и тронутые всею душой вашим долголетним начальничеством и отеческими попечениями...

— Более чем в продолжение целых десяти лет,— подсказал Закусин.

— Более чем в продолжение целых десяти лет мы, ваши подчиненные, в сегодняшний знаменательный для нас... тово... день, подносим вашему превосходительству, в знак нашего уважения и глубокой благодарности, этот альбом с нашими портретами и желаем в продолжение вашей знаменательной жизни, чтобы еще долго-долго, до самой смерти, вы не оставляли нас...

— Своими отеческими наставлениями на пути правды и прогресса...— добавил Закусин, вытерев со лба мгновенно выступивший пот; ему, очевидно, очень хотелось говорить, и, по всей вероятности, у него была готова речь.— И да развеается,— кончил он,— ваш стяг еще долго-долго на поприще гения, труда и общественного самосознания!

По левой морщинистой щеке Жмыхова поползла слеза.

— Господа!— сказал он дрожащим голосом.— Я не ожидал, никак не думал, что вы будете праздновать мой скромный юбилей... Я тронут... даже... весьма... Этой минуты я не забуду до самой могилы, и

верьте... верьте, друзья, что никто не желает вам так добра, как я... А ежели что и было, то для вашей же пользы...

Жмыхов, действительный статский советник, поцеловался с титулярным советником Кратеровым, который не ожидал такой чести и побледнел от восторга. Затем начальник сделал рукой жест, означавший, что он от волнения не может говорить, и заплакал, точно ему не дарили дорогого альбома, а, наоборот, отнимали... Потом, немного успокоившись и сказав еще несколько прочувствованных слов и дав всем пожать свою руку, он, при громких радостных кликах, спустился вниз, сел в карету и, провожаемый благословениями, уехал. Сидя в карете, он почувствовал в груди наплыв неизведанных доселе радостных чувств и еще раз заплакал.

Дома ожидали его новые радости. Там его семья, друзья и знакомые устроили ему такую овацию, что ему показалось, что он в самом деле принес отечеству очень много пользы и что, не будь его на свете, то, пожалуй, отечеству пришлось бы очень плохо. Юбилейный обед весь состоял из тостов, речей, объятий и слез. Одним словом, Жмыхов никак не ожидал, что его заслуги будут приняты так близко к сердцу.

— Господа! — сказал он перед десертом. — Два часа тому назад я был удовлетворен за все те страдания, которые приходится переживать человеку, который служит, так сказать, не форме, не букве, а долгу. Я за все время своей службы непрестанно держался принципа: не публика для нас, а мы для публики. И сегодня я получил высшую награду! Мои подчиненные поднесли мне альбом... Вот! Я тронут.

Праздничные физиономии нагнулись к альбому и стали его рассматривать.

— А альбом хорошенький! — сказала дочь Жмыхова, Оля. — Я думаю, он рублей пятьдесят стоит. О, какая прелесть! Ты, папка, отдай мне этот альбом. Слышишь? Я его спрячу... Такой хорошенький.

После обеда Олечка унесла альбом к себе в комнату и заперла его в стол. На другой день она вынула из него чиновников и побросала их на пол и вместо

них вставила своих институтских подруг. Форменные вицмундиры уступили свое место белым пелеринкам. Коля, сынок его превосходительства, подобрал чиновников и раскрасил их одежды красной краской. Безусым нарисовал он зеленые усы, а безбородым — коричневые бороды. Когда нечего уже было красить, он вырезал из карточек человечков, проколол им булавкой глаза и стал играть в солдатики. Вырезав титулярного советника Кратерова, он укрепил его на коробке из-под спичек и в таком виде понес его в кабинет к отцу.

— Папа, монумент! Погляди!

Жмыхов захохотал, покачнулся и, умилившись, поцеловал взасос Колину щечку.

— Ну, иди, шалун, покажи маме. Пусть и мама посмотрит.

САМОБОЛЬЩЕНИЕ

Сказка

Один умный, всеми уважаемый участковый пристав имел одну дурную привычку, а именно: сидя в компании, он любил кичиться своими дарованиями, которых, надо отдать ему полную справедливость, было у него очень много. Он кичился своим умом, энергией, силой, образом мыслей и проч.

— Я силен! — говорил он. — Хочу — подкову сломаю, хочу — человека с кашей съем... Могу и Карфаген разрушить и гордые узлы мечом рассекать. Вот какой я!

Он кичился, и все ему удивлялись. К несчастью, пристав не кончил нигде курса и не читал прописей; он не знал, что самообольщение и гордость суть пороки, недостойные благородной души. Но случай разумил его. Однажды зашел он к своему другу, старику брандмейстеру, и, увидев там многочисленное общество, начал кичиться. Выпив же три рюмки водки, он выпучил глаза и сказал:

— Смотрите, ничтожные! Смотрите и разумеите! Солнце, которое вот на небеси с прочими светилами и облаками! Оно идет с востока на запад, и никто не может изменить его путь! Я же могу! Могу!

Старик брандмейстер подал ему четвертую рюмку и заметил дружески:

— Верю-с! Для человеческого ума нет ничего невозможного. Сей ум все превзошел. Может он и подковы ломать, и каланчу до неба выстроить, и с мерт-

вого взятку взять... все может! Но, Петр Евтропыч, смею вам присовокупить, есть одно, чего не может побороть не только ум человеческий, но даже и ваша сила.

— Что же это такое? — презрительно усмехнулся самообольщенный.

— Вы можете все пересилить, но не можете пересилить самого себя. Да-с! «Гноти се автѳн»,— говорили древние... Познай самого себя... А вы себя ни познать, ни пересилить не можете. Против своей природы не пойдешь. Да-с!

— Нет, пойду! И себя пересилю!

— Ой, не пересилите! Верьте старику, не пересилите!

Поднялся спор. Кончилось тем, что старик брендмейстер повел гордеца в мелочную лавочку и сказал:

— Сейчас я вам докажу-с... У этого вот лавочника в этой шкатулке лежит десятирублевка. Если вы можете пересилить себя, то не берите этих денег...

— И не возьму! Пересилю!

Гордец скрестил на груди руки и при общем внимании стал себя пересиливать. Долго он боролся и страдал. Полчаса пучил он глаза, багровел и сжимал кулаки, но под конец не вынес, машинально протянул к шкатулке руку, вытащил десятирублевку и судорожно сунул ее к себе в карман.

— Да! — сказал он.— Теперь понимаю!

И с тех пор он уж никогда не кичился своей силой.

ДАЧНИЦА

Леля NN, хорошенькая двадцатилетняя блондинка, стоит у палисадника дачи и, положив подбородок на перекладину, глядит вдаль. Все далекое поле, клочковатые облака на небе, темнеющая вдали железнодорожная станция и речка, бегущая в десяти шагах от палисадника, залиты светом багровой, поднимающейся из-за кургана, луны. Ветерок от нечего делать весело рябит речку и шуршит травкой... Кругом тишина... Леля думает... Хорошенькое лицо ее так грустно, в глазах темнеет столько тоски, что, право, не деликатно и жестоко не поделиться с ней ее горем.

Она сравнивает настоящее с прошлым. В прошлом году, в этом же самом душистом и поэтическом мае, она была в институте и держала выпускные экзамены. Ей припоминается, как классная дама m-lle Могсеаи, забитое, больное и ужасно недалекое создание с вечно испуганным лицом и большим вспотевшим носом, вошла выпускных в фотографию сниматься.

— Ах, умоляю вас,— просила она конторщицу в фотографии,— не показывайте им карточек мужчин!

Просила она со слезами на глазах. Эта бедная ящерица, никогда не знавшая мужчин, приходила в священный ужас при виде мужской физиономии. В усах и бороде каждого «демона» она умела читать райское блаженство, неминуемо ведущее к неведомой, страшной пропасти, из которой нет выхода. Инсти-

тутки смеялись над глупой Могсеац, но, пропитанные насквозь «идеалами», они не могли не разделять ее священного ужаса. Они веровали, что там, за институтскими стенами, если не считать катарального папши и братцев-вольнoопределяющихся, кишат косматые поэты, бледные певцы, желчные сатирики, отчаянные патриоты, неизмеримые миллионеры, красноречивые до слез, ужасно интересные защитники... Гляди на эту кишашую толпу и выбирай! В частности, Леля была убеждена, что, выйдя из института, она неминуемо столкнется с тургеневскими и иными героями, бойцами за правду и прогресс, о которых вперегонку трактуют все романы и даже все учебники по истории — древней, средней и новой...

В этом мае Леля уже замужем. Муж ее красив, богат, молод, образован, всеми уважаем, но, несмотря на все это, он (совестно сознаться перед поэтическим маем!) груб, неотесан и нелеп, как сорок тысяч нелепых братьев.

Просыпается он ровно в десять часов утра и, надевши халат, садится бриться. Бреется он с озабоченным лицом, с чувством, с толком, словно телефон выдумывает. После бритья пьет какие-то воды, тоже с озабоченным лицом. Затем, одевшись во все тщательно вычищенное и выглаженное, целует женину руку и в собственном экипаже едет на службу в «Страховое общество». Что он делает в этом «обществе», Леля не знает. Переписывает ли он только бумаги, сочиняет ли умные проекты, или, быть может, даже вращает судьбами «общества» — неизвестно. В четвертом часу приезжает он со службы и, жалуясь на утомление и испарину, переменяет белье. Затем садится обедать. За обедом он много ест и разговаривает. Говорит все больше о высоких материях. Решает женский и финансовый вопросы, бранит за что-то Англию, хвалит Бисмарка. Достается от него газетам, медицине, актерам, студентам... «Молодежь ужасно измельчала!» За один обед успеет сотню вопросов решить. Но, что ужаснее всего, обедающие гости слушают этого тяжелого человека и поддаки-

вают. Он, говорящий нелепости и пошлости, оказывается умнее всех гостей и может служить авторитетом.

— Нет у нас теперь хороших писателей! — вздыхает он за каждым обедом, и это убеждение вынес он не из книг. Он никогда ничего не читает — ни книг, ни газет. Тургенева смешивает с Достоевским, карикатур не понимает, шуток тоже, а прочитав однажды, по совету Лели, Щедрина, нашел, что Щедрин «туманно» пишет.

— Пушкин, та *chère*¹, лучше... У Пушкина есть очень смешные вещи! Я читал... помню...

После обеда он идет на террасу, садится в мягкое кресло и, полузакрыв глаза, задумывается. Думает долго, сосредоточенно, хмурясь и морщась... О чем он думает, неведомо Леле. Она знает только, что после двухчасовой думы он несколько не умнеет и несет все ту же чушь. Вечером игра в карты. Играет он аккуратно. Над каждым ходом долго думает и в случае ошибки партнера ровным, отчеканивающим голосом излагает правила карточной игры. После карт, по уходе гостей, он пьет те же воды и с озабоченным лицом ложится спать. Во сне он покоен, как лежащее бревно. Изредка только бредит, но и бред его нелеп.

— Извозчик! Извозчик! — услышала от него Леля на вторую ночь после свадьбы.

Всю ночь он бурчит. Бурчит у него в носу, в груди, животе...

Больше ничего не может сказать о нем Леля. Она стоит теперь у палисадника, думает о нем, сравнивает его со всеми знакомыми ей мужчинами и находит, что он лучше всех; но ей не легче от этого. Священный ужас *mon sieur Morceau* обещал ей больше.

¹ моя дорогая (франц.).

С ЖЕНОЙ ПОССОРИЛСЯ

С л у ч а й

— Черт вас возьми! Придешь со службы домой голодный, как собака, а они черт знает чем кормят! Да и заметить еще нельзя! Заметишь, так сейчас рев, слезы! Будь я трижды анафема за то, что женился!

Сказавши это, муж звякнул по тарелке ложкой, вскочил и с остервенением хлопнул дверью. Жена зарыдала, прижала к лицу салфетку и тоже вышла. Обед кончился.

Муж пришел к себе в кабинет, повалился на диван и уткнул свое лицо в подушку.

«Черт тебя дернул жениться! — подумал он. — Хороша «семейная» жизнь, нечего сказать! Не успел жениться, как уж стреляться хочется!»

Через четверть часа за дверью слышались легкие шаги...

«Да, это в порядке вещей... Оскорбила, надругалась, а теперь около двери ходит, мириться хочет... Ну, черта с два! Скорей повешусь, чем помирюсь!»

Дверь отворилась с тихим скрипом и не затворилась. Кто-то вошел и тихими, робкими шагами направился к дивану.

«Ладно! Проси прощения, умоляй, рыдай... Кукиш с маслом получишь! черта пухлого! Ни одного слова не добьешься, хоть умри... Сплю вот и говорить не желаю!»

Муж глубже зарыл свою голову в подушку и тихо захрапел. Но мужчины слабы так же, как и женщины.

Их легко раскислить и растеплить. Почувствовав за своей спиной теплое тело, муж упрямо придвинулся к спинке дивана и дернул ногой.

«Да... Теперь вот мы лезем, прижимаемся, подлизываемся... Скоро начнем в плечико целовать, на колени становиться. Не выношу этих нежностей!.. Все-таки... нужно будет ее извинить. Ей в ее положении вредно тревожиться. Помучу часик, накажу и прощу...»

Над самым ухом его тихо пролетел глубокий вздох. За ним другой, третий... Муж почувствовал на плече прикосновение маленькой ручки.

«Ну, бог с ней! Прощу в последний раз. Будет ее мучить, бедняжку! Тем более что я сам виноват! из-за ерунды бунт поднял...» — Ну, будет, моя крошка!

Муж протянул назад руку и обнял теплое тело.

— Тьфу!!.

Около него лежала его большая собака Дианка.

БРОЖЕНИЕ УМОВ

Из летописи одного города

Земля изображала из себя пекло. Послеобеденное солнце жгло с таким усердием, что даже Реомюр, висевший в кабинете акцизного, потерялся: дошел до 35,8° и в нерешимости остановился... С обывателей лил пот, как с заезженных лошадей, и на них же засыхал; лень было вытирать.

По большой базарной площади, в виду домов с наглухо закрытыми ставнями, шли два обывателя: казначей Почешихин и ходатай по делам (он же и старинный корреспондент «Сына отечества») Оптимов. Оба шли и по случаю жары молчали. Оптимову хотелось осудить управу за пыль и нечистоту базарной площади, но, зная миролюбивый нрав и умеренное направление спутника, он молчал.

На середине площади Почешихин вдруг остановился и стал глядеть на небо.

— Что вы смотрите, Евпл Серапионыч?

— Скворцы полетели. Гляжу, куда сядут. Тучатучей! Ежели, положим, из ружья выпалить, да ежели потом собрать... да ежели... В саду отца протоиерея сели!

— Нисколько, Евпл Серапионыч. Не у отца протоиерея, а у отца дьякона Вратоадова. Если с этого места выпалить, то ничего не убьешь. Дробь мелкая и, покуда долетит, ослабнет. Да и за что их, посудите, убивать? Птица насчет ягод вредная, это верно, но все-таки тварь, всякое дыхание. Скворец, скажем,

поет... А для чего он, спрашивается, поет? Для хвалы поет. Всякое дыхание да хвалит господа. Ой, нет! Кажется, у отца протоиерея сели!

Мимо беседующих бесшумно прошли три старые богомолки с котомками и в лапотках. Поглядев вопросительно на Почешихина и Оптимова, которые всматривались почему-то в дом отца протоиерея, они пошли тише и, отойдя немного, остановились и еще раз взглянули на друзей и потом сами стали смотреть на дом отца протоиерея.

— Да, вы правду сказали, они у отца протоиерея сели,— продолжал Оптимов.— У него теперь вишня поспела, так вот они и полетели клевать.

Из протопоповой калитки вышел сам отец протоиерей Восьмистишиев и с ним дьячок Евстигней. Увидев обращенное в его сторону внимание и не понимая, на что это смотрят люди, он остановился и вместе с дьячком стал тоже глядеть вверх, чтобы понять.

— Отец Паисий, надо полагать, на требу идет,— сказал Почешихин.— Помогай ему бог!

В пространстве между друзьями и отцом протоиереем прошли только что выкупавшиеся в реке фабричные купца Пурова. Увидев отца Паисия, напрягавшего свое внимание на высь поднебесную, и богомолки, которые стояли неподвижно и тоже смотрели вверх, они остановились и стали глядеть туда же. То же самое сделал и мальчик, ведший нищего-слепца, и мужик, несший для свалки на площади бочонок испортившихся сельдей.

— Что-то случилось, надо думать,— сказал Почешихин.— Пожар, что ли? Да нет, не видать дыму! Эй, Кузьма! — крикнул он остановившемуся мужику.— Что там случилось?

Мужик что-то ответил, но Почешихин и Оптимов ничего не расслышали. У всех лавочных дверей показались сонные приказчики. Штукатуры, мазавшие лабаз купца Фертикулина, оставили свои лестницы и присоединились к фабричным. Пожарный, описывавший босыми ногами круги на каланче, остановился и, поглядев немного, спустился вниз. Каланча осиротела. Это показалось подозрительным.

— Уж не пожар ли где-нибудь? Да вы не толкайтесь! Черт свинячий!

— Где вы видите пожар? Какой пожар? Господа, разойдитесь! Вас честью просят!

— Должно, внутри загорелось!

— Честью просит, а сам руками тычет. Не махайте руками! Вы хоть и господин начальник, а вы не имеете никакого полного права рукам волю давать!

— На мозоль наступил! А, чтоб тебя раздавило!

— Кого раздавило? Ребята, человека задавили!

— Почему такая толпа? За какой надобностью?

— Человека, ваше выскблаародие, задавило!

— Где? Рразойдитесь! Господа, честью прошу! Честью просят тебя, дубина!

— Мужиков толкай, а благородных не смей трогать! Не прикасайся!

— Нешто это люди? Нешто их, чертей, проймешь добрым словом? Сидоров, сбегай-ка за Акимом Данилычем! Живо! Господа, ведь вам же плохо будет! Придет Аким Данилыч, и вам же достанется! И ты тут, Парфен?! А еще тоже слепец, святой старец! Ничего не видит, а туда же, куда и люди, не повинуются! Смирнов, запиши Парфена!

— Слушаю! И пуровских прикажете записать? Вот этот самый, который щека распухши,— это пуровский!

— Пуровских не записывай покуда... Пуров завтра именинник!

Скворцы темной тучей поднялись над садом отца протоиерея, но Почешихин и Оптимов уже не видели их; они стояли и все глядели вверх, стараясь понять, зачем собралась такая толпа и куда она смотрит. Показался Аким Данилыч. Что-то жуя и вытирая губы, он взревел и врзался в толпу.

— Пожжаррные, приготовьсь! Рразойдитесь! Господин Оптимов, разойдитесь, ведь вам же плохо будет! Чем в газеты на порядочных людей писать разные критики, вы бы лучше сами старались вести себя посущественней! Добру-то не научат газеты!

— Прошу вас не касаться гласности! — вспылал Оптимов.— Я литератор и не позволю вам касаться

гласности, хотя, по долгу гражданина, и почитаю вас, как отца и благодетеля!

— Пожарные, лей!

— Воды нет, ваше высокоблагородие!

— Не разговаривать! Поезжайте за водой! Живааа!

— Не на чем ехать, ваше высокоблагородие. Майор на пожарных лошадях поехали ихнюю тетеньку провожать!

— Разойдитесь! Сдай назад, чтоб тебя черти взяли... Съел? Запиши-ка его, черта!

— Карандаш потерялся, ваше высокоблагородие...

Толпа все увеличивалась и увеличивалась... Бог знает, до каких бы размеров она выросла, если бы в трактире Грешкина не вздумали пробовать полученный на днях из Москвы новый орган. Заслышав «Стрелочка», толпа ахнула и повалила к трактиру. Так никто и не узнал, почему собралась толпа, а Оптимов и Почешихин уже забыли о скворцах, истинных виновниках происшествия. Через час город был уже недвижим и тих, и виден был только один-единственный человек — это пожарный, ходивший на каланче...

Вечером того же дня Аким Данилыч сидел в бакалейной лавке Фертикулина, пил лимонад-газес с коньяком и писал: «Кроме официальной бумаги, смею добавить, ваше-ство, и от себя некоего присовокупление. Отец и благодетель! Именно только молитвами вашей добродетельной супруги, живущей в благорастворенной даче близ нашего города, дело не дошло до крайних пределов! Столько я вынес за сей день, что и описать не могу. Распорядительность Крушенского и пожарного майора Портупеева не находит себе подходящего названия. Горжусь сими достойными слугами отечества! Я же сделал все, что может сделать слабый человек, кроме добра ближнему ничего не желающий, и, сидя теперь среди домашнего очага своего, благодарю со слезами Того, Кто не допустил до кровопролития. Виновные, за недостатком улик, сидят пока взаперти, но думаю их выпустить через недельку. От невежества преступили заповедь!»

ВОДЕВИЛЬ

Обед кончился. Кухарке приказали прибирать со стола как можно тише и не стучать посудой и ногами... Детей поспешили увести в лес... Дело в том, что хозяин дачи, Осип Федорыч Ключков, тощий, чахоточный человек с впалыми глазами и острым носом, вытащил из кармана тетрадь и, конфузливо откашливаясь, начал читать водевиль собственного сочинения. Суть его водевиля не сложна, цензурна и кратка. Вот она. Чиновник Ясносердцев вбегает на сцену и объявляет своей жене, что сейчас пожалует к ним в гости его начальник, действительный статский советник Клещев, которому понравилась дочка Ясносердцевых, Лиза. Засим следует длинный монолог Ясносердцева на тему: как приятно быть тестем генерала! «Весь в звездах... весь в красных лампасах... а ты сидишь рядом с ним и — ничего! Словно ты и в самом таки деле не последняя шишка в круговороте мироздания!» Мечтая таким образом, будущий тесть замечает вдруг, что в комнатах сильно пахнет жареным гусем. Неловко принимать важного гостя, если в комнатах вонь, и Ясносердцев начинает делать жене выговор. Жена, со словами: «На тебя не угодишь», поднимает рев. Будущий тесть хватается за голову и требует, чтобы жена перестала плакать, так как начальников не встречают с заплаканными глазами. «Дура! Утрись... мумия, Иродиада ты невежественная!» С женой истерика. Дочь заявляет, что она не в состоянии

жить с такими буйными родителями, и одевается, чтобы уйти из дому. Чем дальше в лес, тем больше дров. Кончается тем, что важный гость застает на сцене доктора, прикладывающего к голове мужа свинцовые примочки, и частного пристава, составляющего протокол о нарушении общественной тишины и спокойствия. Вот и всё. Тут же примазан жених Лизы, Гранский, кандидат прав, человек из «новеньких», говорящий о принципах и, по-видимому, изображающий из себя в водевиле доброе начало.

Клочков читал и искоса поглядывал: смеются ли? К его удовольствию, гости то и дело зажимали кулаками рты и переглядывались.

— Ну? Что скажете? — поднял глаза на публику Клочков, окончив чтение. — Как?

В ответ на это самый старший из гостей, Митрофан Николаич Замазурин, седой и лысый, как луна, поднялся и со слезами на глазах обнял Клочкова.

— Спасибо, голубчик, — сказал он. — Утешил... Так хорошо ты это самое написал, что даже в слезы ударило... Дай я тебя еще раз... в объятия...

— Отлично! Замечательно! — вскочил Полумраков. — Талант, совсем талант! Знаешь что, брат? Бросай ты службу и изволь писать! Писать и писать! Подло зарывать талант в землю!

Начались поздравления, восторги, объятия... Послали за русским шампанским.

Клочков растерялся, раскраснелся и от избытка чувств заходил вокруг стола.

— Я в себе этот талант давно уже чувствую! — заговорил он, кашляя и махая руками. — Почти с самого детства... Излагаю я литературно, остроумие есть... сцену знаю, потому — в любителях лет десять терся... Что же еще нужно? Поработать бы только на этом поприще, поучиться... и чем я хуже других?

— Действительно, поучиться... — сказал Замазурин. — Это ты верно... Только вот что, голубчик... Ты меня извини, но я правду... Правда прежде всего... У тебя выведен Клещев, действительный статский советник... Это, друг, нехорошо... Оно-то, в сущности, ничего, но как-то, знаешь, неловко... Генерал, то да

се... Брось, брат! Еще *наш* рассердится, подумает, что ты это на него... Обидно старику станет... А от него мы акроме *благодеей*... Наплюй!

— Это правда,— встревожился Клочков.— Нужно будет изменить... Я поставлю везде «ваше высокородие»... Или нет, просто так, без чина... Просто Клещев...

— И вот что еще,— заметил Полумраков.— Это, впрочем, пустяки, но тоже неудобно... глаза режет... У тебя там жених этот, Гранский, говорит Лизе, что ежели родители не захотят, чтоб она за него шла, то он против ихней воли пойдет. Оно-то, может быть, и ничего... может быть, родители и взаправду бывают свиньи в своем тиранстве, но в наш век, как бы этак выразиться... Достанется тебе, чего доброго!

— Да, немножко резко,— согласился Замазурин.— Ты как-нибудь замажь это место... Выкинь также рассуждение про то, как приятно быть тестем начальника. Приятно, а ты смеешься... Этим, брат, шутить нельзя... *Наш* тоже на бедной женился, так из этого следует, что он скверно поступил? Так по-твоему? Нешто ему не обидно? Ну, положим, он сидит в театре и видит это самое... Нешто ему приятно? А ведь он же твою руку держал, когда ты с Салалеевым пособия просил! «Он, говорит, человек больной, ему, говорит, деньги нужней, чем Салалееву»... Видишь?

— А ты ведь, признайся, здесь на него намекаешь! — мигнул глазом Булягин.

— И не думал! — сказал Клочков.— Накажи меня бог, совсем ни на кого не намекал!

— Да ну, ну... оставь, пожалуйста! Он действительно любит за женским полом бегать... Ты это верно за ним подметил... Только ты тово... частного пристава выпусти... Не нужно... И Гранского этого выпусти... Герой какой-то, черт его знает, чем занимается, говорит с разными фокусами... Если б ты его осуждал, а то ты, напротив, сочувствуешь... Может быть, он и хороший человек, но... черт его разберет! Все можно подумать...

— А знаете, кто такой Ясносердцев? Это наш Енякин... На него Клочков намекает... Титулярный совет-

ник, с женой вечно дерется, и дочка... Он и есть... Спасибо, друг! Так ему, подлецу, и надо! Чтоб не зазнавался!

— Хоть этот, например, Енякин...— вздохнул Замазурин.— Дрянь человек, шельма, а все-таки он всегда тебя к себе приглашает, Настюшу у тебя крестил... Нехорошо, Осип! Выкинь! По-моему... бросил бы лучше! Заниматься этим делом... ей-богу... Разговоры сейчас пойдут: кто, как... почему... И не рад потом будешь!

— Это верно...— подтвердил Полумраков.— Баловство, а из этого баловства такое может выйти, чего и в десять лет не починешь... Напрасно затеваешь, Осип... Не твое и дело... в Гоголи лезть да в Крыловы... Те действительно ученые были; а ты какое образование получил? Червяк, еле видим! Тебя всякая муха раздавить может... Брось, брат! Ежели *наш* узнает, то... Брось!

— Ты порви!— шепнул Булягин.— Мы никому не скажем... Ежели будут спрашивать, то мы скажем, что ты читал нам что-то, да мы не поняли...

— Зачем говорить? Говорить не нужно...— сказал Замазурин.— Ежели спросят, ну, тогда... врать не станешь... Своя рубашка ближе к телу... Вот этак вы понастроите разных пакостей, а потом за вас отдувайся! Мне это хуже всего! С тебя, с больного, и спрашивать не станут, а до нас доберутся... Не люблю, ей-богу!

— Потише, господа... Кто-то идет... Спрячь, Клочков!

Бледный Клочков быстро спрятал тетрадь, почесал затылок и задумался.

— Да, это правда...— вздохнул он.— Разговоры пойдут... поймут различно... Может быть, даже в моем водевиле есть такое, чего нам не видно, а другие увидят... Порву... А вы же, братцы, пожалуйста, тово... никому не говорите...

Принесли русское шампанское... Гости выпили и разошлись..,

— Учитель географии Галкин на меня злобу имеет, и, верьте-с, я у него не выдержу сегодня экзамена,— говорил, нервно потирая руки и потея, приемщик X-го почтового отделения Ефим Захарыч Фендриков, седой, бородатый человек с почтенной лысиной и солидным животом.— Не выдержу... Это как бог свят... А злится он на меня совсем из-за пустяков-с. Приходит ко мне однажды с заказным письмом и сквозь всю публику лезет, чтоб я, видите ли, принял сперва его письмо, а потом уж прочие. Это не годится... Хотя он и образованного класса, а все-таки соблюдай порядок и жди. Я ему сделал приличное замечание. «Дождитесь, говорю, очереди, милостивый государь». Он вспыхнул и с той поры восстает на меня, аки Саул. Сынишке моему Егорушке единицы выводит, а про меня разные названия по городу распускает. Иду я однажды-с мимо трактира Кухтина, а он высунулся с бильярдным кием из окна и кричит в пьяном виде на всю площадь: «Господа, поглядите; марка, бывшая в употреблении, идет!»

Учитель русского языка Пивомедов, стоявший в передней X-го уездного училища вместе с Фендриковым и снисходительно куривший его папиросу, пожал плечами и успокоил:

— Не волнуйтесь. У нас и примера не было, чтоб вашего брата на экзаменах резали. Проформа!

Фендриков успокоился, но ненадолго. Через переднюю прошел Галкин, молодой человек с жидкой,

словно оборванной, бородкой, в парусиновых брюках и новом синем фраке. Он строго посмотрел на Фендрикова и прошел дальше.

Затем разнесся слух, что инспектор едет. Фендриков похолодел и стал ждать с тем страхом, который так хорошо известен всем подсудимым и экзаменуемым впервые. Через переднюю пробежал на улицу штатный смотритель уездного училища Хамов. За ним спешил навстречу к инспектору законоучитель Змиежалов в камиллавке и с наперсным крестом. Туда же стремились и прочие учителя. Инспектор народных училищ Ахатов громко поздоровался, выразил свое неудовольствие на пыль и вошел в училище. Через пять минут приступили к экзаменам.

Прозэкзаменовали двух поповичей на сельского учителя. Один выдержал, другой же не выдержал. Провалившийся высморкался в красный платок, постоял немного, подумал и ушел. Прозэкзаменовали двух вольноопределяющихся третьего разряда. После этого пробил час Фендрикова...

— Вы где служите? — обратился к нему инспектор.

— Приемщиком в здешнем почтовом отделении, ваше высокородие,— проговорил он, выпрямляясь и стараясь скрыть от публики дрожание своих рук.— Прослужил двадцать один год, ваше высокородие, а ныне потребованы сведения для представления меня к чину коллежского регистратора, для чего и осмеливаюсь подвергнуться испытанию на первый классный чин.

— Так-с... Напишите диктант.

Пивомедов поднялся, кашлянул и начал диктовать густым, пронзительным басом, стараясь уловить экзаменуемого на словах, которые пишутся не так, как выговариваются: «Хараша халодная вада, кагда хо-чица пить» и проч.

Но как ни изошрялся хитроумный Пивомедов, диктант удался. Будущий коллежский регистратор сделал немного ошибок, хотя и напирал больше на красоту букв, чем на грамматику. В слове «чрезвычайно» он написал два «н», слово «лучше» написал «лутше», а словами «новое поприще» вызвал на лице инспек-

тора улыбку, так как написал «новое подприще», но ведь все это не грубые ошибки.

— Диктант удовлетворителен,— сказал инспектор.

— Осмелюсь довести до сведения вашего высоко-родия,— сказал подбодренный Фендриков, искоса поглядывая на врага своего Галкина,— осмелюсь доложить, что геометрию я учил из книги Давыдова, отчасти же обучался ей у племянника Варсонофия, приезжавшего на каникулах из Троице-Сергиевской, Вифанской тож, семинарии. И планиметрию учил и стереометрию... все как есть...

— Стереометрии по программе не полагается.

— Не полагается? А я месяц над ней сидел... Этакая жалость! — вздохнул Фендриков.

— Но оставим пока геометрию. Обратимся к науке, которую вы, как чиновник почтового ведомства, вероятно любите. География — наука почтальонов.

Все учителя почтительно улыбнулись. Фендриков был не согласен с тем, что география есть наука почтальонов (об этом нигде не было написано ни в почтовых правилах, ни в приказах по округу), но из почтительности сказал: «Точно так». Он нервно кашлянул и с ужасом стал ждать вопросов. Его враг Галкин откинулся на спинку стула и, не глядя на него, спросил протяжно:

— Э... скажите мне, какое правление в Турции?

— Известно какое... Турецкое...

— Гм!.. турецкое... Это понятие растяжимое. Там правление конституционное. А какие вы знаете притоки Ганга?

— Я географию Смирнова учил и, извините, не отчетливо выучил... Ганг, это которая река в Индии течет... река эта течет в океан.

— Я вас не про это спрашиваю. Какие притоки имеет Ганг? Не знаете? А где течет Аракс? И этого не знаете? Странно... Какой губернии Житомир?

— Тракт восемнадцать, место сто двадцать один.

На лбу у Фендрикова выступил холодный пот. Он замигал глазами и сделал такое глотательное движение, что показалось, будто он проглотил свой язык.

— Как перед истинным богом, ваше высококородие,— забормотал он.— Даже отец протоиерей могут подтвердить... Двадцать один год прослужил и теперь это самое, которое... Век буду бога молить...

— Хорошо, оставим географию. Что вы из арифметики приготовили?

— И арифметику не отчетливо... Даже отец протоиерей могут подтвердить... Век буду бога молить... С самого Покровá учусь, учусь и... ничего толку... Постарел для умственности... Будьте столь милостивы, ваше высококородие, заставьте вечно бога молить.

На ресницах у Фендрикова повисли слезы.

— Прослужил честно и беспорочно... Говею ежегодно... Даже отец протоиерей могут подтвердить... Будьте великодушны, ваше высококородие.

— Ничего не приготовили?

— Все приготовил-с, но ничего не помню-с... Скоро шестьдесят стукнет, ваше высококородие, где уж тут за науками угоняться? Сделайте милость!

— Уж и шапку с кокардой себе заказал...— сказал протоиерей Змижежалов и усмехнулся.

— Хорошо, ступайте!..— сказал инспектор.

Через полчаса Фендриков шел с учителями в трактир Кухтина пить чай и торжествовал. Лицо у него сияло, в глазах светилось счастье, но ежеминутное почесывание затылка показывало, что его терзала какая-то мысль.

— Экая жалость! — бормотал он.— Ведь этакая, скажи на милость, глупость с моей стороны!

— Да что такое? — спросил Пивомедов,

— Зачем я стереометрию учил, ежели ее в программе нет? Ведь целый месяц над ней, подлой, сидел. Этакая жалость!

РУССКИЙ УГОЛЬ

Правдивая история

В одно прекрасное апрельское утро русский le comte¹ Тулупов ехал на немецком пароходе вниз по Рейну и от нечего делать беседовал с «колбасником». Его собеседник, молодой сухопарый немец, весь состоящий из надменно-ученой физиономии, собственного достоинства и туго накрахмаленных воротничков, отрекомендовался горным мастером Артуром Имбс и упорно не сворачивал с начатого и уже надоевшего графу разговора о русском каменном угле.

— Судьба нашего угля весьма плачевна,— сказал, между прочим, граф, испустив вздох ученого знатока.— Вы не можете себе представить: Петербург и Москва живут английским углем, Россия жжет в печах свои роскошные, девственные леса, а между тем недра нашего юга содержат неисчерпаемые богатства!

Имбс печально покачал головой, досадливо крикнул и потребовал карту России.

Когда лакей принес карту, граф провел ногтем мизинца по берегу Азовского моря, поцарапал тем же ногтем возле Харькова и проговорил:

— Вот здесь... вообще... Понимаете? Весь юг!!

Имбсу хотелось точнее узнать те именно места, где залегает наш уголь, но граф не сказал ничего определенного; он беспорядочно тыкал своим ногтем

¹ граф (франц.).

по всей России и раз даже, желая показать богатую углем Донскую область, ткнул на Ставропольскую губернию. Русский граф, по-видимому, плохо знал географию своей родины. Он ужасно удивился и даже изобразил на своем лице недоверие, когда Имбс сказал ему, что в России есть Карпатские горы.

— У меня у самого, знаете ли, есть в Донской области имение,— сказал граф.— Восемь тысяч десятин земли. Прекрасное имение! Угля в нем, представьте себе... eine zahllose... eine oceanische Menge!¹ Миллионы в земле зарыты... пропадают даром... Давно уже мечтаю заняться этим вопросом... Подыскиваю случая... подходящего человека. У нас в России нет ведь специалистов! Полное безлюдье!

Заговорили вообще о специалистах. Говорили много и долго... Кончилось тем, что граф вскочил вдруг как ужаленный, хлопнул себя по лбу и сказал:

— Знаете что? Я очень рад, что с вами встретился. Не хотите ли ехать ко мне в имение? А? Что вам здесь делать, в Германии? Здесь ученых немцев и без вас много, а у меня вы дело сделаете! И какое дело!.. Хотите? Соглашайтесь скорей!

Имбс нахмурился, походил по каюте из угла в угол и, рассудив и взвесив, дал согласие.

Граф пожал ему руку и крикнул шампанского...

— Ну, теперь я покоен,— сказал он.— У меня будет уголь...

Через неделю Имбс, нагруженный книгами, чертежами и надеждами, ехал уже в Россию, нецеломудренно мечтая о русских рублях. В Москве граф дал ему двести рублей, адрес имения и приказал ехать на юг.

— Езжайте себе и начинайте там... Я, может быть, осенью приеду. Пишите, как и что...

Прибыв в имение Тулупова, Имбс поселился во флигеле и на другой же день после приезда занялся «снабжением России углем». Через три недели он послал графу первое письмо. «Я уже ознакомился с углем вашей земли,— писал он после длинного, роб-

¹ неисчислимая... океанская масса! (нем.)

кого вступления, — и нашел, что благодаря своему низкому качеству он не стоит того, чтобы его выкапывали из земли. Если бы он был втрое лучше, то и тогда бы не следовало трогать его. Помимо качества угля, меня поражает также полное отсутствие спроса. У вашего соседа, углепромышленника Алпатова, заготовлено пятнадцать миллионов пудов, а между тем нет никого, кто бы дал ему хотя бы по копейке за пуд. Донецкая-Каменноугольная дорога, идущая через ваше имение, построена специально для перевозки каменного угля, но, как оказывается, ей за все время своего существования не удалось провезти еще ни одного пуда. Нужно быть нечестным или слишком легкомысленным, чтобы подать вам хотя бы каплю надежды на успех. Осмелюсь также добавить, что ваше хозяйство до того расстроено и распущено, что добывание угля и вообще какие бы то ни было нововведения являются роскошью». В конце концов немец просил графа порекомендовать его другим русским «Fürsten oder Grafen»¹ или же выслать ему «ein wenig»² на обратный путь в Германию. В ожидании милостивого ответа Имбс занялся ужением карасей и ловлей перепелов на дудочку.

Ответ на это письмо получил не Имбс, а управляющий, поляк Дзержинский. «А немцу скажите, что он ни черта не понимает, — писал граф в постскриптуме. — Я показывал его письмо одному горному инженеру (тайному советнику Млееву), и оно возбудило смех. Впрочем, я его не держу. Пусть себе уезжает. Деньги же на дорогу у него есть. Я дал ему 200 руб. Если он потратил на дорогу 50, то и тогда останется у него 150 руб.». Узнав о таком ответе, Имбс ужасно испугался. Он сел и покрыл своим немецким, расплывающимся почерком два листа почтовой бумаги. Он умолял графа простить его великодушно за то, что он скрыл от него в первом письме многое «очень важное». Со слезами на глазах и угрызаемый совестью он писал, что оставшиеся после дороги из Москвы

¹ князьям или графам (нем.).

² немного (нем.).

172 рубля он имел неосторожность проиграть в карты Дзержинскому. «Впоследствии я выиграл с него 250 р., но он не отдает мне их, хотя и получил с меня весь мой проигрыш, а потому осмеливаюсь прибегать к вашему всемогуществу, заставьте уважаемого господина Дзержинского уплатить мне хоть половину, чтобы я мог оставить Россию и не есть даром вашего хлеба». Много воды утекло в море, и много карасей и перепелов поймал Имбс, пока получил ответ на это второе письмо. Однажды, в конце июля, в его комнату вошел поляк и, севши на кровать, принялся припоминать вслух все ругательства, имеющиеся на немецком языке.

— Удивительный осел этот граф! — сказал он, хлопая фуражкой о край стола.— Пишет мне, что уезжает на днях в Италию, а не дает никаких распоряжений относительно вас. Куда мне вас девать? Водку вами закусывать, что ли? И на чертей ему дался этот уголь! Уголь ему нужен так же, как мне ваша физиономия, черт его возьми! И вы тоже хороши, нечего сказать! Глупый, объевшийся баловень наболтал вам от нечего делать, а вы ему поверили!

— Граф уезжает в Италию? — удивился Имбс, бледнея.— А денег мне прислал? Нет?! Как же я уеду отсюда? Ведь у меня ни копейки!.. Послушайте меня, уважаемый господин Дзержинский... Если вы не можете отдать мне вашего проигрыша, то не купите ли вы моих книг и чертежей? В России вы сбудете их за очень большую сумму!

— В России не нужны ваши книги и чертежи.

Имбс сел и задумался. Пока поляк наполнял воздух своею желчью, немец решал свой шкурный вопрос и чувствовал всеми своими немецкими чувствами, как у него портилась в эти минуты кровь. Он похудел, обрюзг, и выражение надменной учености на лице уступило место выражению боли, безнадежности... Сознание безвыходного плена, вдали от рейнских волн и компании горных мастеров, заставило его плакать... Вечером он сидел у окна и глядел на луну... Кругом была тишина. Где-то вдали пиликала гармонийка и ныла жалобная русская песенка. Эти звуки

защемили Имбса за сердце... Его охватила такая тоска по родине, по праву и справедливости, что он отдал бы всю жизнь за то только, чтобы очутиться в эту ночь дома...

«И здесь светит эта луна, и там она светит, а какая разница!» — думал он.

Всю ночь тосковал Имбс. Под утро он не вынес тоски и порешил уйти. Сложив свои «ненужные в России» книги и чертежи в котомку, он выпил натошак воды и ровно в четыре часа утра поплелся пешечком к северу. Он порешил идти в тот самый Харьков, который еще так недавно граф поцарапал своим розовым ногтем. В Харькове надеялся он встретить немцев, которые могли бы дать ему денег на дорогу.

— Дорогой стащили с меня, сонного, сапоги, — рассказывал Имбс своим приятелям, сидя через месяц на том же пароходе. — Такова «русская честность»! Но в конце концов нужно отдать ей справедливость: от Славянска до Харькова русский кондуктор провез меня за сорок копеек — деньги, вырученные мною за мою пенковую трубку. Это нечестно, но зато очень дешево!

ХИРУРГИЯ

Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чечучовой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки — сигара, распространяющая зловоние.

В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий, коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутылку с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером.

— Ааа... мое вам! — зевает фельдшер. — С чем пожаловали?

— С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич... К вашей милости... Истинно и правдиво в псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворях». Сел намедни со старухой чай пить и — ни боже мой, ни капельки, ни синь-порох, хоть ложись да помирай... Хлебнешь чуточку — и силы моей нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону... Так и ломит, так и ломит! В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет: так и стреляет,

так и стреляет! Согрешихом и беззаконновахом... Студными бо окалях душу грехми и в лености житие мое иждих... За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! Отец иерей после литургии упрекает: «Косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поешь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, все распухши, извините, и ночь не спавши...

— Мда... Садитесь... Раскройте рот!

Вонмигласов садится и раскрывает рот.

Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.

— Отец диакон велели водку с хреном прикладывать — не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл: бога боюсь, пост...

— Предрассудок..., (Пауза.) Вырвать его нужно, Ефим Михеич!

— Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтоб это дело понимать как оно есть, чтоб вырвать, а чтоб каплями или прочим чем... На то вы, благодетели, и поставлены, дай бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и ночью, отцы родные... по гроб жизни...

— Пустяки...— скромничает фельдшер, подходя к шкафу и роясь в инструментах.— Хирургия — пустяки... Тут во всем привычка, твердость руки... Раз плюнуть... Намедни тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иванович Египетский... Тоже с зубом... Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что. Руку пожимает, по имени и отчеству... В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал... Долго мы с ним тут... Христом-богом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя... Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьею ножкой, третий ключом... Кому как.

Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы.

— Ну-с, раскройте рот пошире...— говорит он, подходя с щипцами к дьячку.— Сейчас мы его... тово... Раз плюнуть... Десну подрезать только... тракцию сделать по вертикальной оси... и все... (подрезывает десну) и все...

— Благодетели вы наши... Нам, дуракам, и невдомек, а вас господь просветил...

— Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт... Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки... Этот — раз плюнуть... (Накладывает щипцы.) Постойте, не дергайтесь... Сидите неподвижно... В мгновение ока... (Делает тракцию.) Главное, чтоб поглуже взять (тянет)... чтоб коронка не сломалась...

— Отцы наши... Мать пресвятая... Ввв...

— Не тово... не тово... как его? Не хватайте руками! Пустите руки! (Тянет.) Сейчас... Вот, вот... Дело-то ведь не легкое...

— Отцы... радетели... (Кричит.) Ангелы! Ого-го... Да дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь?

— Дело-то ведь... хирургия... Сразу нельзя... Вот, вот...

Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит... На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет... Проходят мучительнейшие полминуты — и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.

— Тянул! — говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом.— Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света божьего не вижу...

— А ты зачем руками хватаешь? — сердится фельдшер.— Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова... Дура!

— Сам ты дура!

— Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмишь-ка! Это не то, что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! (Дразнит.) «Не умеешь, не

умеешь!» Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты... Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот ничего, никаких слов... Человек почище тебя, а не хватал руками... Садись! Садись, тебе говорю!

— Света не вижу... Дай дух перевести... Ох! (Садится.) Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай... Сразу!

— Учи ученого! Экий, господи, народ необразованный! Живи вот с этакими... очумеешь! Раскрой рот... (Накладывает щипцы.) Хирургия, брат, не шутка... Это не на клиросе читать... (Делает тракцию.) Не дергайся... Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил... (Тянет.) Не шевелись... Так... так... Не шевелись... Ну, ну... (Слышен хрустящий звук.) Так и знал!

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен... Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.

— Было б мне козьею ножкой...— бормочет фельдшер.— Этакая оказия!

Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа.

— Парршивый черт...— выговаривает он.— Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель!

— Поругайся мне еще тут...— бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы.— Невежа... Мало тебя в бурсе березой потчевали... Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил... образованность... один костюм рублей сто стоит... да и то не ругался... А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!

Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит восвояси...

НЕВИДИМЫЕ МИРУ СЛЕЗЫ

Р а с с к а з

— Теперь, господа особы, недурно бы поужинать,— сказал воинский начальник Ребротесов, высокий и тонкий, как телеграфный столб, подполковник, выходя с компанией в одну темную августовскую ночь из клуба.— В хороших городах, в Саратове, например, в клубах всегда ужин получить можно, а у нас, в нашем вонючем Червянске, кроме водки да чая с мухами, ни бѣльмеса не получишь. Хуже нет ничего, ежели ты выпивши и закусить нечем!

— Да, недурно бы теперь что-нибудь этакое...— согласился инспектор духовного училища Иван Иванович Двоеточиев, кутаясь от ветра в рыженькое пальто.— Сейчас два часа и трактиры заперты, а недурно бы этак селедочку... грибочков, что ли... или чего-нибудь вроде этакого, знаете...

Инспектор пошевелил в воздухе пальцами и изобразил на лице какое-то кушанье, вероятно очень вкусное, потому что все, глядевшие на лицо, облизнулись. Компания остановилась и начала думать. Думала, думала и ничего съедобного не выдумала. Пришлось ограничиться одними только мечтаниями.

— Важную я вчера у Голопесова индейку ел!— вздохнул помощник исправника Пружина-Пружинский.— Между прочим... вы были, господа, когда-нибудь в Варшаве? Там этак делают... Берут карасей обыкновенных, еще живых... животрепещущих, и в молоко... День в молоке они, сволочи, поплавают, и по-

том как их в сметане на скворчащей сковороде изжарят, так потом, братец ты мой, не надо твоих ананасов! Ей-богу... Особливо, ежели рюмку выпьешь, другую. Ешь и не чувствуешь... в каком-то забытьи... от аромата одного умрешь!..

— И ежели с просоленными огурчиками...— добавил Ребротесов тоном сердечного участия.— Когда мы в Польше стояли, так, бывало, пельменей этих за раз штук двести в себя вопрешь... Наложить их полную тарелку, поперчишь, укропцем с петрушкой посыплешь и... нет слов выразить!

Ребротесов вдруг остановился и задумался. Ему вспомнилась стерляжья уха, которую он ел в 1856 году в Троицкой лавре. Память об этой ухе была так вкусна, что воинский начальник почувствовал вдруг запах рыбы, бессознательно пожевал и не заметил, как в калоши его набралась грязь.

— Нет, не могу!— сказал он.— Не могу дольше терпеть! Пойду к себе и удовлетворюсь. Вот что, господа, пойдете-ка и вы ко мне! Ей-богу! Выпьем по рюмочке, закусим чем бог послал. Огурчика, колбаски... самоварчик изобразим... А? Закусим, про холеру поговорим, старину вспомним... Жена спит, но мы ее и будить не станем... потихоньку... Пойдемте!

Восторг, с которым было принято это приглашение, не нуждается в описании. Скажу только, что никогда в другое время Ребротесов не имел столько доброжелателей, как в эту ночь.

— Я тебе уши оборву!— сказал воинский начальник денщику, вводя гостей в темную переднюю.— Тысячу раз говорил тебе, мерзавцу, чтобы, когда спишь в передней, всегда курил благовонной бумажкой! Поди, дурак, самовар поставь и скажи Ирине, чтобы она тово... принесла из погреба огурцов и редьки... Да почисть селедочку... Луку в нее покроши зеленого да укропцем посыплешь этак... знаешь, и картошки кружочками нарежешь... И свеклы тоже... Все это уксу-сом и маслом, знаешь, и горчицы туда... Перцем сверху поперчишь... Гарнир, одним словом... Понимаешь?

Ребротесов пошевелил пальцами, изображая смещение, и мимикой добавил к гарниру то, чего не мог

добавить в словах... Гости сняли калоши и вошли в темный зал. Хозяин чиркнул спичкой, навонял серой и осветил стены, украшенные премиями «Нивы», видами Венеции и портретами писателя Лажечникова и какого-то генерала с очень удивленными глазами.

— Мы сейчас...— зашептал хозяин, тихо поднимая крылья у стола.— Соберу вот на стол и сядем... Маша моя что-то больна сегодня. Уж вы извините... Женское что-то... Доктор Гусин говорит, что это от постной пищи... Очень может быть! «Душенька, говорю, дело ведь не в пище! Не то, что в уста, а то, что из уст, говорю... Постное, говорю, ты кушаешь, а раздражаешься по-прежнему... Чем плоть свою удручать, ты лучше, говорю, не огорчайся, не производи слов...» И слушать не хочет! «С детства, говорит, мы приучены».

Вошел денщик и, вытянув шею, прошептал что-то хозяину на ухо. Ребротесов пошевелил бровями...

— М-да...— промычал он.— Гм... тэк-с... Это, впрочем, пустяки... Я сейчас, в одну минуту... Маша, знаете ли, погреб и шкафы заперла от прислуги и ключи к себе взяла. Надо пойти взять...

Ребротесов поднялся на цыпочки, тихо отворил дверь и пошел к жене... Жена его спала.

— Машенька!— сказал он, осторожно приблизившись к кровати.— Проснись, Машуня, на секундочку!

— Кто? Это ты? Чего тебе?

— Я, Машенька, относительно вот чего... Дай, ангелочек, ключи и не беспокойся... Спи себе... Я сам с ними похлопочу... Дам им по огурчику и больше расходовать ничего не буду... Побей меня бог. Двоеточиев, знаешь, Пружина-Пружинский и еще некоторые... Прекрасные все люди... уважаемые обществом... Пружинский даже Владимира четвертой степени имеет... Он уважает тебя так...

— Ты где это нализался?

— Ну, вот ты уже и сердисься... Какая ты, право... Дам им по огурчику, вот и всё... И уйдут... Я сам распоряджусь, а тебя и не побеспокоим... Лежи себе, куколка... Ну, как твоё здоровье? Был Гусин без меня? Даже вот ручку поцелую... И гости все уважают тебя

так... Двоеточиев религиозный человек, знаешь... Пружина, казначей тоже. Все относятся к тебе так... «Марья, говорят, Петровна — это, говорят, не женщина, а нечто, говорят, неудобопонятное... Светило нашего уезда».

— Ложись! Будет тебе городить! Налижется там в клубе со своими шалаберниками, а потом и бурлит всю ночь! Постыдился бы! Детей имеешь!

— Я... детей имею, но ты не раздражайся, Манечка... не огорчайся... Я тебя ценю и люблю... И детей, бог даст, пристрою. Мигю вот в гимназию повезу... Тем более что я их не могу прогнать... Неловко... Зашли за мной и попросили есть. «Дайте, говорят, нам поесть»... Двоеточиев, Пружина-Пружинский... милые такие люди... Сочувствуют тебе, ценят. По огурчику дать им, по огурке, и... пусть себе с богом... Я сам распоряжусь...

— Вот наказание! Ошалел ты, что ли? Какие гости в этакую пору? Постыдились бы они, черти рваные, по ночам людей беспокоить! Где это видано, чтоб ночью в гости ходили?.. Трактир им здесь, что ли? Дура буду, ежели ключи дам! Пусть проспятся, а завтра и приходят!

— Гм... Так бы и сказала... И унижаться бы перед тобой не стал... Выходит, значит, что ты мне не подруга жизни, не утешительница своего мужа, как сказано в Писании, а... неприлично выразиться... Змеей была, змея и есть...

— А-а... так ты еще ругаться, язва?

Супруга приподнялась, и... воинский начальник почесал щеку и продолжал:

— Мерси... Правду раз читал я в одном журнале: «В людях ангел — не жена, дома с мужем — сатана»... Истинная правда... Сатаной была, сатана и есть...

— На же тебе!

— Дерись, дерись... Бей единственного мужа! Ну, на коленях прошу... Умоляю... Манечка!.. Прости ты меня!.. Дай ключи! Манечка! Ангел! Лютое существо, не срами ты меня перед обществом! Варварка ты моя, до каких же пор ты будешь меня мучить? Дерись... Бей... Мерси... Умоляю наконец!

Долго беседовали таким образом супруги... Ребротесов становился на колени, два раза плакал, бранился, то и дело почесывал щеку... Кончилось тем, что супруга поднялась, плюнула и сказала:

— Вижу, что конца не будет моим мучениям! Поддай со стула мое платье, махнет!

Ребротесов бережно подал ей платье и, поправив свою прическу, пошел к гостям. Гости стояли перед изображением генерала, глядели на его удивленные глаза и решали вопрос: кто старше — генерал или писатель Лажечников? Двоеточиев держал сторону Лажечникова, напирая на бессмертие, Пружинский же говорил:

— Писатель-то он, положим, хороший, спору нет... и смешно пишет и жалостно, а отправок его на войну, так он там и с ротой не справится; а генералу хоть целый корпус давай, так ничего...

— Моя Маша сейчас... — перебил спор вошедший хозяин. — Сию минуту...

— Мы вас беспокоим, право... Федор Акимыч, что это у вас со щекой? Батюшка, да у вас и под глазом синяк! Где это вы угостились?

— Щека? Где щека? — сконфузился хозяин. — Ах, да! Подкрадываюсь я сейчас к Манечке, хочу ее испугать, да как стукнусь в потемках о кровать! Ха-ха... Но вот и Манечка... Какая ты у меня растрепе, Манюня! Чистая Луиза Мишель!

В зал вошла Марья Петровна, растрепанная, сонная, но сияющая и веселая.

— Вот это мило с вашей стороны, что зашли! — заговорила она. — Если днем не ходите, то спасибо мужу, что хоть ночью заташил. Сплю сейчас и слышу голоса... Кто бы это мог быть? думаю... Федя велел мне лежать, не выходить, ну, а я не вытерпела...

Супруга сбегала в кухню, и ужин начался...

— Хорошо быть женатым! — вздыхал Пружина-Пружинский, выходя через час с компанией из дома воинского начальника. — И ешь, когда хочешь, и пьешь, когда захочется... Знаешь, что есть существо, которое тебя любит... И на фортепьянах сыграет что-нибудь эдакое... Счастлив Ребротесов!

Двоеточиев молчал. Он вздыхал и думал. Придя домой и раздеваясь, он так громко вздыхал, что разбудил свою жену.

— Не стучи сапогами, жернов! — сказала жена. — Спать не даешь! Налижется в клубе, а потом и шумит, образина!

— Только и знаешь, что бранишься! — вздохнул инспектор. — А поглядела бы ты, как Ребротесовы живут! Господи, как живут! Глядишь на них, и плакать хочется от чувств. Один только я такой несчастный, что ты у меня ягой на свет уродилась. Подвинься!

Инспектор укрылся одеялом и, жалуясь мысленно на свою судьбу, уснул.

Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городской с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина... На площади ни души... Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.

— Так ты кусаться, окаянная? — слышит вдруг Очумелов. — Ребята, не пушай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А... а!

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубаше и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватается собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пушай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.

— Никак беспорядок, ваше благородие!.. — говорит городской.

Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровав-

ленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!», да и самый палец имеет вид знамени победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала — белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.

— По какому это случаю тут? — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. — Почему тут? Это ты за чем палец?.. Кто кричал?

— Иду я, ваше благородие, никого не трогаю... — начинает Хрюкин, кашляя в кулак. — Насчет дров с Митрий Митричем, — и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец... Вы меня извините, я человек, который работающий... Работа у меня мелкая. Пушай мне заплатят, потому — я этим пальцем, может, неделю не пошевелю... Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете...

— Гм!.. Хорошо... — говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. — Хорошо... Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу кузькину мать!.. Елдырин, — обращается надзиратель к городовому, — узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Не медля! Она наверно бешеная... Чья это собака, спрашиваю?

— Это, кажись, генерала Жигалова! — говорит кто-то из толпы.

— Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас, как жарко! Должно полагать, перед дождем... Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? — обращается Очумелов к Хрюкину. — Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла

в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей!

— Он, ваше благородие, сигаркой ей в харю для смеха, а она — не будь дура, и тяпни... Вздорный человек, ваше благородие!

— Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед богом... А ежели я вру, так пушай мировой рассудит. У него в законе сказано... Нынче все равны... У меня у самого брат в жандарах... ежели хотите знать...

— Не рассуждать!

— Нет, это не генеральская...— глубокомысленно замечает городской.— У генерала таких нет, У него всё больше лягавые...

— Ты это верно знаешь?

— Верно, ваше благородие...

— Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта — черт знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... И этакую собаку держат?! Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально — не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй... Нужно проучить! Пора...

— А может быть, и генеральская...— думает вслух городской.— На морде у ней не написано... Намедни во дворе у него такую видел.

— Вестимо, генеральская! — говорит голос из толпы.

— Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака — нежная тварь... А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..

— Повар генеральский идет, его спросим... Эй,

Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку...
Ваша?

— Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!

— И спрашивать тут долго нечего,— говорит Очумелов.— Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что бродячая, стало быть, и бродячая... Истребить, вот и все.

— Это не наша,— продолжает Прохор.— Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч...

— Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? — спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления.— Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить приехали?

— В гости...

— Ишь ты, господи... Соскучились по братце... А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится, шельма... цуцык этакий...

Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада... Толпа хохочет над Хрюкиным.

— Я еще доберусь до тебя! — грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.

ЯРМАРОЧНОЕ «ИТОГО»

В карманах одного московского первой гильдии купца, недавно возвратившегося из нижегородской ярмарки, найдена женою куча бумажек. Бумажки изорваны, помяты, письма на них потерты, но несмотря на это на них можно было разобрать следующее:

М. г. Семен Иванович! Побитый вами артист Хряпунов согласен помириться на ста рублях. Не берет ни копейки меньше. Жду ответа. Ваш адвокат *Н. Ерзаев*.

Господин невежда купеческого звания! Будучи вами оскорблен по вашей необразованности, я подал жалобу господину мировому судье. Ежели вы сами не понимаете, то пусть правосудие и гласный суд укажут вам, какого я звания человек. Ваш адвокат Ерзаев говорил, что вы не согласны заплатить сто рублей. В таком случае я могу скинуть и возьму с вас за вашу подлость 75 руб. Только из снисхождения к вашему недалекому уму, к вашему животному, так сказать, инстинкту запрашиваю с вас так дешево, с образованных же людей я беру за оскорбление дороже.

Артист *Хряпунов*.

... по делу о взыскании с вас 539 р. 43 к. по оценке за разбитое зеркало и испорченное вами пианино в ресторане Глухарева.

... Помазывать синяки утром и вечером

 А после того, как сподобился подмоченный ситец за настоящий спустить должен я дрызнуть. Валяй под вечер к Федосье. Захвати музыканта Кузьму горчицей ему голову мазать, да мамзелей штуки четыре. Выбирай какие попухлявей

 насчет векселя — накося выкуси! По гривеннику с моим удовольствием, а в отношении злостного банкротства бабушка надвое сказала

Находясь в белой горячке от употребления излишних напитков (*delirium tremens*¹), я ставил Вам кровососные банки, чтобы привести вас в надлежащую умственность, за каковой труд прошу подателю сей записки уплатить три рубля. Фельдшер *Егор Фряков*.

Сеня, ты не обижайся. Записал я тебя у мирового в свидетели насчет оскорбления в публичном месте в рассуждении того случая, когда нас били, а ты говоришь что я зря. Не фордыбачься потому ведь и тебе за загривок влетело. Не давай синякам сходить, растравляй

С Ч Е Т

1 п. стерляжей уши	1 р. 80 к.
1 бут. финь-шампань	8 » — »
За разбитый графин	5 » — »
Извозчик за мамзелями	2 » — »
Щи для цыгана	— 60 »
За порванный фрак на официанте	10 » — »

... Целую тебя несчетно раз и приходи по следующему адресу Мебли. Комнаты Фаянсова номер 18 спросить Марфу Сивягину. Твоя любящая *Анжелика*.

С подлинным верно: *Человек без селезенки*.

¹ белая горячка (лат.).

У регента соборной церкви Градусова сидел адвокат Калякин и, вертя в руках повестку от мирового на имя Градусова, говорил:

— Что ни говорите, Досифей Петрович, а вы виноваты-с. Я уважаю вас, ценю ваше расположение, но при всем том с прискорбием должен вам заметить, что вы были неправы. Да-с, неправы. Вы оскорбили моего клиента Деревяшкина... Ну, за что вы его оскорбили?

— Кой черт его оскорблял? — горячился Градусов, высокий старик с узким, мало обещающим лбом, густыми бровями и с бронзовой медалькой в петлице. — Я ему только мораль нравственную прочел, только! Дураков нужно учить! Ежели дураков не учить, то тогда от них прохода не будет.

— Но, Досифей Петрович, вы ему не наставление прочли. Вы, как заявляет он в своем прошении, публично тыкали на него, называли его ослом, мерзавцем и тому подобное... и даже раз подняли руку, как бы желая нанести ему оскорбление действием.

— Как же его не бить, ежели он того стоит? Не понимаю!

— Но поймите же, что вы не имеете на это никакого права!

— Я не имею права? Ну, уж это извините-с... Подите кому другому рассказывайте, а меня не морочьте, сделайте милость. Он у меня после того, как его

из архиерейского хора честью по шее попросили, в моем хоре десять лет прослужил. Я ему благодетель, ежели желаете знать. Ежели он сердится, что я его из хора прогнал, то сам же он виноват. Я его за философию прогнал. Философствовать может только образованный человек, который курс кончил, а ежели ты дурак, не высшего ума, то ты сиди себе в уголку и молчи... Молчи да слушай, как умные говорят, а он, болван, бывало, так и норовит, чтоб что-нибудь этакое запустить. Тут спевка или обедня идет, а он про Бисмарка да про разных там Гладстонов. Верите ли, газету, каналья, выписывал! А сколько раз я его за русско-турецкую войну по зубам бил, так вы себе представить не можете! Тут нужно петь, а он наклонится к тенорам, да и давай им рассказывать про то, как наши динамитом турецкий броненосец «Люфти-Джелил» взорвали... Нешто это порядок? Конечно, приятно, что наши победили, но из этого не следует, что петь не надо... Можешь и после обедни поговорить. Свинья, одним словом.

— Стало быть, вы и прежде его оскорбляли!

— Прежде он и не обижался. Чувствовал, что я это для его же пользы, понимал!.. Знал, что старшим и благодетелям грех прекословить, а как в полицию в писаря поступил — ну, и шабаш, зазнался, перестал понимать. Я, говорит, теперь не певчий, а чиновник. На коллежского регистратора, говорит, экзамен держать буду. Ну, и дурак, говорю... Поменьше бы ты, говорю, философию разводил, да почаще бы нос утирал, так это лучше было бы, чем о чинах думать. Тебе, говорю, не чины свойственны, а убожество. И слушать не хочет! Да вот хоть бы взять этот случай, — за что он на меня мировому подал? Ну, не хамово ли отродье? Сижу я в трактире Самоплюева и с нашим церковным старостой чай пью. Публики тьма, ни одного свободного места... Гляжу, и он сидит тут же, со своими писарями пиво трескает. Франт такой, морду поднял, орет... руками размахивает... Прислушиваюсь — про холеру говорит... Ну, что вы с ним тут поделаете? Философствует! Я, знаете ли, молчу, терплю... Болтай, думаю, болтай... Язык без

костей... Вдруг, на беду, машина заиграла... Расчувствовался он, хам, поднялся и говорит своим приятелям: «Выпьем, говорит, за процветание! Я, говорит, сын своего отечества и славянофил своей родины! Положу свою единственную грудь! Выходите, враги, на одну руку! Кто со мной не согласен, того я желаю видеть!» И как стукнет кулаком по столу! Тут уж я не вытерпел... Подхожу к нему и говорю деликатно: «Послушай, Осип... Ежели ты, свинья, ничего не понимаешь, то лучше молчи и не рассуждай. Образованный человек может умствовать, а ты смирись. Ты тля, пепел...» Я ему слово, он мне десять... Пошлò и пошлò... Я ему, конечно, на пользу, а он по глупости... Обиделся — вот и подал мировому...

— Да,— вздохнул Калякин.— Плохо... Из-за каких-нибудь пустяков и черт знает что вышло. Человек вы семейный, уважаемый, а тут суд этот, разговоры, перетолки, арест... Покончить это дело нужно, Досифей Петрович. Есть у вас один выход, на который соглашается и Деревяшкин. Вы пойдете сегодня со мной в трактир Самоплюева в шесть часов, когда собираются там писаря, актеры и прочая публика, при которой вы оскорбили его, и извинитесь перед ним. Тогда он возьмет свое прошение назад. Поняли? Полагаю, что вы согласитесь, Досифей Петрович... Говорю вам, как другу... Вы оскорбили Деревяшкина, осрамили его, а главное, заподозрили его похвальные чувства и даже... профанировали эти чувства. В наше время, знаете ли, нельзя так. Надо поосторожней. Вашим словам придан оттенок этакий, как бы вам сказать, который в наше время, одним словом, не того... Сейчас без четверти шесть... Угодно вам идти со мной?

Градусов замотал головой, но когда Калякин нарисовал ему в ярких красках «оттенок», приданный его словам, и могущие быть от этого оттенка последствия, Градусов струсил и согласился.

— Вы, смотрите же, извинитесь как следует, по форме,— учил его адвокат по пути в трактир.— Подойдите к нему и на «вы»... «извините... беру свои слова назад» и прочее тому подобное.

Придя в трактир, Градусов и Калякин нашли в нем целое сборище. Тут сидели купцы, актеры, чиновники, полицейские писаря — вообще вся «шваль», имевшая обыкновение собираться в трактире по вечерам, пить чай и пиво. Между писарями сидел и сам Деревяшкин, малый неопределенного возраста, бритый, с большими неморгающими глазами, придавленным носом и такими жесткими волосами, что при взгляде на них являлось желание чистить сапоги... Его лицо было так счастливо устроено, что, раз взглянувши на него, можно было узнать все: что он и пьяница, и поет басом, и глуп, но не настолько, чтоб не считать себя очень умным человеком. Увидев входящего регента, он приподнялся и, как кот, пошевелил усами. Сборище, по-видимому, предуведомленное о том, что будет публичное покаяние, наострило уши.

— Вот... Господин Градусов согласен! — сказал Калякин, входя.

Регент кое с кем поздоровался, громко высморкался, покраснел и подошел к Деревяшкину.

— Извините... — забормотал он, не глядя на него и пряча в карман платок. — При всем обществе беру свои слова назад.

— Извиняю! — пробасил Деревяшкин и, победоносно взглянув на всю публику, сел. — Я удовлетворен! Господин адвокат, прошу прекратить мое дело!

— Я извиняюсь, — продолжал Градусов. — Извините... Не люблю неудовольствий... Хочешь, чтоб я тебе «вы» говорил, изволь, буду... Хочешь, чтоб я тебя за умного почитал, изволь... Мне наплевать... Я, брат, не злопамятен. Шут с тобой...

— Да вы позвольте-с! Вы извиняйтесь, а не ругайтесь!

— Как же мне еще извиняться? Я извиняюсь! Только что вот не «выкнул», так это по забывчивости. Не на коленки же мне становиться... Извиняюсь и даже благодарю бога, что у тебя хватило ума это дело прекратить. Мне некогда по судам шляться... Век я не судился, судиться не буду и тебе не советую... вам то есть...

— Конечно! Не желасте ли выпить для сан-стефанского миру?

— И выпить можно... Только ты, брат Осип, свинья... Это я не то что ругаюсь, а так... к примеру... Свинья, брат! Помнишь, как ты у меня в ногах валялся, когда тебя из архиерейского хора по шее? А? И ты смеешь на благодетеля жалобу подавать? Рыло ты, рыло! И тебе не стыдно? Господа посетители, и ему не стыдно?

— Позвольте-с! Это опять выходит ругательство!

— Какое ругательство? Я тебе только говорю, наставляю... Помирился и в последний раз говорю, я ругаться не думаю... Стану я с тобой, с лучшим, связываться после того, как ты на своего благодетеля жалобу подал! Да ну тебя к черту! И говорить с тобой не желаю! А ежели я тебя сейчас свиньей нечаянно обозвал, так ты и есть свинья... Вместо того, чтоб за благодетеля вечно бога молить, что он тебя десять лет кормил да нотам выучил, ты жалобу глупую подаешь да разных чертей адвокатов подсылаешь.

— Позвольте же, Досифей Петрович,— обиделся Калякин.— Не черти у вас были, а я был!.. Поосторожней, прошу вас!

— Да нешто я про вас? Ходите хоть каждый день, милости просим. Только мне удивительно, как это вы курс кончили, образование получили, а вместо того, чтоб этого индюка наставлять, руку его держите. Да я бы его на вашем месте в остроге сгноил! И потом, чего вы сердитесь? Ведь я извинялся? Чего же вам от меня еще нужно? Не понимаю! Господа посетители, вы будьте свидетелями, я извинялся, а извиняться в другой раз перед каким-нибудь дураком я не намерен!

— Вы сами дурак! — прохрипел Осип и в негодовании ударил себя по груди.

— Я дурак? Я? И ты можешь мне это говорить?..

Градусов побагровел и затрясся...

— И ты осмелился? На же тебе!.. И, кроме того, что я тебе, подлецу, сейчас оплеуху дал, я еще на тебя мировому подам! Я покажу тебе, как оскорблять! Господа, будьте свидетели! Господин околоточный, что

же вы стоите там и смотрите? Меня оскорбляют, а вы смотрите? Жалованье получаете, а как за порядком смотреть, так и не ваше дело? А? Вы думаете, что на вас и суда нет?

К Градусову подошел околоточный, и — началась история.

Через неделю Градусов стоял перед мировым судьей и судился за оскорбление Деревяшкина, адвоката и околоточного надзирателя, при исполнении последним своих служебных обязанностей. Сначала он не понимал, истец он или обвиняемый, потом же, когда мировой приговорил его «по совокупности» к двухмесячному аресту, то он горько улыбнулся и проворчал:

— Гм... Меня оскорбили, да я же еще и сидеть должен... Удивление... Надо, господин мировой судья, по закону судить, а не умствуя. Ваша покойная маменька, Варвара Сергеевна, дай бог ей царство небесное, таких, как Осип, сечь приказывала, а вы им поблажку даете... Что ж из этого выйдет? Вы их, шельмов, оправдаете, другой оправдает... Куда же идти тогда жаловаться?

— Приговор может быть обжалован в двухнедельный срок... и прошу не рассуждать! Можете идти!

— Конечно... Нынче ведь на одно жалованье не проживешь, — проговорил Градусов и подмигнул значительно. — Поневоле, ежели кушать хочется, невинного в кутузку засадишь... Это так... И винить нельзя...

— Что-с?!

— Ничего-с... Это я так... насчет хапен зи гевезен... Вы думаете, как вы в золотой цепи, так на вас и суда нет? Не беспокойтесь... Выведу на чистую воду!

Закипело дело «об оскорблении судьи»; но вступился соборный протоиерей, и дело кое-как замяли.

Перенося свое дело в съезд, Градусов был убежден, что не только его оправдают, но даже Осипа посадят в острог. Так он думал и во время самого разбирательства. Стоя перед судьями, он вел себя миролюбиво, сдержанно, не говоря лишних слов. Раз толь-

ко, когда председатель предложил ему сесть, он обиделся и сказал:

— Нешто в законах написано, чтоб регент рядом со своим певчим сидел?

А когда съезд утвердил приговор мирового судьи, он прищурил глаза...

— Как-с? Что-с? — спросил он. — Это как же прикажете понимать-с? Это вы о чем же-с?

— Съезд утвердил приговор мирового судьи. Если вы недовольны, то можете подавать в сенат.

— Так-с. Чувствительно вас благодарим, ваше превосходительство, за скорый и праведный суд. Конечно, на одно жалованье не проживешь, это я отлично понимаю, но, извините-с, мы и неподкупный суд найдем.

Не стану приводить всего того, что Градусов наговорил съезду... В настоящее время он судится за «оскорбление съезда» и слушать не хочет, когда знакомые стараются объяснить ему, что он виноват... Он убежден в своей невинности и верует, что рано или поздно ему скажут спасибо за открытые им злоупотребления.

— Ничего с этим дураком не поделаешь! — говорит соборный настоятель, безнадежно помахивая рукой. — Не понимает!

НАДЛЕЖАЩИЕ МЕРЫ

Маленький заштатный городок, которого, по выражению местного тюремного смотрителя, на географической карте даже под телескопом не увидишь, освещен полуденным солнцем. Тишина и спокойствие. По направлению от думы к торговым рядам медленно подвигается санитарная комиссия, состоящая из городского врача, полицейского надзирателя, двух уполномоченных от думы и одного торгового депутата. Сзади почтительно шагают городовые... Путь комиссии, как путь в ад, усыпан благими намерениями. Санитары идут и, размахивая руками, толкуют о нечистоте, вони, надлежащих мерах и прочих холерных материях. Разговоры до того умные, что идущий впереди всех полицейский надзиратель вдруг приходит в восторг и, обернувшись, заявляет:

— Вот так бы нам, господа, почаще собираться да рассуждать! И приятно, и в обществе себя чувствуешь, а то только и знаем, что ссоримся. Да, ей-богу!

— С кого бы нам начать? — обращается торговый депутат к врачу тоном палача, выбирающего жертву. — Не начать ли нам, Аникита Николаич, с лавки Ошейникова? Мошенник, во-первых, и... во-вторых, пора уж до него добраться. Намедни приносят мне от него гречневую крупу, а в ней, извините, крысиный помет... Жена так и не ела!

— Ну, что ж? С Ошейникова начинать, так с Ошейникова, — говорит безучастно врач.

Санитары входят в «Магазин чаю, сахару и кофию и прочих колоннеальных товаров А. М. Ошейникова»

и тотчас же, без длинных предисловий, приступают к ревизии.

— М-да-с...— говорит врач, рассматривая красиво сложенные пирамиды из казанского мыла.— Каких ты у себя здесь из мыла вавилонов настроил! Изобретательность, подумаешь! Э... э... э! Это что же такое? Поглядите, господа! Демьян Гаврилыч изволит мыло и хлеб одним и тем же ножом резать!

— От этого холеры не выйдет-с, Аникита Николаич! — резонно замечает хозяин.

— Оно-то так, но ведь противно! Ведь и я у тебя хлеб покупаю.

— Для кого поблагородней, мы особый нож держим. Будьте покойны-с... Что вы-с...

Полицейский надзиратель щурит свои близорукие глаза на окорок, долго царапает его ногтем, громко нюхает, затем, пощелкав по окороку пальцем, спрашивает:

— А он у тебя, бывает, не с стрихнинами?

— Что вы-с... Помилуйте-с... Нешто можно-с!

Надзиратель конфузится, отходит от окорока и щурит глаза на прејскурант Асмолова и К°. Торговый депутат запускает руку в бочонок с гречневой крупой и ощущает там что-то мягкое, бархатистое... Он глядит туда, и по лицу его разливается нежность.

— Кисаньки... кисаньки! Манюнечки мои! — лепечет он.— Лежат в крупе и мордочки подняли... нежатся... Ты бы, Демьян Гаврилыч, прислал мне одного котеночка!

— Это можно-с... А вот, господа, закуски, ежели желаете осмотреть... Селедки вот, сыр... балык, изволите видеть... Балык в четверг получил, самый лучшшш... Мишка, дай-ка сюда ножик!

Санитары отрезавают по куску балыка и, понюхав, пробуют.

— Закушу уж и я кстати...— говорит как бы про себя хозяин лавки Демьян Гаврилыч.— Там где-то у меня бутылочка валялась. Пойти перед балыком выпить... Другой вкус тогда... Мишка, дай-ка сюда бутылочку.

Мишка, надув щеки и выпучив глаза, раскупоривает бутылку и со звоном ставит ее на прилавок.

— Пить натошак...— говорит полицейский надзиратель, в нерешимости почесывая затылок.— Впрочем, ежели по одной... Только ты поскорей, Демьян Гаврилыч, нам некогда с твоей водкой!

Через четверть часа санитары, вытирая губы и ковыряя спичками в зубах, идут к лавке Голорыбенко. Тут, как назло, пройти негде... Человек пять молодых, с красными, вспотевшими физиономиями, катят из лавки бочонок с маслом.

— Держи вправо!.. Тяни за край... тяни, тяни! Брусок подложи... а, черт! Отойдите, ваше благородие, ноги отдавим!

Бочонок застревает в дверях и — ни с места... Молодцы налегают на него и прут изо всех сил, испуская громкое сопенье и бранясь на всю площадь. После таких усилий, когда от долгих сопений воздух значительно изменяет свою чистоту, бочонок наконец выкатывается и почему-то, вопреки законам природы, катится назад и опять застревает в дверях. Сопенье начинается снова.

— Тьфу! — плюет надзиратель.— Пойдемте к Шибукину. Эти черти до вечера будут пыхтеть.

Шибукинскую лавку санитары находят запертой.

— Да ведь она же была отперта! — удивляются санитары, переглядываясь.— Когда мы к Ошейникову входили, Шибукин стоял на пороге и медный чайник полоскал. Где он? — обращаются они к нищему, стоящему около запертой лавки.

— Подайте милостыньку, Христа ради,— сипит нищий,— убогому калеке, что милость ваша, господа благодетели... родителям вашим...

Санитары машут руками и идут дальше, за исключением одного только уполномоченного от думы, Плюнина. Этот подает нищему копейку и, словно чего-то испугавшись, быстро крестится и бежит вдогонку за компанией.

Часа через два комиссия идет обратно. Вид у санитаров утомленный, замученный. Ходили они неда-

ром: один из городских, торжественно шагая, несет лоток, наполненный гнилыми яблоками.

— Теперь, после трудов праведных, недурно бы дрызнуть,— говорит надзиратель, косясь на вывеску «Ренсковый погреб вин и водок».— Подкрепиться бы.

— М-да, не мешает. Зайдемте, если хотите!

Санитары спускаются в погреб и садятся вокруг круглого стола с погнувшимися ножками. Надзиратель кивает сидельцу, и на столе появляется бутылка.

— Жаль, что закусить нечем,— говорит торговый депутат, выпивая и морщась.— Огурчика дал бы, что ли... Впрочем...

Депутат поворачивается к городскому с лотком, выбирает наиболее сохранившееся яблоко и закусывает.

— Ах... тут есть и не очень гнилые! — как бы удивляется надзиратель.— Дай-ка и я себе выберу! Да ты поставь здесь лоток... Какие лучше — мы выберем, почистим, а остальные можешь уничтожить. Аникита Николаич, наливайте! Вот так почаще бы нам собираться да рассуждать. А то живешь-живешь в этой глуши, никакого образования, ни клуба, ни общества — Австралия, да и только! Наливайте, господа! Доктор, яблочек! Самолично для вас очистил!

— Ваше благородие, куда лоток девать прикажете? — спрашивает городской надзирателя, выходящего с компанией из погреба.

— Ло... лоток? Который лоток? П-понимаю! Уничтожь вместе с яблоками... потому — зараза!

— Яблоки вы изволили скушать!

— А-а... очень приятно! Послушш... поди ко мне домой и скажи Марье Власьевне, чтоб не сердилась... Я только на часск... к Плюнину спать... Понимаешь? Спать... объятия Морфея. Шпрехен зи деич, Иван Андреич? ¹

И, подняв к небу глаза, надзиратель горько качает головой, растопыривает руки и говорит:

— Так и вся жизнь наша!

¹ Вы говорите по-немецки? (нем.— Sprechen sie deutsch?)

В одну скверную осеннюю ночь Андрей Степанович Пересолин ехал из театра. Ехал он и размышлял о той пользе, какую приносили бы театры, если бы в них давались пьесы нравственного содержания. Проезжая мимо правления, он бросил думать о пользе и стал глядеть на окна дома, в котором он, выражаясь языком поэтов и шкиперов, управлял рулем. Два окна, выходящие из дежурной комнаты, были ярко освещены.

«Неужели они до сих пор с отчетом возьмется? — подумал Пересолин. — Четыре их там дурака, и до сих пор еще не кончили! Чего доброго, люди подумают, что я им и ночью покою не даю. Пойду подгоню их...» — Остановись, Гурий!

Пересолин вылез из экипажа и пошел в правление. Парадная дверь была заперта, задний же ход, имевший одну только испортившуюся задвижку, был настежь. Пересолин воспользовался последним и через какую-нибудь минуту стоял уже у дверей дежурной комнаты. Дверь была слегка отворена, и Пересолин, взглянув в нее, увидел нечто необычайное. За столом, заваленным большими счетными листами, при свете двух ламп, сидели четыре чиновника и играли в карты. Сосредоточенные, неподвижные, с лицами, окрашенными в зеленый цвет от абажуров, они напоминали сказочных гномов или, чего боже избави, фальшивых монетчиков... Еще более таинственности придавала им их игра. Судя по их манерам и карточным терминам, которые они изредка выкрикивали, то был винт; судя же по всему тому, что услышал Пересо-

лин, эту игру нельзя было назвать ни винтом, ни даже игрой в карты. То было нечто неслыханное, странное и таинственное... В чиновниках Пересолин узнал Серафима Звиздулина, Степана Кулакевича, Еремея Недоехова и Ивана Писулина.

— Как же ты это ходишь, черт голландский,— рассердился Звиздулин, с остервенением глядя на своего партнера *vis-à-vis*¹.— Разве так можно ходить? У меня на руках был Дорофеев сам-друг, Шепелев с женой да Степка Ерлаков, а ты ходишь с Кофейкина. Вот мы и без двух! А тебе бы, садовая голова, с Поганкина ходить!

— Ну, и что ж тогда б вышло? — окрысился партнер.— Я пошел бы с Поганкина, а у Ивана Андреича Пересолин на руках.

«Мою фамилию к чему-то приплели...— пожал плечами Пересолин.— Не понимаю!»

Писулин сдал снова, и чиновники продолжали:

— Государственный банк...

— Два — казенная палата...

— Без козыря...

— Ты без козыря?? Гм!.. Губернское правление — два... Погибать так погибать, шут возьми! Тот раз на народном просвещении без одной остался, сейчас на губернском правлении нарвусь. Плевать!

— Маленький шлем на народном просвещении!

— Не понимаю! — прошептал Пересолин.

— Хожу со статского... Бросай, Ваня, какого-нибудь титуляшку или губернского.

— Зачем нам титуляшку? Мы и Пересолиным хватим...

— А мы твоего Пересолина по зубам... по зубам... У нас Рыбников есть. Быть вам без трех! Показывайте Пересолиху! Нечего вам ее, каналью, за обшлаг прятать!

«Мою жену затрогали...— подумал Пересолин.— Не понимаю».

И, не желая долее оставаться в недоумении, Пересолин открыл дверь и вошел в дежурную. Если бы

¹ напротив (франц.).

перед чиновниками явился сам черт с рогами и с хвостом, то он не удивил бы и не испугал так, как испугал и удивил их начальник. Явись перед ними умерший в прошлом году экзекутор, проговори он им гробовым голосом: «Идите за мной, аггелы, в место, уготованное канальям», и дыхни он на них холодом могилы, они не побледнели бы так, как побледнели, узнав Пересолина. У Недоехова от перепугу даже кровь из носа пошла, а у Кулакевича забарабанило в правом ухе и сам собою развязался галстук. Чиновники побросали карты, медленно поднялись и, переглянувшись, устремили свои взоры на пол. Минуту в дежурной царил тишина...

— Хорошо же вы отчет персписываете! — начал Пересолин. — Теперь понятно, почему вы так любите с отчетом возиться... Что вы сейчас делали?

— Мы только на минутку, ваше-ство... — прошептал Звиздулин. — Карточки рассматривали... Отдыхали...

Пересолин подошел к столу и медленно пожал плечами. На столе лежали не карты, а фотографические карточки обыкновенного формата, снятые с картона и наклеенные на игральные карты. Карточек было много. Рассматривая их, Пересолин увидел себя, свою жену, много своих подчиненных, знакомых...

— Какая чепуха... Как же вы это играете?

— Это не мы, ваше-ство, выдумали... Сохрани бог... Это мы только пример взяли...

— Объясни-ка, Звиздулин! Как вы играли? Я все видел и слышал, как вы меня Рыбниковым били... Ну, чего мнешься? Ведь я тебя не ем? Рассказывай!

Звиздулин долго стеснялся и трусил. Наконец, когда Пересолин стал сердиться, фыркать и краснеть от нетерпения, он послушался. Собрав карточки и перетасовав, он разложил их по столу и начал объяснять:

— Каждый портрет, ваше-ство, как и каждая карта, свою суть имеет... значение. Как и в колоде, так и здесь пятьдесят две карты и четыре масти... Чиновники казенной палаты — черви, губернское правление — трефы, служащие по министерству народного

просвещения — бубны, а пиками будет отделение государственного банка. Ну-с... Действительные статские советники у нас тузы, статские советники — короли, супруги особ четвертого и пятого класса — дамы, коллежские советники — валеты, надворные советники — десятки, и так далее. Я, например, — вот моя карточка, — тройка, так как, будучи губернский секретарь...

— Ишь ты... Я, стало быть, туз?

— Трефовый-с, а ее превосходительство — дама-с...

— Гм!.. Это оригинально... А ну-ка, давайте сыграем! Посмотрю...

Пересолин снял пальто и, недоверчиво улыбаясь, сел за стол. Чиновники тоже сели по его приказанию, и игра началась...

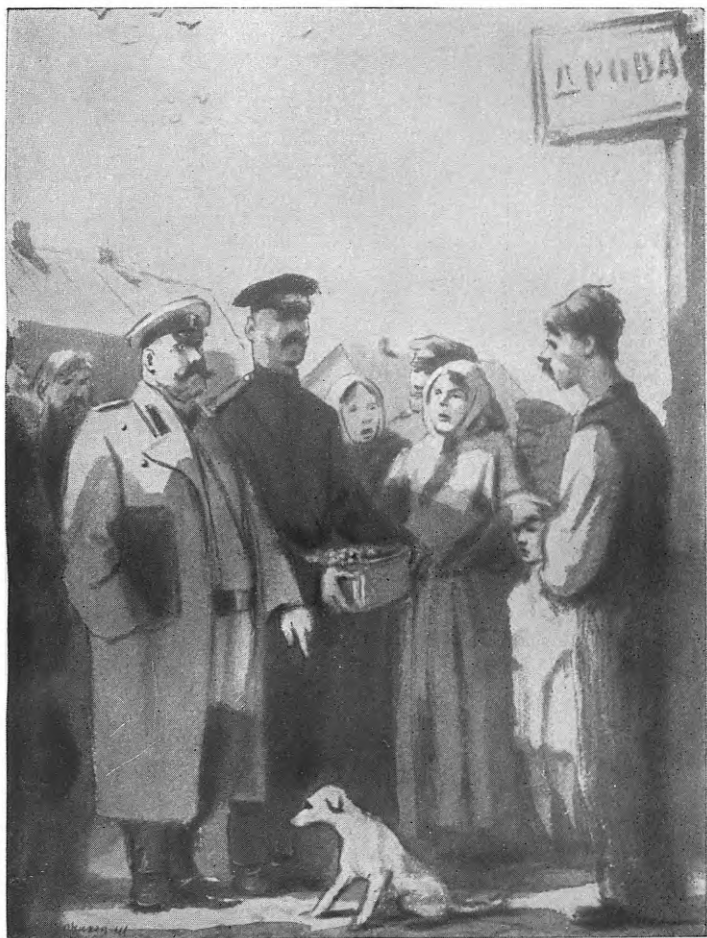
Сторож Назар, пришедший в семь часов утра места дежурную комнату, был поражен. Картина, которую увидел он, войдя со щеткой, была так поразительна, что он помнит ее теперь даже тогда, когда, напившись пьян, лежит в беспамятстве. Пересолин, бледный, сонный и непричесанный, стоял перед Недоеховым и, держа его за пуговицу, говорил:

— Пойми же, что ты не мог с Шепелева ходить, если знал, что у меня на руках я сам-четверт. У Звиздулина Рыбников с женой, три учителя гимназии да моя жена, у Недоехова банковцы и три маленьких из губернской управы. Тебе бы нужно было с Крышкина ходить! Ты не гляди, что они с казенной палаты ходят! Они себе на уме!

— Я, ваше-ство, пошел с титулярного, потому, ду-мал, что у них действительный.

— Ах, голубчик, да ведь так нельзя думать! Это не игра! Так играют одни только сапожники. Ты рассуждай!.. Когда Кулакевич пошел с надворного губернского правления, ты должен был бросать Ивана Ивановича Гренландского, потому что знал, что у него Наталья Дмитриевна сам-третьей с Егор Егорычем... Ты все испортил! Я тебе сейчас докажу. Садитесь, господа, еще один робер сыграем!

И, уславши удивленного Назара, чиновники усе-лись и продолжали игру.



К рассказу «Хамелеон».

Художники Кукрыниксы. 1941.

ЗАТМЕНИЕ ЛУНЫ

Из провинциальной жизни

№ 1032

Циркулярно.

22-го сентября в 10 часов вечера имеет быть затмение планеты луны. Так как подобное явление природы не только не предосудительно, но даже поучительно в том рассуждении, что даже и планеты законам природы часто повинуются, то в видахощрения предлагаю вам, ваше благородие, сделать распоряжение о зажжении в этот вечер в вашем участке всех уличных фонарей, дабы вечерняя темнота не мешала начальствующим лицам и жителям обозревать оное затмение, а также прошу вас, милостивый государь, строго следить, чтобы на улицах не было по сему поводу сборищ, радостных криков и прочее. О лицах, превратно истолковывающих оное явление природы, если таковые окажутся (на что я впрочем, зная здравомыслие обывателей, не надеюсь), прошу доносить мне.

Гнилодушин.

Верно: Секретарь *Трясунов.*

В ответ на отношение вашего высокоблагородия за № 1032 имею честь заявить, что в моем участке уличных фонарей не имеется, а посему затмение планеты луны произошло при полной темноте воздуха, но несмотря на это многими было видимо в надлежащей отчетливости. Нарушений общественной тишины и спокойствия, равно как превратных толкований и

выражений недовольствия не было за исключением того случая, когда домашний учитель, сын дьякона Амфилохий Бабельмандебский, на вопрос одного обывателя, в чем заключается причина сего потемнения планеты луны, начал внушать длинное толкование, явно клонящееся к разрушению понятий здравого смысла. В чем же заключалось его толкование, я не понял, так как он, объясняя по предметам науки, употреблял в своих словах много иностранных выражений.

Укуси-Каланчевский.

В ответ на отношение вашего высокоблагородия за № 1032 имею честь донести, что во вверенном мне участке затмения луны не было, хотя впрочем на небе и происходило некоторое явление природы, заключавшееся в потемнении лунного света, но было ли это затмение, доподлинно сказать не могу. Уличных фонарей по тщательном розыске оказалось в моем участке только три, кои после омытия стекол и очищения внутренностей были зажжены, но все эти меры не имели надлежащей пользы, так как означенное потемнение происходило тогда, когда фонари вследствие дутя ветра и проникновения в разбитые стекла потухли и следовательно не могли прояснять означенной в отношении вашего высокоблагородия темноты. Сборов не было, так как все обыватели спали за исключением одного только писца земской управы Ивана Авелева, когорый сидел на заборе и глядя в кулак на потемнение двухсмысленно улыбался и говорил: «По мне хоть бы и вовсе луны не было... Наплевать!» Когда же я ему заметил, что сии слова легкомысленны, он дерзко заявил: «А ты, мырма, чего за луну заступаешься? Нешто и ее ходил с праздником поздравлять?» Причем присовокупил безнравственное выражение в смысле простонародного ругательства, о чем и имею честь донести.

Глоталов.

С подлин. верно: *Человек без селезенки.*

НА КЛАДБИЩЕ

«Где теперь сго кляузы,
ябедничество, крючки, взятки?»

Гамлет

— Господа, ветер поднялся, и уже начинает темнеть. Не убраться ли нам подобру-поздорову?

Ветер прогулялся по желтой листве старых берез, и с листьев посыпался на нас град крупных капель. Один из наших поскользнулся на глинистой почве и, чтобы не упасть, ухватился за большой серый крест.

— «Титулярный советник и кавалер Егор Грязно-руков...» — прочел он. — Я знал этого господина... Любил жену, носил Станислава, ничего не читал... Желудок его варил исправно... Чем не жизнь? Не нужно бы, кажется, и умирать, но — увы! — случай стерег его... Бедняга пал жертвою своей наблюдательности. Однажды, подслушивая, получил такой удар двери в голову, что схватил сотрясение мозга (у него был мозг) и умер. А вот под этим памятником лежит человек, с пеленок ненавидевший стихи, эпиграммы... Словно в насмешку, весь его памятник испещрен стихами... Кто-то идет!

С нами поравнялся человек в поношенном пальто и с бритой, синевато-багровой физиономией. Подмышкой у него был полуштоф, из кармана торчал сверток с колбасой.

— Где здесь могила актера Мушкина? — спросил он нас хриплым голосом.

Мы повели его к могиле актера Мушкина, умершего года два назад.

— Чиновник будете? — спросили мы у него.

— Нет-с, актер... Нынче актера трудно отличить от консисторского чиновника. Вы это верно заметили... Характерно, хотя для чиновника и не совсем лестно-с.

Насилу мы нашли могилу актера Мушкина. Она осунулась, поросла плевелом и утерьяла образ могилы... Маленький дешевый крестик, похилившийся и поросший зеленым, почерневшим от холода мохом, смотрел старчески уныло и словно хворал.

— ...«забвенному другу Мушкину»...— прочли мы.

Время стерло частицу *не* и исправило человеческую ложь.

— Актеры и газетчики собрали ему на памятник и... пропили, голубчики...— вздохнул актер, кладя земной поклон и касаясь коленами и шапкой мокрой земли.

— То есть как же пропили?

— Очень просто. Собрали деньги, напечатали об этом в газетах и пропили... Это я не для осуждения говорю, а так... На здоровье, ангелы! Вам на здоровье, а ему память вечная.

— От пропивки плохое здоровье, а память вечная — одна грусть. Дай бог временную память, а на счет вечной — что уж!

— Это вы верно-с. Известный ведь был Мушкин, венков за гробом штук десять несли, а уж забыли! Кому люб он был, те его забыли, а кому зло сделал, те помнят. Я, например, его во веки веков не забуду, потому, кроме зла, ничего от него не видел. Не люблю покойника.

— Какое же он вам зло сделал?

— Зло великое,— вздохнул актер, и по лицу его разлилось выражение горькой обиды.— Злодей он был для меня и разбойник, царство ему небесное. На него гляючи и его слушаючи, я в актеры поступил. Выманил он меня своим искусством из дома родительского, прельстил суетой артистической, много обещал, а дал слезы и горе... Горька доля актерская! Потерял я и молодость, и трезвость, и образ божий... За душой ни гроша, каблук кривые, на штанах бахрама и шахматы, лик словно собаками изгрызен... В голове свободомыслие и неразумие... Отнял он у меня и веру,

злодей мой! Добро бы талант был, а то так, ни за грош пропал... Холодно, господа почтенные... Не жалеете ли? На всех хватит... Бррр... Выпьем за упокой! Хоть и не люблю его, хоть и мертвый он, а один он у меня на свете, один как перст. В последний раз с ним вижу... Доктора сказали, что скоро от пьянства помру, так вот пришел проститься. Врагов прощать надо.

Мы оставили актера беседовать с мертвым Мушкиным и пошли далее. Заморосил мелкий холодный дождь.

При повороте на главную аллею, усыпанную щебнем, мы встретили похоронную процессию. Четыре носильщика в белых коленкорových поясах и в грязных сапогах, облепленных листвой, несли коричневый гроб. Становилось темно, и они спешили, спотыкаясь и покачивая носилками...

— Гуляем мы здесь только два часа, а при нас уже третьего несут... По домам, господа?

ЯЗЫК ДО КИЕВА ДОВЕДЕТ

Куда, милый, скрылся,
Где тебя сыскать?

Нар. песня

1 - й. Снять шапку! Здесь не приказано!

2 - й. У меня не шапка, а цилиндр!

1 - й. Это все равно-с!

2 - й. Нет, не все равно-с... Шапку и за полтинник купишь, а поди-ка цилиндр купи!

1 - й. Шапку или шляпу... вообще...

2 - й (*снимая шляпу*). Так вы выражайтесь ясней...
(*Дразнит.*) Шапку, шапку...

1 - й. Прошу не разговаривать! Вы мешаете прочим слушать!

2 - й. Это вы разговариваете и мешаете, а не я. Я молчу, брат... И вовсе молчал бы, ежели бы б меня б не трогали б.

1 - й. Тсс...

2 - й. Нечего тсыкать... (*Помолчав.*) Я и сам умею тсыкать... А глаза нечего на меня пялить... Не боюсь... Не таких видывал...

Жена 2 - го. Да перестань! Будет тебе!

2 - й. Чего ж он ко мне пристал? Ведь я его не трогал? Ведь нет? Так чего же он ко мне лезет? Или, может быть, вы хотите, чтоб я на вас господину представу пожалился?

1 - й. После, после... Замолчите...

2 - й. Ага, испужался! То-то... Молодец, как это говорится, против овец, а против молодца сам овца,
В публице. Тсс...

2-й. Даже публика заметила... Для порядку поставлен, а сам беспорядки делает... (*Саркастически улыбается.*) Еще тоже медали на грудях... сабля... Народ, посмотришь!

1-й (*уходит на минутку*).

2-й. Стыдно стало, ушел... Стало быть, совесть еще не совсем потеряна, если слов стыдится... Поговори он еще, так я бы ему еще и не то сказал. Знаю, как с ихним братом обращаться!

Жена 2-го. Молчи, публика глядит!

2-й. Пущай глядит... Свои деньги заплатил, а не чужие... А ежели разговариваю, так не выводи из терпения... Ушел тот... энтот самый, ну и молчу теперь... Ежели меня никто не трогает, так зачем я стану разговаривать? Разговаривать незачем... Я понимаю... (*Аплодирует.*) Бис! Бис!

1, 3, 4, 5 и 6-й (*словно вырастая из земли*).
Пожалуйте! Идите-с!

2-й. Куда это? (*Бледнея.*) За какое самое?

1, 3, 4, 5 и 6-й. Пожалуйте-с! (*Берут под руки 2-го.*) Не болтайте ногами... Пожалуйте-с! (*Влекут.*)

2-й. Свои деньги заплативши, и вдруг.., это самое... (*Увлекается.*)

В п у б л и к е. Жулика вывели!

В Х-ом общественном клубе с благотворительной целью давали бал-маскарад, или, как его называли местные барышни, бал-парей.

Было двенадцать часов ночи. Не танцующие интеллигенты без масок — их было пять душ — сидели в читальне за большим столом и, уткнув носы и бороды в газеты, читали, дремали и, по выражению местного корреспондента столичных газет, очень либерального господина, — «мыслили».

Из общей залы доносились звуки кадрили «Вьюшки». Мимо двери, сильно стуча ногами и звеня посудой, то и дело пробегали лакеи. В самой же читальне царила глубокая тишина.

— Здесь, кажется, удобнее будет! — вдруг послышался низкий, придушенный голос, который, как казалось, выходил из печки. — Валяйте сюда! Сюда, ребята!

Дверь отворилась, и в читальню вошел широкий, приземистый мужчина, одетый в кучерской костюм и шляпу с павлиньими перьями, в маске. За ним следом вошли две дамы в масках и лакей с подносом. На подносе была пузатая бутылка с ликером, бутылки три красного и несколько стаканов.

— Сюда! Здесь и прохладнее будет, — сказал мужчина. — Становь поднос на стол... Садитесь, мамзели! Же ву при а ля тримонтран! А вы, господа, подвиньтесь... нечего тут!

Мужчина покачнулся и смахнул рукой со стола несколько журналов.

— Становь сюда! А вы, господа читатели, подвиньтесь; некогда тут с газетами да с политикой... Бросайте!

— Я просил бы вас потише,— сказал один из интеллигентов, поглядев на маску через очки.— Здесь читальня, а не буфет... Здесь не место пить.

— Почему не место? Нешто стол качается или потолок обвалиться может? Чудно! Но... некогда разговаривать! Бросайте газеты... Почитали малость и будет с вас; и так уж умны очень, да и глаза попортишь, а главное всего — я не желаю и все тут.

Лакей поставил поднос на стол и, перекинув салфетку через локоть, стал у двери. Дамы тотчас же принялись за красное.

— И как это есть такие умные люди, что для них газеты лучше этих напитков,— начал мужчина с павлиньими перьями, наливая себе ликеру.— А по моему мнению, вы, господа почтенные, любите газеты оттого, что вам выпить не на что. Так ли я говорю? Ха-ха!.. Читают! Ну, а о чем там написано? Господин в очках! Про какие факты вы читаете? Ха-ха! Ну, да брось! Будет тебе кочевряжиться! Выпей лучше!

Мужчина с павлиньими перьями приподнялся и вырвал газету из рук у господина в очках. Тот побледнел, потом покраснел и с удивлением поглядел на прочих интеллигентов, те — на него.

— Вы забываетесь, милостивый государь! — вспыхнул он.— Вы обращаете читальню в кабак, вы позволяете себе бесчинствовать, вырывать из рук газеты! Я не позволю! Вы не знаете, с кем имеете дело, милостивый государь! Я директор банка Жестяков!..

— А плевать мне, что ты — Жестяков! А газете твоей вот какая честь...

Мужчина поднял газету и изорвал ее в клочки.

— Господа, что же это такое? — пробормотал Жестяков, обомлев.— Это странно, это... это даже сверхъестественно...

— Они рассердившись,— засмеялся мужчина.— Фу-ты, ну-ты, испугался! Даже поджилки трясутся.

Вот что, господа почтенные! Шутки в сторону, разговаривать с вами мне не охотно... Потому, как я желаю остаться тут с мамзелями один и желаю себе тут удовольствие доставить, то прошу не претикословить и выйти... Пожалуйте-с! Господин Белебухин, выходи к свиньям собачьим! Что рыло наморщил? Говорю, выходи, стало быть и выходи! Живо у меня, а то гляди, не ровен час, как бы в шею не влетело!

— То есть как же это? — спросил казначей сиротского суда Белебухин, краснея и пожимая плечами.— Я даже не понимаю... Какой-то нахал врывается сюда и... вдруг этикие вещи!

— Какое это такое слово нахал? — крикнул мужчина с павлиньими перьями, рассердившись, и стукнул кулаком по столу, так что на подносе запрыгали стаканы.— Кому ты говоришь? Ты думаешь, как я в маске, так ты можешь мне разные слова говорить? Перец ты этакий! Выходи, коли говорю! Директор банка, проваливай подобру-поздорову! Все уходите, чтоб ни одной шельмы тут не оставалось! Айда, к свиньям собачьим!

— А вот мы сейчас увидим! — сказал Жестяков, у которого даже очки вспотели от волнения.— Я покажу вам! Эй, позови-ка сюда дежурного старшину!

Через минуту вошел маленький рыженький старшина с голубой ленточкой на лацкане, запыхавшийся от танцев.

— Прошу вас выйти! — начал он.— Здесь не место пить! Пожалуйте в буфет!

— Ты откуда это выскочил? — спросил мужчина в маске.— Нешто я тебя звал?

— Прошу не тыкать, а извольте выйти!

— Вот что, милый человек: даю тебе минуту сроку... Потому, как ты старшина и главное лицо, то вот выведи этих артистов под ручки. Мамзелям моим не ндравится, ежели здесь есть кто посторонний... Они стесняются, а я за свои деньги желаю, чтобы они были в натуральном виде.

— Очевидно, этот самодур не понимает, что он не в хлеву! — крикнул Жестяков.— Позвать сюда Евстрата Спиридоныча!

— Евстрат Спиридоныч! — понеслось по клубу.—
Где Евстрат Спиридоныч?

Евстрат Спиридоныч, старик в полицейском мундире, не замедлил явиться.

— Прошу вас выйти отсюда! — прохрипел он, выпучивая свои страшные глаза и шевеля нафабреными усами.

— А ведь испугал! — проговорил мужчина и захохотал от удовольствия.— Ей-ей, испугал! Бывают же такие страсти, побей меня бог! Усы, как у кота, глаза вытаращил... Хе-хе-хе!

— Прошу не рассуждать! — крикнул изо всей силы Евстрат Спиридоныч и задрожал.— Выйди вон! Я прикажу тебя вывести!

В читальне поднялся невообразимый шум. Евстрат Спиридоныч, красный как рак, кричал, стуча ногами. Жестяков кричал. Белебухин кричал. Кричали все интеллигенты, но голоса всех их покрывал низкий, густой, придушенный бас мужчины в маске. Танцы благодаря всеобщей сумятице прекратились, и публика повалила из зала к читальне.

Евстрат Спиридоныч для внушительности позвал всех полицейских, бывших в клубе, и сел писать протокол.

— Пиши, пиши,— говорила маска, тыча пальцем ему под перо.— Теперь что же со мной, с бедным, будет? Бедная моя головушка! За что же губите вы меня, сиротинушку? Ха-ха! Ну, что ж? Готов протокол? Все расписавшись? Ну, теперь глядите!.. Раз... два... три!!

Мужчина поднялся, вытянулся во весь рост и сорвал с себя маску. Открыв свое пьяное лицо и поглядев на всех, любуясь произведенным эффектом, он упал в кресло и радостно захохотал. А впечатление действительно произвел он необыкновенное. Все интеллигенты растерянно переглянулись и побледнели, некоторые почесали затылки. Евстрат Спиридоныч крикнул, как человек, сделавший нечаянно большую глупость.

В буяне все узнали местного миллионера, фабриканта, потомственного почетного гражданина Пятиго-

рова, известного своими скандалами, благотворительностью и, как не раз говорилось в местном вестнике,— любовью к просвещению.

— Что ж, уйдете или нет? — спросил Пятигоров после минутного молчания.

Интеллигенты молча, не говоря ни слова, вышли на цыпочках из читальни, и Пятигоров запер за ними двери.

— Ты же ведь знал, что это Пятигоров! — хрипел через минуту Евстрат Спиридоныч вполголоса, трясая за плечо лакея, вносившего в читальню вино.— Отчего ты молчал?

— Не велели сказывать-с!

— Не велели сказывать... Как засажу я тебя, анафему, на месяц, так тогда будешь знать «не велели сказывать». Вон!! А вы-то хороши, господа,— обратился он к интеллигентам.— Бунт подняли! Не могли выйти из читальни на десять минуток! Вот теперь и расхлебывайте кашу. Эх, господа, господа... Не люблю, ей-богу!

Интеллигенты заходили по клубу унылые, потерянные, виноватые, шепчась и точно предчувствуя что-то недоброе... Жены и дочери их, узнав, что Пятигоров «обижен» и сердится, притихли и стали расходиться по домам. Танцы прекратились.

В два часа из читальни вышел Пятигоров; он был пьян и пошатывался. Войдя в залу, он сел около оркестра и задремал под музыку, потом печально склонил голову и захрапел.

— Не играйте! — замахали старшины музыкантам.— Тсс!.. Егор Нилыч спит...

— Не прикажете ли вас домой проводить, Егор Нилыч? — спросил Белебухин, нагнувшись к уху миллионера.

Пятигоров сделал губами так, точно хотел сдунуть со щеки муху.

— Не прикажете ли вас домой проводить,— повторил Белебухин,— или сказать, чтоб экипажик подали?

— А? Ково? Ты... чево тебе?

— Проводить домой-с... Баиньки поре...

— До-домой желаю... Прроводи!

Белебухин просиял от удовольствия и начал поднимать Пятигорова. К нему подскочили другие интеллигенты и, приятно улыбаясь, подняли потомственного почетного гражданина и осторожно повели к экипажу.

— Ведь этак одурачить целую компанию может только артист, талант,— весело говорил Жестяков, подсаживая его.— Я буквально поражен, Егор Нилыч! До сих пор хохочу... Ха-ха... А мы-то кипятимся, хлопчем! Ха-ха! Верите? и в театрах никогда так не смеялся... Бездна комизма! Всю жизнь буду помнить этот незапамятный вечер!

Проводив Пятигорова, интеллигенты повеселели и успокоились.

— Мне руку подал на прощанье,— проговорил Жестяков, очень довольный.— Значит, ничего, не сердится...

— Дай-то бог! — вздохнул Евстрат Спиридоныч.— Негодяй, подлый человек, но ведь — благодетель!.. Нельзя!..

В ПРИЮТЕ ДЛЯ НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНЫХ И ПРЕСТАРЕЛЫХ

Каждую субботу вечером гимназистка Саша Енякина, маленькая золотушная девочка в порванных башмаках, ходит со своей мамой в «N—ский приют для неизлечимо больных и престарелых». Там живет ее родной дедушка Парфений Саввич, отставной гвардии поручик. В дедушкиной комнате душно и пахнет деревянным маслом. На стенах висят нехорошие картины: вырезанная из «Нивы» купальщица, нимфы, греющиеся на солнце, мужчина с цилиндром на затылке, глядящий в щелку на нагую женщину, и проч. В углах паутина, на столе крошки и рыбная чешуя... Да и сам дедушка непривлекателен на вид. Он стар, горбат и неаккуратно нюхает табак. Глаза его слезятся, беззубый рот вечно открыт. Когда входит Саша с матерью, дедушка улыбается, и эта его улыбка бывает похожа на большую морщину.

— Ну, что? — спрашивает дедушка подходящую к ручке Сашу. — Что твой отец?

Саша не отвечает. Мама начинает молча плакать.

— Все еще по трактирам на фортепьянах играет? Так, так... Все это от непослушания, от гордыни... На твоей вот этой матери женился и... дурак вышел... Да... Дворянин, сын благородного отца, а женился на «тьфу», на ней вот... на актрисе, Сережкиной дочке... Сережка у меня в кларнетистах был и конюшни чистил... Реви, реви, матушка! Я правду говорю... Хамка была, хамка и есть!..

Саша, глядя на мать, Сережкину дочь и актрису, тоже начинает плакать. Наступает тяжелая, жуткая

пауза... Старичок с деревянной ногой вносит маленький самоварчик из красной меди. Парфений Саввич сыплет в чайник щепотку какого-то странного, очень крупного и очень серого чаю и заваривает.

— Пейте! — говорит он, наливая три большие чашки.— Пей, актриса!

Гости берут в руки чашки... Чай скверный, отдает плесенью, а не пить нельзя: дедушка обидится... После чая Парфений Саввич сажает к себе на колени внучку и, глядя на нее с слезливым умилением, начинает ласкать...

— Ты, внучка, знатной фамилии... Не забывай... Кровь наша не актерская какая-нибудь... Ты не гляди, что я в убожестве, а отец твой по трактирам на фортепьянах трамблянит. Отец твой по дикости, по гордыне, а я по бедности, но мы важные... Спросикася, кем я был! Удивишься!

И дедушка, глядя костлявой рукой Сашину голловку, рассказывает:

— У нас во всей губернии было только три великих человека: граф Егор Григорьич, губернатор и я. Мы были наипервейшие и наиглавнейшие... Богат я, внучка, не был... Всего-навсего было у меня паршивой землицы десятын тысяч пять да смертных душ шестьсот — и больше ни шута. Не имел я ни связей с полководцами, ни родни знатной. Не был я ни писателем, ни Рафаэлем каким-нибудь, ни философом... Человек, как человек, одним словом... А между тем — слушай, внучка! — ни перед кем шапки не ломал, губернатора Васей звал, преосвященному руку пожимал и графу Егору Григорьичу наипервейший друг был. А все потому, что жить умел в просвещении, в европейском образе мыслей...

После длинного предисловия дедушка рассказывает о своем прошлом житье-бытье... Говорит он долго, с увлечением.

— Баб обыкновенно на горох на колени ставил, чтоб морщились,— бормочет он, между прочим.— Баба морщится, а мужику смешно... Мужики смеются, ну, и сам засмеешься, и весело тебе станет... Для грамотных у меня было другое наказание, помягче.

Или выучить наизусть счетную книгу заставлю, или же прикажу взлезть на крышу и читать отсюда вслух «Юрия Милославского», да читать так, чтоб мне в комнатах слышно было... Коли духовное не действовало, действовало телесное..

Рассказав о дисциплине, без которой, по его словам, «человек подобен теории без практики», он замечает, что наказанию нужно противопоставлять награждения.

— За очень отважные поступки, как, например, за поимку вора, жаловал я хорошо: стариков на молоденьких женил, молодых от рекрутчины освобождал и проч.

Веселился во время оно дедушка так, как «теперь никто не веселится».

— Музыкантов и певчих было у меня, несмотря на скудость средств моих, шестьдесят человек. Музыкой заведовал у меня жид, а певческой — дьякон-расстрига... Жид был большой музыкант... Черт так не сыграет, как он, проклятый, играл. На контрабасе, бывало, выводил, шельма, такие экивоки, каких Рубинштейн или Бетховен, положим, и на скрипке не выведет... Учился нотам он за границей, жарил на всех инструментах и рукой махать был мастер. Только один недостаток был в нем: тухлой рыбой вонял, да своим безобразием декорацию портил. Во время праздников приходилось его по этой причине за ширмочку ставить... Расстрига тоже не дурак был. И ноты знал и повелевать умел. Дисциплина у него была на такой точке, что даже я удивлялся. Он всего достигал. Бас у него иной раз дишкантом пел, баба в толстоголосии с басами равнялась... Мастер был, разбойник... Видом был важный, сановитый... Пьянствовал только сильно, но ведь это, внучка, кому как... Кому вредно, а кому и пользительно. Певчему надо пить, потому — от водки голос гуще становится... Жиду я платил в год сто рублей ассигнациями, а расстриге ничего не платил... Жил он у меня на одних только харчах и жалованье натурой получал: крупой, мясом, солью, девочками, дровами и проч. Жилось ему у меня, как коту, хоть и частенько порол я его на воз-

дусях... Помню, раз разложил я его и Сережку, ее вот отца, отца твоей матери, и...

Саша вдруг вскакивает и прижимается к матери, которая бледна как полотно и слегка дрожит...

— Мама, пойдем домой... Мне страшно!

— Чего тебе, внучка, страшно?

Дедушка подходит к внучке, но та отворачивается от него, дрожит и сильнее жметесь к матери.

— У нее, должно быть, головка болит,— говорит извиняющимся голосом мать.— Пора уж ей спать... Прощайте...

Перед уходом Сашина мать подходит к дедушке и, красная, шепчет ему что-то на ухо.

— Не дам! — бормочет дедушка, хмуря брови и шамкая губами.— Ни копейки не дам! Пусть отец достает ей на башмаки в своих трактирах, а я ни копейки... Будет вас баловать! Вам благодетельствуешь, а от вас, кроме дерзких писем, ничего не видишь. Чай, знаешь, какое письмо прислал мне наемни твой муженек... «Скорей, пишет, по трактирам буду шататься да крохи подбирать, чем перед Плюшкиным унижаться...» А? Это отну-то родному!

— Но вы его простите,— просит Сашина мать.— Он так несчастлив, так нервен...

Долго просит она. Наконец дедушка гневно плюет, открывает сундучок и, загоравшаяся его всем туловищем, достает оттуда желтую, сильно помятую бумажку... Женщина берет двумя пальцами бумажку и, словно боясь опачкаться, быстро сует ее в карман... Через минуту она и дочка быстро шагают из темных ворот приюта.

— Мама, не води меня к дедушке! — дрожит Саша.— Он страшный.

— Нельзя, Саша... Надо ходить... Если мы не будем ходить, то нам нечего будет есть... Отцу твоему негде достать. Он болен и... пьет.

— Зачем он пьет, мама?

— Несчастный, оттого и пьет... Ты же смотри, Саша, не говори ему, что мы к дедушке ходили... Он рассердится и будет от этого много кашлять... Он гордец и не любит, чтобы мы просили... Не скажешь?

О ДРАМЕ

Сценна

Два друга, мировой судья Полуехтов и полковник генерального штаба Финтифлеев, сидели за приятельской закуской и рассуждали об искусствах.

— Я читал Тэна, Лессинга... да мало ли чего я читал? — говорил Полуехтов, угощая своего друга кахетинским. — Молодость провел я среди артистов, сам пописывал и многое понимаю... Знаешь? Я не художник, не артист, но у меня есть нюх этот, чутье! Сердце есть! Сразу, брат, разберу, ежели где фальшь или неестественность. Меня не надуешь, будь ты хоть Сара Бернар или Сальвини! Сразу пойму, ежели что-нибудь этакое... фокус какой-нибудь. Да ты чего же не ешь? Ведь у меня больше ничего не будет!

— Я уже наелся, брат, спасибо... А что драма наша, как ты говоришь, пала, так это верно... Сильно пала!

— Конечно! Да ты посуди, Филя! Нынешний драматург и актер стараются, как бы это попонятнее для тебя выразиться... стараются быть жизненными, реальными... На сцене ты видишь то, что ты видишь в жизни... А разве нам это нужно? Нам нужна экспрессия, эффект! Жизнь тебе и так уж надоела, ты к ней пригляделся, привык, тебе нужно такое... этакое, что бы все твои нервы повыдергало, внутренности переворотило! Прежний актер говорил неестественным грубоватым голосом, бил себя кулачищем по груди, орал,

сквозь землю проваливался, но зато он был экспрессивен! И в словах его была экспрессия! Он говорил о долге, о гуманности, о свободе... В каждом действии ты видел самоотвержение, подвиги человеколюбия, страдания, бешеную страсть! А теперь?! Теперь, видишь ли, нам нужна жизненность... Глядишь на сцену и видишь... пф!.. и видишь поганца какого-нибудь... жулика, червяка в порванных штанах, говорящего ерунду какую-нибудь... Шпажинский или какой-нибудь там Невежин считают этого паршивца героем, а я бы — ей-богу, досадно! — попадись он мне в мою камеру, взял бы его, прохвоста, да, знаешь, по сто девятнадцатой статье, по внутреннему убеждению, месяца, этак, на три, на четыре!..

Послышался звонок... Полуехтов, вставший было, чтобы нервно зашагать из угла в угол, опять сел... В комнату вошел маленький, краснощекий гимназист в шинели и с ранцем на спине... Он робко подошел к столу, шаркнул ножкой и подал Полуехтову письмо.

— Кланялась вам, дяденька, мамаша, — сказал он, — и велела передать вам это письмо.

Полуехтов распечатал конверт, надел очки, громко просопел и принялся за чтение.

— Сейчас, душенька! — сказал он, прочитав письмо и поднимаясь. — Пойдем... Извини, Филя, я оставлю тебя на секундочку.

Полуехтов взял гимназиста за руку и, подбирая полы своего халата, повел его в другую комнату. Через минуту полковник услышал странные звуки. Детский голос начал о чем-то умолять... Мольбы скоро сменились визгом, а за визгом последовал душу раздирающий рев.

— Дяденька, я не буду! — услышал полковник. — Голубчикек, я не буду! А-я-я-я-й! Родненький, не буду!

Странные звуки продолжались минуты две... Засим все смолкло, дверь отворилась, и в комнату вошел Полуехтов. За ним, застегивая пальто и сдерживая рыдания, шел гимназист с заплаканным лицом. Застегнув пальто, мальчик шаркнул ножкой, вытер рукавом глаза и вышел. Послышался звук запираемой двери...

— Что это у тебя сейчас было? — спросил Финтифлеев.

— Да вот сестра просила в письме посечь мальчишку.. Двойку из греческого получил...

— А ты чем порешь?

— Ремнем... самое лучшее... Ну, так вот... на чем я остановился? Прежде, бывало, сидишь в кресле, глядишь на сцену и чувствуешь! Сердце твое работает, кипит! Ты слышишь гуманные слова, видишь гуманные поступки... видишь, одним словом, прекрасное и... веришь ли?.. я плакал! Бывало, сижу и плачу, как дурак. «Чего ты, Петя, плачешь?» — спрашивает, бывало, жена. А я и сам не знаю, отчего я плачу... На меня, вообще говоря, сцена действует воспитывающе... Да, откровенно говоря, кого не трогает искусство? Кого оно не облагораживает? Кому, как не искусству, мы обязаны присутствием в нас высоких чувств, каких не знают дикари, не знали наши предки! У меня вот слезы на глазах... Это хорошие слезы, и не стыжусь я их! Выпьем, брат! Да процветают искусства и гуманность!

— Выпьем... Дай бог, чтоб наши дети так умели чувствовать, как мы... чувствуем...

Прятели выпили и заговорили о Шекспире.

И ПРЕКРАСНОЕ ДОЛЖНО ИМЕТЬ ПРЕДЕЛЫ

В записной книжке одного мыслящего коллежского регистратора, умершего в прошлом году от испуга, было найдено следующее:

Порядок вещей требует, чтобы не только злое, но даже и прекрасное имело пределы. Поясню примерами.

Даже самая прекрасная пища, принятая через меру, производит в желудке боль, икоту и чревоущание.

Лучшим украшением человеческой головы служат волосы. Но кто не знает, что сии самые волосы, будучи длинны (не говорю о женщинах), служат признаком, по коему узнаются умы легкомысленные и вредоносные?

Один чиновник, сын благочестивых и добронравных родителей, считал за большое удовольствие снимать перед старшими шапку. Это прекрасное качество его души особенно бросалось в глаза, когда он нарочно ходил по городу и искал встречи со старшими только для той цели, чтобы лишний раз снять перед ними шапку и тем воздать должное. Натура его была до того почтительная и уважительная, что он снимал шапку не только перед своим непосредственным и косвенным начальством, но даже и перед старшими возрастом. Следствием такого благородства души его было то, что ему каждую секунду приходилось обнажать свою голову. Однажды, встретясь в одно зимнее,

холодное утро с племянником частного пристава, он снял шапку, застудил голову и умер без покаяния. Из этого явствует, что быть почтительным необходимо, но в пределах умеренности.

Не могу также умолчать и про науку. Наука имеет многие прекрасные и полезные качества, но вспомните, сколько зла приносит она, ежели предающийся ей человек переходит границы, установленные нравственностью, законами природы и прочим? Горе тому, который... Но умолчу лучше...

Фельдшер Егор Никитыч, лечивший мою тетеньку, любил во всем точность, аккуратность и правильность — качества, достойные души возвышенной. На всякое действие и на всякий шаг у него были нарочитые правила, опытом установленные, а в исполнении сих правил он отличался примерным постоянством. Однажды, придя к нему в пять часов утра, я разбудил его и, имея на лице написанную скорбь, воскликнул:

— Егор Никитыч, поспешите к нам! Тетенька истекает кровью!

Егор Никитыч встал, надел сапоги и пошел в кухню умываться. Умывшись с мылом и почистивши зубы, он причесался перед зеркалом и начал надевать брюки, предварительно почистив их и разгладив руками. Затем он почистил щеткой сюртук и жилетку, завел часы и аккуратно прибрал свою постель. Покончив с постелью, он, как бы давая мне урок аккуратности, стал пришивать к пальто сорвавшуюся пуговку.

— Кровью истекает! — повторил я, изнемогая от понятного нетерпения.

— Сию минуту-с... Только вот богу помолюсь.

Егор Никитыч стал перед образами и начал молиться.

— Я готов... Только вот пойду на улицу, погляжу, какие надевать калоши — глубокие или мелкие?

Когда наконец мы вышли из его дома, он запер свою дверь, помолился набожно на восток и всю дорогу, идя тихо по тротуару, старался ступать на гладкие камни, боясь испортить обувь. Придя к нам, мы те-

тушку в живых уже не застали. Стало быть, и пунктуальность должна иметь пределы.

Писание, по-видимому, занятие прекрасное. Оно обогащает ум, набивает руку и облагораживает сердце. Но много писать не годится. И литература должна иметь предел, ибо многое писание может произвести соблазн. Я, например, пишу эти строки, а дворник Евсей подходит к моему окну и подозрительно поглядывает на мое писание. В его душу я заронил сомнение. Спешу потушить лампу.

БРАК ПО РАСЧЕТУ

Роман в двух частях

Часть первая

В доме вдовы Мырриной, что в Пятисобачьем переулке, свадебный ужин. Ужинает двадцать три человека, из коих восемь ничего не едят, клюют носом и жалуются, что их «мутит». Свечи, лампы и хромая люстра, взятая напрокат из трактира, горят до того ярко, что один из гостей, сидящих за столом, телеграфист, кокетливо щурит глаза и то и дело заговаривает об электрическом освещении — ни к селу ни к городу. Этому освещению и вообще электричеству он пророчит блестящую будущность, но тем не менее ужинающие слушают его с некоторым пренебрежением.

— Электричество... — бормочет посаженный отец, тупо глядя в свою тарелку. — А по моему взгляду, электрическое освещение одно только жульничество. Всунут туда уголек и думают глаза отвести! Нет, брат, уж ежели ты даешь мне освещение, то ты давай не уголек, а что-нибудь существенное, этакое что-нибудь зажигающее, чтобы было за что взяться! Ты давай огня — понимаешь? — огня, который натуральный, а не умственный.

— Ежели бы вы видели электрическую батарею, из чего она составлена, — говорит телеграфист, рисуясь, — то вы иначе бы рассуждали.

— И не желаю видеть. Жульничество... Народ простой надувают... Соки последние выжимают. Знаем мы их, этих самых... А вы, господин молодой человек, —

не имею чести знагь вашего имени-отчества,— чем за жульничество вступаться, лучше бы выпили и другим налили.

— Я с вами, папаша, вполне согласен,— говорит хриплым тенором жених Апломбов, молодой человек с длинной шеей и щетинистыми волосами.— К чему заводить ученые разговоры? Я не прочь и сам поговорить о всевозможных открытиях в научном смысле, но ведь на это есть другое время! Ты какого мнения, машер?¹— обращается жених к сидящей рядом невесте.

Невеста Дашенька, у которой на лице написаны все добродетели, кроме одной — способности мыслить, вспыхивает и говорит:

— Они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном.

— Слава богу, прожили век без образования и вот уж, благодарить бога, третью дочку за хорошего человека выдаем,— говорит с другого конца стола мать Дашеньки, вздыхая и обращаясь к телеграфисту.— А ежели мы, по-вашему, выходим необразованные, то зачем вы к нам ходите? Шли бы к своим образованным!

Наступает молчание. Телеграфист сконфужен. Он никак не ожидал, что разговор об электричестве примет такой странный оборот. Наступившее молчание имеет характер враждебный, кажется ему симптомом всеобщего неудовольствия, и он находит нужным оправдаться.

— Я, Татьяна Петровна, всегда уважал ваше семейство,— говорит он,— а ежели я насчет электрического освещения, так это еще не значит, что я из гордости. Даже вот выпить могу... Я всегда от всех чувств желал Дарье Ивановне хорошего жениха. В наше время, Татьяна Петровна, трудно выйти за хорошего человека. Нынче каждый норовит вступить в брак из-за интереса, из-за денег...

— Это намек! — говорит жених, багровея и мигая глазами.

¹ дорогая? (от франц.— ma chère)

— И никакого тут нет намека,— говорит телеграфист, несколько струсив.— Я не говорю о присутствующих. Это я так... вообще... Помилуйте!.. Все знают, что вы из любви... Приданое пустяшное...

— Нет, не пустяшное! — обижается Дашенькина мать.— Ты говори, сударь, да не заговаривайся! Кроме того, что мы тысячу рублей, мы три салопа даем, постелю и вот эту всю мебель! Поди-кась найди в другом месте такое приданое!

— Я ничего... Мебель действительно хорошая... но я в том смысле, что вот они обижаются, будто я намекнул...

— А вы не намекайте,— говорит невестина мать.— Мы вас по вашим родителям почитаем и на свадьбу пригласили, а вы разные слова... А ежели вы знали, что Егор Федорыч из интереса женится, то что же вы раньше молчали? Пришли бы, да и сказали по-родственному: так и так, мол, на интерес польстился... А тебе, батюшка, грех! — обращается вдруг невестина мать к жениху, слезливо мигая глазами.— Я ее, может, вскормила, вспоила... берегла пуще алмаза изумрудного, дочку мою, а ты... ты из интереса...

— И вы поверили клевете? — говорит Апломбов, вставая из-за стола и нервно теребя свои щетинистые волосы.— Покорнейше вас благодарю! Мерси за такое мнение! А вы, господин Блинчиков,— обращается он к телеграфисту,— вы хоть и знакомый мне, но я не позволю вам такие безобразия строить в чужом доме! Позвольте вам быйти вон!

— То есть как?

— Позвольте вам выйти вон! Желаю, чтобы и вы были таким честным человеком, как я! Одним словом, позвольте вам выйти вон!

— Да оставь! Будет тебе! — осаживают жениха его приятели.— Ну, стоит ли? Садись! Оставь!

— Нет, я желаю показать, что он не имеет никакой полной правы! Я по любви вступил в законный брак. Чего же вы сидите, не понимаю! Позвольте вам выйти вон!

— Я ничего... Я ведь... — говорит ошеломленный телеграфист, поднимаясь из-за стола.— Не понимаю да-

же... Извольте, я уйду... Только вы отдайте мне сначала три рубля, что вы у меня на пикейную жилетку заняли. Выпью вот еще и... уйду, только вы сначала долг отдайте.

Жених долго шепчется со своими приятелями. Те по мелочам дают ему три рубля, он с негодованием бросает их телеграфисту, и последний, после долгих поисков своей форменной фуражки, раскланивается и уходит.

Так иногда может кончиться невинный разговор об электричестве! Но вот кончается ужин... Наступает ночь. Благовоспитанный автор надевает на свою фантазию крепкую узду и накидывает на текущие события темную вуаль таинственности.

Розоперстая Аврора застаёт еще Гименея в Пятисобащем переулке, но вот настает серое утро и дает автору богатый материал для

Части второй и последней

Серое осеннее утро. Еще нет и восьми часов, а в Пятисобащем переулке необычайное движение. По тротуарам бегают встревоженные городовые и дворники; у ворот толпятся озябшие кухарки с выражением крайнего недоумения на лицах... Во все окна глядят обыватели. Из открытого окна прачечной, нажимая друг друга висками и подбородками, глядят женские головы.

— Не то снег, не то... и не разберешь, что оно такое,— слышатся голоса.

В воздухе от земли до крыш кружится что-то белое, очень похожее на снег. Мостовая бела, уличные фонари, крыши, дворничьи скамьи у ворот, плечи и шапки прохожих — все бело.

— Что случилось? — спрашивают прачки у бегущих дворников.

Те в ответ машут руками и бегут дальше... Они и сами не знают, в чем дело. Но вот наконец медленно проходит один дворник и, беседуя сам с собой,

жестикულიрует руками. Очевидно, он побывал на месте происшествия и знает все.

— Что, родименький, случилось? — спрашивают у него прачки из окна.

— Неудовольствие, — отвечает он. — В доме Мырриной, что вчера была свадьба, жениха обсчитали. Вместо тысячи — девятьсот дали.

— Ну, а он что?

— Осерчал. Я, говорит, того, говорит... Распорол в сердцах перину и выпустил пух в окно... Ишь сколько пуху! Снег словно!

— Ведут! Ведут! — слышатся голоса. — Ведут!

От дома вдовы Мырриной движется процессия. Впереди идут два городских с озабоченными лицами... Сзади них шагает Апломбов в триковом пальто и в цилиндре. На лице у него написано: «Я честный человек, но надувать себя не позволю!»

— Ужо правосудие покажет вам, что я за человек! — бормочет он, то и дело оборачиваясь.

За ним идут плачущие Татьяна Петровна и Дашенька. Шествие замыкается дворником с книгой и толпой мальчишек.

— О чем плачешь, молодуха? — обращаются прачки к Дашеньке.

— Перины жалко! — отвечает за нее мать. — Три пуда, голубчики! И пух-то ведь какой! Пушинка к пушинке — ни одного перышка! Наказал бог на старости лет!

Процессия поворачивает за угол, и Пятисобачий переулочок успокаивается. Пух летает до вечера.

ГОСПОДА ОБЫВАТЕЛИ

Пьеса в двух действиях

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Городская управа. Заседание.

Городской голова (*почавкав губами и медленно поковыряв у себя в ухе*). В таком разе, не угодно ли вам будет, господа, выслушать мнение брендмейстера Семена Вавильча, который по этой части специалист? Пускай объяснит, а там мы рассудим!

Брендмейстер. Я так понимаю... (*Сморкается в клетчатый платок.*) Десять тысяч, ассигнованные на пожарную часть, может быть, и большие деньги, но... (*вытирает лысину*) это одна только видимость. Это не деньги, а мечта, атмосфера. Конечно, и за десять тысяч можно иметь пожарную команду, но какую? Один смех только! Видите ли... Самое важное в жизни человеческой — это каланча, и всякий ученый вам это скажет. Наша же городская каланча, рассуждая категорически, совсем не годится, потому что мала. Дома высокие (*поднимает вверх руку*), они кругом загораживают каланчу, и не только что пожар, но дай бог хоть небо увидеть. Я взыскиваю с пожарных, но разве они виноваты, что им не видно? Потом в отношении лошадином и в рассуждении бочек... (*Расстегивает жилетку, вздыхает и продолжает речь в том же духе.*)

Г л а с н ы е (*единогласно*). Прибавить сверх сметы еще две тысячи!

Городской голова делает минутный перерыв для вывода из залы заседания корреспондента.

Брендмейстер. Хорошо-с. Теперь, стало быть, вы рассуждаете, чтобы каланча была возвышена на

два аршина... Хорошо. Но ежели взглянуть с той точки и в том смысле, что тут заинтересованы общественные, так сказать, государственные интересы, то я должен заметить, господа гласные, что если за это дело возьмется подрядчик, то я должен вам иметь в виду, что это обойдется городу вдвое дороже, так как подрядчик будет соблюдать тут свой интерес, а не общественный. Если же строить хозяйственным способом, не спеша, то ежели кирпич, положим, по пятнадцати рублей за тысячу и доставка на пожарных лошадах и ежели... (*поднимает глаза к потолку, как бы мысленно считая*) и ежели пятьдесят двенадцатиаршинных бревен в пять вершков... (*Считает.*)

Г л а с н ы е (*подавляющим большинством голосов*). Поручить ремонт каланчи Семену Вавилычу, для какой цели ассигновать на первый раз тысячу пятьсот двадцать три рубля сорок четыре копейки!

Б р а н д м е й с т е р ш а (*сидит среди публики и шепчет соседке*). Не знаю, зачем это мой Сеня берет на себя столько хлопот! С его ли здоровьем заниматься постройками? Тоже, это весело — целый день рабочих по зубам бить! Наживет на ремонт какой-нибудь пустяк, рублей пятьсот, а здоровья себе испортит на тысячу. Губит его, дурака, доброта!

Б р а н д м е й с т е р. Хорошо-с. Теперь будем говорить о служебном персонале. Конечно, я, как лицо, можно сказать, заинтересованное (*конфузится*), могу только заметить, что мне... мне все равно... Я человек уже не молодой, больной, не сегодня-завтра могу умереть. Доктор сказал, что у меня во внутренностях затвердение и что если я не буду оберегать своего здоровья, то внутри во мне лопнет жила и я помру без покаяния...

Шепот в публике. Собаке собачья и смерть.

Б р а н д м е й с т е р. Но я о себе не хлопочу. Пожил я, и слава богу. Ничего мне не нужно... Только мне удивительно и... и даже обидно... (*Машет безнадежно рукой.*) Служишь за одно только жалованье, честно, беспорочно... ни днем, ни ночью покою, не щадишь здоровья, и... и не знаешь, к чему все это? Для чего хлопочу? Какой интерес? Я не про себя рассуж-

даю, а вообще. Другой не станет жить при таком иждивении... Пьяница пойдет на эту должность, а человек дельный, солидный скорее с голоду помрет, чем за такое жалованье станет тут хлопотать с лошадьми да с пожарными... *(Пожав плечами.)* Какой интерес? Если бы увидели иностранцы, какие у нас порядки, то, я думаю, досталось бы нам на орехи во всех зарубежных газетах. В Западной Европе, взять хоть, например, Париж, на каждой улице по каланче, и брендмейстерам ежегодно выдают пособие в размере годового жалованья. Там можно служить!

Г л а с н ы е. Выдать Семену Вавилычу в виде единовременного пособия за долголетнюю службу двести рублей!

Б р а н д м е й с т е р ш а *(шепчет соседке)*. Это хорошо, что он выпросил... Умник. Намедни мы были у отца протопоба, проиграли у него в стуколку сто рублей, и теперь, знаете ли, так жалко! *(Зевает.)* Ах, так жалко! Пора бы уж домой идти чай пить.

Д Е Й С Т В И Е В Т О Р О Е

Сцена у каланчи. Стража.

Часовой на каланче *(кричит вниз)*. Эй! На лесопильном дворе горит! Бей тревогу!

Часовой внизу. А ты только сейчас увидел? Народ уж полчаса как бежит, а ты, чудак, только сейчас спохватился? *(Глубокомысленно.)* Дурака хоть наверху поставь, хоть внизу — все равно. *(Бьет тревогу.)*

Через три минуты в окне своей квартиры, находящейся против каланчи, показывается брендмейстер в дезабилье и с закрытыми глазами.

Б р а н д м е й с т е р. Где горит, Денис?

Часовой внизу *(вытягивается и делает подковырек)*. На лесопильном дворе, вашескородие!

Б р а н д м е й с т е р *(покачивает головой)*. Упаси бог! Ветер дует, сушь такая... *(Машет рукой.)* И не

дай бог! Горе, да и только с этими несчастьями!..
(*Погладив себя по лицу.*) Вот что, Денис... Скажи им, братец ты мой, чтоб запрягали и ехали себе, а я сейчас... немного погодя приеду... Одеться надо, то да се...

Часовой внизу. Да некому ехать, вашескородие! Все поуходили, один Андрей дома.

Брандмейстер (*испуганно*). Где же они, мерзавцы?

Часовой внизу. Макар новые подметки ставил, теперь сапоги понес в слободку, к дьякону. Михайлу, ваше высокородие, вы сами изволили послать овес продавать... Егор на пожарных лошадях повез за реку надзирателю свояченицу, Никита выпивши.

Брандмейстер. А Алексей?

Часовой внизу. Алексей пошел раков ловить, потому вы изволили ему давеча приказать, говорили, что завтра у вас к обеду гости будут.

Брандмейстер (*презрительно покачав головой*). Изволь вот служить с таким народом! Невежество, необразованность... пьянство... Если бы увидели иностранцы, то досталось бы нам в заграничных журналах! Там, взять хоть Париж, пожарная команда все время скачет по улице, народ давит; есть пожар или нет, а ты скачи! Тут же горит лесопильный двор, опасность, а их никого дома нет, словно... черт их слопал! Нет, далеко еще нам до Европы! (*Поворачивается лицом в комнату, нежно.*) Машенька, приготовь мне мундир!

Он собрал нас к себе в кабинет и голосом, дрожащим от слез, трогательным, нежным, приятельским, но не допускающим возражений, сказал нам речь.

— Я знаю все,— сказал он.— Все! Да! Насквозь вижу. Я давно уже заметил этот, так сказать, э... э... э... дух, атмосферу... дуновение. Ты, Цицюльский, читаешь Щедрина, ты, Спичкин, читаешь тоже что-то такое... Все знаю. Ты, Тупоносов, сочиняешь... твои... статьи там всякие... и вольно держишь себя. Господа! Прошу вас! Прошу вас не как начальник, а как человек... В наше время нельзя так. Либерализм этот должен исчезнуть.

Говорил он в таком роде очень долго. Пронял всех нас, пронял теперешнее направление, похвалил науки и искусства, с оговоркой о пределе и рамках, из конх наукам выходить нельзя, и упомянул о любви матерей... Мы бледнели, краснели и слушали. Душа наша мылась в его словах. Нам хотелось умереть от раскаяния. Нам хотелось облобызать его, пасть ниц... зарыдать... Я глядел в спину архивариуса, и мне казалось, что эта спина не плачет только потому, что боится нарушить общественную тишину.

— Идите! — кончил он.— Я все забыл! Я не злопамятен... Я... я... Господа! История говорит нам... Мне не верите, верьте истории... История говорит нам...

Но увы! Мы не узнали, что говорит нам история. Голос его задрожал, на глазах сверкнули слезы, вспотели очки. В тот же самый момент слышались всхли-

пывания: то рыдал Цицюльский. Спичкин покраснел, как вареный рак. Мы полезли в карманы за платками. Он замигал глазками и тоже полез за платком.

— Идите! — залепетал он плачущим голосом. — Оставьте меня! Оставьте... те... Ммда...

Но увы! Выньте вы из часов маленький винтик, или бросьте вы в них ничтожную песчинку — и остановятся часы. Впечатление, произведенное речью, исчезло, как дым, у самых дверей своего апогея. Апофеоз не удался... и благодаря чему же? Ничтожеству!

Он полез в задний карман и вместе с платком вытащил оттуда какой-то ремешок. Нечаянно, разумеется. Ремешок, маленький, грязненький, закорюзлый, поболтался в воздухе змейкой и упал к ногам архивариуса. Архивариус поднял его обеими руками и с почтительным содроганием во всех членах положил на стол.

— Ремешок-с, — прошептал он.

Цицюльский улыбнулся. Заметив его улыбку, я, и сам того не желая, прыснул в кулак... как дурак, как мальчишка! За мной прыснул Спичкин, за ним Трехкапитанский — и все погибло! Рухнуло здание.

— Ты чего же это смеешься? — услышал я громовой голос.

Батюшки-светы! Гляжу: *его* глаза глядят на меня, только на меня... в упор!

— Где ты находишься? А? Ты в портерной? А? Забываешься? Подавай в отставку! Мне либералов не надо.

У ПОСТЕЛИ БОЛЬНОГО

У постели больного стоят доктора Попов и Миллер и спорят.

Попов. Я, признаться, плохой приверженец консервативного метода.

Миллер. Я, коллега, ничего не говорю вам о консерватизме... Дело ваше верить или не верить, признавать и не признавать... Я говорю о режиме, который следовало бы изменить *in concreto*...¹

Больной. Ох! (*Встает через силу с постели, идет к двери и робко заглядывает в соседнюю комнату.*)
Нынче ведь и стены слышат.

Попов. Он жалуется, что у него в груди теснит... жмет... душит... Не обойтись без сильного возбуждающего...

Больной стонет и робко заглядывает в окно.

Миллер. Но прежде, чем давать возбуждающее, я просил бы вас обратить внимание на его конституцию...

Больной (*побледнев*). Ах, господа, не говорите так громко! Я человек семейный... служащий... Под окнами люди ходят... у меня прислуга... Ах! (*Безнадежно машет рукой.*)

¹ в действительности... (*лат.*)

УСТРИЦЫ

Мне не нужно слишком напрягать память, чтобы во всех подробностях вспомнить дождливые осенние сумерки, когда я стою с отцом на одной из многолюдных московских улиц и чувствую, как мною постепенно овладевает странная болезнь. Боли нет никакой, но ноги мои подгибаются, слова останавливаются поперек горла, голова бессильно склоняется набок... По-видимому, я сейчас должен упасть и потерять сознание.

Попади я в эти минуты в больницу, доктора должны были бы написать на моей доске: *Fames*¹ — болезнь, которой нет в медицинских учебниках.

Возле меня на тротуаре стоит мой родной отец в поношенном летнем пальто и триковой шапочке, из которой торчит белеющий кусочек ваты. На его ногах большие, тяжелые калоши. Суетный человек, боясь, чтобы люди не увидели, что он носит калоши на босую ногу, натянул на голени старые голенища.

Этот бедный, глуповатый чужак, которого я люблю тем сильнее, чем оборваннее и грязнее делается его летнее франтоватое пальто, пять месяцев тому назад прибыл в столицу искать должности по письменной части. Все пять месяцев он шатался по городу, просил дела и только сегодня решился выйти на улицу просить милостыню...

¹ Голод (лат.).

Против нас большой трехэтажный дом с синей вывеской: «Трактир». Голова моя слабо откинута назад и набок, и я поневоле гляжу вверх, на освещенные окна трактира. В окнах мелькают человеческие фигуры. Виден правый бок оркестриона, две олеографии, висячие лампы... Вглядываясь в одно из окон, я усматриваю белеющее пятно. Пятно это неподвижно и своими прямолинейными контурами резко выделяется из общего, темно-коричневого фона. Я напрягаю зрение и в пятне узнаю белую стенную вывеску. На ней что-то написано, но что именно — не видно...

Полчаса я не отрываю глаз от вывески. Свою близкую она притягивает мои глаза и словно гипнотизирует мой мозг. Я стараюсь прочесть, но старания мои тщетны.

Наконец странная болезнь вступает в свои права.

Шум экипажей начинает казаться мне громом, в уличной вони различаю я тысячи запахов, глаза мои в трактирных лампах и уличных фонарях видят ослепительные молнии. Мои пять чувств напряжены и хватают через норму. Я начинаю видеть то, чего не видел ранее.

— Устрицы...— разбираю я на вывеске.

Странное слово! Прожил я на земле ровно восемь лет и три месяца, но ни разу не слышал этого слова. Что оно значит? Не есть ли это фамилия хозяина трактира? Но ведь вывески с фамилиями вешаются на дверях, а не на стенах!

— Папа, что значит устрицы? — спрашиваю я хриплым голосом, сиюсь повернуть лицо в сторону отца.

Отец мой не слышит. Он всматривается в движения толпы и провожает глазами каждого прохожего... По его глазам я вижу, что он хочет сказать что-то проходим, но роковое слово тяжелой гирей висит на его дрожащих губах и никак не может сорваться. За одним проходим он даже шагнул и тронул его за рукав, но когда тот обернулся, он сказал «виноват», сконфузился и попятился назад.

— Папа, что значит устрицы? — повторяю я.

— Это такое животное... Живет в море...

Я мигом представляю себе это неведомое морское животное. Оно должно быть чем-то средним между рыбой и раком. Так как оно морское, то из него готовят, конечно, очень вкусную, горячую уху с душистым перцем и лавровым листом, кисловатую сельанку с хрящиками, раковый соус, холодное с хреном... Я живо воображаю себе, как приносят с рынка это животное, быстро чистят его, быстро суют в горшок... быстро, быстро, потому что всем есть хочется... ужасно хочется! Из кухни несется запах рыбного жаркого и ракового супа.

Я чувствую, как этот запах щекочет мое нёбо, ноздри, как он постепенно овладевает всем моим телом... Трактир, отец, белая вывеска, мои рукава — все пахнет этим запахом, пахнет до того сильно, что я начинаю жевать. Я жую и делаю глотки, словно и в самом деле в моем рту лежит кусок морского животного...

Ноги мои гнутся от наслаждения, которое я чувствую, и я, чтобы не упасть, хватаю отца за рукав и припадаю к его мокрому летнему пальто. Отец дрожит и жмется. Ему холодно...

— Папа, устрицы постные или скоромные? — спрашиваю я.

— Их едят живыми... — говорит отец. — Они в раковинах, как черепахи, но... из двух половинок.

Вкусный запах мгновенно перестает щекотать мое тело, и иллюзия пропадает... Теперь я все понимаю!

— Какая гадость, — шепчу я, — какая гадость!

Так вот что значит устрицы! Я воображаю себе животное, похожее на лягушку. Лягушка сидит в раковине, глядит оттуда большими, блестящими глазами и играет своими отвратительными челюстями. Я представляю себе, как приносят с рынка это животное в раковине, с клешнями, блестящими глазами и со склизкой кожей... Дети все прячутся, а кухарка, брезгливо морщась, берет животное за клешню, кладет его на тарелку и несет в столовую. Взрослые берут его

и едят... едят живьем, с глазами, с зубами, с лапками! А оно пищит и старается укусить за губу...

Я морщусь, но... но зачем же зубы мои начинают жевать? Животное мерзко, отвратительно, страшно, но я ем его, ем с жадностью, боясь разгадать его вкус и запах. Одно животное съедено, а я уже вижу блестящие глаза другого, третьего... Я ем и этих... Наконец ем салфетку, тарелку, калоши отца, белую вывеску... Ем все, что только попадется мне на глаза, потому что я чувствую, что только от еды пройдет моя болезнь. Устрицы страшно глядят глазами и отвратительны, я дрожу от мысли о них, но я хочу есть! Есть!

— Дайте устриц! Дайте мне устриц! — вырывается из моей груди крик, и я протягиваю вперед руки.

— Помогите, господи! — слышу я в это время глухой, придушенный голос отца.— Совестно просить, но — боже мой! — сил не хватает!

— Дайте устриц! — кричу я, теребя отца за фалды.

— А ты разве ешь устриц? Такой маленький! — слышу я возле себя смех.

Перед нами стоят два господина в цилиндрах и со смехом глядят мне в лицо.

— Ты, мальчуган, ешь устриц? В самом деле? Это интересно! Как же ты их ешь?

Помню, чья-то сильная рука тащит меня к освещенному трактиру. Через минуту собирается вокруг толпа и глядит на меня с любопытством и смехом. Я сижу за столом и ем что-то склизкое, соленое, отдающее сыростью и плесенью. Я ем с жадностью, не жуя, не глядя и не осведомляясь, что я ем. Мне кажется, что если я открою глаза, то непременно увижу блестящие глаза, клешни и острые зубы...

Я вдруг начинаю жевать что-то твердое. Слышится хрустенье.

— Ха-ха! Он раковины ест! — смеется толпа.— Дурачок, разве это можно есть?

Засим я помню страшную жажду. Я лежу на своей постели и не могу уснуть от изжоги и странного вкуса,

который я чувствую в своем горячем рту. Отец мой ходит из угла в угол и жестикулирует руками.

— Я, кажется, простудился,— бормочет он.— Что-то такое чувствую в голове... Словно сидит в ней кто-то... А может быть, это оттого, что я не... тово... не ел сегодня... Я, право, странный какой-то, глупый... Вижу, что эти господа платят за устриц десять рублей, отчего бы мне не подойти и не попросить у них несколько... взаймы? Наверное бы дали.

К утру я засыпаю, и мне снится лягушка с клешнями, сидящая в раковине и играющая глазами. В полдень просыпаюсь от жажды и ищу глазами отца: он все еще ходит и жестикулирует...

СВАДЬБА С ГЕНЕРАЛОМ

Рассказ

Отставной контр-адмирал Ревунов-Караулов, маленький, старенький и заржавленный, шел однажды с рынка и нес за жабры живую щуку. За ним двигалась его кухарка Ульяна, держа под мышкой кулек с морковью и пачку листового табаку, который почтенный адмирал употреблял «от клопов, тли (она же моль), тараканов и прочих инфузорий, живущих на теле человека и в его жилище».

— Дядюшка! Филипп Ермилыч! — услышал он вдруг, поворачивая в свой переулок. — А я только что у вас был, целый час стучался! Как хорошо, что мы не разминулись!

Контр-адмирал поднял глаза и увидел перед собою своего племянника Андрюшу Нюнина, молодого человека, служащего в страховом обществе «Дрянь».

— У меня к вам есть просьба, — продолжал племянник, пожимая дядюшкину руку и приобретая от этого сильный рыбий запах. — Сядемте на скамеечку, дядюшка... Вот так... Ну-с, дело вот в чем... Сегодня венчается мой хороший друг и приятель, некто Любимский... человек, между нами говоря, прелестнейший... Да вы, дядюшка, положите щуку! Что она будет вам шинель пачкать?

— Это ничего... Гадость рыба, грош цена, а между тем икра — удивление! Распороть ей брюхо, выпустить

оттуда икру, смешать ее, знаешь, с толчеными сухариками, лучком, перцем и — приидите, насладимся!

— Человек прекраснейший... Служит оценщиком в ссудной кассе, но вы не подумайте, что это какой-нибудь замухрышка или валет... В ссудных кассах нынче и благородные дамы служат... Семейство, могу вас уверить... отец, мать и прочие... люди превосходные, радушные такие, религиозные... Одним словом, семья русская, патриархальная, от которой вы будете в восторге... Женится Любимский на сиротке, по любви... Славные люди!.. Так вот не можете ли вы, дорогой дядечка, оказать честь этой семье и пожаловать сегодня к ним на свадебный ужин?

— Но ведь я тово... незнаком! Как я поеду?

— Это ничего не значит! Не к баронам и не к графам ведь ехать! Люди простые, без всяких этикетов... Русская натура: милости просим, все знакомые и незнакомые! И к тому же... я вам откровенно... семья патриархальная, с разными предрассудками, причудами... Смешно даже... Ужасно ей хочется, чтобы на свадьбе присутствовал генерал! Тысячи рублей им не надо, а только посадите за их стол генерала! Согласен, грошовое тщеславие, предрассудок, но... но отчего же не доставить им этого невинного удовольствия? Тем более что и вам не будет там скучно... Нарочно для вас припасли бутылочку цимлянского и омаров жестяночку... Да и блеснете, откровенно говоря. Теперь ваш чин пропадает даром, как бы зарыт в землю, и никто не чувствует, что вы такого звания, а там по крайней мере всем понятно будет! Да ей-богу!

— Но прилично ли это будет для меня, Андрюша? — спросил контр-адмирал, задумчиво глядя на извозчика. — Я, знаешь, подумую...

— Странно, о чем тут можно думать? Езжайте, вот и все! А что насчет приличия, то даже обидно... Точно я могу родного дядю повести в неприличное место!

— Пожалуй... Как знаешь...

— Так я за вами вечером заеду... Этак часиков в одиннадцать, попоздней, чтобы как раз на ужин попать... по-аристократически..,

В одиннадцать часов Нюнин заехал за дядюшкой. Ревунов-Караулов надел свой мундир и штаны с золотыми лампасами, нацепил ордена — и они поехали. Свадебный ужин уже начался, когда взятый из трактира напрокат лакей снимал с адмирала пальто с капюшоном, и мать жениха, г-жа Любимская, встречая его в передней, шурила на него глаза.

— Генерал? — вздыхала она, вопросительно глядя на Андриюшу, снимавшего пальто, и кланяясь... — Очень приятно, ваше превосходительство... Но какие неосанитые... заваляшенькие... Гм... Никакой строгости в виде и даже еполетов нету... Гм... Ну, все равно, не ворочаться же, какого бог дал... Так и быть, пожалуйста, ваше превосходительство! Слава богу, хоть орденов много...

Контр-адмирал поднял вверх свежесбранный подбородок, внушительно кашлянул и вошел в зал... Тут его взорам представилась картина, способная размягчить и обратить в пепел даже камень. Посреди залы стоял большой стол, уставленный закусками и бутылками... За столом, на самом видном месте, сидел жених Любимский во фраке и белых перчатках. По его вспотевшему лицу плавала улыбка. Очевидно, его услаждали не столько подлежащие яства, сколько предвкушение предстоящих брачных наслаждений. Около него сидела невеста с заплаканными глазами и с выражением крайней невинности на лице. Контр-адмирал сразу понял, что она добродетельна. Все остальные места были заняты гостями обоего пола.

— Контр-адмирал Ревунов-Караулов! — крикнул Андриюша.

Гости поглядели исподлобья на вошедших, почтительно вытерли губы и приподнялись.

— Позвольте представить, ваше превосходительство! Новобрачный Эпаминонд Саввич Любимский с супругою... Иван Иванович Ять, служащий на телеграфе... Иностранец греческого звания по кондитерской части Харлампий Спиридоныч Дымба... Федор Яковлевич Наполеонов и... прочие... Садитесь, ваше превосходительство!

Контр-адмирал покачнулся, сел и тотчас же придвинул к себе селедку.

— Как вы его оттрапортовали? — обратилась шепотом хозяйка к Андриюше, подозрительно и озабоченно поглядывая на сановного гостя. — Я просила генерала, а не этого... как его... котр... конр...

— Контр-адмирала... Но вы не понимаете, Настасья Тимофеевна. Поскольку действительный статский советник в гражданских чинах по табели о рангах соответствует генерал-майору, постольку контр-адмирал соответствует действительному статскому советнику... Разница только в ведомствах, суть же — один черт... Одна цена.

— Да, да... — подтвердил Наполеонов. — Это верно...

Хозяйка успокоилась и поставила перед контр-адмиралом бутылку цимлянского.

— Кушайте, ваше-ство! Извините только, пожалуйста... У себя там вы привыкли к деликатности, а у нас так просто!

— Да-с... — начал контр-адмирал после продолжительного молчания. — В старину люди всегда жили просто и были довольны... Я человек, который в чинах, и то живу просто...

— Вы давно в отставке, ваше-ство?

— С тысяча восемьсот шестьдесят пятого года... В старину все просто было... Но...

Адмирал сказал «но», перевел дух и в это время увидел молодого гардемарина, сидевшего против него.

— Вы тово... во флоте, стало быть? — спросил он.

— Точно так, ваше-ство!..

— Ага... Так... Чай, теперь все пошло по-новому, не так, как при нас было... Белотелые всё пошли, пушистые... Впрочем, флотская служба всегда была трудная... Это не то, что пехота какая-нибудь или, положим, кавалерия... В пехоте ничего умственного нет. Там даже и мужику понятно, как и что... А вот у нас с вами, молодой человек, нет-с! Шутишь! У нас с вами есть над чем задуматься... Всякое незначительное слово имеет, так сказать, свое таинственное...

ээ... недоумение... Например: марсовые к вантам, на фок и грот! Что это значит? Это значит, что которые приставлены для закрепления брамселей, должны непременно находиться в это время на марсах, иначе надо командовать: саленговые к вантам! Тут уж другой смысл... Хе-хе... Тонкость, что твоя математика! А вот, ежели, идучи полным ветром... дай бог память... На брамсели и бом-брамсели! Тут марсовые, которые назначены для отдачи марселей и бом-брамселей, что есть духу бегут с марсов на салинги и бом-салинги, потом... дай бог память... расходятся по реям и раскрепляют означенные паруса, а в это время — понимаете — в это самое время! люди, которые внизу, становятся на брам и бом-брам-шкоты, фалы и брасы...

— За здоровье достоуважаемых гостей! — провозгласил жених.

— Да-с,— перебил контр-адмирал, поднимаясь и чокаясь.— Мало ли разных команд... Да вот хоть бы эту взять... дай бог память... брам и бом-брам-шкоты тянуть, фалы поднимааай!! Хорошо-с... Но что это значит и какой здесь смысл? Очень просто! Тянут, знаете ли, брам и бом-брам-шкоты и поднимают фалы... все вдруг! причем уравнивают бом-брам-шкоты и бом-брам-фалы при подъеме, а в это время, глядя по надобности, потравливают брасы сих парусов, а когда уж, стало быть, шкоты натянуты и фалы все до места подняты, то брам и бом-брам-брасы вытягиваются и реи брасопяются соответственно направлению ветра...

— Дядюшка! — шепнул Андрюша,— хозяйка просит вас поговорить о чем-нибудь другом. Это непонятно гостям и... скучно.

— Постой.. Я рад, что молодого человека встретил... Молодой человек! Я всегда желал и... желаю... От души желаю! Дай бог... Мне приятно... Да-с... А вот ежели корабль лежит бейдевинд правым галсом под всеми парусами, исключая грота, то как надлежит командовать? Очень просто... дай бог память... Всех на вееерх, через фордевинд поворачивать! Ведь так? Хе-хе...

— Будет, дядюшка! — шепнул Андрюша.

Но дядюшка не унимался. Он выкрикивал команду за командой и каждый свой хриплый выкрик пояснял длинным комментарием. Приближался уж конец ужина, а между тем по его милости не было сказано еще ни одного длинного тоста, ни одной речи. Иван Иваныч Ять, у которого давно уже висела на языке цветистая речь, начал беспокоиться на стуле, морщиться и шептаться с соседями. Раз, когда за десертом адмирал поперхнулся цимлянским и закашлялся, он воспользовался паузой, вскочил и начал:

— В сегодняшний, так сказать, день... Гм... В который мы, собравшись для чествования нашего любимого...

— Да-с... — перебил его адмирал. — И ведь все это надо помнить! Например... дай бог память... бейфуты и топенанты раздернуть, бакштаги с правой за марс!

— Мы люди темные, ваше превосходительство, — сказала хозяйка, — ничего этого самого не понимаем, а вы расскажите нам лучше что-нибудь, касающееся...

— Вы не понимаете, потому что... термины! Конечно! А молодой человек понимает... Да. Старину с ним вспомнил... А ведь приятно, молодой человек! Плынешь себе по морю, горя не знаючи, и..:

Адмирал прослезился и заговорил дрожащим голосом:

— Например... дай бог память... Кливер поднимай, пошел браса, фока и грота-галсы садить!

Адмирал вытер глаза, всхлипнул и продолжал:

— Тут сейчас поднимают кливер-фалы, брасопят грот-марсель и прочие, что над оным, паруса в бейдевинд, а потом сядят до места фока и грота-галсы, тянут шкоты и выбирают булиня... Пла... плачу... Рад...

— Генерал, а безобразите! — вспыхнула хозяйка. — Постыдились бы на старости лет! Мы вам не за то деньги платили, чтоб вы безобразили!

— Какие деньги? — вытаращил глаза контр-адмирал.

— Известно, какие... Небось уж получили через Андрея Ильича четвертную! А вам, Андрей Ильич, грех! Мы вас не просили такого нанимать...

Старик взглянул на вспыхнувшего Андрюшу, на хозяйку — и все понял. «Предрассудок» патриархальной семьи, о котором говорил ему Андрюша, предстал перед ним во всей его пакости... В один миг слетел с него хмель... Он встал из-за стола, засеменял в переднюю и, одевшись, вышел...

Больше уж он никогда не ходил на свадьбы.

Каждый год на святках чернопупские губернские дамы и чиновники губернского правления дают с благотворительною целью любительский спектакль. Прошлогондний спектакль вышел неудачен, так как распорядительская часть была в руках старшего советника Чушкина, «бурбона», урезавшего наполовину пьесу и не дававшего воли рассказчикам. В этом же году любительский персонал запротестовал. Выбор пьесы дамы взяли на себя, внешняя же часть и выбор рассказчиков, певцов и распорядителей танцев были поручены чиновнику особых поручений Каскадову, человеку молодому, университетскому и либеральному.

— Кого же выбрать, господа? — рассуждал в одно дскабрьское утро Каскадов, стоя посреди присутствия и подбоченясь. — Распорядителями танцев будут жандармский поручик Подлигайлов, ну... и я, конечно. Из мужчин петъ... я, ну и, пожалуй, жандармский поручик Подлигайлов... У него баритон прелестный, но, между нами говоря, грубый... Кто же будет в антрактах рассказывать?

— Тлетворского назначьте... — сказал столоначальник Кисляев, чистя спичкой ногти. — В прошлом годе он, шельма, превосходно рассказывал... Одна рожа чего стоит! Пьет каналья, но... ведь все таланты пьют! И Рафаэль, говорят, пил!

— Тлетворский? Ах, да, помню... Рассказывает недурно, но манера... манера! Никифор, позови сюда Тлетворского!

Вошел высокий, сутуловатый брюнет с включенной гривой, большими красными руками и в рыжих панталонах.

— Садитесь, Тлетворский! — обратился к нему Каскадов, сморкаясь в раздушенный платок.— У нас, видите ли, опять затевается спектакль... Да вы садитесь! Бросьте вы это, никому не нужное, китайское чинопочитание. Будем людьми! Нуте-с... В антрактах и после спектакля, по примеру прошлого года, предполагается чтение... Нуте-с... а рассказчиков и чтецов у нас в Чернопупске совсем нет... Я, пожалуй, мог бы прочесть что-нибудь, ну... и жандармский поручик Подлигайлов читает недурно, но нам решительно некогда! Приходится опять к вам обратиться... Не возьметесь ли, голубчик?

— Пожалуй,— потупился Тлетворский.— Но ежели, Иван Матвейч, будут стеснять, как и в прошлом году, то выйдет один только смех!

— Ни, ни... Свобода полная! Полнейшая, батенька! Читайте, что хотите и как хотите! Потому-то я и взял на себя распорядительство, чтобы дать вам свободу! Иначе бы я не согласился... Не стесняйтесь ни выбором, ничем, одним словом! Вы прочтете что-нибудь... расскажете анекдот... стишки, вообще...

— Это можно... Из еврейского быта можно будет что-нибудь...

— Из еврейского? Превосходно! Прекрасно, душа моя! Впрочем... удобно ли это будет? Дело в том, батенька, что на вечере будет Медхер с дочерьми... Выкрест, но все-таки неловко... Обидится... Вы что-нибудь другое...

— Ты хорошо про немцев рассказываешь,— пробормогал Кисляев.

— Пожалуй...— согласился Каскадов.— Возьмите немецкий быт... Только, тово... и это едва ли будет удобно... Ее превосходительство немка, урожденная баронесса фон Риткарт... Нельзя, милейший! Стеснять себя, конечно, не следует, но все-таки не мешает

быть осторожным. Время такое, между нами говоря, всякий любит все на свой счет принимать... В прошлом году, например, вы рассказали, между прочим, анекдот из армянского быта, где, помните, жители Нахичевани говорят: «Дайте нам ваш кишка, а когда, бог даст, у вас будет пожар, то мы вам два кишка дадим». Что тут обидного? А ведь обиделись!

— Страшно обиделись! — подтвердил Кисляев.

— «Знаем, говорят, про какой это он Нахичевань рассказывает!» А барышни при слове «кишка» краснели. Разберите вы тут, что прилично и что не прилично! Осторожность и осторожность! Например, хоть русский народный быт взять... горбуновское что-нибудь... Великолепная вещь! Восторг! Но нельзя: его превосходительство находит, что это «издевательство над народом»! Он отчасти прав, но... ужасное время, между нами говоря! Черт знает, какое время!

— Можно будет, знаете ли, прочесть что-нибудь некрасовское... «И на лбу роковые слова: продается с публичного торга!» Отлично!

— Ни-ни... ни! — растопырил руки Каскадов.— Вечер будет семейный... дамы, девицы, а вы — роковые слова! Что вы, батенька! И не думайте! И без крайностей можно обойтись! Вы что-нибудь этакое не тенденциозное, нейтральное... этакое что-нибудь легонькое...

— Что же легонькое? Нешто толстовскую «Грешницу»?

— Тяжеловато, батенька! — поморщился Каскадов.— «Грешница», последний монолог из «Горе от ума»... все это шаблонно, заезжено и... полемично отчасти... Выберите что-нибудь другое... И, пожалуйста, не стесняйтесь! Выбирайте, что хотите... что хотите!

Тлетворский поднял вверх глаза и задумался. Кисляев поглядел на него, вздохнул и презрительно покачал головой.

— Стало быть, ты безнравственный человек,— проворчал он,— ежели не можешь придумать что-нибудь нравственное!..

— Тут дело не в нравственности, Захар Ильич! — заступился Каскадов.— Тлетворский односторонен — это правда!

Тлетворский покраснел и почесал себе глаз.

— Зачем же вы меня зовете, ежели я безнравственный и односторонний? — проговорил он, поднимаясь и направляясь к двери.— Я не напрашиваюсь.

По уходе Тлетворского Каскадов зашагал.

— Не понимаю я таких людей, Захар Ильич! — заговорил он, ероша свою прическу.— Клянусь богом, не понимаю! Я сам не рутинер, не отсталый... либерал даже и страдаю за свой образ мыслей, но не понимаю я таких крайностей, как этот господин! Я, ну и... жандармский поручик Подлигайлов слышем за вольнодумцев... общество косится на нас... Его превосходительство подозревает меня в сочувствии идеям... И я не отказываюсь от своих убеждений! Я либерал! Но... такие люди, как этот Тлетворский... не понимаю! Тут уж крайность, а крайних людей я, грешный человек, не выношу! Сам я не консерватор, но не выношу! Осуждайте меня, называйте рутинером... чем хотите, но не могу я протянуть руки господам à la Тлетворский!

Каскадов в изнеможении опустил в кресло и задумался...

— Прогнать, вот и все! — пробормотал Кисляев, прикладывая, от нечего делать, к манжетке печать...— Про-гнать... вот и... все!.. вот... и все!

Иван Петрович Панихидин побледнел, притушил лампу и начал взволнованным голосом:

— Темная, беспросветная мгла висела над землей, когда я, в ночь под рождество тысяча восемьсот восемьдесят третьего года, возвращался к себе домой от ныне умершего друга, у которого все мы тогда засиделись на спиритическом сеансе. Переулки, по которым я проходил, почему-то не были освещены, и мне приходилось пробираться почти ошупью. Жил я в Москве, у Успения-на-Могильцах, в доме чиновника Трупова, стало быть, в одной из самых глухих местностей Арбата. Мысли мои, когда я шел, были тяжелы, гнетущи...

«Жизнь твоя близится к закату... Кайся...»

Такова была фраза, сказанная мне на сеансе Спизной, дух которого нам удалось вызвать. Я просил повторить, и блюдечко не только повторило, но еще и прибавило: «Сегодня ночью». Я не верю в спиритизм, но мысль о смерти, даже намек на нее, повергают меня в уныние. Смерть, господа, неизбежна, она обыденна, но тем не менее мысль о ней противна природе человека... Теперь же, когда меня окутывал непроницаемый, холодный мрак и перед глазами неистово кружились дождевые капли, а над головою жалобно стонал ветер, когда я вокруг себя не видел ни одной живой души, не слышал человеческого зву-

ка, душу мою наполнял неопределенный и неизъяснимый страх. Я, человек свободный от предрассудков, торопился, боясь оглянуться, поглядеть в стороны. Мне казалось, что если я оглянусь, то непременно увижу смерть в виде привидения.

Панихидин порывисто вздохнул, выпил воды и продолжал:

— Этот неопределенный, но понятный вам страх не оставил меня и тогда, когда я, взобравшись на четвертый этаж дома Трупова, отпер дверь и вошел в свою комнату. В моем скромном жилище было темно. В печи плакал ветер и, словно просясь в тепло, постукивал в дверцу отдушника.

«Если верить Спинозе,— улыбнулся я,— то под этот плач сегодня ночью мне придется умереть. Жутко, однако!»

Я зажег спичку... Неистовый порыв ветра пробежал по кровле дома. Тихий плач обратился в злобный рев. Где-то внизу застучала наполовину сорвавшаяся ставня, а дверца моего отдушника жалобно провизжала о помощи...

«Плохо в такую ночь бесприютным»,— подумал я.

Но не время было предаваться подобным размышлениям. Когда на моей спичке синим огоньком разгорелась сера и я окинул глазами свою комнату, мне представилось зрелище неожиданное и ужасное... Как жаль, что порыв ветра не достиг моей спички! Тогда, быть может, я ничего не увидел бы и волосы мои не стали бы дыбом. Я вскрикнул, сделал шаг к двери и, полный ужаса, отчаяния, изумления, закрыл глаза...

Посреди комнаты стоял гроб.

Синий огонек горел недолго, но я успел различить контуры гроба... Я видел розовый, мерцающий искорками глазет, видел золотой галунный крест на крышке. Есть вещи, господа, которые запечатлеваются в вашей памяти, несмотря даже на то, что вы видели их одно только мгновение. Так и этот гроб. Я видел его одну только секунду, но помню во всех малейших чертах. Это был гроб для человека среднего роста и,

судя по розовому цвету, для молодой девушки. Дорогой глазет, ножки, бронзовые ручки — все говорило за то, что покойник был богат.

Опрометью выбежал я из своей комнаты и, не рассуждая, не мысля, а только чувствуя невыразимый страх, понесся вниз по лестнице. В коридоре и на лестнице было темно, ноги мои путались в полах шубы, и как я не слетел и не сломал себе шеи,— это удивительно. Очутившись на улице, я прислонился к мокрому фонарному столбу и начал себя успокаивать. Сердце мое страшно билось, дыхание сперло...

Одна из слушательниц припустила огня в лампе, придвинулась ближе к рассказчику, и последний продолжал:

— Я не удивился бы, если бы застал в своей комнате пожар, вора, бешеную собаку... Я не удивился бы, если бы обвалился потолок, провалился пол, попадали стены... Все это естественно и понятно. Но как мог попасть в мою комнату гроб? Откуда он взялся? Дорогой, женский, сделанный, очевидно, для молодой аристократки,— как мог он попасть в убогую комнату мелкого чиновника? Пуст он или внутри его — труп? Кто же *она*, эта безвременно покончившая с жизнью богачка, нанесяшая мне такой странный и страшный визит? Мучительная тайна!

«Если здесь не чудо, то преступление»,— блеснуло в моей голове.

Я терялся в догадках. Дверь во время моего отсутствия была заперта, и место, где находился ключ, было известно только моим очень близким друзьям. Не друзья же поставили мне гроб. Можно было также предположить, что гроб был принесен ко мне гробовщиками по ошибке. Они могли обознаться, ошибиться этажом или дверью и внести гроб не туда, куда следует. Но кому не известно, что наши гробовщики не выйдут из комнаты, прежде чем не получат за работу или по крайней мере на чай?

«Духи предсказали мне смерть,— думал я.— Не они ли уже постарались кстати снабдить меня и гробом?»

Я, господа, не верю и не верил в спиритизм, но такое совпадение может повергнуть в мистическое настроение даже философа.

«Но все это глупо, и я труслив, как школьник,— решил я.— То был оптический обман — и больше ничего! Идя домой, я был так мрачно настроен, что не мудрено, если мои больные нервы увидели гроб... Конечно, оптический обман! Что же другое?»

Дождь хлестал меня по лицу, а ветер сердито трепал мои полы, шапку... Я озяб и страшно промок. Нужно было идти, но... куда? Вернуться к себе — значило бы подвергнуть себя риску увидеть гроб еще раз, а это зрелище было выше моих сил. Я, не видевший вокруг себя ни одной живой души, не слышавший ни одного человеческого звука, оставшись один, наедине с гробом, в котором, быть может, лежало мертвое тело, мог бы лишиться рассудка. Оставаться же на улице под проливным дождем и в холоде было невозможно.

Я порешил отправиться ночевать к другу моему Упокоеву, впоследствии, как вам известно, застрелившемуся. Жил он в меблированных комнатах купца Черепова, что в Мертвом переулке.

Панихин вытер холодный пот, выступивший на его бледном лице, и, тяжело вздохнув, продолжал:

— Дома я своего друга не застал. Постучавшись к нему в дверь и убедившись, что его нет дома, я нащупал на перекладине ключ, отпер дверь и вошел. Я сбросил с себя на пол мокрую шубу и, нащупав в темноте диван, сел отдохнуть. Было темно... В оконной вентиляции тоскливо жужжал ветер. В печи монотонно насвистывал свою однообразную песню сверчок. В Кремле ударили к рождественской заутрене. Я поспешил зажечь спичку. Но свет не избавил меня от мрачного настроения, а напротив. Страшный, невыразимый ужас овладел мною вновь... Я вскрикнул, пошатнулся и, не чувствуя себя, выбежал из номера...

В комнате товарища я увидел то же, что и у себя,— гроб!

Гроб товарища был почти вдвое больше моего, и коричневая обивка придавала ему какой-то особенно

мрачный колорит. Как он попал сюда? Что это был оптический обман — сомневаться уже было невозможно... Не мог же в каждой комнате быть гроб! Очевидно, то была болезнь моих нервов, была галлюцинация. Куда бы я ни пошел теперь, я всюду увидел бы перед собой страшное жилище смерти. Стало быть, я сходил с ума, заболел чем-то вроде «гробомании», и причину умопомешательства искать было недолго: стоило только вспомнить спиритический сеанс и слова Спинозы...

«Я схожу с ума! — подумал я в ужасе, хватая себя за голову. — Боже мой! Что же делать?!»

Голова моя трещала, ноги подкашивались... Дождь лил как из ведра, ветер пронизывал насквозь, а на мне не было ни шубы, ни шапки. Ворочаться за ними в номер было невозможно, выше сил моих... Страх крепко сжимал меня в своих холодных объятиях. Волосы мои встали дыбом, с лица струился холодный пот, хотя я и верил, что то была галлюцинация.

— Что было делать? — продолжал Панихидин. — Я сходил с ума и рисковал страшно простудиться. К счастью, я вспомнил, что недалеко от Мертвого переулка живет мой хороший приятель, недавно только кончивший врач, Погостов, бывший со мной в ту ночь на спиритическом сеансе. Я поспешил к нему... Тогда он еще не был женат на богатой кулчихе и жил на пятом этаже дома статского советника Кладбищенского.

У Погостова моим нервам суждено было претерпеть еще новую пытку. Взбираясь на пятый этаж, я услышал страшный шум. Наверху кто-то бежал, сильно стуча ногами и хлопая дверьми.

— Ко мне! — услышал я раздирающий душу крик. — Ко мне! Дворник!

И через мгновение навстречу мне сверху вниз по лестнице неслась темная фигура в шубе и помятом цилиндре...

— Погостов! — воскликнул я, узнав друга моего Погостова. — Это вы? Что с вами?

Поравнявшись со мной, Погостов остановился и судорожно схватил меня за руку. Он был бледен, тяжело дышал, дрожал. Глаза его беспорядочно блуждали, грудь вздымалась...

— Это вы, Панихин? — спросил он глухим голосом.— Но вы ли это? Вы бледны, словно выходец из могилы... Да полно, не галлюцинация ли вы?.. Боже мой... вы страшны...

— Но что с вами? На вас лица нет!

— Ох, дайте, голубчик, перевести дух... Я рад, что вас увидел, если это действительно вы, а не оптический обман. Проклятый спиритический сеанс... Он так расстроил мои нервы, что я, представьте, воротившись сейчас домой, увидел у себя в комнате... гроб!

Я не верил своим ушам и попросил повторить.

— Гроб, настоящий гроб! — сказал доктор, садясь в изнеможении на ступень.— Я не трус, но ведь и сам черт испугается, если после спиритического сеанса натолкнется в потемках на гроб!

Путаясь и заикаясь, я рассказал доктору про гробы, виденные мною...

Минуту глядели мы друг на друга, выпуча глаза и удивленно раскрыв рты. Потом же, чтобы убедиться, что мы не галлюцинируем, мы принялись щипать друг друга.

— Нам обоим больно,— сказал доктор,— стало быть, сейчас мы не спим и видим друг друга не во сне. Стало быть, гробы, мой и оба ваши,— не оптический обман, а нечто существующее. Что же теперь, батенька, делать?

Простояв битый час на холодной лестнице и теребясь в догадках и предположениях, мы страшно озябли и порешили отбросить малодушный страх и, разбудив коридорного, пойти с ним в комнату доктора. Так мы и сделали. Войдя в номер, зажгли свечу и в самом деле увидели гроб, обитый белым глазетом, с золотой бахромой и кистями. Коридорный набожно перекрестился.

— Теперь можно узнать,— сказал бледный доктор, дрожа всем телом,— пуст этот гроб или же... он обитаем?

После долгой, понятной нерешимости доктор нагнулся и, стиснув от страха и ожидания зубы, сорвал с гроба крышку. Мы взглянули в гроб и...

Гроб был пуст...

Покойника в нем не было, но зато мы нашли в нем письмо такого содержания:

«Милый Погостов! Ты знаешь, что дела моего тестя пришли в страшный упадок. Он залез в долги по горло. Завтра или послезавтра явятся описывать его имущество, и это окончательно погубит его семью и мою, погубит нашу честь, что для меня дороже всего. На вчерашнем семейном совете мы решили припрятать все ценное и дорогое. Так как все имущество моего тестя заключается в гробах (он, как тебе известно, гробовых дел мастер, лучший в городе), то мы порешили припрятать самые лучшие гробы. Я обращаюсь к тебе, как к другу, помоги мне, спаси наше состояние и нашу честь! В надежде, что ты сможешь нам сохранить наше имущество, посылаю тебе, голубчик, один гроб, который прошу спрятать у себя и хранить впредь до востребования. Без помощи знакомых и друзей мы погибнем. Надеюсь, что ты не откажешь мне, тем более что гроб простоят у тебя не более недели. Всем, кого я считаю за наших истинных друзей, я послал по гробу и надеюсь на их великодушие и благородство. Любящий тебя Иван Челюстин».

После этого я месяца три лечился от расстройства нервов, друг же наш, зять гробовщика, спас и честь свою, и имущество, и уже содержит бюро погребальных процессий и торгует памятниками и надгробными плитами. Дела его идут неважно, и каждый вечер теперь, входя к себе, я все боюсь, что увижу около своей кровати белый мраморный памятник или катафалк.

Высокая, вечнозеленая елка судьбы увешана благами жизни... От низу до верху висяг карьеры, счастливые случаи, подходящие партии, выигрыши, кукиши с маслом, щелчки по носу и проч. Вокруг елки толпятся взрослые дети. Судьба раздает им подарки...

— Дети, кто из вас желает богатую купчиху? — спрашивает она, снимая с ветки краснощекую купчиху, от головы до пяток усыпанную жемчугом и бриллиантами...— Два дома на Плющихе, три железные лавки, одна портерная и двести тысяч деньгами! Кто хочет?

— Мне! Мне! — протягиваются за купчихой сотни рук.— Мне купчиху!

— Не толпитесь, дети, и не волнуйтесь... Все будете удовлетворены... Купчиху пусть возьмет себе молодой эскулап. Человек, посвятивший себя науке и записавшийся в благодетели человечества, не может обойтись без пары лошадей, хорошей мебели и проч. Бери, милый доктор! Не за что... Ну-с, теперь следующий сюрприз! Место на Чухломо-Пошехонской железной дороге! Десять тысяч жалованья, столько же наградных, работы три часа в месяц, квартира в тринадцать комнат и проч.... Кто хочет? Ты, Коля? Бери, милый! Далее... Место экономки у одинокого барона Шмаус! Ах, не рвите так, mesdames! ¹

¹ сударыни! (франц.)

Имейте терпение!.. Следующий! Молодая, хорошенькая девушка, дочь бедных, но благородных родителей! Приданого ни гроша, но зато натура честная, чувствующая, поэтическая! Кто хочет? (Пауза.) Никто?

— Я бы взял, да кормить нечем! — слышится из угла голос поэта.

— Так никто не хочет?

— Пожалуй, давайте, я возьму... Так и быть уж...— говорит маленький, подагрический старикашка, служащий в духовной консистории.— Пожалуй...

— Носовой платок Зориной! Кто хочет?

— Ах!.. Мне! Мне!.. Ах! Ногу отдавили! Мне!

— Следующий сюрприз! Роскошная библиотека, содержащая в себе все сочинения Канта, Шопенгауэра, Гете, всех русских и иностранных авторов, массу старинных фолиантов и проч.... Кто хочет?

— Я-с! — говорит букинист Свинопасов.— Пожалте-с!

Свинопасов берет библиотеку, отбирает себе «Оракул», «Сонник», «Письмовник», «Настольную книгу для холостяков»... остальное же бросает на пол...

— Следующий! Портрет Окрейца!

Слышен громкий смех...

— Давайте мне...— говорит содержатель музея Винклер.— Пригодится...

— Далее! Роскошная рамка от премии «Нови». (Пауза.) Никто не хочет? В таком случае далее... Порванные сапоги!

Сапоги достаются художнику... В конце концов елка обирается и публика расходится... Около елки остается один только сотрудник юмористических журналов...

— Мне же что? — спрашивает он судьбу...— Все получили по подарку, а мне хоть бы что. Это свинство с твоей стороны!

— Всё разобрали, ничего не осталось... Остался, впрочем, один кукиш с маслом... Хочешь?

— Не нужно... Мне и так уж надоели эти кукиши с маслом... Кассы некоторых московских редакций

полнехоньки этого добра. Нет ли чего посуущественнее?

— Возьми эти рамки...

— У меня они уже есть...

— Вот уздечка, вожжи... Вот красный крест, если хочешь... Зубная боль... Ежовые рукавицы... Месяц тюрьмы за диффамации...

— Все это у меня уже есть...

— Оловянный солдатик, ежели хочешь... Карта Севера...

Юморист машет рукой и уходит восвояси с надеждой на елку будущего года...

Становой пристав Семен Ильич Прачкин ходил по своей комнате из угла в угол и старался заглушить в себе неприятное чувство. Вчера он заезжал по делу к воинскому начальнику, сел нечаянно играть в карты и проиграл восемь рублей. Сумма ничтожная, пустяшная, но бес жадности и корыстолюбия сидел в ухе станowego и упрекал его в расточительности.

— Восемь рублей — экая важность! — заглушал в себе Прачкин этого беса. — Люди и больше проигрывают, да ничего. И к тому же деньги дело наживное... Съездил раз на фабрику или в трактир Рылова, вот тебе и все восемь, даже еще больше!

— «Зима... Крестьянин, торжествуя... — монотонно зубрил в соседней комнате сын станowego, Ваня. — Крестьянин, торжествуя... обновляет путь...»

— Да и отыгаться можно... Что это там «торжествуя»?

— «Крестьянин, торжествуя, обновляет путь... обновляет...»

— «Торжествуя»... — продолжал размышлять Прачкин. — Влепить бы ему десяток горячих, так не очень бы торжествовал. Чем торжествовать, лучше бы подати исправно платил... Восемь рублей — экая важность! Не восемь тысяч, всегда отыгаться можно...

— «Его лошадка, снег почуя... снег почуя, плетется рысью как-нибудь...»

— Еще бы она вскачь понеслась! Рысак какой на-шелся, скажи на милость! Кляча — кляча и есть... Не-рассудительный мужик рад спяну лошадь гнать, а потом, как угодит в прорубь или в овраг, тогда и во-зись с ним... Поскачи только мне, так я тебе такого скипидару пропишу, что лет пять не забудешь!.. И за-чем это я с маленькой пошел? Пойди я туза трэф, не был бы я без двух...

— «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка уда-лая... бразды пушистые взрывая...»

— «Взрывая... Бразды взрывая... бразды...» Ска-жет же этакую штуку! Позволяют же писать, прости господи! А все десятка, в сущности, наделала! При-несли же ее черти не вовремя!

— «Вот бегает дворовый мальчик... дворовый мальчик, в салазки Жучку посадив... посадив...»

— Стало быть, наелся, коли бегает, да балуется... А у родителей нет того в уме, чтоб мальчишку за дело усадить. Чем собаку-то возить, лучше бы дрова колол или священное писание читал... И собак тоже развели... ни пройти, ни проехать! Было бы мне после ужина не садиться... Поужинать бы, да и уехать...

— «Ему и больно и смешно, а мать грозит... а мать грозит ему в окно...»

— Грози, грози... Леня на двор выйти да нака-зать... Задрала бы ему шубенку, да чик-чик! чик-чик! Это лучше, чем пальцем грозить... А то, гляди, вый-дет из него пьяница... Кто это сочинил? — спросил громко Прачкин.

— Пушкин, папаша.

— Пушкин? Гм!.. Должно быть, чужак какой-нибудь. Пишут-пишут, а что пишут — и сами не по-нимают. Лишь бы написать!

— Папаша, мужик муку привез! — крикнул Ваня.

— Принять!

Но и мука не развеселила Прачкина. Чем более он утешал себя, тем чувствительнее становилась для него потеря. Так было жалко восьми рублей, так жалко, точно он в самом деле проиграл восемь ты-сяч. Когда Ваня кончил урок и умолк, Прачкин стал у окна и, тоскуя, вперил свой печальный взор в снеж-

ные сугробы... Но вид сугробов только растеребил его сердечную рану. Он напомнил ему о вчерашней поездке к воинскому начальнику. Заиграла желчь, подкатило под душу... Потребность излить на чем-нибудь свое горе достигла степеней, не терпящих отлагательства. Он не вынес...

— Ваня! — крикнул он.— Иди, я тебя высеку за то, что ты вчера стекло разбил!



К рассказу «Надлежащие меры».
Художники Кукрыниксы. 1941.

ПРЕДПИСАНИЕ

Из захолустной жизни

Ввиду наступления высокаторжественного праздника рождества Христова и принимая во внимание, что в праздничные дни в приемной бывает большое стечение поздравителей, вменяю вам, милостивый государь, в обязанность строжайше наблюдать, чтобы поздравители, ожидая в приемной, не толпились, не курили табаку и не производили шума, каковой мог бы помешать надлежащему ходу порядка, а также чтобы они не рассыпали крупы, гороха, муки и прочих съестных припасов ни на лестнице, ни в приемной, а также вменяю вам в обязанность внушать поздравителям, по возможности вежливо и учтиво, чтобы имеющаяся при них живность имела мертвый вид, дабы свиниными, гусяными и прочими животными криками поздравители не нарушали надлежащей тишины и спокойствия. Нарушители же сего будут привлекаемы к строгой ответственности по установленному порядку.

Коллежский советник и кавалер: *М. Пауков.*

Секретарь: *Ехидов.*

С подлин. верно: *Человек без селезенки.*

ДРАМА НА ОХОТЕ

Истинное происшествие

В один из апрельских полудней 1880 года в мой кабинет вошел сторож Андрей и таинственно доложил мне, что в редакцию явился какой-то господин и убедительно просит свидания с редактором.

— Должно быть, чиновник-с,— добавил Андрей,— с кокардой...

— Попроси его прийти в другое время,— сказал я.— Сегодня я занят. Скажи, что редактор принимает только по субботам.

— Он и третьего дня приходил, вас спрашивал. Говорит, что дело большое. Просит и чуть не плачет. В субботу, говорит, ему несвободно... Прикажете принять?

Я вздохнул, положил перо и принялся ждать господина с кокардой. Начинающие писатели и вообще люди, не посвященные в редакционные тайны, приходящие при слове «редакция» в священный трепет, заставляют ждать себя немалое время. Они, после редакторского «проси», долго кашляют, долго сморкаются, медленно отворяют дверь, еще медленней входят и этим отнимают немало времени. Господин же с кокардой не заставил ждать себя. Не успела за Андреем затвориться дверь, как я увидел в своем кабинете высокого, широкоплечего мужчину, державшего в одной руке бумажный сверток, а в другой — фуражку с кокардой.

Человек, так добивавшийся свидания со мной, играет в моей повести очень видную роль. Необходимо описать его наружность.

Он, как я уже сказал, высок, широкоплеч и плотен, как хорошая рабочая лошадь. Все его тело дышит здоровьем и силой. Лицо розовое, руки велики, грудь широкая, мускулистая, волосы густы, как у здорового мальчика. Ему под сорок. Одет он со вкусом и по последней моде в новенький, недавно сшитый триковый костюм. На груди большая золотая цепь с брелоками, на мизинце мелькает крошечными яркими звездочками бриллиантовый перстень. Но, что главное всего и что так немаловажно для всякого мало-мальски порядочного героя романа или повести,— он чрезвычайно красив. Я не женщина и не художник. Мало я смыслю в мужской красоте, но господин с кокардой своею наружностью произвел на меня впечатление. Его большое, мускулистое лицо осталось навсегда в моей памяти. На этом лице вы увидите настоящий греческий нос с горбинкой, тонкие губы и хорошие голубые глаза, в которых светятся доброта и еще что-то, чему трудно подобрать подходящее название. Это «что-то» можно подметить в глазах маленьких животных, когда они тоскуют или когда им больно. Что-то умоляющее, детское, безропотно терпящее... У хитрых и очень умных людей не бывает таких глаз.

От всего лица так и веет простотой, широкой, простецкой натурой, правдой... Если не ложь, что лицо есть зеркало души, то в первый день свидания с господином с кокардой я мог бы дать честное слово, что он не умеет лгать. Я мог бы даже держать пари.

Проиграл бы я пари или нет,— читатель увидит далее.

Каштановые волосы и борода густы и мягки, как шелк. Говорят, что мягкие волосы служат признаком мягкой, нежной, «шелковой» души... Преступники и злые, упрямые характеры имеют, в большинстве случаев, жесткие волосы. Правда это или нет,— читатель опять-таки увидит далее... Ни выражение лица, ни борода — ничто так не мягко и не нежно в господине с кокардой, как движения его большого, тяжелого тела. В этих движениях сквозят воспитанность,

легкость, грация и даже, — простите за выражение, — некоторая женственность. Не много нужно усилий моему герою, чтобы согнуть подкову или сплющить в кулаке коробку из-под сардинок, а между тем ни одно его движение не выдает в нем физически сильного. За дверную ручку или за шляпу он берется, как за бабочку: нежно, осторожно, слегка касаясь пальцами. Шаги его бесшумны, рукопожатия слабы. Глядя на него, забываешь, что он могуч, как Голиаф, что одной рукой может поднять он то, чего не поднять пяти редакционным Андреем. Глядя на его легкие движения, не верится, что он силен и тяжел. Спенсер мог бы назвать его образцом грации.

Войдя ко мне в кабинет, он сконфузился. Его нежную, чуткую натуру, вероятно, шокировал мой нахмуренный, недовольный вид.

— Извините, ради бога! — начал он мягким, сочным баритоном. — Я врываюсь к вам не в урочное время и заставляю вас делать для меня исключение. Вы так заняты! Но видите ли, в чем дело, господин редактор: я завтра уезжаю в Одессу по одному очень важному делу... Имей я возможность отложить эту поездку до субботы, то, верьте, я не просил бы вас делать для меня исключение. Я преклоняюсь перед правилами, потому что люблю порядок...

«Как, однако, он много говорит!» — подумал я, протягивая руку к перу и тем давая знать, что мне некогда. (Уж больно надоели мне тогда посетители!)

— Я отниму у вас одну только минуту! — продолжал мой герой извиняющимся голосом. — Но прежде всего позвольте представиться... Кандидат прав Иван Петрович Камышев, бывший судебный следователь... К пишущим людям не имею чести принадлежать, но тем не менее явился к вам с чисто писательскими целями. Перед вами стоит желающий попасть в начинающие, несмотря на свои под сорок. Но лучше поздно, чем никогда.

— Очень рад... Чем могу быть полезен?

Желающий попасть в начинающие сел и продолжал, глядя на пол своими умоляющими глазами:

— Я притащил к вам маленькую повесть, которую мне хотелось бы напечатать в вашей газете. Я вам откровенно скажу, господин редактор: написал я свою повесть не для авторской славы и не для звуков сладких... Для этих хороших вещей я уже постарел. Вступаю же на путь авторский просто из меркантильных побуждений... Заработать хочется... Я теперь решительно никаких не имею занятий. Был, знаете ли, судебным следователем в С—м уезде, прослужил пять с лишком лет, но ни капитала не нажил, ни невинности не сохранил...

Камышев вскинул на меня своими добрыми глазами и тихо засмеялся.

— Надоедлая служба... Служил-служил, махнул рукой и бросил. Занятий у меня теперь нет, есть почти нечего... И если вы, минуя достоинства, напечатаете мою повесть, то сделаете мне больше чем одолжение... Вы поможете мне... Газета не богадельня, не странноприимный дом... Я это знаю, но... уж вы будьте так добры...

«Лжешь!» — подумал я.

Брелоки и перстень на мизинце плохо вязались с письмом ради куска хлеба, да и по лицу Камышева пробежала чуть заметная, уловимая опытным глазом тучка, которую можно видеть на лицах только редко лгущих людей.

— Какой сюжет вашей повести? — спросил я.

— Сюжет... Как бы вам сказать? Сюжет не новый... Любовь, убийство... Да вы прочтете, увидите... «Из записок судебного следователя»...

Я, вероятно, поморщился, потому что Камышев сконфуженно замигал глазами, встрепенулся и проговорил быстро:

— Повесть моя написана по шаблону бывших судебных следователей, но... в ней вы найдете быть, правду... Все то, что в ней изображено, все от крышки до крышки происходило на моих глазах... Я был и очевидцем и даже действующим лицом.

— Дело не в правде... Не нужно непременно видеть, чтоб описать... Это не важно. Дело в том, что наша бедная публика давно уже набила оскомину

на Габорио и Шкляревском. Ей надоели все эти таинственные убийства, хитросплетения сыщиков и необыкновенная находчивость допрашивающих следователей. Публика, конечно, разная бывает, но я говорю о той публике, которая читает мою газету. Как называется ваша повесть?

— «Драма на охоте».

— Гм... Несерьезно, знаете ли... Да и, откровенно говоря, у меня накопилась такая масса материала, что решительно нет возможности принимать новые вещи, даже при несомненных их достоинствах...

— А уж мою-то вещь примите, пожалуйста... Вы говорите, что несерьезно, но... трудно ведь назвать вещь, не выдавши ее... И неужели вы не можете допустить, что и судебные следователи могут писать серьезно?

Все это проговорил Камышев заикаясь, вертя между пальцами карандаш и глядя себе в ноги. Кончил он тем, что сильно сконфузился и замигал глазами. Мне стало жаль его.

— Хорошо, оставьте,— сказал я.— Только не обещаю вам, что ваша повесть будет прочтена в скором времени. Вам придется подождать...

— Долго?

— Не знаю... Зайдите месяца... этак через два, через три...

— Долгонько... Но не смею настаивать... Пусть будет по-вашему...

Камышев поднялся и взялся за фуражку.

— Спасибо за аудиенцию,— сказал он.— Пойду теперь домой и буду питать себя надеждами. Три месяца надежд! Но, однако, я вам надоел. Честь имею кланяться!

— Позвольте, одно только слово,— сказал я, перелистывая его толстую, исписанную мелким почерком тетрадь.— Вы пишете здесь от первого лица... Вы, стало быть, под судебным следователем разумеете здесь себя?

— Да, но под другой фамилией. Роль моя в этой повести несколько скандальна... Неловко же под своей фамилией... Так через три месяца?

— Да, пожалуй, не ранее...

— Будьте здоровехоньки!

Бывший судебный следователь галантно расклялся, осторожно взялся за дверную ручку и исчез, оставив на моем столе свое произведение. Я взял тетрадь и спрятал ее в стол.

Повесть красавца Камышева покоилась в моем столе два месяца. Однажды, уезжая из редакции на дачу, я вспомнил о ней и взял ее с собою.

Сидя в вагоне, я открыл тетрадь и начал читать из середины. Середина заинтересовала меня. В тот же день вечером я, несмотря на отсутствие досуга, прочел всю повесть от начала до слова «конец», написанного размашистым почерком. Ночью я еще раз прочел эту повесть, а на заре ходил по террасе из угла в угол и тер себе виски, словно хотел вытереть из головы новую, внезапно набежавшую, мучительную мысль... А мысль была действительно мучительная, невыносимо острая... Мне казалось, что я, не судебный следователь и еще того менее не присяжный психолог, открыл страшную тайну одного человека, тайну, до которой мне не было никакого дела... Я ходил по террасе и убеждал себя не верить своему открытию...

Повесть Камышева не попала в мою газету по причинам, изложенным в конце моей беседы с читателем. С читателем я встречусь еще раз. Теперь же, надолго расставаясь с ним, я предлагаю на его прочтение повесть Камышева.

Эта повесть не выделяется из ряда вон. В ней много длиннот, немало шероховатостей... Автор питает слабость к эффектам и сильным фразам... Видно, что он пишет первый раз в жизни, рукой непривычной, невоспитанной... Но все-таки повесть его читается легко. Фабула есть, смысл тоже, и, что важнее всего, она оригинальна, очень характерна и то, что называется *suī gegeris*¹. Есть в ней и кое-какие литературные достоинства. Прочсть ее стоит... Вот она.

¹ своеобразна, в своем роде (лат.).

ДРАМА НА ОХОТЕ

Из записок судебного следователя

Глава I

— Муж убил свою жену! Ах, как вы глупы! Дайте же мне наконец сахару!

Этот крик разбудил меня. Я потянулся и почувствовал во всех своих членах тяжесть, недомогание... Можно отлежать себе руку и ногу, но на этот раз мне казалось, что я отлежал себе все тело от головы до пяток. Не укрепляющим, а расслабляющим образом действует послеобеденный сон в душной, сушащей атмосфере, под жужжанье мух и комаров. Разбитый и облитый потом, я поднялся и пошел к окну. Был шестой час вечера. Солнце стояло еще высоко и жгло с таким же усердием, как и три часа тому назад. До захода и прохлады оставалось еще много времени.

— Муж убил свою жену!

— Полно тебе врать, Иван Демьяныч! — сказал я, давая легкий щелчок носу Ивана Демьяныча. — Мужья убивают жен только в романах да под тропиками, где кипят африканские страсти, голубчик. С нас же довольно и таких ужасов, как кражи со взломом или прожительство по чужому виду.

— Кражи со взломом... — процедил сквозь свой крючковатый нос Иван Демьяныч... — Ах, как вы глупы!

— Но что же поделаешь, голубчик? Чем мы, люди, виноваты, что нашим мозгам предел положен? Впрочем, Иван Демьяныч, не грешно быть дураком при такой температуре. Ты вот у меня умница, но небось и твои мозги раскисли и поглупели от этой жары.

Моего попугая зовут не попкой и не другим каким-нибудь птичьим названием, а Иваном Демьянычем. Это имя получил он совершенно случайно. Однажды мой человек Поликарп, чистя его клетку,

вдруг сделал открытие, без которого моя благородная птица и доселе величалась бы попкой... Lentяя вдруг ни с того ни с сего осенила мысль, что нос моего попугая очень похож на нос нашего деревенского лавочника Ивана Демьяныча, и с той поры за попугаем навсегда осталось имя и отчество длинноносого лавочника. С легкой руки Поликарпа и вся деревня окрестила мою диковинную птицу в Ивана Демьяныча. Волею Поликарпа птица попала в люди, а лавочник утерял свое настоящее прозвище: он до конца дней своих будет фигурировать в устах деревенщины как «следователей попугай».

Ивана Демьяныча я купил у матери моего предшественника, судебного следователя Пospelова, умершего незадолго перед моим назначением. Я купил его вместе со старинною дубовою мебелью, кухонным хламом и всем вообще хозяйством, оставшимся после покойника. Мои стены до сих пор еще украшают фотографические карточки его родственников, а над моею кроватью все еще висит портрет самого хозяина. Покойник, худощавый, жилистый человек с рыжими усами и большой нижней губой, сидит, выпучив глаза, в полинялой ореховой раме и не отрывает от меня глаз все время, пока я лежу на его кровати... Я не снял со стен ни одной карточки, короче говоря — я оставил квартиру такой же, какою и принял. Я слишком ленив для того, чтобы заниматься собственным комфортом, и не мешаю висеть на моих стенах не только покойникам, но даже и живым, если последние того пожелают¹.

Ивану Демьянычу было так же душно, как и мне. Он ерошил свои перья, оттопыривал крылья и громко выкрикивал фразы, выученные им у моего предшественника Пospelова и Поликарпа. Чтобы занять чем-нибудь свой послеобеденный досуг, я сел перед

¹ Прошу у читателя извинения за подобные выражения. Ими богата повесть несчастного Камышева, и если я их не вычеркнул, то только потому, что счел нужным, в интересах характеристики автора, печатать его повесть *in toto*². — А. Ч.

² целиком (лат.).

клеткой и стал наблюдать за движениями попугая, старательно искавшего и не находившего выхода из тех мук, которые причиняли ему духота и насекомые, обитавшие в его перьях... Бедняжка казался очень несчастным...

— А в котором часу они просыпаются? — донесся до меня чей-то бас из передней...

— Как когда! — отвечал голос Поликарпа... — Когда и в пять просыпается, а когда и до утра дрыхнет... Известно, делать нечего...

— Вы ихний камердинер будете?

— Прислуга. Ну, не мешай мне, замолчи... Нешто не видишь, что я читаю?

Я заглянул в переднюю. Там, на большом красном сундуке, валялся мой Поликарп и, по обыкновению, читал какую-то книгу. Впившись своими сонными, никогда не моргающими глазами в книгу, он шевелил губами и хмурился. Видимо, его раздражало присутствие постороннего лица, высокого мужика-бородача, стоявшего перед сундуком и тщетно старавшегося завязать беседу. При моем появлении мужик сделал шаг от сундука и по-солдатски вытянулся в струнку. Поликарп соорил недовольное лицо и, не отрывая глаз от книги, слегка приподнялся.

— Что тебе нужно? — обратился я к мужику.

— Я от графа, ваше благородие. Граф изволили вам кланяться и просили вас немедля к себе-с...

— Разве граф приехал? — удивился я.

— Точно так, ваше благородие... Вчерась ночью приехали... Письмо вот извольте-с...

— Опять черти принесли! — проговорил мой Поликарп. — Два лета без него покойно прожили, а нынче опять свинюшник в уезде заведет. Опять сраму не оберешься.

— Молчи, тебя не спрашивают!

— Меня и спрашивать не надо... Сам скажу. Опять будете от него в пьяном безобразии приезжать и в озере купаться как есть, во всем costume... Чисть потом! И за три дня не вычистишь!

— Что теперь граф делает? — спросил я мужика...

— Изволили обедать садиться, когда меня к вам послали... До обеда рыбку удили в купальне-с... Как прикажете отвечать?

Я распечатал письмо и прочел в нем следующее:

«Милый мой Лекок! Если ты еще жив, здравствуешь и еще не забыл своего всепьянейшего друга, то, ни минуты не медля, облакайся в свои одежды и мчись ко мне. Приехал только прошлую ночью, но уже умираю от скуки. Нетерпение, с которым я ожидаю тебя, не знает границ. Хотел было сам съездить за тобой и увезти тебя в мою берлогу, но жара сковала все мои члены. Сажу на одном месте и обмахиваюсь веером. Ну, как живешь ты? Как поживает твой умнейший Иван Демьяныч? Все еще воюешь со своим педантом Поликарпом? Приезжай скорей и рассказывай.

Твой А. К.»

Не нужно было глядеть на подпись, чтобы в крупном, некрасивом почерке узнать пьяную, редко пишущую руку моего друга, графа Алексея Карнеева. Краткость письма, претензия его на некоторую игривость и бойкость свидетельствовали, что мой недалекий друг много изорвал почтовой бумаги, прежде чем сумел сочинить это письмо.

В письме отсутствовало местоимение «который» и старательно обойдены деепричастия — то и другое редко удается графу в один присест.

— Как прикажете ответить? — повторил мужик.

Я не сразу ответил на этот вопрос, да и всякий чистоплотный человек промедлил бы на моем месте. Граф любил меня и искреннейше навязывался ко мне в друзья, я же не питал к нему ничего похожего на дружбу и даже не любил его; честнее было бы поэтому прямо, раз навсегда отказаться от его дружбы, чем ехать к нему и лицемерить. К тому же ехать к графу — значило еще раз окунуться в жизнь, которую мой Поликарп величал «свинюшником» и которая два года тому назад, во все время до отъезда графа в Петербург, расшатывала мое крепкое здо-

ровье и сушила мой мозг. Эта беспутная, необычная жизнь, полная эффектов и пьяного бешенства, не успела подорвать мой организм, но зато сделала меня известным всей губернии... Я популярен...

Рассудок говорил мне всю сущую правду, краска стыда за недавнее прошлое разливалась по моему лицу, сердце сжималось от страха при одной мысли, что у меня не хватит мужества отказаться от поездки к графу, но я недолго колебался. Борьба продолжалась не более минуты.

— Кланяйся графу,— сказал я посланному,— и поблагодари за память... Скажи, что я занят и что... Скажи, что я...

И в тот самый момент, когда с моего языка готово уже было сорваться решительное «нет», мною вдруг овладело тяжелое чувство... Молодой человек, полный жизни, сил и желаний, заброшенный волею судеб в деревенские дебри, был охвачен чувством тоски, одиночества...

Вспомнился мне графский сад с роскошью его прохладных оранжерей и полумраком узких, заброшенных аллей... Эти аллеи, защищенные от солнца сводом из зеленых, сплетающихся ветвей старушек лип, знают меня... Знают они и женщин, которые искали моей любви и полумрака... Вспомнилась мне роскошная гостиная, с сладкою ленью ее бархатных диванов, тяжелых портьер и ковров, мягких, как пух, с ленью, которую так любят молодые, здоровые животные... Пришла мне на память моя пьяная удаль, не знающая границ в своей шире, сатанинской гордости и презрения к жизни. И мое большое тело, утомленное сном, вновь захотело движений...

— Скажи, что я буду!

Мужик поклонился и вышел.

— Знал бы, не впускал его, черта! — проворчал Поликарп, быстро и бесцельно перелистывая книгу.

— Оставь книгу и поди оседлай Зорьку! — сказал я строго.— Живо!

— Живо... Как же, беспременно... Так вот возьми и побегу... Добро бы за делом ехал, а то поедет черту рога ломать!

Это было сказано полупрошептом, но так, чтоб я слышал. Лакей, прошептавши дерзость, вытянулся передо мной и, презрительно ухмыляясь, стал ожидать ответной вспышки, но я сделал вид, что не слышал его слов. Мое молчание — лучшее и острейшее орудие в сражениях с Поликарпом. Это презрительное пропускание мимо ушей его ядовитых слов обезоруживает его и лишает почвы. Оно, как наказание, действует сильнее, чем подзатыльник или поток ругательных слов... Когда Поликарп вышел на двор седлать Зорьку, я заглянул в книгу, которую помещал ему читать... Это был «Граф Монте-Кристо», страшный роман Дюма... Мой цивилизованный дурак читает все, начиная с вывесок питейных домов и кончая Огюстом Контом, лежащим у меня в сундуке вместе с другими мною не читаемыми, заброшенными книгами; но из всей массы печатного и писаного он признает одни только страшные, сильно действующие романы с знатными «господами», ядами и подземными ходами, остальное же он окрестил «чепухой». Об его чтении мне придется еще говорить в будущем, теперь же — ехать! Через четверть часа копыта моей Зорьки уже вздымали пыль по дороге от деревни до графской усадьбы. Солнце было близко к своему ночлегу, но жар и духота давали еще себя чувствовать... Накаленный воздух был неподвижен и сух, несмотря на то, что дорога моя лежала по берегу громаднейшего озера... Справа видел я водную массу, слева ласкала мой взгляд молодая, весенняя листва дубового леса, а между тем мои щеки переживали Сахару.

«Быть грозе!» — подумал я, мечтая о хорошем, холодном ливне...

Озеро тихо спало. Ни одним звуком не приветствовало оно полета моей Зорьки, и лишь писк молодого кулика нарушал гробовое безмолвие неподвижного великана. Солнце гляделось в него, как в большое зеркало, и заливало всю его ширь от моей дороги до далекого берега ослепительным светом. Ослепленным глазам казалось, что не от солнца, а от озера берет свой свет природа.

Зной вогнал в дремоту и жизнь, которую так богато озеро и его зеленые берега... Попрятались птицы, не плескалась рыба, тихо ждали прохлады полевые кузнечики и сверчки. Кругом была пустыня. Лишь изредка моя Зорька вносила меня в густое облако прибрежных комаров да вдали на озере еле шевелились три черные лодочки старика Михея, нашего рыболова, взявшего на откуп все озеро.

Я ехал не по прямой линии, а по окружности, какою представлялись берега круглого озера. Ехать по прямой линии можно было только на лодке, ездящие же сухим путем делают большой круг и проигрывают около восьми верст. Во все время пути я, глядя на озеро, видел противоположный глинистый берег, над которым белела полоса цветшего черешневого сада, из-за черешен высилась графская клуня, усеянная разноцветными голубьями, и белела маленькая колокольня графской церкви. У глинистого берега стояла купальня, обитая парусом; на перилах сушились простыни. Все это я видел, и моим глазам казалось, что меня отделяет от моего приятеля-графа какая-нибудь верста, а между тем, чтобы добраться до графской усадьбы, мне нужно было проскакать шестнадцать верст.

На пути я думал о своих странных отношениях к графу. Интересно мне было дать себе в них отчет, регулировать их, но — увы! — этот отчет оказался непосильной задачей. Сколько я ни думал, ни решал, а в конце концов пришлось остановиться на заключении, что я плохой знаток самого себя и вообще человека. Люди, знавшие меня и графа, различно истолковывают наши взаимные отношения. Узкие лбы, не видящие ничего дальше своего носа, любят утверждать, что знатный граф видел в «бедном и незнатном» судебном следователе хорошего прихвостня-собутельника. Я, пишущий эти строки, по их разумению, ползал и пресмыкался у графского стола ради крох и огрызков! По их мнению, знатный богач, пугало и зависть всего С — го уезда, был очень умен и либерален; иначе тогда непонятно было бы милостивое снисхождение до дружбы с неимущим

следователем и тот сущий либерализм, который сделал графа нечувствительным к моему «ты». Люди же поумнее объясняют наши близкие отношения общностью «духовных интересов». Я и граф — сверстники. Оба мы кончили курс в одном и том же университете, оба мы юристы и оба очень мало знаем: я знаю кое-что, граф же забыл и утопил в алкоголе все, что знал когда-нибудь. Оба мы гордецы и, в силу каких-то одним только нам известных причин, как дикари, чуждаемся общества. Оба мы не стесняемся мнением света (т. е. С — го уезда), оба безнравственны и оба плохим кончим. Таковы связующие нас «духовные интересы». Более этого ничего не могут сказать о наших отношениях знавшие нас люди.

Они, конечно, сказали бы более, если бы знали, как слаба, мягка и податлива нагура друга моего, графа, и как силен и крепок я. Они многое сказали бы, если бы знали, как любил меня этот тщедушный человек и как я его не любил! Он первый предложил мне свою дружбу, и я первый сказал ему «ты», но с какою разницей в тоне! Он, в припадке хороших чувств, обнял меня и робко попросил моей дружбы, — я же, охваченный однажды чувством презрения, брезгливости, сказал ему:

— Полно тебе молоть чепуху!

И это «ты» он принял как выражение дружбы и стал носить его, платя мне честным, братским «ты»...

Да, лучше и честнее я сделал бы, если бы повернул свою Зорьку и поехал назад к Поликарпу и Ивану Демьянычу.

Впоследствии я думал не раз: сколько несчастий не пришлось бы мне перенести на своих плечах и сколько добра принес бы я своим ближним, если бы в этот вечер у меня хватило решимости поворотить назад, если бы моя Зорька взбесилась и унесла меня подальше от этого страшного большого озера! Сколько мучительных воспоминаний не давили бы теперь моего мозга и не заставляли бы мою руку то и дело оставлять перо и хвататься за голову! Но не стану забегать вперед, тем более что впереди придется

еще много раз останавливаться на горечи. Теперь о веселом...

Моя Зорька внесла меня в ворота графской усадьбы. У самых ворот она споткнулась, и я, потеряв стремя, чуть было не свалился на землю.

— Худой знак, барин! — крикнул мне какой-то мужик, стоявший у одной из дверей длинных графских конюшен.

Я верю в то, что человек, упавший с лошади, может сломать себе шею, но не верую в предзнаменования. Отдав поводка мужику и обивая хлыстом пыль с ботфортов, я побежал в дом. Меня никто не встретил. Окна и двери в комнатах были открыты настежь, но, несмотря на это, в воздухе стоял тяжелый, странный запах. То была смесь запаха ветхих, заброшенных покоев с приятным, но едким, наркотическим запахом тепличных растений, недавно принесенных из оранжереи в комнаты... В зале, на одном из диванов, обитых светло-голубой шелковой материей, лежали две помятые подушки, а перед диваном на круглом столе я увидел стакан с несколькими каплями жидкости, распространявшей запах крепкого рижского бальзама. Все это говорило за то, что дом обитаем, но я, обойдя все одиннадцать комнат, не встретил ни одной живой души. В доме царила такая же пустыня, как и вокруг озера...

Из так называемой «мозаиковой» гостиной вела в сад большая стеклянная дверь. Я с шумом отворил ее и по мраморной террасе спустился в сад. Тут, пройдя несколько шагов по аллее, я встретил девяностолетнюю старуху Настасью, бывшую когда-то нянькой у графа. Это — маленькое, сморщенное, забытое смертью существо, с лысой головкой и колючими глазами. Когда глядишь на ее лицо, то невольно припоминаешь прозвище, данное ей дворней: «Сычиха»... Увидев меня, она вздрогнула и чуть не уронила стакан со сливками, который она несла обеими руками.

— Здорово, Сычиха! — сказал я ей.

Она искоса поглядела на меня и молча прошла мимо... Я взял ее за плечо...

— Не бойся, дура... Где граф?

Старуха показала себе на уши.

— Ты глуха? А давно ты оглохла?

Старуха, несмотря на свой преклонный возраст, отлично слышит и видит, но находит нелишним клеветать на свои органы чувств... Я пригрозил ей пальцем и отпустил ее.

Пройдя еще несколько шагов, я услышал голоса, а немного погодя увидел и людей. В том месте, где аллея расширялась в площадку, окруженную чугунными скамьями, под тенью высоких белых акаций стоял стол, на котором блестел самовар. Около стола говорили. Я тихо подошел по траве к площадке и, скрывшись за сиреневый куст, стал искать глазами графа.

Мой друг, граф Карнеев, сидел за столом на складном решетчатом стуле и пил чай. На нем был пестрый халат, в котором я видел его два года тому назад, и соломенная шляпа. Лицо было озабоченно, сосредоточенно, сжато в складки, так что человек, незнакомый с ним, мог бы подумать, что его мучит в данную минуту солидная мысль, забота... Наружно граф несколько не изменился за время нашей двухлетней разлуки. То же маленькое, худое тело, жидкое и дряблое, как тело коростеля. Те же узкие чахоточные плечи с маленькой, рыженькой головкой. Носик по-прежнему розов, щеки, как и два года тому назад, отвисают тряпочками. На лице ничего смелого, сильного, мужественного... Все слабо, апатично и вяло. Внушительны одни только большие, отвисающие вниз усы. Моему другу кто-то сказал, что ему идут длинные усы. Он поверил и теперь каждое утро меряет, насколько длиннее стала растительность над его бледными губами. С этими усами он напоминает усатого, но очень молодого и хилого котенка.

Рядом с графом за тем же столом сидел какой-то неизвестный мне толстый человек с большой стриженной головой и очень черными бровями. Лицо этого было жирно и лоснилось, как спелая дыня. Усы длиннее, чем у графа, лоб маленький, губы сжа-

ты, и глаза лениво глядят на небо... Черты лица расплылись, но тем не менее они жестки, как высохшая кожа. Тип не русский... Толстый человек был без сюртука и без жилета, в одной сорочке, на которой темнели мокрые от пота места. Он пил не чай, а сельтерскую воду.

В почтительном отдалении от стола стоял плотный приземистый человечек с красным, жирным затылком и оттопыренными ушами. Это был управляющий графа, Урбенин. Ради приезда его сиятельства он нарядился в новую черную пару и теперь испытывал муки. Пот ручьями лил с его красного, загоревшего лица. Рядом с управляющим стоял мужик, приезжавший ко мне с письмом. Только тут я заметил, что у этого мужика не было одного глаза. Вытянувшись в струнку и не позволяя себе ни малейшего движения, он стоял, как статуя, и ждал вопросов.

— Взять бы вот у тебя, Кузьма, твою нагайку да отшпандорить тебя во все корки,— говорил ему с расстановкой своим внушительным и мягким баском управляющий.— Разве можно так неряшливо исполнять господские приказания? Ты должен был просить их пожаловать сюда немедленно и узнать, когда именно они могут быть?

— Да, да, да...— нервничал граф.— Ты должен был все узнать! Он сказал: буду! Но ведь этого недостаточно! Он мне сейчас нужен! Объязительно сейчас! Ты его просил, а он тебя не понял!

— На что он тебе так понадобился? — спросил графа толстяк.

— Мне нужно его видеть!

— Только-то? А по-моему, Алексей, этот твой следователь лучше бы сделал, если бы сегодня посидел у себя дома. Мне теперь не до гостей.

Я сделал большие глаза. Что значило это хозяйское, повелительное «мне»?

— Но ведь это не гость! — сказал умоляющим голосом мой друг.— Он не помешает тебе отдохнуть после дороги. С ним, пожалуйста, не церемонься!.. Увидишь, что это за человек! Ты сразу его полюбишь и подружишься с ним, голубчик!

Я вышел из-за сиреневых кустов и направился к столу. Граф увидел меня, узнал, и на просиявшем лице его заиграла улыбка.

— Вот и он! Вот и он! — заговорил он, краснея от удовольствия и выскакивая из-за стола.— Как это мило с твоей стороны!

И, подбежав ко мне, он подскочил, обнял меня и своими жесткими усами несколько раз поцарапал мою щеку. За поцелуями следовало продолжительное рукопожатие и засматривание мне в глаза...

— А ты, Сергей, нисколько не изменился! Все тот же! Такой же красавец и силач! Спасибо, что уважил и приехал!

Освободившись от графских объятий, я поздоровался с управляющим, моим хорошим знакомым, и сел за стол.

— Ах, голубчик! — продолжал встревоженный и обрадованный граф.— Если бы ты знал, как мне приятно видеть твою серьезную физиономию! Ты незнаком? Позволь тебе представить: мой хороший друг, Каэтан Казимирович Пшехоцкий. А это вот,— продолжал он, указав толстяку на меня,— мой хороший, давнишний друг, Сергей Петрович Зиновьев! Здешний следователь...

Чернобровый толстяк слегка приподнялся и подал мне свою жирную, ужасно потную руку.

— Очень приятно,— пробормотал он, рассматривая меня...— Очень рад.

Изливши свои чувства и успокоившись, граф налил мне стакан холодного красно-бурого чая и придвинул к моим рукам ящик с печеньями.

— Кушай... Проездом через Москву у Эйнема купил. А я на тебя сердит, Сережа, так сердит, что даже хотел поругаться с тобой!.. Мало того, что ты не написал мне в эти два года ни строчки, но даже не удостоил ответом ни одного моего письма! Это не по-дружески!

— Я не умею писать писем,— сказал я,— да кстати же у меня нет и времени для переписки. И о чем, скажи, пожалуйста, я мог писать тебе?

— Мало ли о чем!

— Право, не о чем. Я признаю письма только трех сортов: любовные, поздравительные и деловые. Первых я не писал потому, что ты не женщина и я в тебя не влюблен, вторые тебе не нужны, а от третьих мы избавлены, так как у нас с тобой отродясь общих дел не было.

— Это, положим, так,— согласился граф, быстро и охотно со всем соглашающийся,— но все-таки мог бы хоть строчку... И потом, как рассказывает вот Петр Егорыч, ты за все два года ни разу не наведалься сюда, точно за тысячу верст живешь или... брезгуешь моим добром. Мог бы здесь пожить, поохотиться. И мало ли что могло здесь без меня случиться!

Граф говорил много и долго. Раз начавши говорить о чем-нибудь, он болтал языком без умолку и без конца, как бы мелка и жалка ни была тема.

В произнесении звуков он был неутомим, как мой Иван Демьяныч. Я едва выносил его за эту способность. Остановил его на этот раз лакей Илья, высокий, тонкий человек в поношенной пятнистой ливрее, поднесший графу на серебряном подносе рюмку водки и полстакана воды. Граф выпил водку, запил водой и, поморщившись, покачал головой.

— А ты еще не бросил походя дуть водку! — сказал я.

— Не бросил, Сережа!

— Ну, хоть брось пьяную манеру морщиться и качать головой! Противно.

— Я, голубчик, все бросаю... Мне доктора запретили пить. Пью теперь только потому, что сразу нездорово бросать... Нужно постепенно...

Я поглядел на больное, истрепавшееся лицо графа, на рюмку, на лакея в желтых башмаках, поглядел я на чернобрового поляка, который с первого же раза показался мне почему-то негодяем и мошенником, на одноглазого, вытянувшегося мужика — и мне стало жутко, душно... Мне вдруг захотелось оставить эту грязную атмосферу, предварительно открыв графу глаза на всю мою к нему безграничную антипатию... Был момент, когда я готов

уже был подняться и уйти... Но я не ушел... Мне помешала (стыдно сознаться!) простая физическая лень...

— Дай и мне водки! — сказал я Илье.

Продолговатые тени стали ложиться на аллею и нашу площадку...

Далекое кваканье лягушек, карканье ворон и пение иволги приветствовали уже закат солнца. Наступал весенний вечер...

— Посади Урбенина, — шепнул я графу. — Он стоит перед тобой, как мальчишка.

— Ах, сам я и не догадался! Петр Егорыч, — обратился граф к управляющему, — садитесь, пожалуйста! Будет вам стоять!

Урбенин сел и поглядел на меня благодарными глазами. Вечно здоровый и веселый, он показался мне на этот раз больным, скучающим. Лицо его было точно помято, сонно, и глаза глядели на нас лениво, нехотя...

— Что у нас новенького, Петр Егорыч? Что хорошенького? — спросил его Карнеев. — Нет ли чего-нибудь этакого... из ряда вон выдающегося?

— Все по-старому, ваше сиятельство...

— Нет ли того... новеньких девочек, Петр Егорыч?

Нравственный Петр Егорыч покраснел.

— Не знаю, ваше сиятельство... Я в это не вхожу.

— Есть, ваше сиятельство. — пробасил все время до этого молчавший одноглазый Кузьма. — И очень даже стоящие.

— Хорошие?

— Всякие есть, ваше сиятельство, на всякий вкус... И brunетки, и баландинки, и всякие...

— Ишь ты!.. Постой, постой... Я теперь припоминаю тебя... Мой бывший лопорелло, секретарь по части... Тебя, кажется, Кузьмой зовут?

— Точно так...

— Помню, помню... Какие же теперь у тебя есть на примете? Небось все мужички?

— Больше, известно, мужички, но есть и почище...

— Где ж это ты почище нашел? — спросил Илья, щуря на Кузьму глаза.

— На святой к почтарю свояченица приехала... Настась Иванна... Девка вся на винтах,— сам бы ел, да деньги надобны... Кровь во всю щеку и прочее такое... Есть и того почище. Только вас и дожидалась, ваше сиятельство. Молоденькая, пухлявенькая, шустренькая... красота! Этакой красоты, ваше сиятельство, и в Питинбурге не изволили видеть...

— Кто же это?

— Оленька, лесничего Скворцова дочка.

Под Урбениным затрещал стул. Упираясь руками о стол и багровея, управляющий медленно поднялся и повернул свое лицо к одноглазому мужику. Выражение утомления и скуки уступило свое место сильному гневу...

— Замолчи, хам! — проворчал он.— Гадина одноглазая!.. Говори, что хочешь, но не смей ты трогать порядочных людей!

— Я вас не трогаю, Петр Егорыч,— невозмутимо проговорил Кузьма.

— Я не про себя говорю, болван! Впрочем... простите меня, ваше сиятельство,— обратился управляющий к графу.— Простите, что я сделал сцену, но я просил бы ваше сиятельство запретить вашему лопорелло, как вы изволили его назвать, распространять свое усердие на особ, достойных всякого уважения!

— Я ничего...— пролепетал наивный граф.— Он ничего не сказал такого особенного.

Обиженный и взволнованный до крайности, Урбенин отошел от стола и стал к нам боком. Скрестив на груди руки и мигая глазами, он спрятал от нас свое багровое лицо за веточку и задумался.

Не предчувствовал ли этот человек, что в недалеком будущем его нравственному чувству придется испытать оскорбления в тысячу раз горшие?

— Не понимаю, чего он обиделся! — шепнул мне

граф.— Вот чудак! Оскорбительного ведь ничего не было сказано.

После двухлетнего трезвого житья рюмка водки подействовала на меня слегка опьяняюще. В мозгу и по всему телу моему разлилось чувство легкости, удовольствия. К тому же я стал ощущать вечернюю прохладу, которая мало-помалу вытесняла дневную духоту... Я предложил пройтись. Из дома принесли графу и его новому другу поляку их сюртуки, и мы пошли. За нами последовал и Урбенин.

Графский сад, по которому мы гуляли, ввиду его поражающей роскоши достоин особого, специально-го описания. В ботаническом, хозяйственном и во многих других отношениях он богаче и грандиознее всех садов, какие я когда-либо видел. Кроме выше-описанных поэтических аллей с зелеными сводами, вы найдете в нем все, чего только может требовать от сада взгляд прихотливого баловня. Тут и всевозможные, туземные и иностранные, фруктовые деревья, начиная с черешен и слив и кончая крупным, с гусиное яйцо, абрикосом. Шелковица, барбарис, французские бергамотовые деревья и даже масла на попадают на каждом шагу... Тут и полуразрушенные, поросшие мхом гроты, фонтаны, прудики, предназначенные для золотой рыбы и ручных карпов, горы, беседки, дорогие оранжереи... И эта редкая роскошь, собранная руками дедов и отцов, это богатство больших, полных роз, поэтических гротов и бесконечных аллей было варварски заброшено и отдано во власть сорным травам, воровскому топору и галкам, бесцеремонно вившим свои уродливые гнезда на редких деревьях! Законный владелец этого добра шел рядом со мной, и ни один мускул его испитого и сытого лица не дрогнул при виде запущенности и кричащей человеческой неряшливости, словно не он был хозяином сада. Раз только, от нечего делать, он заметил управляющему, что недурно было бы, если бы дорожки были посыпаны песочком. Он обратил внимание на отсутствие никому не нужного песочка, а не заметил голых, умерших за холодную зиму деревьев и коров, гулявших по

саду. На его замечание Урбенин ответил, что для надзора за садом нужно иметь человек десять работников, а так как его сиятельство не изволит жить у себя в имении, то затраты на сад являются роскошью ненужной и непроизводительной. Граф, конечно, согласился с этим доводом.

— Да и некогда мне, признаться! — махнул рукой Урбенин. — Летом в поле, зимой в городе хлеб продаешь... Не до сада тут!

Главная, так называемая «генеральная» аллея, вся прелесть которой состояла в ее старых широких липах и в массе тюльпанов, тянувшихся двумя пестрыми полосами во всю ее длину, оканчивалась вдали желтым пятном. То была желтая каменная беседка, в которой когда-то был буфет с бильярдом, кеглями и китайской игрой. Мы бесцельно направились к этой беседке... У ее входа мы были встречены живым существом, несколько расстроившим нервы моих нехрабрых спутников.

— Змея! — вдруг взвизгнул граф, хватая меня за руку и бледнея. — Посмотри!

Поляк сделал шаг назад, остановился как вкопанный и растопырил руки, точно загораживая путь привидению.. На верхней ступени каменной полуразрушенной лестнички лежала молодая змея из породы наших обыкновенных русских гадюк. Увидев нас, она подняла головку и зашевелилась... Граф еще раз взвизгнул и спрятался за мою спину.

— Не бойтесь, ваше сиятельство!.. — сказал лениво Урбенин, занося ногу на первую ступень...

— А если укусит?

— Не укусит. Да и вообще, кстати говоря, вред от укушения этих змей преувеличен. Я был раз укушен старой змеей — и не умер, как видите. Человеческое жало опаснее змеиного! — не преминул сморальничать со вздохом Урбенин.

И подлинно. Не успел управляющий пройти две ступени, как змея вытянулась во всю свою длину и с быстротою молнии юркнула в щель между двух плит. Войдя в беседку, мы увидели другое живое существо. На старом, полинявшем бильярде с

порванным сукном лежал старик невысокого роста в синем пиджаке, полосатых панталонах и жокейском картузике. Он сладко и безмятежно спал. Вокруг его беззубого, похожего на дупло рта и на острым носу хозяйничали мухи. Худой, как скелет, с открытым ртом и неподвижный, он походил на труп, только что принесенный из мертвецкого подвала для вскрытия.

— Франц! — толкнул его Урбенин. — Франц!

После пяти-шести толчков Франц закрыл рот, приподнялся, обвел всех нас глазами и опять лег. Через минуту рог его был опять открыт, и мух, гулявших около его носа, опять беспокоило легкое дрожанье от храпа.

— Спит, свинья беспутная! — вздохнул Урбенин.

— Это, кажется, наш садовник Трихер? — спросил граф.

— Он самый... Вот так вот каждый день... Днем спит как убитый, а ночью в карты играет. Сегодня, сказывают, до шести часов утра играл...

— Во что же он играет?

— В азартные игры... Больше все в стуколку.

— Ну, такие господа плохо дело делают... Жалованье они только даром берут.

— Это я не для того вам сказал, ваше сиятельство, — спохватился Урбенин, — чтобы жаловаться или выражать неудовольствие, а просто так... хотелось пожалеть, что такой способный человек и страсти подвержен. А человек он трудящийся, ничего себе... не даром жалованье берет.

Мы еще раз взглянули на картежника Франца и вышли из беседки. Отсюда мы направились к садовой калитке, выходящей в поле.

В редком романе не играет солидной роли садовая калитка. Если вы сами не подметили этого, то справьтесь у моего Поликарпа, проглотившего на своем веку множество страшных и нестрашных романов, и он, наверное, подтвердит вам этот ничтожный, но все-таки характерный факт.

Мой роман тоже не избавлен от калитки. Но моя калитка разнится от других тем, что моему перу

придется провести сквозь нее много несчастных и почти ни одного счастливого, что бывает в других романах только в обратном порядке. И, что хуже всего, эту калитку мне приходилось уже раз описывать, но не как романисту, а как судебному следователю... У меня проведет она сквозь себя более преступников, чем влюбленных.

Через четверть часа мы, подпираясь тростями, плелись на гору, называемую у нас Каменной Могилкой. У деревень существует легенда, что под этой каменной грудой покоится тело какого-то татарского хана, боявшегося, чтобы после его смерти враги не надругались над его прахом, а потому и завещавшего взвалить на себя гору камня. Но эта легенда едва ли справедлива... Каменные пласты, их взаимное положение и величина исключают вмешательство человеческих рук в происхождение этой горы. Она стоит особняком в поле и напоминает собою опрокинутый колпак.

Взобравшись на нее, мы увидели все озеро во всей его пленительной шири и не поддающейся описанию красоте. Солнце уже не отражалось в нем; оно зашло и оставило после себя широкую багровую полосу, окрасившую окрестности в приятный, розовато-желтый цвет. У наших ног расстилалась графская усадьба с ее домом, церковью и садом, а вдаль, по ту сторону озера, серела деревенька, в которой волею судеб я имел свою резиденцию. Поверхность озера была по-прежнему неподвижна. Лодочки старика Михея, отделившись друг от друга, спешили к берегу.

В сторону от моей деревеньки темнела железнодорожная станция с дымком от локомотива, а позади нас, по другую сторону Каменной Могилы, расстилалась новая картина. У подножия Могилы шла дорога, по бокам которой высились старики тополи. Дорога эта вела к графскому лесу, тянувшемуся до самого горизонта.

Я и граф стояли на горе. Урбенин и поляк, как люди тяжелые, предпочли подождать нас внизу, на дороге.

— Что это за шишка? — спросил я графа, кивнув на поляка.— Где ты его подцепил?

— Это очень милый господин, Сережа, очень милый! — встревоженно заговорил граф.— Ты скоро подружишься с ним!

— Ну, это едва ли. Отчего он все молчит?

— По натуре он молчалив! Но зато как умен!

— Да что он за человек?

— В Москве я с ним познакомился. Он очень милый. После ты все узнаешь, Сережа, а теперь не спрашивай. Спустимся?

Мы спустились с Могилы и пошли по дороге к лесу. Стало заметно темнеть. Из лесу доносилось кукуканье кукушки и голосовые вздрагивания утомленного, вероятно молодого, соловья.

— Ау! ау! — услышали мы звонкий детский голосок, подходя к лесу.— Ловите меня!

И из лесу выбежала маленькая девочка лет пяти, с белой, как лен, головкой и в голубом платье. Увидев нас, она звонко захохотала и, подпрыгивая, подскочила к Урбенину и обняла его колено. Урбенин поднял ее и поцеловал в щеку.

— Моя дочка, Саша! — сказал он.— Рекомендую.

За Сашей гнался из лесу гимназист лет пятнадцати, сын Урбенина. Увидев нас, он в нерешимости снял шапку, надел и опять снял. За ним тихо двигалось красное пятно. Это пятно сразу приковало к себе наше внимание.

— Какое чудное видение! — воскликнул граф, хватая меня за руку.— Погляди! Какая прелесть! Что это за девочка? Я и не знал, что в моих лесах обитают такие наяды!

Я взглянул на Урбенина, чтобы спросить, что это за девушка, и, странно, только в этот момент заметил, что управляющий ужасно пьян. Он, красный как рак, покачнулся и схватил меня за локоть.

— Сергей Петрович! — зашептал он мне на ухо, обдавая меня спиртными парами,— умоляю вас — удержите графа от дальнейших замечаний относительно этой девушки. Он по привычке может лишнее сказать, а это в высшей степени достойная особа!

«В высшей степени достойная особа» представляла из себя девятнадцатилетнюю девушку с прекрасной белокурой головкой, добрыми голубыми глазами и длинными кудрями. Она была в ярко-красном, полудетском, полудевическом, платье. Стройные, как иглы, ножки в красных чулках сидели в крошечных, почти детских башмачках. Круглые плечи ее все время, пока я любовался ею, кокетливо ежились, словно им было холодно и словно их кусал мой взгляд.

— При таком молодом лице и такие развитые формы! — шепнул мне граф, потерявший еще в самой ранней молодости способность уважать женщин и не глядеть на них с точки зрения испорченного животного.

У меня же, помню, затеплилось в груди хорошее чувство. Я был еще поэтом и в обществе лесов, майского вечера и начинающей мерцать вечерней звезды мог глядеть на женщину только поэтом... Я смотрел на девушку в красном с тем же благоговением, с каким привык глядеть на леса, горы, лазурное небо. У меня еще тогда осталась некоторая доля сентиментальности, полученной мною в наследство от моей матери немки.

— Кто это? — спросил граф.

— Это дочь лесничего Скворцова, ваше сиятельство! — сказал Урбенин.

— Это та Оленька, о которой говорил одноглазый мужик?

— Да, он упомянул ее имя, — ответил управляющий, глядя на меня умоляющими, большими глазами.

Девушка в красном пропустила нас мимо себя, по видимому, не обращая на нас ни малейшего внимания. Глаза ее глядели куда-то в сторону, но я, человек, знающий женщин, чувствовал на своем лице ее зрачки.

— Кто из них граф? — услышал я позади нас ее шепот.

— Вот этот, с длинными усами, — отвечал гимназист.

И мы услышали сзади себя серебристый смех... То был смех разочарованной... Она думала, что граф, владелец этих громадных лесов и широкого озера, —

я, а не этот пигмей с испытанным лицом и длинными усами...

Я услышал глубокий вздох, выходящий из коренастой груди Урбенина. Железный человек еле двигался.

— Отпусти управляющего,— шепнул я графу.— Он болен или... пьян.

— Вы, кажется, больны, Петр Егорыч! — обратился граф к Урбенину.— Вы мне не нужны, а поэтому я вас не задерживаю.

— Не беспокойтесь, ваше сиятельство. Благодарю вас за ваше внимание, но я не болен.

Я оглянулся... Красное пятно не двигалось и глядело нам вслед...

Бедная белокурая головка! Думал ли я в этот тихий, полный покоя майский вечер, что она впоследствии будет героиней моего беспокойного романа?

Теперь, когда я пишу эти строки, в мои теплые окна злобно стучит осенний дождь и где-то надо мной воеет ветер. Я гляжу на темное окно и на фоне ночного мрака силюсь создать силою воображения мою милую героиню... И я вижу ее с ее невинно-детским, наивным, добрым личиком и любящими глазами. Мне хочется бросить перо и разорвать, сжечь все то, что уже написано. К чему трогать память этого молодого, безгрешного существа?

Но тут же, около моей чернильницы, стоит ее фотографический портрет. Здесь белокурая головка представлена во всем суетном величии глубоко павшей, красивой женщины. Глаза, утомленные, но гордые разворотом, неподвижны. Здесь она именно та змея, вред от укушения которой Урбенин не назвал бы преувеличенным.

Она дала буре поцелуй, и буря сломала цветок у самого корня. Много взято, но зато слишком дорого и заплачено. Читатель простит ей ее грехи...

Мы пошли по лесу.

Сосны скучны своим молчаливым однообразием. Все они одинакового роста, похожи одна на другую и во все времена года сохраняют свой вид, не зная ни смерти, ни весеннего обновления. Но зато привлека-

тельны они своею угрюмостью: неподвижны, бесшумны, словно унылую думу думают.

— Не воротиться ли нам? — предложил граф.

На этот вопрос не последовало ответа. Поляку было решительно все равно, где бы ни быть. Урбенин не считал свой голос решающим, а я слишком обрадовался лесной прохладе и смолисту воздуху, чтобы повернуть назад. К тому же нужно было убить чем-нибудь, хотя бы простою прогулкой, время до ночи. Мысль о приближающейся дикой ночи сопровождалась сладким замиранием сердца. Я, стыдно сознаваясь, мечтал о ней и мысленно уже предвкушал ее наслаждение. А по тому нетерпению, с каким граф то и дело поглядывал на часы, видно было, что и его терзало ожидание. Мы чувствовали, что понимали друг друга.

Около домика лесничего, ютившегося между сосен на маленькой квадратной площадке, нас встретили со звонким, певучим лаем две маленькие собаки желтого огненного цвета, неизвестной мне породы, гибкие, как угри, и лоснящиеся. Узнав Урбенина, они весело замахали хвостами и побежали к нему, из чего можно было заключить, что управляющий часто посещал домик лесничего. Тут же около домика встретил нас какой-то парень без сапог и без шапки, с крупными веснушками на удивленном лице. Минуту он глядел на нас молча, выпучив глаза, потом же, узнав, вероятно, графа, ахнул и опрометью побежал в домик.

— Я знаю, зачем он побежал, — засмеялся граф. — Я его помню... Это Митька.

Граф не обознался. Меньше чем через минуту Митька вышел из домика, неся на подносе рюмку водки и полстакана воды.

— На доброе здоровье, ваше сиятельство! — сказал он, поднося и улыбаясь во все свое глупое, удивленное лицо.

Граф выпил водку, «закусил» водой, но на этот раз не поморщился. В ста шагах от домика стояла чугунная скамья, такая же старая, как и сосны. Мы сели на нее и занялись созерцанием майского вечера во всей его тихой красоте... Над нашими головами с карканьем летали испуганные вороны, с разных сторон доносилось

соловьиное пение; это только и нарушало всеобщую тишину.

Граф не умеет молчать даже в тихий весенний вечер, когда человеческий голос менее всего приятен.

— Я не знаю, останешься ли ты доволен? — обратился он ко мне. — Я заказал к ужину уху из ершей и дичь. К водке будет холодная осетрина и поросенок с хреном.

Словно рассердясь на эту прозу, поэтические сосны вдруг зашевелили своими верхушками, и по лесу понесся тихий ропот. Свежий ветерок пробежал по просеке и поиграл травой.

— Будет вам! — крикнул Урбенин собачонкам огненного цвета, мешавшим ему своими ласками закури́ть папиросу. — А мне сдается, что сегодня будет дождь. По воздуху чувствую. Сегодня была такая ужасная жара, что не нужно быть ученым профессором, чтобы предсказать дождь. Для хлеба будет хорошо.

«А на что тебе хлеб, — подумал я, — если его граф пропьет? Незачем дождю и трудиться».

По лесу еще раз пробежал ветерок, но на этот раз более резкий. Сосны и трава зароптали громче.

— Пойдемте домой.

Мы встали и лениво поплелись назад, к домику.

— Лучше быть этой белокурой Оленькой, — обратился я к Урбенину, — и жить здесь со зверями, чем судебным следователем и жить с людьми... Покойнее. Не правда ли, Петр Егорыч?

— Чем ни быть, лишь бы на душе было покойно, Сергей Петрович.

— А у этой хорошенькой Оленьки покойно на душе?

— Одному только богу ведома чужая душа, но мне кажется, что ей не из чего беспокоиться. Горя немного, грехов — как у малолетка... Это очень хорошая девушка! Но вот наконец и небо про дождь заговорило...

Послышался грохот не то далекого экипажа, не то игры в кегли... Прогредел где-то вдали за лесом гром... Митька, все время следивший за нами, вздрогнул и быстро закрестился...

— Гроза! — встрепенулся граф. — Вот сюрприз! Этак нас дорогой дождь захватит... И темно как стало! Говорил: воротимся! Так нет, дальше пошел...

— Мы в домике грозу переждем, — предложил я.

— Зачем же в домике? — заговорил Урбенин, как-то странно мигая глазами. — Дождь будет идти всю ночь, так и вы всю ночь в домике просидите? А вы не извольте беспокоиться... Идите себе, а Митька побежит вперед, экипаж вам навстречу вышлет.

— Ничего, авось и не всю ночь дождь будет хлестать... Грозовые тучи обыкновенно скоро проходят... Кстати же я незнаком еще с новым лесничим, и хотелось бы с этой Оленькой поболтать... узнать, что за птичка...

— Я не прочь! — согласился граф.

— Но как вы туда пойдете, ежели там того... не прибрано? — залепетал встревоженно Урбенин. — Просидеть там в духоте, ваше сиятельство, в то время, когда дома быть можно... Не понимаю, что за удовольствие!.. А знакомиться с лесничим, ежели он болен...

Очевидно было, что управляющему сильно не хотелось, чтобы мы вошли в домик лесничего. Он даже растопырил руки, точно желая загородить нам дорогу... Я понял по его лицу, что у него были причины не впускать нас. Уважаю я чужие причины и тайны, но на этот раз меня сильно подстрекнуло любопытство. Я настоял, и мы вошли в домик.

— В зал пожалуйста! — не сказал, а как-то особенно икнул, захлебываясь от радости, босой Митька...

Представьте вы себе самый маленький в мире зал с некрашеными деревянными стенами. Стены увешаны олеографиями «Нивы», фотографиями в раковинных, или, как они у нас называются, ракушковых, рамках и аттестатами... Один аттестат — благодарность какого-то барона за долголетнюю службу, остальные — лошадиные... Кое-где по стенам вьется плющ... В углу перед маленьким образом тихо теплится и слабо отражается в серебряной оправе синий огонек. У стен жмутся стулья, по-видимому недавно купленные... Куплено много лишних но и их поставили: девать некуда... Тут

же теснятся кресла с диваном в белоснежных чехлах с оборками и кружевами и круглый лакированный стол. На диване дремлет ручной заяц... Уютно, чистенько и тепло... На всем заметно присутствие женщины. Даже этажерочка с книгами глядит как-то невинно, по-женски, словно ей так и хочется сказать, что на ней нет ничего, кроме слабеньких романов и смирных стихов... Прелесть таких уютных, теплых комнаток чувствуется не так весною, как осенью, когда ищешь приюта от холода, сырости...

Митька с шумом, сопя, дуя и громко чиркая спичками, зажег две свечи и осторожно, как молоко, поставил их на стол. Мы сели на кресла, переглянулись и засмеялись...

— Николай Ефимыч больной лежит,— пояснил отсутствие хозяев Урбенин,— а Ольга Николаевна, должно быть, моих детей пошла провожать...

— Митька, двери заперты? — услышали мы слабый тенор из соседней комнаты.

— Заперты-с, Николай Ефимыч! — прохрипел Митька и полетел опрометью в соседнюю комнату.

— То-то... Смотри, чтобы все заперты были... — сказал тот же слабый голос.— На ключ, крепко-накрепко... Если воры будут лезть, то ты мне скажешь... Я их, мерзавцев, ружьем... подлецов таких...

— Беспременно-с, Николай Ефимыч!

Мы засмеялись и вопросительно поглядели на Урбенина. Тот покраснел и, чтобы скрыть свое смущение, начал поправлять на окне занавеску... Что сей сон значил? Мы опять переглянулись.

Но недоумевать было некогда. На дворе послышались поспешные шаги, затем шум на крыльце и хлоппанье дверью. В «зал» влетела девушка в красном.

— «Люб-лю гро-зу в на-ча-ле мая!» — запела она высоким, визжащим сопрано, прерывая свой визг смехом, но, увидев нас, она вдруг остановилась и умолкла.

Она сконфузилась и тихо, как овечка, пошла в комнату, откуда только что слышался голос ее отца, Николая Ефимыча.

— Не ожидала! — усмехнулся Урбенин.

Через несколько времени она тихо вошла, села на

стул, ближайший к двери, и стала нас рассматривать. Смотрела она на нас смело, в упор, словно мы были не новые для нее люди, а животные зоологического сада. Минуту и мы глядели на нее молча, не двигаясь... Я согласился бы и год просидеть неподвижно и глядеть на нее — до того хороша она была в этот вечер. Свежий, как воздух, румянец, часто дышащая, поднимающаяся грудь, кудри, разбросанные на лоб, на плечи, на правую руку, поправляющую воротничок, большие, блестящие глаза... все это на одном маленьком теле, поглощаемое одним взглядом... Поглядишь один раз на это маленькое пространство и увидишь больше, чем если бы глядел целые века на нескончаемый горизонт... На меня глядела она серьезно, снизу вверх, вопрошающе; когда же ее глаза переходили с меня на графа или поляка, то я начинал читать в них обратное: взгляд сверху вниз и смех...

Первый заговорил я...

— Рекомендуюсь,— сказал я, вставая и подходя к ней,— Зиновьев... А это, рекомендую, мой друг, граф Карнеев... Просим прощения, что без приглашения вломались в ваш хорошенький домик... Мы, конечно, не сделали бы этого, если бы нас не загнала гроза...

— Но ведь от этого не развалится наш домик! — сказала она, смеясь и подавая мне руку.

Она показала мне прелестные зубы. Я сел рядом с ней на стул и рассказал ей о том, как неожиданно встретилась на нашем пути гроза. Начался разговор о погоде — начале всех начал. Пока мы с ней беседовали, Митька уже успел два раза поднести графу водки и неразлучной с ней воды... Пользуясь тем, что я на него не смотрю, граф после обеих рюмок сладко поморщился и покачал головой.

— Вы, может быть, закусить желаете? — спросила меня Оленька и, не дожидаясь ответа, вышла из комнаты...

Первые капли застучали по стеклам... Я подошел к окну... Было уже совсем темно, и сквозь стекло я не увидел ничего, кроме ползущих вниз дождевых капель и отражения собственного носа. Блеснул свет от молнии и осветил несколько ближайших сосен...

— Двери заперты? — услышал я опять слабый тенор.— Митька, поди, подлая твоя душа, запри двери! Мучение мое, господи!

Баба с двойным, перетянутым животом и с глупым, озабоченным лицом вошла в зал, низко поклонилась графу и покрыла стол белой скатертью. За ней осторожно двигался Митька, неся закуски. Через минуту на столе стояли водка, ром, сыр и тарелка с какой-то жареной птицей. Граф выпил рюмку водки, но есть не стал. Поляк недоверчиво понюхал птицу и принялся ее резать.

— Уже начался дождь! Поглядите! — сказал я вошедшей Оленьке.

Девушка в красном подошла к моему окну, и в это самое время нас осветило на мгновение белым сиянием... Раздался наверху треск, и мне показалось, что что-то большое, тяжелое сорвалось на небе с места и с грохотом покатилося на землю... Оконные стекла и рюмки, стоявшие перед графом, содрогнулись и издали свой стеклянный звук... Удар был сильный...

— Вы боитесь грозы? — спросил я Оленьку.

Та прижала щеку к круглому плечу и поглядела на меня детски доверчиво.

— Боюсь,— прошептала она, немного подумав.— Гроза убила у меня мою мать... В газетах даже писали об этом... Моя мать шла по полю и плакала... Ей очень горько жилось на этом свете... Бог сжалился над ней и убил ее своим небесным электричеством.

— Откуда вы знаете, что там электричество?

— Я училась... Вы знаете? Убитые грозой и на войне и умершие от тяжелых родов попадают в рай... Это нигде не написано в книгах, но это верно. Мать моя теперь в раю. Мне кажется, что и меня убьет гроза когда-нибудь и что и я буду в раю... Вы образованный человек?

— Да...

— Стало быть, вы не будете смеяться... Мне вот как хотелось бы умереть. Одеться в самое дорогое, модное платье, какое я на днях видела на здешней богачке, помещице Шеффер, надеть на руки браслеты... Потом стать на самый верх Каменной Могилы и дать себя

убить молнии так, чтобы все люди видели... Страшный гром, знаете, и конец...

— Какая дикая фантазия! — усмехнулся я, заглядывая в глаза, полные священного ужаса перед страшной, но эффектной смертью. — А в обыкновенном платье вы не хотите умирать?

— Нет... — покачала головой Оленька. — И так, чтобы все люди видели.

— Ваше теперешнее платье лучше всяких модных и дорогих платьев... Оно идет к вам. В нем вы похожи на красный цветок зеленого леса.

— Нет, это неправда! — наивно вздохнула Оленька. — Это платье дешевое, не может быть оно хорошим.

К нашему окну подошел граф с явным намерением поговорить с хорошенькой Оленькой. Мой друг говорит на трех европейских языках, но не умеет говорить с женщинами. Он как-то некстати постоял около нас, нелепо улыбнулся, промычал «мда» и отошел вспять, к графиню с водкой.

— Вы, когда входили сюда в комнату, — сказал я Оленьке, — пели «Люблю грозу в начале мая». Разве эти стихи переложены в песню?

— Нет, я пою по-своему все стихи, какие только знаю.

Я случайно оглянулся назад. На нас глядел Урбенин. В глазах его я прочел ненависть, злобу, которые вовсе не идут к его доброму, мягкому лицу.

«Ревнует он, что ли?» — подумал я.

Бедняга, уловив мой вопросительный взгляд, поднялся со стула и пошел зачем-то в переднюю... Даже по его походке было заметно, что он был взволнован. Удары грома, один другого сильнее и раскатистее, стали повторяться все чаще и чаще... Молния беспрерывно красила в свой приятный, ослепительный свет небо, и сосны, и мокрую почву... До конца дождя было еще далеко. Я отошел от окна к этажерке с книгами и занялся осмотром Оленькиной библиотеки. «Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты», — но из добра, симметрично покоившегося на этажерке, трудно было вывести какое бы то ни было заключение об умственном уровне и «образовательном цензе» Оленьки. Тут была

какая-то странная смесь. Три хрестоматии, одна книжка Борна, задачник Евтушевского, второй том Лермонтова, Шкляревский, журнал «Дело», поваренная книга, «Складчина»... Я мог бы насчитать вам еще более книг, но в то время, когда я взял с этажерки «Складчину» и начал ее перелистывать, дверь из другой комнаты отворилась и в зал вошел субъект, сразу отвлекший мое внимание от Оленькиного образовательного ценза. Это был высокий, жилистый человек в ситцевом халате и порванных туфлях, с достаточно оригинальным лицом. Лицо его, исписанное синими жилочками, было украшено фельдфебельскими усами и бачками и в общем напоминало птичью физиономию. Все лицо было вытянуто вперед, словно стремилось к кончику носа... Такие лица называют, кажется, «кувшинными рылами». Маленькая головка этого субъекта сидела на длинной, худощавой шейке с большим кадыком и покачивалась, как скворешня на ветре... Странный человек обвел нас мутными, зелеными глазами и устоялся на графа...

— Двери заперты? — спросил он умоляющим голосом.

Граф поглядел на меня и пожал плечами...

— Не беспокойся, папаша! — сказала Оленька. — Все заперто... Иди в свою комнату!

— А сарай заперт?

— Он немножко тово... трогается иногда, — шепнул Урбенин, показываясь из передней. — Боится воров и вот, как видите, все насчет дверей хлопочет... Николай Ефимыч, — обратился он к странному субъекту, — иди к себе в комнату и ложись спать! Не беспокойся, все заперто!

— А окна заперты?

Николай Ефимыч быстро обегал все окна, попробовал их запоры и, не взглянув на нас, зашаркал туфлями в свою комнату.

— Находит на него иногда, на беднягу, — начал пояснять по его уходе Урбенин. — Хороший, славный такой человек, знаете ли, семейный — и этакая напасть! Чуть ли не каждое лето в уме мешается...

Я посмотрел на Оленьку. Та конфузливо, спрятав от нас свое лицо, приводила в порядок свои потревоженные книги. Ей, по-видимому, стыдно было за своего сумасшедшего отца.

— А экипаж приехал, ваше сиятельство! — сказал Урбенин. — Можете ехать, если желаете!

— Откуда же этот экипаж взялся? — спросил я.

— Я посылал за ним...

Через минуту я сидел с графом в карете, слушал раскаты грома и злился...

— Выжил-таки нас из домика этот Петр Егорыч, черт его возьми! — ворчал я, не на шутку рассердясь. — Так и не дал разглядеть эту Оленьку! Я не съел бы ее у него... Старый дурак! Все время от ревности лопался... Он влюблен в эту девочку...

— Да, да, да... Представь, и я это заметил! И не впускал он нас в домик только из ревности и за экипажем послал из ревности... Ха, ха!

— Седина в бороду, а бес в ребро... Впрочем, брат, трудно не влюбиться в эту девушку в красном, видя ее каждый день такой, какой мы ее сегодня видели! Чертовски хорошенькая! Только не по его рылу она... Он должен это понимать и не ревновать так эгоистически... Люби, но не мешай и другим, тем более что знаешь, что она не про тебя писана... Этакий ведь старый болван!

— Помнишь, как он вскипел, когда Кузьма за чаем упомянул ее имя? — хихикнул граф. — Я думал, что он всех нас побьет тогда... Так горячо не заступаются за честное имя женщины, к которой равнодушны...

— Заступаются, брат... Но дело не в этом... Важно вот что... Если он нами так командовал сегодня, то что выделяет он с маленькими людьми, с теми, которые находятся в его распоряжении! Небось ключникам, экономам, охотникам и прочим малым мира сего и подступиться к ней не дает! Любовь и ревность делают человека несправедливым, бессердечным, человеконенавистником... Держу пари, что он заел уж из-за этой Оленьки не одного служащего под его начальством. Умно поэтому сделаешь, если будешь давать поменьше веры его жалобам на служащих и

докладам о необходимости изгнания того или другого. Вообще на время ограничь его власть... Любость пройдет — ну, тогда нечего будет бояться. Он добрый и честный малый...

— А как тебе нравится ее папенька? — засмеялся граф.

— Сумасшедший... Ему нужно в сумасшедшем доме сидеть, а не лесами заведовать... Вообще не солжешь, если на воротах своей усадьбы повесишь вывеску: «Сумасшедший дом»... У тебя здесь настоящий Бедлам! Лесничий этот, Сычиха, Франц, помешанный на картах, влюбленный старик, экзальтированная девушка, спившийся граф... чего лучше?

— А ведь этот лесничий жалованье получает! Как же он служит, если он сумасшедший?

— Очевидно, Урбенин держит его только из-за дочери... Урбенин говорит, что на Николая Ефимыча находит почти каждое лето... Но это едва ли... Не каждое лето, а постоянно болен этот лесничий... К счастью, твой Петр Егорыч редко лжет и выдает себя, если соврет что-нибудь...

— В прошлом году Урбенин уведомлял меня, что старый лесничий Ахметьев едет в монахи на Афон, и рекомендовал мне «опытного, честного и заслуженного» Скворцова... Я, конечно, дал согласие, как и всегда его даю. Письма ведь не лица: не выдают себя, если лгут.

Карета въехала во двор и остановилась у подъезда. Мы вышли из нее. Дождь уже прошел. Громовая туча, сверкая молниями и издавая сердитый ропот, спешила на северо-восток, все более и более открывая голубое, звездное небо. Казалось, тяжело вооруженная сила, произведя опустошения и взявши страшную дань, стремилась к новым победам... Отставшие тучки гнались за ней и спешили, словно боялись не догнать... Природа получила обратно свой мир...

И этот мир чудился в тихом, ароматном воздухе, полном неги и соловьиных мелодий, в молчании спящего сада, в ласкающем свете поднимающейся луны... Озеро проснулось после дневного сна и легким ворчаньем давало знать о себе человеческому слуху...

В такое время хорошо кататься по полю в покойной коляске или работать на озере веслами... Но мы пошли в дом... Там нас ожидала иного рода «поэзия».

Самоубийцей называется тот, кто, под влиянием психической боли или угнетаемый невыносимым страданием, пускает себе пулю в лоб; для тех же, кто дает волю своим жалким, опошляющим душу страстям в святые дни весны и молодости, нет названия на человеческом языке. За пулей следует могильный покой, за погубленной молодостью — следуют годы скорби и мучительных воспоминаний. Кто профанировал свою весну, тот понимает теперешнее состояние моей души. Я еще не стар, не сед, но я уже не живу. Психиатры рассказывают, что один солдат, раненный при Ватерлоо, сошел с ума и впоследствии уверял всех, и сам в то верил, что он убит при Ватерлоо, а что то, что теперь считают за него, есть только его тень, отражение прошлого. Нечто похожее на эту полусмерть переживаю теперь и я...

— Я очень рад, что ты ничего не ел у лесничего и не испортил себе аппетита,— сказал мне граф, когда мы входили в дом.— Мы отлично поужинаем... по-старому... Подавать! — приказал он Илье, стаскивавшему с него сюртук и надевавшему халат.

Мы отправились в столовую. Тут, на сервированном столе, уже «кипела жизнь». Бутылки всех цветов и всевозможного роста стояли рядами, как на полках в театральных буфетах, и, отражая в себе ламповый свет, ждали нашего внимания. Соленая, маринованная и всякая другая закуска стояла на другом столе с графином водки и английской горькой. Около же винных бутылок стояли два блюда: одно с поросенком, другое с холодной осетриной...

— Ну-с...— начал граф, наливая три рюмки и пожимаясь, как от холода.— Будем здоровы! Бери свою рюмку, Каэтан Казимирович!

Я выпил, поляк же отрицательно покачал головой. Он придвинул к себе осетрину, понюхал ее и начал есть.

Прошу извинения у читателя. Сейчас мне придется описывать совсем не «романическое».

— Ну-с... они выпили по другой,— сказал граф, наливая вторые рюмки.— Дерзай, Лекок!

Я взял свою рюмку, поглядел на нее и поставил...

— Черт возьми, давно уже я не пил,— сказал я...— Не вспомнить ли старину? — И, недолго думая, я налил пять рюмок и одну за другой опрокинул себе в рот. Иначе я не умел пить. Маленькие школьники учатся у больших курить папиросы: граф, глядя на меня, налил себе пять рюмок и, согнувшись дугой, сморщившись и качая головой, выпил их. Мои пять рюмок показались ему ухарством, но я пил вовсе не для того, чтобы прихвастнуть талантом пить... Мне хотелось опьянения, хорошего, сильного опьянения, какого я давно уже не испытывал, живя у себя в деревеньке. Выпивши, я сел за стол и принялся за поросенка...

Опьянение не заставило долго ждать себя. Скоро я почувствовал легкое головокружение. В груди заиграл приятный холодок — начало счастливого, экспансивного состояния. Мне вдруг, без особенно заметного перехода, стало ужасно весело. Чувство пустоты, скуки уступило свое место ощущению полного веселья, радости. Я начал улыбаться. Захотелось мне вдруг болтовни, смеха, людей. Жуя поросенка, я стал чувствовать полноту жизни, чуть ли не самое довольство жизнью, чуть ли не счастье.

— Отчего же вы ничего не выпьете? — обратился я к поляку.

— Он ничего не пьет,— сказал граф.— Ты не принуждай его.

— Но все-таки хоть что-нибудь да пьете же!

Поляк положил себе в рот большой кусок осетрины и отрицательно покачал головой. Молчание его меня подзадорило.

— Послушайте, Каэтан... как вас по батюшке... отчего вы все молчите? — спросил я его.— Я не имел еще удовольствия слышать вашего голоса.

Две брови его, похожие на летящую ласточку, поднялись, и он поглядел на меня.

— А вам желательно, чтоб я говорил? — спросил он с сильным польским акцентом.

— Весьма желательно.

— А на что вам?

— Помилуйте! На пароходах за обедом чужие и незнакомые люди поднимают между собой разговор, а мы с вами знакомы уже несколько часов, рассматриваем друг друга и не проговорили между собой еще ни одного слова! На что это похоже?

Поляк молчал.

— Отчего же вы молчите? — спросил я, обождав немного. — Ответьте что-нибудь!

— Я не желаю отвечать вам. В вашем голосе я слышу смех, а я не люблю насмешек.

— Он несколько не смеется! — встревожился граф. — Откуда это ты взял, Каэтан? Он дружески...

— Со мной графы и князья не говорили таким тоном! — сказал Каэтан, хмурясь. — Я не люблю такого тона.

— Стало быть, не удостоите беседой? — продолжал я приставать, выпивая еще рюмку и смеясь.

— Знаешь, зачем, собственно, я приехал сюда? — перебил граф, желая переменить разговор. — Я тебе не говорил еще об этом? Прихожу я в Петербурге к одному знакомому доктору, у которого я лечусь постоянно, и жалуюсь на свою болезнь. Он выслушал, выстукал, ощупал, знаешь ли, всего и говорит: «Вы не трус?» Я хоть не трус, но, знаешь, побледнел. «Не трус», — говорю.

— Короче, брат... Надоело.

— Предсказал скорую смерть, если я не оставлю Петербурга и не уеду! У меня вся печень испорчена от долгого питья... Я и решил ехать сюда. Да и глупо там сидеть... Здесь именье такое роскошное, богатое... Климат один чего стоит!.. Делом по крайней мере можно заняться! Труд самое лучшее, самое радикальное лекарство. Не правда ли, Каэтан? Займусь хозяйством и брошу пить... Доктор не велел мне ни одной рюмки... ни одной!

— Ну, и не пей.

— Я и не пью... Сегодня в последний раз, ради свидания с тобой (граф потянулся ко мне и чмокнул меня в щеку)... с моим милым, хорошим другом, завтра же —

ни капли! Бахус прощается сегодня со мной навеки... На прощанье, Сережа, коньячку... выпьем?

Мы выпили коньяку.

— Вылечусь, Сережа, голубчик, и займусь хозяйством... Рациональным хозяйством! Урбенин — добрый, милый... понимает все, но разве он хозяин? Он рутинер! Надо журналы выписывать, читать, следить за всем, участвовать на сельскохозяйственных выставках, а он необразован для этого! В Оленьку... неужели он влюблен? Ха-ха! Я сам займусь, а его помощником своим сделаю... В выборах буду участвовать, общество веселить... а? Ведь и тут можно счастливо прожить! Ты как думаешь? Ну вот, ты уж и смеешься! Уж и смеешься! Право, с тобой нельзя ни о чем говорить!

Мне было весело, смешно. Смешил меня граф, смешили свечи, бутылки, лепные зайцы и утки, украшавшие стены столовой... Не смешила меня одна только трезвая физиономия Казтана Казимировича. Присутствие этого человека раздражало меня.

— Нельзя ли этого шляхтича к черту? — шепнул я графу.

— Что ты! Ради бога...— залепетал граф, хватая меня за обе руки, словно я собирался колотить его поляка.— Пусть себе сидит!

— Но я не могу его видеть! Послушайте! — обратился я к Пшехоцкому.— Вы отказались со мной говорить, но, простите меня, я не потерял еще надежды покороче познакомиться с вашей разговорной способностью...

— Оставь! — дернул меня граф за рукав.— Умоляю!

— Я буду приставать к вам до тех пор, пока вы не станете отвечать мне,— продолжал я.— Что вы хмуритесь? Нешто и теперь слышите в моем голосе смех?

— Если б я выпил столько, сколько вы, то я стал бы с вами разговаривать, а то мы с вами не пара...— проворчал поляк.

— Мы с вами не пара, что и требовалось доказать... Я хотел сказать именно то же самое... Гусь свинье не товарищ, пьяный трезвому не родня... Пьяный мешает трезвому, трезвый пьяному. В соседней гостиной есть

отличные мягкие диваны! На них хорошо полежать после осетринки с хреном. Туда не слышен мой голос. Не желаете ли вы туда отправиться?

Граф всплеснул руками и, мигая глазами, заходил по столовой.

Он трус и боится «крупных» разговоров... Меня же, когда я бывал пьян, тешили недоразумения и неудовольствия...

— Я не понимаю! Я не понимаю! — простонал граф, не зная, что сказать и что предпринять...

Он знал, что меня трудно было остановить.

— Я с вами еще мало знаком, — продолжал я, — может быть, вы прекраснейший человек, а потому мне и не хотелось бы с вами спозаранку ссориться... Я не ссорюсь с вами... Я приглашаю вас только понять, что трезвым не место среди пьяных... Присутствие трезвого действует раздражающе на пьяный организм!.. Поймите вы это!

— Говорите, что вам угодно! — вздохнул Пшехоцкий. — Меня ничем не проймете, молодой человек...

— Будто бы ничем? А если я назову вас упрямой свиньей, вы тоже не обидитесь?

Поляк покраснел — и только. Граф, бледный, подошел ко мне, сделал умоляющее лицо и развел руками.

— Ну, прошу тебя! Умерь свой язык!

Я вошел уже в свою пьяную роль и хотел продолжать, но, на счастье графа и поляка, послышались шаги и в столовую вошел Урбенин.

— Приятного аппетита! — начал он. — Я пришел узнать, ваше сиятельство, не будет ли каких приказаний?

— Приказаний пока нет, а просьба есть... — отвечал граф. — Очень рад, что вы пришли, Петр Егорыч... Садитесь с нами ужинать и давайте толковать о хозяйстве...

Урбенин сел. Граф выпил коньяку и начал излагать ему план своих будущих действий в области рационального хозяйства. Говорил он долго, утомительно, то и дело повторяясь и меняя тему. Урбенин слушал его, как серьезные люди слушают болтовню детей и жен-

щин, лениво и внимательно... Он ел ершовую уху и печально глядел в свою тарелку.

— Я привез с собой прекрасные чертежи! — сказал между прочим граф.— Замечательные чертежи! Хотите, я вам покажу?

Карнеев вскочил и побежал к себе в кабинет за чертежами. Урбенин, пользуясь его отсутствием, быстро налил себе пол чайного стакана водки, выпил и не закусил.

— Противная эта водка! — сказал он, глядя с ненавистью на графин.

— Отчего вы при графе не пьете, Петр Егорыч? — спросил я его.— Неужто вы боитесь?

— Лучше, Сергей Петрович, лицемерить и пить тайком, чем пить при графе. Вы знаете, у графа странный характер... Украдь я у него заведомо двадцать тысяч, он ничего, по своей беспечности, не скажет, а забудь я дать ему отчет в потраченном гривеннике или выпей при нем водки, он начнет плакаться, что у него разбойник управляющий. Вы его хорошо знаете.

Урбенин налил себе еще полстакана и выпил.

— Вы, кажется, прежде не пили, Петр Егорыч,— сказал я.

— Да, а теперь пью... Ужасно пью!—шепнул он...— Ужасно, день и ночь, не давая себе ни минуты отдыха! И граф никогда не пил в такой мере, в какой я теперь пью... Ужасно тяжело, Сергей Петрович! Одному только богу ведомо, как тяжело у меня на сердце! Уж именно, что с горя пью... Я вас всегда любил и уважал, Сергей Петрович, и, откровенно вам скажу... повеситься рад бы!

— Отчего же это?

— Глупость моя... Не одни только дети бывают глупы... Бывают дураки и в пятьдесят лет. Причин не спрашивайте.

Вошел граф и прекратил его излияния.

— Отличнейший ликер! — сказал он, ставя на стол вместо «замечательных» чертежей пузатую бутылку с сургучной печатью бенедиктинцев.— Проездом через Москву у Депре взял. Не желаешь ли, Сережа?

— Ты ведь, кажется, за чертежами ходил! — сказал я.

— Я? За какими чертежами? Ах да! Но, брат, сам черт ничего не разберет в моих чемоданах... Рылся, рылся и бросил... Ликер очень мил. Не хочешь ли?

Урбенин посидел еще немного, простился и вышел. По уходе его мы принялись за красное. Это вино окончательно меня разобрало. Получилось опьянение, какого я именно и хотел, когда ехал к графу. Я стал чрезвычайно бодр душою, подвижен, необычайно весел. Мне захотелось подвига неестественного, смешного, пускающего пыль в глаза... В эти минуты, мне казалось, я мог бы переплыть все озеро, открыть самое запутанное дело, победить любую женщину... Мир с его жизнями приводил меня в восторг, я любил его, но в то же время хотелось придираться, жечь ядовитыми остротами, издеваться... Смешного чернобрового поляка и графа нужно было осмеять, заездить едкой остротой, обратить в порошок.

— Что же вы молчите? — начал я. — Говорите, я слушаю вас! Ха, ха! Я ужасно люблю, когда люди с серьезными, солидными физиономиями говорят детскую чушь!.. Это такая насмешка, такая насмешка над человеческими мозгами!.. Лица не соответствуют мозгам! Чтобы не лгать, надо иметь идиотскую физиономию, а у вас лица греческих мудрецов!

Я не кончил... Язык у меня запутался от мысли, что я говорю с людьми ничтожными, не стоящими и полуслова! Мне нужна была зала, полная людей, блестящих женщин, тысячи огней... Я поднялся, взял свой стакан и пошел ходить по комнатам. Когда мы кутим, мы не стесняем себя пространством, не ограничиваемся одной только столовой, а берем весь дом и часто даже всю усадьбу...

В «мозаиковой» гостиной я выбрал себе турецкую софу, лег на нее и отдал себя во власть фантазий и воздушных замков. Мечты пьяные, но одна другой грандиознее и безграничнее, охватили мой молодой мозг... Получился новый мир, полный одуряющей прелести и не поддающихся описанию красот.

Недоставало только, чтоб я заговорил рифмами и стал видеть галлюцинации.

Граф подошел ко мне и сел на край софы... Ему хотелось что-то сказать мне. Это желание сообщить мне что-то особенное я начал читать в его глазах уже вскоре после вышеописанных пяти рюмок. Я знал, о чем он хотел говорить...

— Как я много выпил сегодня! — сказал он мне. — Это для меня вреднее всякого яда... Но сегодня в последний раз... Честное слово, в последний раз... У меня есть воля...

— Ладно, ладно...

— В последний... Сережа, друг, в последний раз не послать ли в город телеграмму?

— Пожалуй, пошли...

— Кутнем уж в последний раз как следует... Ну, встань же, напиши... — Сам граф не умеет писать телеграмм. У него выходят слишком длинные и неполны. Я поднялся и написал:

«С... Ресторан «Лондон». Содержателю хора Карпову. Оставить все и ехать немедленно с двухчасовым поездом. Граф».

— Теперь без четверти одиннадцать, — сказал граф. — Человек будет скакать до станции три четверти часа, тахитип час... Телеграмму получит Карпов в первом часу... На поезд, стало быть, опоздает... Если на этот не опоздает, то приедет с товарным... Да?

Телеграмма была послана с одноглазым Кузьмой... Илье было приказано, чтобы через час были посланы экипажи на станцию... Я, чтоб убить чем-нибудь время, начал медленно зажигать лампы и свечи во всех комнатах, затем отпер рояль и попробовал клавиши...

Затем, помню, я лежал на той же софе, ни о чем не думал и молча отстранял рукой пристававшего с разговорами графа... Был я в каком-то забытии, полудремоте, чувствуя только яркий свет ламп и веселое, покойное настроение... Образ девушки в красном, склонившей головку на плечо, с глазами, полными ужаса перед эффектною смертью, постоял передо мной и тихо погрозил мне маленьким пальцем... Образ другой девушки, в черном платье и с бледным, гордым

лицом прошел мимо и поглядел на меня не то с мольбой, не то с укоризной.

Далее я слышал шум, смех, беготню... Черные глубокие глаза заслонили мне свет. Я видел их блеск, их смех... На сочных губах играла радостная улыбка... То улыбалась моя цыганка Тина...

— Это ты? — спросил ее голос. — Ты спишь? Вставай, милый... Я давно уже тебя не видела...

Я молча пожал ее руку и привлек ее к себе...

— Пойдем же туда... Все наши приехали...

— Останься... Мне тут хорошо, Тина...

— Но... здесь много света... Ты сумасшедший... Могут войти...

— Кто войдет, тому я сверну шею... Мне хорошо, Тина... Два года уже прошло, как я тебя не видел...

В зале заиграли на рояли. «Ах, Москва, Москва, Москва... белокаменная...» — заорало несколько голосов...

— Видишь, они все поют там... Никто не войдет...

— Да, да...

Свидание с Тиной вывело меня из забытья... Через десять минут она ввела меня в зал, где полукругом стоял хор... Граф сидел верхом на стуле и отбивал руками такт... Пшехоцкий стоял позади его стула и удивленными глазами глядел на певчих птиц... Я вырвал из рук Карпова его балалайку, махнул рукой и затянул:

— «Вниз по мааатушке... па-а-а В-о-о-о...»

— «Па-а В-о-о-о-лге...» — подхватил хор...

— «Ай, жги, говори... говори...»

Я махнул рукой, и мгновенно, с быстротой молнии, наступил новый переход...

— «Ночи безумные, ночи веселые...»

Ничто так раздражающе и щекочуще не действует на мои нервы, как подобные резкие переходы. Я задрожал от восторга и, охватив Тину одной рукой, а другой махая в воздухе балалайкой, допел до конца «Ночи безумные»... Балалайка с треском ударилась о пол и разлетелась на мелкие щепки...

— Вина!

Далее мои воспоминания приближаются к хаосу... Все перемешалось, спуталось, все мутно, неясно... Пом-

ню я серое небо раннего утра... Мы едем на лодках... Озеро слегка волнуется и словно ворчит, глядя на наши дебоширства... Я стою посредине лодки и качаюсь... Тина уверяет меня, что я могу упасть в воду, и просит сесть... Я же громко изъявляю сожаление, что на озере нет таких высоких волн, как Каменная Могила, и гугаю своим криком мартынов, мелькающих белыми пятнами на синей поверхности озера. Далее следует длинный жаркий день с его нескончаемыми завтраками, десятилетними наливками, пуншами, дебошем... Из этого дня я помню только несколько моментов... Я помню себя качающимся с Тиной в саду на качелях. Я стою на одном конце доски, она на другом. Я работаю всем своим туловищем с ожесточением, насколько хватает у меня сил, и сам не знаю, что именно мне нужно: чтобы Тина сорвалась с качелей и убилась или же чтоб она взлетела под самые облака? Тина стоит бледная как смерть, но, гордая и самолюбивая, она стиснула зубы, чтобы ни одним звуком не выдать своего страха. Мы взлетаем все выше и выше и... не помню, чем кончилось. Далее следует прогулка с Тиной в далекую аллею с зеленым сводом, скрывающим от солнца. Поэтический полумрак, черные косы, сочные губы, шепот... Затем рядом со мной идет маленькое контроальто, блондинка с острым носиком, детскими глазками и очень тонкой талией. Я гуляю с ней до тех пор, пока Тина, проследив нас, не делает мне сцены... Цыганка бледна, взбешена... Она называет меня «проклятым» и, обиженная, собирается ехать в город. Граф, бледный, с дрожащими руками, бегаёт около нас и, по обыкновению, не находит слов, чтоб уговорить Тину остаться... Та в конце концов даёт мне пощечину... Странно: я прихожу в бешенство от малейшего, едва оскорбительного слова, сказанного женщиной, и совершенно индифферентен к пощечинам, которые дают мне женщины... Опять длинное «после обеда», опять змея на лестнице, опять спящий Франц с мухами около рта, опять калитка... Девушка в красном стоит на Каменной Могиле, но, завидев нас, исчезает, как ящерица.

К вечеру мы опять друзья с Тиной. За вечером следует та же буйная ночь, с музыкой, залихватским

пением, с щекочущими нервы переходами.., и ни одной минуты сна!

— Это самоистребление! — шепнул мне Урбенин, зашедший на минутку послушать наше пение...

Он, конечно, прав. Далее, помню, я и граф стоим в саду друг против друга и спорим. Около нас прохаживается чернобровый Каэтан, все время не принимавший никакого участия в нашем веселье, но тем не менее не спавший и ходивший все время за нами как тень... Небо уже бело, и на верхушке самого высокого дерева уже начинают золотиться лучи восходящего солнца. Кругом возня воробьев, пенье скворцов, шелест, хлопанье отяжелевших за ночь крыльев... Слышно мычанье стада и крики пастухов. Около нас столик с мраморной доской. На столике свеча Шандора с бледным огнем. Окурки, бумажки от конфет, разбитые рюмки, апельсиновые корки...

— Ты должен это взять! — говорю я, подавая графу пачку кредитных билетов.— Я заставлю тебя взять!

— Ведь я же их приглашал, а не ты! — убеждает граф, стараясь уловить мою пуговицу.— Я здесь хозяин... я угощал тебя,— с какой же стати тебе платить? Пойми, что ты даже оскорбляешь меня этим!

— Я тоже нанимал их, потому и плачу половину. Не берешь? Не понимаю этого одолжения! Неужели ты думаешь, что если ты богат, как дьявол, то имеешь право делать мне такие одолжения? Черт возьми, я нанимал Карпова, я ему и заплачу! Не нужно твоей половины! Я писал телеграмму!

— В ресторане, Сережа, ты можешь платить, сколько тебе угодно, в моем же доме не ресторан... И потом я решительно не понимаю, из-за чего ты хлопочешь, не понимаю твоей прыти. У тебя мало денег, у меня же добра этого куры не клюют... Сама справедливость на моей стороне!

— Так ты не возьмешь? Нет? Не нужно...

Я подношу к бледному огню Шандора кредитные бумажки, зажигаю их и бросаю на землю. Из груди Каэтана вдруг вырывается стон. Он делает большие глаза, бледнеет и падает своим тяжелым телом на

землю, стараясь затушить ладонями огонь на деньгах... Это ему удастся.

— Я не понимаю! — говорит он, кладя в карман обожженные кредитки. — Жечь деньги?! Словно это прошлогоднее полово или любовные письма... Лучше я бедному отдам кому-нибудь, чем отдавать их огню.

Я иду в дом... Там во всех комнатах, на диванах и коврах, спят вразвалку изнеможенные, заезженные певцы... Моя Тина спит на софе в «мозаиковой» гостиной... Она раскинулась и тяжело дышит. Зубы ее стиснуты, лицо бледно... Вероятно, ей снятся качели... По всем комнатам ходит Сычиха и злобно поглядывает своими острыми глазами на людей, так внезапно нарушивших мертвую тишину забытой усадьбы... Она недаром ходит и утруждает свои старые кости...

Вот все то, что осталось в моей памяти после двух диких ночей, остальное же не удержалось в пьяных мозгах или же неудобно для описания... Но довольно и этого!..

Никогда в другое время Зорька не несла меня с таким усердием, как в утро после сожжения кредиток... Ей тоже хотелось домой... Озеро тихо катило свои пенящиеся волны и, отражая в себе поднимающееся солнце, готовилось к дневному сну... Леса и прибрежные ивы стояли недвижимы, словно на утренней молитве... Трудно описать тогдашнее состояние моей души... Много не распространяясь, скажу только, что я несказанно обрадовался и в то же время чуть не сгорел со стыда, когда при повороте от графской усадьбы увидел на берегу старое, изможденное честным трудом и болезнями, святое лицо старика Михея... Михей своею наружностью напоминает библейских рыбаков... Он сидит как лунь, бородат и созерцательно глядит на небо... Когда он стоит неподвижно на берегу и следит взором за бегущими облаками, то можно подумать, что он видит в небе ангелов... Я люблю такие лица...

Увидев его, я осадил свою Зорьку и подал ему руку, как бы желая очиститься прикосновением к его честной, мозолистой руке... Он поднял на меня свои маленькие прозорливые глаза и усмехнулся.

— Здравствуй, хороший барин! — сказал он, немело подавая мне руку. — Что опять заскакал? Аль тот лодарь приехал?

— Приехал.

— То-то... по лику вижу... А я стою вот тут и гляжу... Мир и есть мир. Суета сует... Взглянь-ка! Немцу помирать надо, а он о суете заботится... Видишь?

Старик указал палкой на графскую купальню. От купальни быстро плыла лодка. В ней сидел человек в жокейском картузике и синей куртке. То был садовник Франц.

— Каждое утро на остров деньги возит и прячет... Нет у глупого понятия в голове, что для него что песок, что деньги — одна цена... Умрет — не возьмет с собой. Дай, барин, сигарку!

Я подал ему портсигар. Он взял три папироски и сунул их за пазуху.

— Это я племяннику... Пушай покурит.

Нетерпеливая Зорька задвигалась и полетела. Я поклонился старику, благодарный, что он дал моим глазам отдохнуть на его лице. Он долго глядел мне вслед.

Дома встретил меня Поликарп... Презрительным, сокрушающим взглядом он измерил мое барское тело, словно желая узнать, купался ли я на этот раз во всем костюме, или нет?

— Поздравляем, — проворчал он. — Получил удовольствие!

— Молчи, дурак! — сказал я.

Меня злила его глупая физиономия. Быстро раздевшись, я укрылся одеялом и закрыл глаза.

Голова закружилась, и мир окутался туманом. В тумане промелькнули знакомые образы... Граф, змея, Франц, собаки огненного цвета, девушка в красном, сумасшедший Николай Ефимыч.

— Муж убил свою жену! Ах, как вы глупы!

Девушка в красном погрозила мне пальцем, Тина заслонила мне свет своими черными глазами, и... я уснул...

— Как сладко и безмятежно он спит! Глядя на это бледное, утомленное лицо, на эту невинно-детскую

улыбку и прислушиваясь к этому ровному дыханию, можно подумать, что здесь на кровати лежит не судебный следователь, а сама спокойная совесть! Можно подумать, что граф Карнеев еще не приехал, что не было ни пьянства, ни цыганок, ни скандалов на озере... Вставайте, ехиднейший человек! Вы не стойте, чтобы пользоваться таким благом, как покойный сон! Поднимайтесь!

Я открыл глаза и сладко потянулся... От окна до моей кровати шел широкий солнечный луч, в котором, гоняясь одна за другой и волнуясь, летали белые пылинки, отчего и сам луч казался подернутым матовой белизной... Луч то исчезал с моих глаз, то опять появлялся, смотря по тому, входил ли в область луча, или выходил из нее шагавший по моей спальне наш милейший уездный врач, Павел Иванович Вознесенский. В длинном, расстегнутом сюртуке, болтающемся на нем, как на вешалке, заложив руки в карманы своих необыкновенно длинных брюк, доктор ходил из угла в угол, от стула к стулу, от портрета к портрету и шурил свои близорукие глаза на все, что только попадалось на пути его взгляду. Покорный своей привычке совать свой нос и запускать «глазенапа» всюду, где только возможно, он, то нагибаясь, то сильно вытягиваясь, заглядывал в рукомойник, в складки опущенной сторы, в дверные щели, в лампу... словно искал чего-то или желал удостовериться, все ли цело... Вглядываясь пристально сквозь очки в какую-нибудь щель или пятно на обоях, он хмурился, принимал озабоченное выражение, нюхал своим длинным носом, старательно скоблил ногтем... Все это проделывал он машинально, бессознательно и по привычке, но тем не менее, быстро перебегая глазами с одного предмета на другой, он имел вид знатока, производящего экспертизу.

— Поднимайтесь, вам говорят! — будил он меня своим певучим тенором, заглядывая в мыльницу и снимая с мыла ногтем волосок.

— А... а... а... здравствуйте, господин Щур! — зевнул я, увидев его, нагнувшегося над рукомойником.— Сколько зим, сколько лет!

Весь уезд дразнит доктора Щуром за его вечно прищуренные глаза; дразнил и я. Увидев, что я проснулся, Вознесенский подошел ко мне, сел на край кровати и тотчас же потянул к своим прищуренным глазам коробку со спичками...

— Так спят одни только лентяи да люди со спокойной совестью,— сказал он,— а так как вы ни то, ни другое, то вам подобало бы, друже, встать немножко пораньше...

— А который теперь час?

— Одиннадцатый на исходе.

— Черт вас возьми, Щуренька! Никто не просил вас будить меня так рано! Вы знаете, я уснул сегодня только в шестом часу, и если бы не вы, то проспал бы до вечера.

— Так! — услышал я из соседней комнаты бас Поликарпа.— Мало он еще спал! Вторые сутки спит, и все ему мало! Да вы знаете, какой сегодня день? — спросил Поликарп, входя в спальную и глядя на меня так, как умные глядят на дураков.

— Среда,— сказал я.

— Как же, беспреренно. Нарочно для вас так и сделали, чтобы в неделе две среды было...

— Сегодня четверг! — сказал доктор.— Так это, голубчик, вы изволили всю среду проспять? Мило! очень мило! Сколько же это вы выпили, позвольте вас спросить?

— Я двое суток не спал, а выпил... не помню, сколько я выпил.

Уславши Поликарпа, я начал одеваться и описывать доктору пережитые мною так недавно «ночи безумные, речи бессвязные», которые так хороши и чувствительны в романах и так безобразны на деле. В своих описаниях я старался не выходить из пределов «легкого жанра», держаться фактов и не вдаваться в мораль, хотя все это и противно натуре человека, питающего страсть к итогам и выводам... Я говорил и делал вид, что говорю о пустяках, нимало меня не тревожащих. Щадя целомудрие Павла Ивановича и зная его отвращение к графу, я многое скрыл, многого коснулся только слегка, но тем не менее, несмотря

даже на игривость моего тона, на карикатурный пошиб моей речи, доктор во все время моего рассказа глядел мне в лицо серьезно, то и дело покачивая головой и нетерпеливо подергивая плечами. Он ни разу не улыбнулся... Очевидно, мой «легкий жанр» произвел на него далеко не легкое впечатление.

— Что же вы не смеетесь, Щуренька? — спросил я, покончив со своими описаниями...

— Если бы все это не вы мне рассказывали и если бы не один случай, то я не поверил бы всему этому. Уж больно безобразно, друже!

— О каком случае вы говорите?

— Вчера под вечер был у меня мужик, которого вы так неделикатно попотчевали веслом... Иван Осипов...

— Иван Осипов... — пожал я плечами... — Первый раз слышу!

— Высокий такой, рыжий... с веснушками на лице... Припомните-ка! Вы ударили его веслом по голове.

— Ничего не понимаю! Никакого Осипова не знаю, веслом никого не потчевал... Все это вам снилось, дядя!

— Дай бог, чтобы снилось... Он явился ко мне с отношением от карнеевского волостного правления и попросил медицинского свидетельства... В отношении написано, да и сам он не врет, что рана нанесена ему вами... И теперь не помните? Рана ушибленная, повыше лба, на границе с волосистой частью... До кости хватили, батенька!

— Не помню! — прошептал я... — Кто он? Чем занимается?

— Обыкновенный карнеевский мужик, у вас же там на озере был гребцом, когда вы кутили...

— Гм... может быть! Не помню... Вероятно, был пьян и как-нибудь нечаянно...

— Нет-с, не нечаянно... Он говорит, что вы рассердились на него за что-то, долго бранились и потом, рассвирепев, подскочили к нему и при свидетелях хватили... Мало того, вы крикнули: «Я убью тебя, шельму этакую!..»

Я покраснел и прошелся из угла в угол.

— Хоть убей, не помню! — проговорил я, изо всех сил напрягая память.— Не помню! Вы говорите «рас-свирепев»... В пьяном виде я бываю непростительно мерзок!

— Чего же лучше!

— Мужик, очевидно, хочет затеять скандал, но не это важно... Важен сам факт, побои... Неужели я способен драться? И за что я ударил бедного мужика?

— Да-с... Свидетельства, конечно, я не мог ему не дать, но не преминул посоветовать ему обратиться к вам... Вы сойдитесь с ним как-нибудь... Побои легкие, но, рассуждая неофициально, рана головы, проникающая до черепа, штука серьезная... Нередки случаи, когда, по-видимому, самая пустая рана головы, отнесенная к легким побоям, оканчивалась омертвением костей черепа и, стало быть, путешествием *ad patres*¹.

И Щур, увлекшись, поднялся, зашагал около стен и, размахивая руками, начал выкладывать передо мною свои познания из хирургической патологии... Омертвение костей черепа, воспаление мозга, смерть и другие ужасы так и сыпались из его рта с бесконечными объяснениями макроскопических и микроскопических процессов, сопровождающих эту туманную и не интересную для меня *terram incognitam*².

— Будет вам, барабошка! — остановил я его медицинскую болтовню...— Неужели вы не знаете, как все это скучно?

— Это ничего, что скучно... Вы слушайте и казнитесь... Авось в другой раз будете поосторожней и не станете делать ненужных глупостей... Из-за этого паршивца Осипова, если вы с ним не сойдетесь, вы можете место потерять! Жрецу Фемиды судиться за побои... ведь это скандал!

Павел Иванович единственный человек, сентенции которого я выслушиваю с легкой душой, не морщась, которому дозволяется вопросительно заглядывать в мои глаза и запускать исследующую руку в дебри

¹ к праотцам (*лат.*).

² неизвестную область (*лат.*).

моей души... Мы с ним приятели в самом лучшем смысле этого слова и уважаем друг друга, хотя у нас с ним и существуют счеты неприятного, щекотливого свойства... Между мною и им, как черная кошка, прошла женщина. Этот вечный *casus belli*¹ породил между нами счеты, но не поссорил нас, и мы продолжаем быть в мире. Шур — очень хороший малый... Я люблю его простое, далеко не пластическое лицо с большим носом, прищуренными глазами и жидкой, рыжей бородкой. Я люблю его высокую, тонкую, узкоплечую фигуру, на которой сюртуки и пальто болтаются, как на вешалке.

Его уродливо сшитые брюки собираются безобразными складками у колен и безбожно топчутся сапогами; его белый галстук вечно сидит не на месте... Но вы не подумайте, что он неряха... Взглянувши раз на его доброе, сосредоточенное лицо, вы поймете, что ему некогда хлопотать о своей наружности, да и не умеет он... Он молод, честен, не суетен, любит свою медицину, вечно в разъездах — этого достаточно, чтоб объяснить в его пользу все промахи его незатейливого туалета. Он, как артист, не знает цены деньгам и невозмутимо жертвует своим комфортом и благами жизни кое-каким своим страстишкам, и оттого-то он дает впечатление человека неимущего, еле сводящего концы с концами... Он не курит, не пьет, не платит женщинам, но тем не менее две тысячи, которые вырабатывает он службой и практикой, уходят от него так же быстро, как уходят у меня мои деньги, когда я переживаю период кутежа. Две страсти обирают его: страсть давать займы и страсть *выписывать* по газетным объявлениям... Займы дает он всякому просящему, не говоря ни слова и не заикаясь об обратной получке... Никаким гвоздем не выковыришь из него бесшабашной веры в людскую добросовестность, и эта вера еще рельефнее сказывается в его постоянных выписываниях вещей, воспеваемых в газетных объявлениях... Он выписывает все, нужное и ненужное. Выписывает книги, зрительные трубки, юмористические журналы, столовые приборы, «состоящие из 100 вещей», хронометры...

¹ повод к войне (лат.).

И не мудрено, если больные, приходящие к Павлу Ивановичу, принимают его комнату за арсенал или музей... Его надували и надувают, но вера по-прежнему сильна и бесшабашна... Малый он славный, и мы еще не раз встретимся с ним на страницах этого романа...

— Как, однако, я у вас засиделся,— спохватился он, взглянув на свои дешевые, с одной крышкой, часы, выписанные им из Москвы «с ручательством на 5 лет», но тем не менее два раза уже бывшие в починке.— Мне пора, друже! Прощайте и смотрите вы мне! Эти графские кутежи добром не кончатся! Не говорю уж о вашем здоровье... Ах, да! Будете завтра в Теневе?

— А что там завтра?

— Престольный праздник! *Все там будут, и вы приезжайте! Обязательно приезжайте! Я дал слово, что вы непременно приедете. Не сделайте же меня лгуном...*

Кому дал он слово — не нужно было спрашивать. Мы понимали друг друга. Простившись со мной, доктор надел свое поношенное пальто и уехал...

Я остался один... Чтобы заглушить неприятные мысли, начинавшие копошиться в моей голове, я подошел к своему письменному столу и, стараясь не думать, не отдавать себе отчета, занялся полученными бумагами... Конверт, первый попавшийся мне на глаза, содержал в себе следующее письмо:

«Душечка мой Сережа! Извени, что я тебя беспокою, но я так удивлена, что не знаю, к кому и обратиться... Это ни на что не похоже. Конечно, теперь не варотиш и мне не жалко, но посуди сам, что если ворам делать поблашку, то порядочной женщине нигде нельзя быть покойной. После того, как ты уехал, я проснулась на дивани и не нашла на себе многих вещей. Украли браслет, золотую запонку, десять жемчужин из ожерелья и вынули из партмонета рублей сто дених. Я хотела жаловаться графу, но он спал, и так и уехала. Это нехорошо. Графский дом, а воруют как в трактире. Ты скажи графу. Целую тебя и кланяюсь. Твоя любящая Тина».

Что дом его сиятельства изобиловал ворами,— для меня не было новостью, и я приобщил письмо Тины

к сведениям, уже имевшимся у меня на этот счет в памяти. Рано или поздно,— я должен был пустить в дело эти сведения... Я знал воров.

Письмо черноглазой Тины, ее жирный, сочный почерк напомнили мозаиковую гостиную и вызвали во мне желание, похожее на желание опохмелиться, но я превозмог себя и силою своей воли заставил себя работать. Сначала мне было невыразимо скучно разбирать размашистые почерки приставов, но потом мое внимание мало-помалу фиксировалось на краже со взломом, и я стал работать с наслаждением. Целый день сидел я за своим письменным столом, а Поликарп то и дело проходил мимо меня и недоверчиво поглядывал на мою работу. В мое степенство ему не верилось, и он каждую минуту ждал, что я поднимусь из-за стола и прикажу седлать Зорьку; но к вечеру, видя мое упорство, он поверил, и выражение угрюмости на лице сменил выражением удовольствия... Он стал ходить на цыпочках, говорить шепотом... Когда мимо моих окон прошли парни с гармонийкой, он вышел на улицу и прокричал:

— Чего вы, черти, здесь расходились? Ходите другой улицей! Нешто не знаете, махаметы, что барин занимается.

Вечером, подав в столовой самовар, он тихо отворил мою дверь и ласково позвал меня пить чай.

— Пожалуйте чай кушать!— сказал он, нежно вздохнув и почтительно улыбаясь.

А когда я пил чай, он тихо подошел сзади ко мне и поцеловал меня в плечо...

— Вот этак лучше, Сергей Петрович,— забормотал он.— Наплюйте на того белобрысого черта, чтоб ему... Статочное ли дело при вашем высоком понятии и при вашей образованности малодушием заниматься? Ваше дело благородное... Надо, чтобы все вас ублажали, боялись, а ежели будете с тем чертом людям головы проламывать да в озере в одежде купаться, то всякий скажет: «Никакого ума! Пустяковый человек!» И пойдет тогда по миру слава! Удадь купцу к лицу, а не благородному.. Благородному наука требуется, служба...

— Ну, будет, будет...

— Не путайтесь с графом, Сергей Петрович! А коли желаете дружитья, то чем не человек доктор Павел Иванович? Только что оборванный ходит, да зато ведь ума много!

Искренность Поликарпа меня растеплила... Мне захотелось сказать ему ласковое слово...

— Ты какой роман теперь читаешь? — спросил я его.

— Графа Монте-Кристова. Вот граф! Так это настоящий граф! Непохож на вашего замазуру!

После чая я опять сел за работу и работал до тех пор, пока мои веки не стали опускаться и закрывать утомленные глаза... Ложась спать, я приказал Поликарпу разбудить меня в пять часов.

На другой день, в шестом часу утра, я, весело на-свистывая и сбивая тростью головки цветов, шел пешком в Тенево, где в этот день был престольный праздник и куда приглашал меня мой друг Щур, Павел Иванович. Утро было прелестное. Само счастье, казалось, висело над землей и, отражаясь в бриллиантовых росинках, манило к себе душу прохожего... Лес, окутанный утренним светом, был тих и неподвижен, словно прислушивался к моим шагам и чириканью птичьей братии, встречавшей меня выражениями недоверия и испуга... Воздух был пропитан испарениями весенней зелени и своею нежностью ласкал мои здоровые легкие. Я дышал им и, окидывая восторженными глазами простор, чувствовал весну, молодость, и мне казалось, что молодые березки, придорожная травка и гудевшие без умолку майские жуки разделяли это мое чувство.

«И к чему там, в мире,— думал я,— теснится человек в своих тесных лачугах, в своих узких и тесных идейках, если здесь такой простор для жизни и мысли? Отчего он не идет сюда?»

И мое напоэтизированное воображение не хотело мешать себе мыслью о зиме и хлебе, этих двух печалях, загоняющих поэтов в холодный, прозаический Петербург и в нечистоплотную Москву, где платят гонорар за стихи, но не дают вдохновения.

Мимо меня проезжали крестьянские обозы и помещичьи брички, спешившие к обедне и на ярмарку. То и дело приходилось снимать шапку и отвечать на приветливые поклоны мужиков и знакомых помещиков. Всякий предлагал «подвезти», но идти было лучше, чем ехать, и я всякий раз отказывался. Мимо меня, между прочими, проехал на беговых дрожках и графский садовник Франц, в синей куртке и жокейском картузике... Он лениво поглядел на меня сонными, прокисшими глазками и еще ленивее сделал под козырек. Сзади него был привязан пятиведерный бочонок с железными обручами, очевидно водочный... Противная рожа Франца и его бочонок расстроили несколько мое поэтическое настроение, но скоро поэзия опять восторжествовала, когда я услышал сзади себя шум экипажа и, оглянувшись, увидел тяжелый шарабан, запряженный в пару гнедых лошадок, а в тяжелом шарабане на кожаном, ящикообразном сиденье — мою новую знакомку, «девушку в красном», говорившую со мной за два дня до этого про «электричество», убившее ее мать... Хорошенькое, свежеемытое и несколько заспанное личико Оленьки просияло и слегка зарумянилось, когда она увидела меня, шагавшего по краю межи, отделявшей лес от дороги. Она весело закивала мне головой и улыбнулась так приветливо, как улыбаются одни только старые знакомые.

— Доброе утро! — крикнул я ей.

Она сделала мне ручкой и вместе со своим тяжелым шарабаном исчезла с моих глаз, не дав мне взглянуться на ее хорошенькое, свежее личико. На этот раз она не была одета в красное. На ней был какой-то темно-зеленый турнюр с большими пуговицами да широкополая соломенная шляпа, но тем не менее она мне понравилась не меньше прежнего. Я с удовольствием поговорил бы с ней и послушал ее голос. Я хотел бы заглянуть в ее глубокие глаза при блеске солнца, как заглядывал в них тогда вечером при сверкавшей молнии. Мне хотелось высадить ее из некрасивого шарабана и предложить ей пройти остальной путь рядом со мной, что я и сделал бы, если бы не «условия»

света. Мне почему-то казалось, что она охотно согласилась бы на это предложение... Недаром она два раза оглянулась на меня, когда шарабан поворачивал за высокие ольхи!..

До Тенева от места моего жительства было шесть верст — расстояние для человека молодого в хорошее утро почти незаметное. В начале седьмого часа я уже пробирался между возами и ярмарочными балаганами к теневаской церкви. Торговый шум, несмотря на раннее утро и на то, что обедня еще не кончилась, уже стоял в воздухе. Скрипенье возов, ржанье лошадей, мычанье коров, игра в игрушечные трубы — все это мешалось с возгласами барышников цыган и пением уже успевших «налимониться» мужиков. Сколько веселых, праздничных лиц, сколько типов! Сколько прелести и движения в этой массе, пестреющей яркими цветами платьев, залитой светом утреннего солнца! Все это, многотысячное, копошилось, двигалось, шумело, чтобы в несколько часов сделать свое дело и к вечеру разъехаться, оставив после себя на площади, как бы в воспоминание, сенные отбросы, кое-где рассыпанный овес и ореховую скорлупу... Народ густыми толпами валил к церкви и от церкви...

Церковный крест испускал из себя золотые лучи, такие же яркие, как и само солнце. Он сверкал и, казалось, стгорал золотым огнем. Ниже его горела тем же огнем церковная глава и лоснился на солнце свежеевыкрашенный зеленый купол, а за сверкающим крестом широко расстилалась прозрачная, далекая синева. Я, пройдя через ограду, наполненную народом, пробрался в церковь. Обедня недавно еще началась, и, когда я вошел, читали еще только апостол. В церкви стояла тишина, нарушаемая чтением да шагами кадившего дьякона. Народ стоял тихо, неподвижно, с благоговением всматриваясь в открытые царские врата и прислушиваясь к протяжному чтению. Деревенские приличия, или, вернее, деревенская порядочность, строго преследуют всякое поползновение к нарушению в церкви благоговейной тишины. Мне всегда становилось совестно, когда меня вынуждало что-нибудь улыбаться в церкви или разговаривать. К несчастью, в редких

только случаях я не встречал в церкви своих знакомых, которых у меня, к сожалению, было очень много; обыкновенно же чуть только, бывало, входил я в церковь, как ко мне тотчас же подходил какой-нибудь «интеллигент» и после длинных предисловий о погоде начинал разговор о своих грошовых делах. Я отвечал «да» и «нет», но был так щепетилен, что был не в силах совсем отказать своему собеседнику во внимании. И моя щепетильность недешево мне стоила: я беседовал и конфузливо косился на молящихся соседей, боясь, что я оскорбляю их своей праздной болтовней.

И на этот раз не обошлось без знакомых. Войдя в церковь, я у самого входа увидел мою героиню, ту самую «девушку в красном», которую я встретил, пробираясь в Тенево.

Бедняжка, красная как рак и вспотевшая, стояла в толпе и обводила умоляющими глазами все лица, ища избавителя. Она застряла в тесной толпе и, не двигаясь ни взад ни вперед, походила на птичку, которую сильно стиснули в кулаке. Увидев меня, она горько улыбнулась и закивала мне своим хорошеньким подбородком.

— Проводите меня, ради бога, вперед! — заговорила она, хватая меня за рукав. — Здесь ужасная духота и... тесно... Прошу вас!

— Но ведь и впереди тесно! — сказал я.

— Но там все чисто одетые, приличные... Здесь простой народ, а для нас отведено место впереди... И вы там должны быть...

Стало быть, красна она была не потому, что в церкви душно и тесно. Ее маленькую головку мучил вопрос местничества! Я внял мольбам суетной девочки и, осторожно расталкивая народ, провел ее до самого амвона, где был уже в сборе весь цвет нашего уездного бомонда. Поставив Оленьку на подобающее ее аристократическим поползновениям место, я стал позади бомонда и занялся наблюдениями.

Мужчины и дамы, по обыкновению, шептались и хихикали. Мировой судья Калинин, жестикулируя пальцами и поматывая головой, вполголоса рассказывал помещику Деряеву о своих болезнях. Деряев почти

вслух бранил докторов и советовал мировому лечиться у какого-то Евстрата Иваныча. Дамы, увидев Оленьку, ухватились за нее, как за хорошую тему, и зашущукали. Одна только девушка, по-видимому, молилась... Она стояла на коленях и, устремив свои черные глаза вперед, шевелила губами. Она не заметила, как из-под ее шляпки выпал локон и беспорядочно повис на бледном виске... Она не заметила, как около нее остановился я с Оленькой.

Это была дочь мирового Калинина, Надежда Николаевна. Когда я ранее говорил о женщине, черной кошкой пробежавшей между мною и доктором, то говорил о ней... Доктор любил ее так, как способны любить только такие хорошие натуры, как мой милый Щур, Павел Иванович... Теперь он, как шест, стоял около нее, держа руки по швам и вытянув шею... Изредка он вскидывал свои любящие вопрошающие глаза на ее сосредоточенное лицо... Он словно сторожил ее молитву, и в его глазах светилось страстное, тоскующее желание быть предметом ее молитвы. Но, к его несчастью, он знал, за кого она молилась... Не за него...

Я кивнул Павлу Ивановичу, когда тот оглянулся на меня, и мы оба вышли из церкви.

— Давайте шляться по ярмарке,— предложил я.

Мы закурили папиросы и пошли по лавкам.

— Как поживает Надежда Николаевна? — спросил я доктора, входя с ним в палатку, в которой продавались игрушки...

— Ничего себе... Кажется, здорова... — отвечал доктор, шурясь на маленького солдатика с лиловым лицом и в пунцовом мундире. — О вас спрашивала...

— Что же она обо мне спрашивала?

— Так, вообще... Сердится, что вы давно у них не бывали... Ей хочется повидаться с вами и спросить вас о причинах такого внезапного охлаждения к их дому... Ездили почти каждый день и потом — на тебе! Словно отрезал... И не кланяется даже.

— Врете, Щур... Действительно, я за неимением досуга перестал посещать Калининых... Что правда, то правда. Отношения же мои с этой семьей по-преж-



К рассказу «Маска».

Художник Б. Калаушин. 1954.

нему отменные... Всегда кланяюсь, если встречаю кого-нибудь из них.

— Однако, встретившись в прошлый четверг с ее отцом, вы почему-то не нашли нужным ответить на его поклон.

— Я не люблю этого болвана, мирового,— сказал я,— и не могу равнодушно глядеть на его рожу, но все-таки у меня еще хватает силы кланяться ему и пожимать протягиваемую им руку. Вероятно, я не заметил его в четверг или не узнал. Вы сегодня не в духе, Шуренька, и придираетесь...

— Люблю я вас, голубчик,— вздохнул Павел Иванович,— но не верю вам... «Не заметил, не узнал...» Не нужно мне ни ваших оправданий, ни отговорок... К чему они, если в них так мало правды? Вы славный, хороший человек, но в вашем больном мозгу есть, торчит гвоздем маленький кусочек, который, простите, способен на всякую пакость...

— Покорнейше благодарим.

— Вы не сердитесь, голубчик... Дай бог, чтоб я заблуждался, но мне кажется, что вы немножко психопат. У вас иногда, вопреки воле и направлению вашей хорошей природы, вырываются такие желания и поступки, что все, знающие вас за порядочного человека, становятся в тупик... Диву даешься, как это ваши высоко нравственные принципы, которые я имею честь знать, могут уживаться с теми вашими внезапными побуждениями, которые в исходе дают кричащую мерзость! Какой это зверь? — обратился вдруг Павел Иванович к торговцу, переменяя тон и поднося к глазам деревянного зверя с человеческим носом, гривой и серыми полосами на спине.

— Лев,— зевнул продавец...— А може, и другая какая тварь. Шут их разберет!

От игрушечных балаганов мы направились к «красным» лавкам, где уже кипела торговля.

— Эти игрушки только обманывают детей,— сказал доктор.— Они дают самые превратные понятия о флоре и фауне. Этот лев, например... Полосат, багров и пищит... Нешто львы пищат?

— Послушайте, Щуренька,— сказал я.— По-видимому, вам хочется мне что-то сказать и вы словно не решаетесь... Говорите... Мне приятно вас слушать даже тогда, когда вы говорите неприятные вещи...

— Приятно, друже, или неприятно, а уж вы послушайте... Мне о многом хотелось бы с вами поговорить...

— Начинайте... Я обращаюсь в одно очень большое ухо.

— Я уже высказал вам свое предположение относительно того, что вы психопат. Теперь не угодно ли выслушать доказательство?.. Я буду говорить откровенно, быть может иногда несколько резко... вас покоробит от моих слов, но вы не сердитесь, друже... Вы знаете мои к вам чувства: люблю вас больше всех в уезде и уважаю... Говорю вам не ради упрека и осуждений, не для того, чтоб колоть вас. Будем оба объективны, друже... Станем рассматривать вашу психику беспристрастным оком, как печенку или желудок...

— Хорошо, будем объективны,— согласился я.

— Превосходно... Начнем хоть с ваших отношений к Калининым... Если вы справитесь у вашей памяти, то она скажет вам, что вы начали посещать Калининых тотчас же по приезде в наш богоспасаемый уезд. Вашего знакомства не искали... Вы с первого же раза не понравились мировому своим надменным видом, насмешливым тоном и дружбой с кутилой графом, и вам не бывать бы у мирового, если бы вы сами не сделали ему визита. Помните? Вы познакомились с Надеждой Николаевной и стали ездить к мировому чуть ли не каждый день... Бывало, когда ни придешь, вы вечно там... Прием оказывался вам самый радушный. Люди ласкали вас, как только умели... И отец, и мать, и маленькие сестры... Привязались к вам, как к родному... Вами восторгаются, вас носят на руках, хохочут от малейшей вашей остроты... Вы для них образец ума, благородства, джентльменства. Вы словно понимаете все это и за привязанность платите привязанностью — ездите каждый день, даже в дни подпраздничных приборов и суматох. Наконец, для вас не секрет та несчастная любовь, которую вы возбудили к себе в Наденьке... Ведь не секрет? Вы, знающий,

что она в вас по уши влюблена, все ездите и ездите... И что же, друже? Год тому назад вы вдруг, ни с того ни с сего, внезапно прекращаете свои визиты. Вас ждут неделю... месяц... ждут до сегодня, а вы все не показываетесь... Вам пишут, вы не отвечаете... Наконец, вы даже не кланяетесь... Вам, придающему большое значение приличиям, эти ваши поступки должны показаться верхом невежливости! Отчего вы так резко и круто отчалили от Калининых? Вас обидели? Нет... Вам надоело? В таком случае вы могли бы отчалить постепенно, без этой обидной, ничем не мотивированной резкости...

— Перестал в гости ездить, — усмехнулся я, — и попал в психопаты. Как вы наивны, Щуренька! Не все ли равно — сразу ли прекратить знакомство, или постепенно? Сразу даже честнее — лицемерия меньше. Какие все это пустяки, однако!

— Допустим, что все это пустяки или что вас заставили так круто повернуть причины скрытые, до которых нет дела постороннему оку. Но чем объяснить ваши дальнейшие поступки?

— Например?

— Например, вы являетесь однажды в нашу земскую управу, — не знаю, какое было у вас там дело, — и на вопрос председателя, отчего вас не стало видно у Калининых, вы сказали... Припомните-ка, что вы сказали! «Боюсь, что меня женят!» Вот что сорвалось с вашего языка! И это вы сказали во время заседания, громко, отчетливо — так, что могли вас слышать все сто человек, бывшие в зале заседания! Красиво? В ответ на ваши слова слышатся смех и скабрзные остроты на тему о ловле женихов. Вашу фразу подхватывает какой-то мерзавец, идет к Калининым и подносит ее Наденьке во время обеда... За что такая обида, Сергей Петрович?

Павел Иванович загородил мне дорогу, стал передо мной и продолжал, глядя мне в лицо умоляющими, почти плачущими глазами:

— За что такая обида? За что? За то, что эта хорошая девушка вас любит? Допустим, что отец, как и всякий отец, имел поползновения на вашу особу... Он,

по-отечески, всех имеет в виду: и вас, и меня, и Маркузина... Все родители одинаковы... Нет сомнения, что и она, по уши влюбленная, быть может, надеялась стать вашей женой... Так за это давать такую звонкую пощечину? Дяденька, дяденька! Не вы ли сами добились этих поползновений на вашу особу? Вы каждый день ездили, обыкновенные гости так часто не ездят. Днем вы удили с нею рыбу, вечерами гуляли в саду, ревниво оберегая ваше tête-à-tête...¹ Вы узнали, что она любит вас, и ни на йоту не изменили вашего поведения... Можно было после этого не подозревать в вас добрых намерений? Я был уверен, что вы на ней женитесь! И вы... вы пожаловались, посмеялись! За что? Что она вам сделала?

— Не кричите, Щуренька, народ смотрит,— сказал я, обходя Павла Ивановича.— Прекратим этот разговор. Это бабий разговор... Скажу вам только три строчки, и будет с вас. Ездил я к Калининим, потому что скучал и интересовался Наденькой... Она очень интересная девица... Может быть, я и женился бы на ней, но, узнав, что вы ранее меня попали в претенденты ее сердца, узнав, что вы к ней равнодушны, я порешил стусеваться... Жестко было бы с моей стороны мешать такому хорошему малому, как вы...

— Мерси за одолжение! Я вас не просил об этой милостивой подачке и, насколько могу судить теперь по выражению вашего лица, вы говорите сейчас неправду, говорите зря, не вдумываясь в ваши слова... И потом то обстоятельство, что я славный малый, не помешало вам, однако, в одно из последних ваших посещений сделать Наденьке в беседке предложение, от которого не поздоровилось бы славному малому, если бы он на ней женился!

— Эге-ге!.. Откуда вам известно об этом предложении, Щуренька? Стало быть, ваши дела недурно идут, если вам стали уже верить такие тайны!.. Но, однако, вы побледнели от злости и чуть ли не собираетесь бить меня... А еще тоже уговаривался быть

¹ Здесь: уединение (франц.).

объективным! Какой вы смешной, Щуренька! Ну, бросим эту галиматью... Пойдем на почту...

Мы направились к почтовому отделению, которое весело глядело своими тремя окошечками на базарную площадь. Сквозь серый палисадник пестрел цветник нашего приемщика, Максима Федоровича, известного в нашем уезде знатока по части устройства клумб, гряд, газонов и прочего.

Максима Федоровича мы застали за очень приятным занятием... Красный от удовольствия и улыбающийся, он сидел за своим зеленым столом и, как книгу, перелистывал толстую пачку сторублевых бумажек. По-видимому, на расположение его духа мог влиять вид даже чужих денег.

— Здравствуйте, Максим Федорыч! — поздоровался с ним. — Откуда это у вас такая куча денег?

— А вот-с, в Санкт-Петербург отправляют! — сладенько улыбнулся приемщик и указал подбородком в угол, где на единственном, имевшемся в почтовом отделении, стуле сидела темная человеческая фигура...

Увидев меня, эта фигура поднялась и подошла ко мне. В ней я узнал моего нового знакомого, моего новоиспеченного врага, которого я так обидел, когда напился у графа...

— Мое почтение, — сказал он.

— Здравствуйте, Каэтан Казимирович, — ответил я, делая вид, что не вижу протянутой им руки. — Граф здоров?

— Слава богу... Скучает только немножко... Вас ждет к себе каждую минуту...

На лице Пшехоцкого я прочел желание побеседовать со мною. Откуда могло явиться такое желание после той «свиньи», которой я угостил его в тот вечер, и откуда такая перемена в обращении?

— Как много у вас денег! — сказал я, глядя на посылаемые им пачки сторублевок.

И словно кто толкнул меня по мозгам! У одной из сторублевок я увидел обожженные края и совершенно сгоревший угол... Это была та самая сторублевка, которую я хотел сжечь на огне Шандора, когда граф

отказался взять ее у меня на уплату цыганам, и которую поднял Пшехоцкий, когда я бросил ее на землю.

— Лучше я бедному отдам кому-нибудь,— сказал он тогда,— чем отдавать их огню.

Каким же «бедным» посылал он ее теперь?

— Семь тысяч пятьсот рублей,— протяжно сосчитал Максим Федорыч.— Совершенно верно!

Неловко вторгаться в чужие тайны, но ужасно мне хотелось узнать, кому и чьи это деньги посылал в Петербург чернобровый поляк? Деньги эти во всяком случае были не его, графу же некому было посылать их.

«Обобрал пьяного графа,— подумал я.— Если графа умеет обирать глухая и глупая Сычиха, то что стоит этому гусю запустить в его карман свою лапу?»

— Ах... кстати, и я пошлю деньги,— спохватился Павел Иванович.— Знаете, господа? Даже невероятно! За пятнадцать рублей пять вещей с пересылкой! Зрительная труба, хронометр, календарь и еще что-то... Максим Федорыч, одолжите мне листик бумажки и конверт!

Щур послал свои пятнадцать рублей, я получил газеты и письма, и мы вышли из почтовой конторы...

Мы направились к церкви. Щуренька шагал за мной бледный и унылый, как осенний день. Сверх ожидания, его сильно встревожил разговор, в котором он старался показать себя «объективным».

В церкви трезвонили. С паперти медленно спускалась густая толпа, которой, казалось, и конца не было. Из толпы высились ветхие хоругви и темный крест, предшествовавшие крестному ходу. Солнце весело играло на ризах духовенства, а образ божьей матери испускал от себя ослепительные лучи...

— А вон и наши! — сказал доктор, указывая на наш уездный бомонд, отделившийся от толпы и стоявший в стороне.

— Ваши, а не наши,— сказал я.

— Это все равно... Подойдемте к ним...

Я подошел к знакомым и стал раскланиваться. Мировой судья Калинин, высокий, плечистый человек с седой бородой и выпуклыми рачьими глазами, стоял впереди всех и что-то шептал на ухо своей дочери.

Делая вид, что он меня не замечает, он ни одним движением не ответил на мой «общий» поклон, направленный в его сторону.

— Прощай же, ангелочек,— проговорил он плачущим голосом, целуя дочь в ее бледный лоб.— Поезжай домой одна, а к вечеру я возвращусь... Визиты мои будут продолжаться очень недолго.

Поцеловав дочь еще раз и сладенько улыбнувшись бомонду, он строго нахмурил брови и круто повернулся на одном каблуке к стоявшему позади него мужику с бляхой сотского.

— Скоро же наконец подадут мне лошадей? — прохрипел он.

Сотский вздрогнул и замахал руками.

— Беррегись!

Толпа, шедшая за крестным ходом, раздвинулась, и лошади мирового с шиком и звоном бубенчиков подкатили к Калинин. Тот сел, величественно поклонился и, тревожа толпу своим «беррегись», скрылся из глаз, не подарив меня ни одним взглядом.

— Эдакая величественная свинья,— прошептал я на ухо доктору.— Пойдемте отсюда!

— А разве вы не хотите поговорить с Надеждой Николаевной? — спросил Павел Иванович.

— Мне уж пора домой. Некогда.

Доктор сердито поглядел на меня, вздохнул и отошел. Я отдал общий поклон и направился к балаганам. Пробираясь сквозь густую толпу, я оглянулся и поглядел на дочь мирового. Она глядела мне вслед и словно пробовала, вынесу я или нет ее чистый, пронизывающий взгляд, полный горькой обиды и упрека.

«За что?!» — говорили ее глаза.

Что-то закопошилось в моей груди, и мне стало больно и стыдно за свое глупое поведение. Мне захотелось вдруг воротиться и всеми силами своей мягкой, не совсем еще испорченной души приласкать и приголубить эту горячо меня любившую, мною обиженную девушку и сказать ей, что виноват не я, а моя проклятая гордость, не дающая мне жить, дышать, ступить шаг. Гордость, глупая, фатовская, полная суетности. Мог ли я, пустой человек, протянуть руку примирения,

если я знал и видел, что за каждым моим движением следили глаза уездных кумушек и «старух зловещих»? Пусть лучше они осыплют ее насмешливыми взглядами и улыбками, чем разуверятся в «непреклонности» моего характера и гордости, которые так нравятся во мне глупым женщинам.

Говоря ранее с Павлом Ивановичем о причинах, заставивших меня внезапно прекратить свои поездки к Калининым, я был неоткровенен и совсем неточен... Я скрыл настоящую причину, скрыл ее потому, что стыдился ее ничтожности... Причина была мелка, как порох... Заключалась она в следующем. Когда я в последнюю мою поездку, отдав кучеру Зорьку, входил в калининский дом, до моих ушей донеслась фраза:

— Наденька, где ты? Твой жених приехал!

Это говорил ее отец, мировой, не рассчитывая, вероятно, что я могу услышать его. Но я услышал, и самолюбие мое заговорило.

«Я жених? — подумал я... — Кто же тебе позволил называть меня женихом? На каком основании?»

И словно что оторвалось в моей груди... Гордость забушевала во мне, и я забыл все, что помнил, едуци к Калининым... Я забыл, что я увлек девушку и сам начал уже увлекаться ею до того, что ни одного вечера не был в состоянии провести без ее общества... Я забыл ее хорошие глаза, которые день и ночь не выходили из моей памяти, ее добрую улыбку, мелодичный голос... Забыл тихие, летние вечера, которые уже никогда не повторятся ни для меня, ни для нее... Все рухнуло под напором дьявольской гордыни, взбужденной глупой фразой простака-отца... Взбешенный, я воротился из дому, сел на Зорьку и ускакал, давая себе клятву «утереть нос» Калинину, осмелившемуся без моего позволения записать меня в женихи своей дочери...

«Кстати же, Вознесенский любит ее... — оправдывал я свой внезапный отъезд, едуци домой. — Он ранее меня начал вертеться около нее и уже считался женихом, когда я с нею познакомился. Не стану ему мешать!»

И с тех пор я ни разу не был у Калининых, хотя

и бывали минуты, когда я страдал от тоски о Наде и рвалась душа моя, рвалась к возобновлению прошлого... Но весь уезд знал о происшедшем разрыве, знал, что я «удрал от женитьбы»... Не могла же моя гордость сделать уступки!

Кто знает? Не скажи Калинин той фразы и не будь я так глупо горд и щепетилен, быть может, мне не понадобилось бы оглядываться, а ей — глядеть на меня такими глазами... Но пусть лучше такие глаза, пусть лучше это чувство обиды и упрек, чем то, что я увидел в этих глазах несколько месяцев спустя после встречи у тенеvской церкви! Горе, светившееся теперь в глубине этих черных глаз, было только началом того страшного несчастья, которое, как внезапно налетевший поезд, стерло с лица земли эту девушку... Что цветки перед теми ягодками, которые уже созревали для того, чтобы влить страшную отраву в ее хрупкое тело и тоскующую душу!

Выйдя из Тенева, я пошел той же дорогой, что шел и утром. Солнце показывало уже полдень... Крестьянские телеги и помещицьи брички, как и утром, услаждали мой слух своим скрипом и металлическим ворчаньем бубенчиков. Опять проехал садовник Франц с водочным бочонком, на этот раз, вероятно, полным... Опять он взглянул на меня своими кислыми глазами и сделал мне под козырек. Меня покорило от его противной физиономии, но и на этот раз тяжелое впечатление, произведенное встречей с ним, как рукой сняла дочка лесничего, Оленька, догнавшая меня на своем тяжелом шарабане...

— Подвезите меня! — крикнул я ей.

Она весело закивала мне головой и остановила возницу. Я сел рядом с ней, и шарабан с треском покати́л по дороге, светлой полосой тянуvшейся через трехверстную просеку тенеvского леса. Минуты две мы молча разглядывали друг друга.

«Какая она в самом деле хорошенькая! — думал я, глядя на ее шейку и пухленький подбородок. — Если бы мне предложили выбирать кого-нибудь из двух — Наденьку или ее, — то я остановился бы на этой... Эта естественнее, свежей, натура у нее шире и раз-

машистей... Попадись она в хорошие руки — из нее многое можно было бы сделать! А та угрюма, мечтательна... умна».

У ног Оленьки лежали две штуки полотна и несколько свертков.

— Сколько у вас покупок! — сказал я. — На что вам столько полотна?

— Мне еще не столько нужно!.. — ответила Оленька. — Это я так купила, между прочим... Вы не можете себе представить, сколько хлопот! Сегодня вот по ярмарке целый час ходила, а завтра придется в город ехать за покупками... А потом извольте шить... Послушайте, у вас нет таких знакомых женщин, которых можно было бы нанять шить?

— Кажется, нет... Но для чего вам столько покупок? К чему шить? Ведь у вас семья не бог весть как велика... Раз, два... да и обчелся...

— Какие вы, все мужчины, странные! И ничего вы не понимаете! Вот когда женитесь, так сами же будете сердиться, если жена ваша после венца придет к вам растрепкой. Я знаю, Петр Егорыч не нуждается, но все-таки неловко как-то с первого же раза себя не хозяйкой показать...

— При чем же тут Петр Егорыч?

— Гм... Смеется, точно и не знает! — сказала Оленька, слегка краснея.

— Вы, барышня, говорите загадками...

— Да разве вы не слышали? Ведь я выхожу замуж за Петра Егорыча!

— Замуж? — удивился я, делая большие глаза... — За какого Петра Егорыча?

— Фу, боже мой! Да за Урбенина!

Я поглядел на ее краснеющее и улыбающееся лицо...

— Вы... замуж? За Урбенина? Этакая ведь шутница!

— Никаких тут шуток нет... Не понимаю даже, что тут шуточного...

— Вы замуж... за Урбенина... — проговорил я, бледнея, сам не зная отчего... — Если это не шутка, то что же это такое?

— Какие шутки!.. Не знаю даже, что тут такого удивительного, странного...— проговорила Оленька, надувая губки.

Минута прошла в молчании... Я глядел на красивую девушку, на ее молодое, почти детское лицо и удивлялся, как это она может так страшно шутить? Сразу я представил себе рядом с нею пожилого, толстого, краснолицего Урбенина с оттопыренными ушами и жесткими руками, прикосновение которых может только царапать молодое, только что еще начавшее жить женское тело... Неужели мысль о подобной картине не может пугать хорошенькую лесную фею, умеющую поэтически глядеть на небо, когда на нем бегают молнии и сердито ворчит гром? Я — и то испугался!

— Правда, он несколько стар,— вздохнула Оленька,— но зато ведь он меня любит... Его любовь надежная.

— Дело не в надежной любви, а в счастье...

— С ним я буду счастлива... Состояние у него — слава богу, и не голяк он какой-нибудь, не нищий, а дворянин. Я в него, конечно, не влюблена, но разве только те и счастливы, которые по любви женятся? Знаю я эти браки по любви!

— Дитя мое,— спросил я, с ужасом глядя в ее светлые глаза,— когда вы успели нафаршировать вашу бедную головку этой ужасной житейской мудростью? Допустим, что вы шутите со мной, но где вы научились так старчески грубо шутить?.. Где? Когда?

Оленька поглядела на меня с удивлением и пожала плечами...

— Я не понимаю, что вы говорите...— сказала она.— Вам неприятно, что молодая девушка выходит за старика? Да?

Оленька вдруг вспыхнула, задвигала нервно подбородком и, не дожидаясь моего ответа, проговорила быстро:

— Вам это не нравится? Так извольте вы сами идти в лес... в эту скуку, где нет никого, кроме кобчиков да сумасшедшего отца... и ждите там, пока при-

дет молодой жених! Вам понравилось тогда вечером, а поглядели бы вы зимой, когда рада бываешь... что вот-вот смерть придет...

— Ах, все это нелепо, Оленька, все это незрело, глупо! Если вы не шутите, то... я уж не знаю, что и говорить! Замолчите лучше и не оскорбляйте воздуха вашим язычком! Я, на вашем бы месте, на семи осинах удавился, а вы полотно покупаете... улыбаетесь! Аа-ах!

— По крайней мере он на свои средства отца лечить будет...— прошептала она...

— Сколько вам нужно на лечение отца? — закричал я.— Возьмите у меня! Сто?.. двести?.. тысячу? Лжете вы, Оленька! Вам не лечение отца нужно!

Новость, сообщенная мне Оленькой, так меня взволновала, что я и не заметил, как шарабан наш проехал мимо моей деревеньки, как он въехал на графский двор и остановился у крыльца управляющего... Увидев выбежавших детишек и улыбающееся лицо Урбенина, подскочившего высаживать Оленьку, я выпрыгнул из шарабана и, не простившись, побежал к графскому дому. Здесь ждала меня новая новость.

— Как кстати! Как кстати! — встретил меня граф, царапая мою щеку своими длинными, колючими усами.— Удачнее времени ты и выбрать не мог! Мы только сию минуту сели завтракать... Ты, конечно, знаком вот... Не раз уж небось имел столкновение по вашей судейской части... Ха-ха!

Граф обеими руками указал мне на двух мужчин, сидевших на мягких креслах и евших холодный язык. В одном я имел неудовольствие узнать мирового судью Калинина, другой же, маленький, седенький старичок с большой, лунообразной лысиной, был мой хороший знакомый, Бабаев, богатый помещик, занимавший в нашем уезде должность непрямого члена. Раскланиваясь, я с удивлением поглядел на Калинина... Я знал, как ненавидел он графа и какие слухи пускал он по уезду про того, у которого теперь ел с таким аппетитом язык с горошком и пил десяти-

летнюю наливку. Как мог порядочный человек объяснить этот его визит? Мировой уловил мой взгляд и, вероятно, понял его.

— Сегодняшний день посвятил я визитам,— сказал он мне.— Весь уезд объезжаю... И к его сиятельству заехал, как видите...

Илья подал четвертый прибор. Я сел, выпил рюмку водки и стал завтракать...

— Нехорошо, ваше сиятельство... Нехорошо! — продолжал Калинин разговор, прерванный моим приходом.— Нам, маленьким людям, не грех, а вы человек знатный, богатый, блестящий... Вам грех манкировать.

— Это верно, что грех...— согласился Бабаев.

— В чем дело? — спросил я.

— Хорошую мысль подали мне Николай Игнатьич! — кивнул граф на мирового.— Приходит он ко мне... садится завтракать, и жалуюсь я ему на скуку...

— И жалуются они мне на скуку...— перебил графа Калинин.— Скучно, грустно... то да се... Одним словом, разочарован... Онегин некоторым образом... Сами, говорю, виноваты, ваше сиятельство... Как так? Очень просто... Вы, говорю, чтобы скучно не было, служите... хозяйством занимайтесь... Хозяйство превосходное, дивное... Говорят, что они намерены заняться хозяйством, но все-таки скучно... Нет у них, так сказать, увеселяющего, возбуждающего элемента. Нет этого... как бы так выразиться... ээ... того... сильных ощущений...

— Ну, так какую же мысль вы подали?

— Собственно говоря, я не подавал никакой мысли, но только осмелился сделать его сиятельству упрек. Как это, говорю, вы, ваше сиятельство, такой молодой... образованный, блестящий, можете жить в такой замкнутости? Разве, говорю, это не грех? Вы никуда не выезжаете, сами никого не принимаете, нигде вас не видно... как старик какой-нибудь или отшельник... Что стоит, говорю, вам устраивать у себя собрания... журфиксы, так сказать?

— Для чего же ему сдались эти журфиксы? — спросил я.

— Как для чего? Во-первых, тогда его сиятельство, ежели у него будут вечера, познакомится с обществом... изучит, так сказать... Во-вторых, и общество будет иметь честь поближе познакомиться с одним из наиболее богатейших наших землевладельцев... Взаимный, так сказать, обмен мыслей, разговоры, веселье... А сколько у нас, ежели рассуждать, образованных барышень, кавалеров!.. Какие можно задавать музыкальные вечера, танцы, пикники — посудите только! Залы громадные, в саду беседки и... прочее... Такие любительские спектакли и концерты можно задавать, что никому в губернии не снилось... Да ей-богу! Посудите сами!.. Теперь все это почти пропадает даром, в землю закопано, а тогда... понять только нужно! Имей я такие средства, как у его сиятельства, я показал бы, как надо жить! А они говорят: скучно! Даже, ей-богу... слушать смешно... со-вестно даже...

И Калинин замигал глазами, желая показать вид, что ему действительно совестно...

— Это вполне справедливо,— сказал граф, вставая и засовывая руки в карманы.— У меня могут выходить отличные вечера... Концерты, любительские спектакли... все это действительно можно прелестно устроить. И к тому же эти вечера будут не только веселить общество, но они будут иметь и воспитывающее влияние!.. Не правда ли?

— Ну, да,— согласился я.— Как посмотрят наши барышни на твою усатую физиономию, так сразу и проникнутся духом цивилизации...

— Ты все шутишь, Сережа,— обиделся граф,— а никогда ты мне дружески не посоветуешь! Все тебе смешно! Пора, мой друг, оставить эти студенческие замашки!

Граф зашагал из угла в угол и в длинных, скучных предположениях начал описывать мне пользу, какую могут принести человечеству его вечера. Музыка, литература, сцена, верховая езда, охота. Одна охота может сплотить воедино все лучшие силы уезда!..

— Мы с вами поговорим еще об этом! — сказал граф Калинину, прощаясь с ним после завтрака.

— Так позволите, стало быть, уезду надеяться, ваше сиятельство? — спросил мировой.

— Конечно, конечно... Я разовью эту мысль, постараюсь... Я рад... даже очень... Так всем и скажите...

Нужно было видеть то блаженство, которое было написано на лице мирового, когда он садился в свой экипаж и говорил: «Пошел!» Он так обрадовался, что забыл даже наши с ним контры и на прощанье назвал меня голубчиком и крепко пожал мне руку.

По отъезде визитеров я и граф сели за стол и продолжали завтракать. Завтракали мы до семи часов вечера, когда с нашего стола сняли посуду и подали нам обед. Молодые пьяницы знают, как коротать длинные антракты. Мы все время пили и ели по маленькому кусочку, чем поддерживали аппетит, который пропал бы у нас, если бы мы совсем бросили есть.

— Ты посылал сегодня кому-нибудь деньги? — спросил я графа, вспомнив те пачки сторублевков, которые видел утром в тeneвском почтовом отделении.

— Никому.

— Скажи, пожалуйста, а твой этот... как его?.. новый друг, Казимир Каэтаныч, или Каэтан Казимирович, богатый человек?

— Нет, Сережа. Это бедняк!.. Но зато какая душа, какое сердце! Ты напрасно так презрительно говоришь о нем и... нападаешь на него... Надо, брат, научиться различать людей. Выпьем еще по рюмке?

К обеду воротился Пшехоцкий. Увидев меня, сидящего за столом и пьющего, он поморщился и, повертясь около нашего стола, нашел лучшим удалиться в свою комнату. От обеда он отказался, ссылаясь на головную боль, но не выразил ничего против, когда граф посоветовал ему пообедать в своей комнате, в постели.

Во время второго блюда вошел Урбенин. Я не узнал его. Его широкое красное лицо сияло удовольствием. Довольная улыбка, казалось, играла даже на оттопыренных ушах и толстых пальцах, которыми он то и дело поправлял свой новый, франтоватый галстук.

— Корова у нас заболела, ваше сиятельство,— доложил он.— Посылал я за нашим ветеринаром, а оказывается, что он уехал. Не послать ли, ваше сиятельство, за городским ветеринаром? Если я пошлю, то он не послушается, не поедет, а если вы ему напишете, то тогда другое дело. Может быть, у коровы пустяк, а может, и что другое.

— Хорошо, я напишу...— пробормотал граф.

— Поздравляю вас, Петр Егорыч,— сказал я, вставая и протягивая управляющему руку.

— С чем-с? — прошептал он.

— Ведь вы женитесь!

— Да, да, представь себе, женится! — заговорил граф, мигая глазом на краснеющего Урбенина.— Как-ков? Ха, ха, ха! Молчал, молчал, да вдруг — на тебе! И знаешь, на ком он женится? Мы тогда вечером с тобой угадали! Мы, Петр Егорыч, тогда же еще порешили, что в вашем шалунишке-сердце творится что-то такое неладное. Как поглядел он на вас и Оленьку: «Ну, говорит, втюрился малый!» Ха-ха! Садитесь с нами обедать, Петр Егорыч!

Урбенин осторожно и почтительно сел, позвал глазами Илью и приказал ему подать себе супу. Я налил ему рюмку водки.

— Я не пью-с,— сказал он.

— Полноте, вы еще больше нашего пьете.

— Пил-с, а теперь уж не пью,— улыбнулся управляющий.— Теперь мне нельзя пить... Незачем... Все, слава богу, прошло благополучно, все устроилось, и так именно, как хотело мое сердце, даже больше, чем мог я ожидать.

— Ну, на радостях хоть этого выпейте,— сказал я, наливая ему хересу.

— Этого пожалуй. А пил я действительно много. Теперь могу покаяться перед его сиятельством. От утра до ночи, бывало. Как встанешь утром, вспомнишь это самое... ну и, естественно, к шкафчику сейчас же... Теперь, слава богу, нечего водкой заглушать.

Урбенин выпил стакан хересу. Я налил ему другой. Он выпил и этот и незаметно опьянел...

— Даже не верится...— сказал он, засмеявшись

вдруг счастливым детским смехом...— Гляжу вот на это кольцо, припоминаю ее слова, которыми она выразила свое согласие, и не верю... Смешно даже... Ну, мог ли я в свои годы, при своей такой наружности, надеяться, что эта достойная девушка не побрезгует стать моей... матерью моих сироток? Ведь она красавица, как изволили вы видеть, ангел во плоти! Чудеса, да и только! Вы еще мне налили?.. Пожалуй, в последний раз уж... С горя пил, выпью и на радостях. А как я мучился, господа, сколько горя вынес! Увидал ее год тому назад и — верите ли? С той поры не было ни одной ночи, чтоб я спал спокойно, не было дня, чтоб я не заливал водкой этой... слабости глупой, не бранил себя за глупость... Бывало, гляжу на нее в окно, люблюсь и... волосы рву у себя на голове... В пору бы вешаться... Но, слава богу... рискнул, сделал предложение, и точно, знаете ли, меня обухом! Ха, ха! Слышу и ушам не верю... Она говорит: «Согласна», а мне кажется: «Убирайся ты, старый хрен, к черту»... После, когда уж она меня поцеловала, убедился...

Пятидесятилетний Урбенин при воспоминании о первом поцелуе с поэтической Оленькой закрыл глаза и зарделся, как мальчишка... Мне показалось это противным...

— Господа,— сказал он, глядя на нас счастливыми, ласковыми глазами.— Отчего вы не женитесь? Зачем вы тратите попусту, кидаете за окно свои жизни? Отчего вы так чуждаетесь того, что составляет лучшее благо всего живущего на земле? Ведь наслаждения, которые дает разврат, не дают и сотой доли того, что дала бы вам тихая, семейная жизнь! Молодые люди... ваше сиятельство и вы, Сергей Петрович... я счастлив теперь и... видит бог, как я люблю вас обоих! Простите мне мои глупые советы, но... счастья ведь я хочу для вас! Отчего вы не женитесь? Семейная жизнь есть благо... Она — долг всякого!..

Счастливый и умильный вид старика, женящегося на молоденькой и советующего нам переменить нашу развратную жизнь на тихую, семейную, стал мне невыносим.

— Да,— сказал я,— семейная жизнь есть долг. Я с вами согласен. Стало быть, этот долг вы исполняете уже во второй раз?

— Да, во второй. Я вообще люблю семейную жизнь. Быть холостым или вдовым — для меня жизнь наполовину. Что ни говорите, господа, а супружество — великое дело!

— Конечно... Даже и тогда, если муж чуть ли не в три раза старше своей супруги?

Урбенин покраснел. Рука, несшая ко рту ложку с супом, задрожала, и суп вылился обратно в тарелку.

— Я понимаю, что вы хотите сказать, Сергей Петрович,— пробормотал он.— Благодарю вас за откровенность. Я и сам себя спрашиваю: не подло ли? Мучаюсь! Но где тут спрашивать себя, решать разные вопросы, когда каждую минуту чувствуешь, что ты счастлив, когда ты забываешь свою старость, уродство... все! Нотто sum¹, Сергей Петрович! А когда на секундочку забегает в мою башку вопрос о неравенстве лет, я не лезу в карман за ответом и успокаиваю себя как умею. Мне кажется, что я дал Ольге счастье. Я дал ей отца, а детям моим мать. Впрочем, все это на роман похоже, и... у меня кружится голова. Напрасно вы меня хересом напоили.

Урбенин встал, вытер салфеткой лицо и опять сел. Через минуту он выпил залпом стакан, поглядел на меня продолжительным, умоляющим взглядом, словно прося у меня пощады, потом вдруг плечи его задрожали, и он неожиданно зарыдал, как мальчик.

— Это ничего-с... Ничего-с,— забормотал он, перебивая рыданье.— Не беспокойтесь. Мое сердце, после ваших слов, сжало какое-то предчувствие. Но это ничего-с.

Предчувствие Урбенина сбылось, сбылось так скоро, что я не успеваю переменить перо и начать новую страницу. С следующей главы моя покойная муза выражение покоя на лице сменяет выражением гнева и скорби. Предисловие кончено, и начинается драма.

¹ Я человек (лат.).

Преступная воля человека вступает в свои права. Я помню хорошее воскресное утро. В окна графской церкви видно прозрачное, голубое небо, а всю церковь, от расписного купола до пола, пронизывает матовый луч, в котором весело играют клубы ладанного дыма... В открытые окна и двери несется пение ласточек и скворцов... Один воробей, по-видимому смельчак большой руки, влетел в дверь и, покружившись с чириканьем над нашими головами, окунувшись несколько раз в матовый луч, вылетел в окно... В самой церкви тоже пение... Поют складно, с чувством и с тем увлечением, на которое способны наши певцы-малороссы, когда чувствуют себя героями минуты и когда видят, что на них то и дело оглядываются... Мотивы все больше веселые, игривые, как светлые, солнечные «зайчики», играющие на стенах и одеждах слушающих... В необработанном, но мягком и свежем теноре мое ухо, несмотря на веселый свадебный мотив, улавливает грудную, унылую струнку, словно этому тенору жаль, что рядом с хорошенькой, поэтической Оленькой стоит тяжелый, медведеобразный и отживающий свой век Урбенин... Да и не одному тенору жалко глядеть на эту неравную пару... На многочисленных лицах, которыми усеяно мое поле зрения, как бы они ни старались казаться веселыми и беспечными, даже идиот мог бы прочесть сожаление.

Я, облеченный в новую фракную пару, стою позади Оленьки и держу над нею венец. Я бледен и не совсем здоров... Голова трещит от вчерашней попойки и прогулки по озеру, и я то и дело поглядываю, не дрожит ли моя рука, держащая венец... На душе моей скверно и жутко, как в лесу в дождливую осеннюю ночь. Мне досадно, противно, жалко... За сердце скребут кошки, напоминающие несколько угрызения совести... Там, в глубине, на самом дне моей души сидит бесенок и упрямо, настойчиво шепчет мне, что если брак Оленьки с неуклюжим Урбениным — грех, то и я повинен в этом грехе... Откуда могут быть такие мысли? Разве я мог спасти эту юную дурочку от ее непонятого риска и несомненной ошибки?..

«А кто знает! — шепчет бесенок... — Тебе это лучше

знать!» — Видал я на своем веку много неравных браков, не раз стоял перед картиной Пукирева, читал много романов, построенных на несоответствии между мужем и женой, знал наконец физиологию, безапелляционно казнящую неравные браки, но ни разу еще в жизни не испытывал того отвратительного душевного состояния, от которого никакими силами не могу отделаться теперь, стоя за спиной Оленьки и исполняя обязанности шафера... Если мою душу волнует одно только сожаление, то отчего же я не знал этого сожаления ранее, присутствуя на других свадьбах?..

«Тут не сожаление, — шепчет бесенок... — Ревность...»

Но ревновать можно только тех, кого любишь, а разве я люблю девушку в красном? Если любить всех девушек, которых я встречаю, живя под луной, то не хватит сердца, да и слишком жирно...

Мой друг, граф Карнеев, стоит позади, у самой церковной двери, за ктиторским шкафом и продает свечи. Он прилизан, примазан и испускает из себя наркотический, удушливый запах духов. Сегодня он выглядывает таким душкой, что, здороваясь с ним утром, я не удержался, чтобы не сказать:

— Сегодня ты, Алексей, выглядываешь идеальным кадрилищиком!

Каждого входящего и выходящего он провожает слащавой улыбкой, и я слышу, какими тяжеловесными комплиментами награждает он всякую даму, покупающую у него свечку. Он, баловень судьбы, никогда не имевший медных денег и не умеющий обращаться с ними, то и дело роняет на пол пятаки и трешники. Около него, облокотившись о шкаф, стоит величественный Калинин с Станиславом на шее. Физиономия его сияет и лоснится. Он рад, что его идея о «журфиксах» пала на добрую почву и уже начинает давать плод. В глубине души он сыплет Урбенину тысячи благодарностей: его свадьба нелепость, но тем не менее к ней легко придраться, чтобы устроить первый журфикс.

Тщеславная Оленька должна была радоваться... От венчального аналога до самых царских врат тянутся два ряда представительниц нашего уездного цветника... Гости разодеты так, как разоделись бы они, если бы

женился сам граф: лучших нарядов и желать нельзя... Тут все больше аристократки... Ни одной попадью, ни одной купчихи... Есть даже такие, которым Оленька ранее не считала себя вправе даже кланяться... Жених Оленьки — управляющий, привилегированный слуга, но от этого не может страдать ее тщеславие... Он дворянин и имеет в соседнем уезде заложенное имение. Отец его был уездным предводителем, а сам он уже девять лет состоит мировым судьей своего родного уезда... Чего же еще нужно честолюбию дочери личного дворянина? Даже ее шафер, известный всей губернии бонвиван¹ и донжуан, может пощекотать ее гордость... На него заглядываются все гости... Он эффектен, как сорок тысяч шаферов, взятых вместе, и, что не маловажнее всего, не отказался быть у нее, простушки, шафером, когда известно, что он даже и аристократкам отказывает, когда они приглашают его в шафера...

Но тщеславная Оленька не радуется... Она бледна как полотно, которое она недавно везла с теневаской ярмарки. Рука ее, держащая свечу, слегка дрожит, подбородок изредка вздрагивает. В глазах какое-то оупение, словно она внезапно чему-то изумилась, испугалась... Нет и следа той веселости, которая светилась в ее глазах, когда она не дальше как вчера бегала по саду и с увлечением рассказывала, какие обои будут в ее гостиной, в какие дни она будет приглашать к себе гостей и прочее. Лицо ее теперь слишком серьезно, более, чем того требует торжественность случая...

Урбенин в новой фракной паре. Одет он прилично, но причесан так, как причесывались православные в двенадцатом году. Он, по обыкновению, красив и серьезен. Его глаза молятся, и те крестные знамена, которые делает он после каждого «Господи, помилуй», не машинальны.

Позади меня стоят дети Урбенина от первого брака — гимназист Гриша и белокурая девочка Саша. Они глядят на красный затылок и оттопыренные уши отца, и лица их изображают вопросительные знаки.

¹ Человек, любящий пожить в свое удовольствие (от франц.— bon vivant).

Им непонятно, на что их отцу сдалась тетя Оля и зачем он берет ее к себе в дом. Саша только удивлена, четырнадцатилетний же Гриша нахмурен и глядит исподлобья. Наверное, он ответил бы отказом, если бы отец попросил у него позволения жениться...

Венчальный обряд совершают с особенной торжественностью. Служат три священника и два дьякона. Служат долго, до того долго, что рука моя устает держать венец и дамы, любящие вообще смотреть венчанье, перестают глядеть на молодых. Благодичинный читает молитвы с расстановкой, не пропуская ни одной; певчие поют что-то длинное, нотное; дьячок, пользуясь случаем прихвастнуть своей октавой, читает апостола с «сугубою протяжностью»... Но вот наконец благодичинный берет из моих рук венец... молодые целуются... Гости волнуются, расстраиваются правильные ряды, слышатся поздравления, поцелуи, аханья. Урбенин, сияющий и улыбающийся, берет под руку молодую, и мы выходим на воздух...

Если кто из бывших со мною в церкви найдет это описание неполным и не совсем точным, тот пусть припишет эти промахи головной боли и названному душевному настроению, мешавшим мне наблюдать и подмечать... Конечно, знай я тогда, что мне придется писать роман, я не глядел бы в землю, как в описываемое утро, и не обратил бы внимания на головную боль!

Судьба позволяет себе иногда едкие, ядовитые шутки! Не успели молодые выйти из церкви, как навстречу им неся нежелательный и неожиданный сюрприз... Когда свадебный кортеж, пестрея на солнце сотнями цветов и оттенков, двигался от церкви к графскому дому, Оленька вдруг сделала шаг назад, остановилась и так дернула своего мужа за локоть, что тот покачнулся...

— Его выпустили! — сказала она вслух, поглядев на меня с ужасом.

Бедняжка! Навстречу кортежу по аллее бежал ее сумасшедший отец, лесничий Скворцов. Размахивая руками, спотыкаясь и безумно поводя глазами, он представлял из себя достаточно непривлекательную

картину. Все бы это еще, пожалуй, было прилично, если бы он не был в своем ситцевом халате и в туфлях-шлепанцах, ветхость которых плохо вязалась с роскошью венчального наряда его дочери. Лицо его было заспано, волосы развевались от ветра, ночная сорочка была расстегнута.

— Оленька! — залепетал он, поравнявшись с ними.— Зачем ты ушла?

Оленька покраснела и искоса поглядела на улыбающихся дам. Бедняжка сгорела от стыда...

— Митька дверей не запер,— продолжал лесничий, обращаясь к нам.— Трудно ли ворам забрать-ся?.. Из кухни самовар унесли в прошлом году, так вот она хочет, чтоб и теперь нас обокрали!

— Не знаю, кто его выпустил! — шепнул мне Урбенин.— Я велел его запереть... Голубчик, Сергей Петрович, будьте милостивы, выведите нас как-нибудь из неловкого положения! Как-нибудь!

— Я знаю, кто украл у вас самовар,— обратился я к лесничему.— Пойдемте, я вам укажу.

И, обняв Скворцова за талию, я повел его к церкви... Заведя его в ограду, я поговорил с ним и, когда, по моему расчету, свадебный кортеж был уже в доме, оставил его, не указав ему места, где находится украденный у него самовар.

Как ни неожиданна и ни экстраординарна была встреча с сумасшедшим, но тем не менее скоро она была забыта... Новый сюрприз, который был поднесен молодым их судьбою, был еще диковиннее...

Через час все мы сидели за длинными столами и обедали.

Кто привык к паутине, плесени и цыганскому гиканью графских апартаментов, тому странно было глядеть на эту будничную, прозаическую толпу, нарушавшую свсей обыденной болтовней тишину ветхих, оставленных покоев. Эта пестрая, шумная толпа походила на стаю скворцов, мимолетом опустившуюся отдохнуть на заброшенное кладбище, или — да простит мне это сравнение благородная птица! — на стаю аистов, опустившихся в одни из сумерек перелетных дней на развалины заброшенного замка.

Я сидел и ненавидел эту толпу, с суетным любопытством рассматривавшую гниющее богатство графов Карнеевых. Мозаиковые стены, скульптурные потолки, роскошные персидские ковры и мебель в стиле рококо вызвали восторг и изумление. Усаемая физиономия графа, не переставая, осклаблялась самодовольной улыбкой... Восторженную лесть своих гостей принимал он, как нечто заслуженное, хотя, в сущности, он нимало не был повинен в богатстве и роскоши своего брошенного им гнезда, а, напротив, заслуживал самых горьких упреков и даже презрения за свой варварски тупой индифферентизм по отношению к добру, собранному его отцом и дедами, собранному не днями, а десятками лет! Только душевно слепой и нищий духом на каждой посеребренной мраморной плите, в каждой картине, в каждом темном уголке графского сада не видел пота, слез и мозолей людей, дети которых ютились теперь в избушках графской деревеньки... И из большого числа людей, сидевших за свадебным столом, людей богатых, независимых, которым ничто не мешало говорить даже самую резкую правду, не нашлось ни одного человека, который сказал бы графу, что его самодовольная улыбка глупа и неуместна... Каждый находил нужным лгисто улыбаться и курить грошовый фимиам! Если это была «простая» вежливость (у нас любят многое сваливать на вежливость и приличия), то я этим франтам предпочел бы невеж, едящих руками, берущих хлеб с чужого куверта и сморкающихся посредством двух пальцев...

Урбенин улыбался, но на это у него были свои причины. Он улыбался и лгисто, и почтительно, и детски счастливо. Его широкая улыбка была суррогатом собачьего счастья. Преданную и любящую собаку приласкали, осчастливили, и теперь она в знак благодарности весело и искренно виляет хвостом...

Он, как Рислер-старший в романе Альфонса Доде, сияя и потирая от удовольствия руки, глядел на свою молодую жену и от избытка чувств не мог удержаться, чтобы не задавать вопрос за вопросом:

— Кто б мог подумать, что эта молодая красавица полюбит такого старика, как я? И неужели она не могла найти кого-нибудь помоложе и изящнее? Непостижимы эти женские сердца!

И он даже имел храбрость обратиться ко мне и сболтнуть:

— Да и век же настал, как посмотришь! Хе-хе! Старик из-под носа молодежи утаскивает этакую фею! Чего же смотрели вы? Хе-хе... Нет, нынче уже не та молодежь!

Не зная, куда деваться от избытка чувств благодарности, распиравших его широкую грудь, он то и дело поднимался, протягивал к бокалу графа свой бокал и говорил дрожащим от волнения голосом:

— Чувства мои к вам известны, ваше сиятельство... В сегодняшней же день вы столько сделали для меня, что моя любовь к вам является просто прахом... Чем я заслужил такое внимание вашего сиятельства, что вы приняли такое участие в моей радости? Так только графы да банкиры празднуют свои свадьбы! Эта роскошь, собрание именитых гостей... Ах, да что говорить!.. Верьте, ваше сиятельство, что моя память не оставит вас, как не оставит она этот лучший и счастливейший из дней моей жизни...

И так далее... Оленьке, по-видимому, была не по душе витиеватая почтительность мужа... Она заметно тяготилась его речами, вызывавшими улыбки на лицах обедавших, и даже, кажется, стыдилась их... Несмотря на выпитый бокал шампанского, она была невесела и угрюма по-прежнему... Та же бледность, что и в церкви, тот же испуг в глазах... Она молчала, лениво отвечала на все вопросы, насильно улыбалась островам графа и едва касалась дорогих кушаний... Насколько пьянеющий Урбенин считал себя счастливейшим из смертных, настолько несчастно было ее хорошенькое личико. Мне было просто жаль глядеть на него, и я, чтобы не видеть этого личика, старался глядеть себе в тарелку.

Чем нужно было объяснить эту ее печаль? Не начало ли раскаяние грызть бедную девушку? Или, быть может, ее тщеславие ожидало еще большей помпы?

Подняв во время второго блюда на нее глаза, я был поражен до боли в сердце. Бедная девочка, отвечая на какой-то пустой вопрос графа, делала усиленные глотательные движения: в ее горле накопились рыдания. Она не отрывала платка от своего рта и робко, как испуганный зверок, поглядывала на нас: не замечаем ли мы, что ей хочется плакать?

— Чего вы такая кислая сегодня? — спросил граф. — Эге! Петр Егорыч, это вы виноваты! Извольте-ка развеселить жену! Господа, я требую поцелуя. Ха, ха!.. не для себя поцелуя, конечно, а того... чтобы они поцеловались! Горько!

— Горько! — подхватил Калинин.

Урбенин, улыбаясь во все свое красное лицо, поднялся и замигал глазами. Оленька, понуждаемая возгласами и гиканьем гостей, слегка привстала и подставила Урбенину свои неподвижные, безжизненные губы... Тот поцеловал... Оленька стиснула свои губы, точно боясь, чтоб их не поцеловал в другой раз, и взглянула на меня... Вероятно, мой взгляд был нехорош. Уловив его, она вдруг покраснела, потянулась за платком и стала сморкаться, желая хоть чем-нибудь скрыть свое страшное замешательство... Мне пришло в голову, что она стыдится передо мной, стыдится за этот поцелуй, за брак...

«Какое мне дело до тебя?» — думал я, но сам в то же время не спускал с нее глаз, стараясь уловить причину ее замешательства...

Бедняжка не вынесла моего взгляда. Правда, краска стыда скоро сошла с ее лица, но зато из глаз выжались слезы, настоящие слезы, каких я никогда ранее не видывал на ее лице... Прижав платок к лицу, она поднялась и выбежала из столовой...

— У Ольги Николаевны голова болит, — поспешил я объяснить ее уход. — Она мне еще утром жаловалась...

— Оставь, брат! — сострил граф. — Головная боль тут ни при чем... Поцелуй все наделал, сконфузилась. Объявляю, господа, жениху строгий выговор! Он не приучил свою невесту к поцелуям! Ха-ха!

Гости, восхищенные графской остротой, захохотали... Но не следовало хохотать...

Прошло пять, десять минут, а молодая не возвращалась... Наступило молчание... Даже граф перестал острить... Отсутствие Оленьки было тем более заметно, что она ушла внезапно, не сказав ни слова... Не говоря уж об этикете, который был оскорблен тут прежде всего, Оленька вышла из-за стола тотчас же после поцелуя, словно она рассердилась, что ее заставили целоваться с мужем... Нельзя было допустить, что она ушла оттого, что сконфузилась... Сконфузиться можно на минуту, на две, но не на целую вечность, какую показали нам первые десять минут ее отсутствия... Сколько нехороших мыслей промелькнуло в хмельных головах мужчин и сколько сплетен было уже наготове у милых дам! Невеста встала из-за стола и ушла — какое эффектное и сценическое место для «великосветского» уездного романа!

Урбенин стал беспокойно поглядывать по сторонам.

— Нервы... — бормотал он. — Или, может, развязалось что-нибудь из туалета... Кто их знает, этих женщин! Сейчас придет... Сию минуту.

Но когда прошло еще десять минут и она не появлялась, он посмотрел на меня такими несчастными, умоляющими глазами, что мне стало жаль его...

«Ничего, если я пойду поищу ее? — говорили его глаза. — Не поможете ли вы мне, голубчик, выйти из этого ужасного положения? Вы здесь самый умный, смелый и находчивый человек, помогите же мне!»

Я внял мольбе его несчастных глаз и решился помочь ему. Как я помог ему, читатель увидит далее... Скажу только, что крыловский медведь, оказавший услугу пустынноку, в моих глазах теряет все свое звериное величие, бледнеет и обращается в невинную инфузорию, когда я вспоминаю себя в роли «услужливого дурака»... Сходство между мной и медведем заключается только в том, что оба мы шли на помощь искренно, не предвидя дурных последствий нашей услуги, разница же между нами громадная... Мой камень, которым я хватил по лбу Урбенина, во много раз увесистее...

— Где Ольга Николаевна? — спросил я лакея, подававшего мне салат.

— В сад вышли,— отвечал он.

— Это ни на что не похоже, mesdames!¹ — сказал я шутливым тоном, обращаясь к дамам.— Невеста ушла,— и мое вино прокисло!.. Я должен пойти ее отыскать и привести ее сюда, хотя бы у нее болели все зубы! Шафер — должностное лицо, и он идет показать свою власть!

Я встал и при громких аплодисментах моего друга графа вышел из столовой в сад. В мою разгоряченную вином голову ударили прямые, жгучие лучи полуденного солнца. В лицо пахнуло зноем и духотой. Я наудачу пошел по одной из боковых аллей и, насвистывая какой-то мотив, дал «полный пар» своим следовательским способностям в роли простой ищейки. Я осмотрел все кустики, беседки, пещеры, и когда уже меня начало помучивать раскаяние, что я пошел вправо, а не влево, я вдруг услышал странные звуки. Кто-то смеялся или плакал. Звуки исходили из одной пещеры, которую я хотел осмотреть последней. Быстро войдя в нее, я, охваченный сыростью, запахом плесени, грибов и известки, увидел ту, которую искал.

Она стояла, облокотившись о деревянную колонну, покрытую черным мохом, и, подняв на меня глаза, полные ужаса и отчаяния, рвала на себе волосы. Из ее глаз лились слезы, как из губки, когда ее жмут.

— Что я наделала? Что наделала! — бормотала она.

— Да, Оля, что вы наделали,— сказал я, ставши перед ней и скрестив руки.

— Зачем я вышла за него замуж? Где у меня были глаза? Где был мой ум?

— Да, Оля... Трудно объяснить этот ваш шаг... Объяснять его неопытностью — слишком снисходительно, объяснять испорченностью — не хочется.

— Я сегодня только поняла... сегодня! Отчего я не поняла этого вчера? Теперь все безвозвратно, все потеряно! Все, все! Я могла бы выйти за человека, которого я люблю, который меня любит!

¹ сударыни! (франц.)

— За кого же это, Оля? — спросил я.

— За вас! — сказала она, посмотрев на меня прямо, открыто... — Но я поспешила! Я была глупа! Вы умны, благородны, молоды... Вы богаты... Вы казались мне недоступны!

— Ну, довольно, Оля, — сказал я, беря ее за руку... — Утром свои глазки и пойдем... Там ждут... Ну, будет плакать, будет... — Я поцеловал ее руку...

— Будет, девочка! Ты сделала глупость и теперь расплачивайся за нее... Ты виновата... Ну, будет, успокойся...

— Ведь ты меня любишь? Да? Ты такой большой, красивый! Ведь любишь?

— Пора идти, душа моя... — сказал я, замечая, к своему великому ужасу, что я целую ее в лоб, беру ее за талию, что она ожигает меня своим горячим дыханием и повисает на моей шее...

— Будет тебе! — бормочу я... — Довольно!..

Когда минут через пять я вынес ее на руках из пещеры и, замученную новыми впечатлениями, поставил на землю, почти у самого порога я увидел Пшехоцкого... Он стоял, ехидно глядел на меня и тихо аплодировал... Я смерил его взглядом и, взяв Ольгу под руку, направился к дому.

— Сегодня же вас здесь не будет! — сказал я, оглянувшись, Пшехоцкому. — Ваше шпионство не пройдет вам даром!

Поцелуи мои, вероятно, были горячи, потому что лицо Ольги горело как в огне. На нем не было и следа только что пролитых слез...

— Теперь мне, как говорится, море по колено! — бормотала она, идя со мной к дому и судорожно сжимая мой локоть... — Утром я не знала, куда деваться от ужаса, а сейчас... сейчас, мой хороший великан, я не знаю, куда деваться от счастья! Там сидит и ждет меня муж... Ха-ха! Мне-то что? Хоть бы он даже был крокодил, страшная змея... ничего не боюсь! Я тебя люблю и знать ничего не хочу!

Я поглядел на ее пылавшее счастьем лицо, на глаза, полные счастливой, удовлетворенной любви, и сердце мое сжалось от страха за будущее этого хорошенького,

счастливого существа: любовь ее ко мне была только лишним толчком в пропасть... Чем кончит эта смеющаяся, не думающая о будущем женщина?.. Сердце мое сжалось и перевернулось от чувства, которое нельзя назвать ни жалостью, ни состраданием, потому что оно было сильнее этих чувств. Я остановился и взял Ольгу за плечо... Никогда в другое время я не видел ничего прекраснее, грациознее и в то же время жалче... Некогда было рассуждать, рассчитывать, думать, и я, охваченный чувством, сказал:

— Сию минуту едем ко мне, Ольга! Сейчас же!

— Как? Что ты сказал? — спросила она, не поняв моего несколько торжественного тона...

— Едем немедленно ко мне!

Ольга улыбнулась и показала мне на дом...

— Ну так что же? — сказал я. — Сегодня ли я возьму тебя, или завтра — не все ли равно? Но чем раньше, тем лучше... Идем!

— Но... это как-то странно...

— Ты, девочка, боишься скандала?.. Да, скандал будет необыкновенный, грандиозный, но лучше тысяча скандалов, чем оставаться тебе здесь! Я тебя здесь не оставлю! Я не могу тебя здесь оставить! Понимаешь, Ольга? Оставь твою малодушие, твою женскую логику и слушайся! Слушайся, если не желаешь своей гибели!

Глаза Ольги говорили, что она меня не понимала... А время между тем не ждало, шло своим чередом, и стоять нам в аллее в то время, когда нас там ждали, было некогда. Нужно было решать... Я прижал к себе «девушку в красном», которая фактически была теперь моей женой, и в эти минуты мне казалось, что я действительно люблю ее, люблю любовью мужа, что она моя и судьба ее лежит на моей совести... Я увидел, что я связан с этим созданием навеки, бесповоротно.

— Послушай, моя дорогая, мое сокровище! — сказал я. — Шаг этот смел... Он рассорит нас с близкими людьми, вызовет на наши головы тысячи попреков, слезных жалоб. Он, быть может, даже испортит мою карьеру, причинит мне тысячи непроходимых неудобств, но, милая моя, решено! Ты будешь моей женой... Лучшей жены мне не нужно, да и бог с ними,

с этими женщинами! Я сделаю тебя счастливой, буду хранить тебя как зеницу ока, пока жив буду, я воспитаю тебя, сделаю из тебя женщину! Обещаю тебе это, и вот тебе моя честная рука!

Я говорил с искренним увлечением, с чувством, как *jeune premier*¹, исполняющий самое патетическое место в своей роли... Говорил я прекрасно, и недаром похлопала мне крыльями пролетевшая над нашими головами орлица. А моя Оля взяла мою протянутую руку, подержала ее в своих маленьких руках и с нежностью поцеловала. Но это не было знаком согласия... На глупеньком личике неопытной, никогда ранее не слышавшей речей женщины выразалось недоумение... Она все еще продолжала не понимать меня.

— Ты говоришь, идти к тебе...— проговорила она, думая...— Я тебя не совсем понимаю... Разве ты не знаешь, что скажет он?

— Да какое тебе дело до того, что он скажет?

— Как какое? Нет, Сережа, и не говори лучше... Оставь это, пожалуйста... Ты меня любишь, и больше мне ничего не нужно. С твоей любовью хоть в аду жить...

— Но как же ты будешь, дурочка?

— Я буду жить здесь, а ты... будешь приезжать каждый день... Я буду выходить тебя встречать.

— Но я без содрогания не могу представить себе этой твоей жизни!.. Ночью — он, днем — я... Нет, это невозможно! Оля, я так люблю тебя в настоящую минуту, что... я даже безумно ревнив... Я даже и не подозревал за собой способности на такие чувства...

Но какая неосторожность! Я держал ее за талию, а она нежно гладила мою руку в то время, когда во всякую минуту можно было ждать, что кто-нибудь пройдет по аллее и увидит нас.

— Идем,— сказал я, отдергивая свои руки...— Оденься и едем!

— Но как ты все это скоро...— промычала она плаксивым голосом...— Спешись, словно на пожар...

¹ жен-премьер — актер, исполняющий роли первого любовника (франц.).

И бог знает что выдумал! Убежать сейчас же после венца! Что люди скажут!

И Олснька пожала плечами. На лице ее было столько недоумения, удивления и непонимания, что я махнул рукой и отложил решение ее «жизненного вопроса» до следующего раза. Да и некогда уже было продолжать нашу беседу: мы всходили по каменным ступеням террасы и слышали людской говор. Перед дверью в столовую Оля поправила свою прическу, оглядела платье и вошла. На лице ее не заметно было смущения. Вошла она, сверх ожидания моего, очень храбро.

— Возвращаю вам, господа, беглянку, — сказал я, входя и сядя на свое место. — Насилу нашел... Даже утомился... Выхожу в сад, смотрю, а она изволит прохаживаться по аллее... «Зачем вы здесь?» — спрашиваю... «Да так, говорит, душно!..»

Оля поглядела на меня, на гостей, на мужа... и захохотала. Ей стало вдруг смешно, весело. На лице ее я прочел желание поделиться со всей этой обедающей толпой своим внезапно набежавшим на нее счастьем, и, не имея возможности передать его на словах, она вылила его в своем смехе.

— Какая я смешная! — сказала она. — Хохочу и сама не знаю, чего хохочу... Граф, смейтесь!

— Горько! — крикнул Калинин.

Урбенин кашлянул и поглядел вопросительно на Олю.

— Ну? — спросила она, на секунду нахмурив брови.

— Кричат-с — «горько», — ухмыльнулся Урбенин, поднимаясь и вытирая салфеткой губы.

Ольга поднялась и дала ему поцеловать себя в неподвижные губы... Поцелуй этот был холоден, но еще более он поджег костер, тлевший в моей груди и готовый каждую минуту вспыхнуть пламенем... Я отвернулся и, стиснув губы, стал ждать конца обеда... Конец этот наступил, к счастью, скоро, иначе бы я не выдержал...

— Поди сюда! — сказал я грубо, подходя после обеда к графу.

Граф с удивлением поглядел на меня и последовал за мной в пустую комнату, куда я повел его...

— Что тебе нужно, дружочек? — спросил он, растегивая жилетку и отрыгнув...

— Выбирай кого-нибудь из двух... — сказал я, едва держась на ногах от охватившего меня гнева... — Или я, или Пшехоцкий! Если ты не обещаешь мне, что через час этот подлец оставит твою деревню, я к тебе более ни ногой!.. Даю тебе на ответ полминуты!

Граф выронил изо рта сигару и расставил руки...

— Что с тобой, Сережа? — спросил он, делая большие глаза. — На тебе лица нет!

— Без лишних слов, пожалуйста! Я не выношу шпиона, негодая, подлеца и друга твоего Пшехоцкого и во имя наших хороших с тобой отношений требую, чтоб его не было здесь сейчас же!

— Но что он тебе сделал? — встревожился граф. — За что ты на него так нападаешь?

— Я тебя спрашиваю: я или он?

— Но, голубчик, ты ставишь меня в ужасно щекотливое положение... Пстой, у тебя на фраке перышко... Ты требуешь от меня невозможного!

— Прощай! — сказал я. — Я с тобой больше не знаком.

И, круто повернувшись, я пошел в переднюю, оделся и быстро вышел. Проходя через сад в людскую кухню, где я хотел приказать запрячь мне лошадь, я был остановлен встречей... Навстречу мне с маленькой чашечкой кофе шла Надя Калинина. Она тоже была на свадьбе Урбенина, но какой-то неясный страх заставлял меня избегать с ней разговора, и за весь день я ни разу не подошел к ней и не сказал с нею ни одного слова...

— Сергей Петрович! — сказала она неестественно низким голосом, когда я прошел мимо нее и слегка приподнял шляпу. — Пстойте!

— Что прикажете? — спросил я, подходя к ней...

— Приказывать мне нечего... да вы и не лакей, — сказала она, глядя мне в упор в лицо и страшно бледнея... — Вы куда-то спешите, но если вам не к спеху, можно задержать вас на минуту?

— Конечно... Я не знаю даже, зачем вы спрашиваете...

— В таком случае сядемте... Вы, Сергей Петрович,— продолжала она, когда мы сели,— сегодня вы все время старались не замечать меня, обходили, словно боялись встретиться, а как нарочно сегодня то я и порешила поговорить с вами... Я горда и самодлюбива... не умею навязываться встречей... но раз в жизни можно пожертвовать гордостью.

— О чем вы это?

— Я порешила сегодня спросить вас... Вопрос унижительный, тяжелый для меня... не знаю, как и перенесу... Вы отвечайте, не глядя на меня... Неужели вам не жаль меня, Сергей Петрович?

Надя поглядела на меня и слабо покачала головой. Лицо ее еще более бледнело, верхняя губа задрожала и покривилась...

— Сергей Петрович! Мне все кажется, что вас... отделило от меня какое-то недоразумение, каприз... Мне кажется, что выскажись мы — и все пойдет старому... Если бы мне так не казалось, то у меня не хватило бы решимости задать вам вопрос, который вы сейчас услышите... Я, Сергей Петрович, несчастна... Вы должны это видеть... Жизнь моя не в жизнь... Вся высохла... А главное — какая-то неопределенность: не знаешь, надеяться или нет... Поведение ваше по отношению ко мне так непонятно, что невозможно вывести никакого определенного заключения... Скажите мне, и я буду знать, что мне делать... Тогда моя жизнь получит хотя какое-нибудь направление... Я тогда решусь на что-нибудь...

— Вы хотите, Надежда Николаевна, спросить меня о чем-то,— сказал я, готовя мысленно ответ на вопрос, который предчувствовал.

— Да, я хочу спросить... Вопрос унижительный... Если кто подслушает, то подумает, что я навязываюсь, словно... пушкинская Татьяна... Но это вымученный вопрос...

Действительно, вопрос был вымученный. Когда Надя повернула ко мне лицо, чтобы задать этот вопрос, я испугался: Надя дрожала, судорожно сжи-

мала свои пальцы и с тоскливой медленностью выжимала из себя роковое слово. Ее бледность была страшна.

— Могу я надеяться? — прошептала она наконец. — Вы не бойтесь говорить прямо... Какой бы ни был ответ, но он лучше неопределенности. Так как же? Могу я надеяться?

Она ждала ответа, а между тем настроение моего духа было таково, что я не был способен на разумный ответ. Пьяный, взволнованный случаем в пещере, взбешенный шпионством Пшехоцкого и нерешительностью Ольги, переживший глупую беседу с графом, я едва слушал Надю.

— Могу я надеяться? — повторяла она. — Ответьте же!

— Ах, мне не до ответов, Надежда Николаевна! — махнул я рукой, поднимаясь. — Я не способен давать теперь какие бы то ни было ответы. Простите меня, но я вас не слышал и не понял. Я глуп и взбешен... Напрасно только вы и беспокоились, право.

Я еще раз махнул рукой и оставил Надю. Только впоследствии, придя в себя, я понял, как глуп и жестоко я был, не дав девушке ответа на ее простой, незамысловатый вопрос... Отчего я не ответил?

Теперь, когда я могу глядеть беспристрастно на прошлое, я не объясняю свою жестокость состоянием души... Мне сдается, что, не давая ей ответа, я кокетничал, ломался. Трудно понять человеческую душу, но душу свою собственную понять еще трудней. Если действительно я ломался, то да простит мне бог! Хотя, впрочем, издевательство над чужими страданиями не должно быть прощаемо.

Три дня ходил я из угла в угол, как волк в клетке, и всеми силами своей недюжинной воли старался не пускать себя из дому. Я не касался груды бумаг, лежавших на столе и терпеливо ожидавших моего внимания, никого не принимал, бранился с Поликарпом, раздражался... Я не пускал себя в графскую усадьбу, и это упорство стоило мне сильной нервной работы. Я тысячу раз брался за шляпу и столько же раз бросал ее... То я решался пренебречь всем на свете и

ехать к Ольге во что бы то ни стало, то окачивал себя холодом решения сидеть дома...

Рассудок мой был против поездки в графскую усадьбу. Раз я поклялся графу не бывать у него, мог ли я жертвовать своим самолюбием, гордостью? Что бы подумал этот усатый фат, если бы я, после того нашего глупого разговора, отправился к нему как ни в чем не бывало? Не значило бы это сознаться в своей неправоте?..

Далее, как честный человек, я должен был бы порвать всякие сношения с Ольгой. Наша дальнейшая связь не могла бы ей дать ничего, кроме гибели. Выйдя замуж за Урбенина, она сделала ошибку, сойдясь же со мной, она ошиблась в другой раз. Живя с мужем-стариком и имея в то же время тайком от него любовника, не походила бы она на развратную куклу? Не говоря уже о том, как мерзка в принципе подобная жизнь, нужно было подумать и о последствиях.

Какой я трус! Я боялся и последствий, и настоящего, и прошлого... Обыкновенный человек посмеется над моими рассуждениями. Он не ходил бы из угла в угол, не хватал бы себя за голову и не строил бы всевозможных планов, а предоставил бы все жизни, которая мелет в муку даже жерновы. Жизнь переварила бы все, не спрашивая ни его помощи, ни позволения... Но я мнителен до трусости... Ходил я из угла в угол, болел от сострадания к Ольге и в то же время ужасался мысли, что она поймет мое предложение, которое сделал я ей в минуты увлечения, и явится ко мне в дом, как обещал я ей, *навсегда!* Что было бы, если бы она послушалась меня и пошла за мной? Как долго продолжалось бы это «навсегда» и что дала бы бедной Ольге жизнь со мною? Я не дал бы ей семьи, а стало быть, не дал бы и счастья. Нет, не следовало мне ехать к Ольге!

А между тем душа моя неистово рвалась к ней... Я тосковал, как впервые влюбившийся мальчишка, которого не пускают на rendez-vous¹. Искушенный

¹ свидание (франц.).

происшествием в пещере, я жаждал нового свидания, и из головы моей ни на минуту не выходил вызывающий образ Ольги, которая, как я знал, тоже ждала меня и изнывала от тоски...

Граф слал письмо за письмом, одно другого плачевнее и унижительнее... Он умолял меня «забыть все» и приехать, извинялся за Пшехоцкого, просил простить этого «доброего, простого, но несколько ограниченного человека», удивлялся, что я из-за пустяков решаюсь прервать старинные дружеские отношения. В одном из последних писем он обещался сам приехать и, если я пожелаю, привезти с собою Пшехоцкого, который попросит у меня извинения, «хотя и не чувствует за собой никакой вины». Я читал письма и в ответ на них просил каждого посланного оставить меня в покое. Умел я ломаться!

И в самый разгар моей нервной работы, когда я, стоя у окна, решал уже уехать куда-нибудь, помимо графской усадьбы, терзал себя рассуждениями, самопопреками и представлениями картин любви, которые ожидали меня у Ольги, моя дверь тихо отворилась, сзади меня послышались легкие шаги, и скоро шею мою обвивали две маленькие, хорошенькие руки...

— Это ты, Ольга? — спросил я, оглядываясь.

Я узнал ее по ее горячему дыханию, по манере, с которой она повисла на моей шее, и даже по запаху. Припав своей головкой к моей щеке, она казалась мне необыкновенно счастливой... От счастья она не могла выговорить ни слова... Я прижал ее к груди, и — куда девались тоска и вопросы, мучившие меня целых три дня! Я от удовольствия захохотал и запрыгал, как школьник.

Ольга была в голубом шелковом платье, которое очень шло к ее бледному цвету лица и роскошным льяняным волосам. Платье это было модно и ужасно дорого. Урбенину стоило оно, вероятно, четверти годового жалованья...

— Какая ты хорошенькая сегодня!.. — сказал я, поднимая Ольгу на руки и целуя ее в шею. — Ну, что? Как? Здорова?

— Как, однако, у тебя здесь нехорошо! — проговорила она, окидывая взглядом мой кабинет.— Богатый человек, жалованье большое получаешь, а как... просто живешь!

— Не всем же, душа моя, жить так роскошно, как граф,— сказал я.— Но оставим в покое мое богатство. Какой добрый гений занес тебя в мою берлогу?

— Постой, Сережа, ты помнешь мне мое платье... Опустит меня наземь... К тебе я, голубчик, на минутку! Дома я всем сказала, что поеду к Акатьихе, графской прачке, что тут живет недалеко, за три дома от тебя... Ты меня отпусти, голубчик, а то неловко... Почему ты не приезжал так долго?

Я ответил что-то, посадил ее против себя и занялся созерцанием ее красоты... Минуту мы глядели друг на друга и молчали...

— Ты очень хорошенькая, Оля! — вздохнул я.— Даже жаль и обидно, что ты такая хорошенькая!

— Почему же жаль?

— Досталась черт знает кому.

— Но чего же тебе еще! Ведь я твоя! Пришла вот... Послушай, Сережа... Ты мне правду скажешь, если я тебя спрошу?

— Конечно, правду.

— Ты женился бы на мне, если бы я не вышла за Петра Егорыча?

«Вероятно, нет»,— хотелось мне сказать, но к чему было ковырять и без того уж большую ранку, мучившую сердце бедной Оли?

— Конечно,— сказал я тоном человека, говорящего правду.

Оля вздохнула и потупилась...

— Как я ошиблась, как ошиблась! И что хуже всего, нельзя поправить! Развестись ведь с ним нельзя?

— Нельзя...

— И к чему я спешила, не понимаю! Мы, девушки, так глупы и ветрены... Бить нас некому! Впрочем, не воротишь, и рассуждать тут нечего... Ни рассуждения, ни слезы не помогут. Я, Сережа, сегодня всю ночь плакала! Он тут... около лежит, а я про тебя думаю...

спать не могу... Хотела даже бежать ночью, хоть в лес к отцу... Лучше жить у сумасшедшего отца, чем с этим... как его...

— Рассуждения, Оля, не помогут... Нужно было тогда рассуждать, когда ты ехала со мной из Тенева и радовалась, что выходишь за богатого человека... Теперь же поздно упражняться в красноречии...

— Поздно... но так тому и быть! — сказала Оля, решительно махнув рукой. — Лишь бы только хуже не было, а то еще можно жить... Прощай! Пора уж идти...

— Нет, не прощай...

Я привлек к себе Олю и стал осыпать ее лицо поцелуями, словно стараясь вознаградить себя за утраченные три дня. Она жалась ко мне, как озябший ба-
рашек, грела мое лицо своим горячим дыханием... Наступила тишина...

— Муж убил свою жену! — гаркнул мой попугай...

Оля вздрогнула, высвободилась из моих объятий и вопросительно поглядела на меня...

— Это попугай, душа моя... — сказал я... — Успокойся...

— Муж убил свою жену! — повторил Иван Демьяныч.

Оля поднялась, молча надела шляпу и подала мне руку... На лице ее был написан испуг...

— А что, если Урбенин узнает? — спросила она, глядя на меня большими глазами. — Ведь он убьет меня!

— Ну, полно... — засмеялся я. — Хорош был бы я, если бы позволил ему убить тебя! Да едва ли он способен на такое необыкновенное дело, как убийство... Ты уходишь? Ну, прощай же, дитя мое... Жду... Завтра буду в лесу около домика, где ты жила... Встретимся...

Проводивши Ольгу и воротясь в кабинет, я встретил там Поликарпа. Он стоял посреди комнаты, сурово глядел на меня и презрительно покачивал головой...

— Чтобы в другой раз у меня этого не было, Сергей Петрович! — сказал он тоном строгого родителя. — Я этого не желаю...

— Чего это?

— Того самого... Вы думаете, я не видел? Все видел... Чтоб она не смела сюда ходить! Нечего тут шуры-муры заводить! На это другие места есть...

Я был в великолепнейшем настроении духа, а потому шпионство и менторский тон Поликарпа не рассердили меня. Я засмеялся и усмал его в кухню.

Не успел я еще опомниться после посещения Ольги, как ко мне пожаловал новый гость. К моей квартире подъехала с шумом карета, и Поликарп, плюя по сторонам и бормоча ругательства, доложил мне о приезде «того... энтото, чтоб его...», то есть графа, которого он ненавидел всеми силами своей души. Граф вошел, слезливо поглядел на меня и покачал головой...

— Ты отворачиваешься... Не хочешь говорить...

— Я не отворачиваюсь,— сказал я.

— Я так любил тебя, Сережа, а ты... из-за пустяка! За что ты меня оскорбляешь? За что?

Граф сел, вздохнул и покачал головой...

— Ну, будет тебе дурака ломать! — сказал я.— Ладно!

Сильно было мое влияние над этим слабым, щедушным человечешкой, так же сильно, как и презрение к нему... Мой презрительный тон не оскорбил его, а напротив... Услышав мое «ладно!», он вскочил и принялся обнимать меня...

— Я привез его с собой... Он сидит в карете... хочешь, чтоб он перед тобой извинился?

— А ты знаешь его вину?

— Нет...

— И отлично. Пусть не извиняется, но только предупреди его, что если случится впредь еще раз что-либо подобное, то я уж кипятиться не стану, а приму меры.

— Стало быть, мир, Сережа? И отлично! Так бы и давно, а то черт знает из-за чего поссорились! Словно институтки! Ах да, голубчик! Нет ли у тебя... полрюмки водки? Ужасно пересохло в горле!

Я приказал подать водки. Граф выпил две рюмки, развалился на диване и стал болтать.

— Сейчас я, брат, встретился с Олей... Чудо женщина! Надо тебе сказать, что я начинаю ненавидеть Урбенина... Это значит, что Оленька начинает мне нравиться... Чертовски хорошенькая! Я думаю прихлопнуть за ней.

— Не следует трогать замужних! — вздохнул я.

— Ну, у старика... у Петра-то Егорыча не грех его супругу подтибрить... Она ему не пара... Он, как собака: и сам не трескает, и другим не дает... Сегодня же начну свои приступы и начну систематически... Такая душонка... гм... просто шик, братец! Пальчики оближешь!

Граф выпил третью рюмку и продолжал:

— Знаешь, кто мне еще нравится из здешних?.. Наденька, дочка этого дурака Калинина... Жгучая брюнетка, бледная, знаешь, с такими глазами... Тоже нужно будет удочку закинуть... На троицу делаю вечер... музыкально-вокально-литературный... нарочно, чтоб ее позвать... А здесь, брат, как оказывается, ничего себе, весело! И общество, и женщины... и... Можно у тебя здесь уснуть... на минутку?..

— Можно... Но как же Пшехоцкий с каретой?

— Пусть ждет, черт с ним!.. Я сам, брат, его не люблю.

Граф приподнялся на локоть и проговорил таинственно:

— Держу только по необходимости... по нужде... Ну, да черт с ним!

Локоть графа подвернулся, и голова упала на подушку. Через минуту послышался храп.

Вечером, когда граф уехал, у меня был третий гость: доктор Павел Иванович. Он приезжал известить меня о болезни Надежды Николаевны и о том, что она... окончательно отказала ему в своей руке. Бедняга был печален и походил на мокрую курицу.

Прошел поэтический май...

Отцвели сирень и тюльпаны, а с ними суждено было отцвести и восторгам любви, которая, несмотря на свою преступность и мучительность, все-таки из-

редка доставляла нам сладкие минуты, неизгладимые из памяти. А бывают минуты, за которые можно отдать месяцы и годы!

В один из июньских вечеров, когда солнце уже зашло, но широкий след его — багрово-золотистая полоса еще красила далекий запад и пророчила на завтра тихий и ясный день, я подъехал на Зорьке к флигелю, в котором жил Урбенин. В этот вечер у графа предполагался «музыкальный» вечер. Гости уже начали съезжаться, но графа не было дома: он поехал кататься и обещал скоро вернуться.

Немного погодя я, держа свою лошадь за повод, стоял у крылечка и беседовал с дочкой Урбенина, Сашей. Сам Урбенин сидел на ступеньке и, подперев кулаками голову, всматривался в даль, которую видно было в ворота. Он был угрюм, неохотно отвечал на мои вопросы. Я оставил его в покое и занялся Сашей.

— Где твоя новая мама? — спросил я ее.

— Поехала с графом кататься. Она каждый день с ним ездит.

— Каждый день, — пробормотал Урбенин, вздохнув.

Многое слышалось в этом вздохе. Слышалось в нем то же самое, что волновало и мою душу, что старался я объяснить себе, но не мог объяснить и терялся в догадках.

Каждый день Ольга ездила с графом кататься верхом. Но это пустяки. Ольга не могла полюбить графа, и ревность Урбенина была неосновательна. Ревновать должны были мы не к графу, а к *чему-то другому*, чего я не мог понять так долго. Это «что-то другое» стало между мной и Ольгой целой стеной. Она продолжала любить меня, но после того посещения, которое было описано в предыдущей главе, она была у меня еще не более двух раз, а встречаясь со мной вне моей квартиры, как-то странно вспыхивала и настойчиво уклонялась от ответов на мои вопросы. На мои ласки она отвечала горячо, но ответы ее были так порывисты и пугливы, что от наших коротких рандеву оставалось в моей памяти одно только мучительное недоумение. Совесть у нее была нечиста —

это было ясно, но в чем именно — нельзя было прочесть на виноватом лице Ольги.

— Надеюсь, твоя новая мама здорова? — спросил я Сашу.

— Здолова. Но только ночью у нее зубы болели. Она плакала.

— Плакала? — повернул Урбенин свое лицо к Саше. — Ты видела? Это тебе, милочка, приснилось.

Зубы у Ольги не болели. Если она плакала, то не от боли, а от чего-то другого... Я еще хотел поговорить с Сашей, но это мне не удалось, потому что послышался лошадиный топот, и скоро мы увидели всадника, некрасиво прыгавшего на седле, и грациозную амазонку. Чтобы скрыть от Ольги свою радость, я поднял на руки Сашу и, перебирая пальцами ее белокурые волосы, поцеловал ее в голову.

— Какая ты хорошенькая, Саша! — сказал я. — Какие у тебя славные кудряшки!

Ольга мельком взглянула на меня, молча ответила на мой поклон и, опираясь о руку графа, вошла во флигель. Урбенин поднялся и пошел за ней.

Минут через пять из флигеля вышел граф. Он был весел как никогда. Даже лицо его казалось посвежевшим.

— Поздравь! — сказал он, беря меня под руку и хихикая.

— С чем?

— С победой... Еще одна такая поездка, и, клянусь прахом моих благородных предков, с этого цветка я сорву лепестки.

— Но пока еще не сорвал?

— Пока?.. Чуть-чуть! В продолжение десяти минут «твоя рука в моей руке», — запел граф, — и... ни разу не отдернула ручки... Зацеловал! Но подождем до завтра, а теперь идем. Меня ждут. Ах да! Мне нужно поговорить с тобой, голубчик, об одной вещи. Скажи мне, милый, правду ли говорят, что ты тово... питаешь злостные намерения относительно Наденьки Калининой?

— А что?

— Если это правда, то мешать тебе я не стану.

Подставлять другому ножку не в моих правилах. Если же ты никаких видов не имеешь, то, конечно...

— Не имею.

— Мерсі, душа моя!

Граф мечтал убить сразу двух зайцев, вполне уверенный, что это ему удастся. И я в описываемый вечер наблюдал погоню за этими зайцами. Погоня была глупа и смешна, как хорошая карикатура. Глядя на нее, можно было только смеяться или возмущаться пошлостью графа; но никто бы не мог подумать, что эта мальчишеская погоня кончится нравственным падением одних, гибелью других и преступлением третьих!

Граф убил не двух зайцев, а больше! Он их убил, но шкура и мясо достались не ему.

Я видел, как он тайком пожимал руку Ольге, всякий раз встречавшей его дружеской улыбкой, а провозжавшей презрительной гримасой. Раз даже, желая показать, что между им и мною нет тайн, он поцеловал ее руку при мне.

— Какой болван! — прошептала она мне на ухо, вытирая свою руку.

— Послушай, Ольга! — сказал я по уходе графа. — Мне кажется, что тебе хочется что-то сказать мне. Хочется?

Я пытливо взглянул на ее лицо. Она вспыхнула и пугливо заморгала глазами, как кошка, пойманная в воровстве.

— Ольга, — сказал я строго, — ты должна сказать мне! Я этого требую!

— Да, я хочу тебе кое-что сказать, — зашептала она, сжимая мне руку. — Я тебя люблю, жить без тебя не могу, но... не ездь ко мне, милый мой! Не люби меня больше и говори мне «вы». Я не могу уж продолжать... Нельзя... И не показывай даже виду, что ты меня любишь.

— Но почему же?

— Я так хочу. Причины знать тебе не нужно, и я их не скажу. Идут... Отойди от меня.

Я не отошел от нее, и ей самой пришлось прекратить наш разговор... Взяв под руку шедшего мимо

мужа, она с лицемерной улыбкой кивнула мне головой и ушла.

Другой графский заяц — Наденька Калинина удостоилась в этот вечер особенного графского внимания. Он вертелся возле нее весь вечер, рассказывал ей анекдоты, острил, кокетничал... а она, бледная, замученная, кривила свой рот в насильственную улыбку. Мировой Калинин все время наблюдал за ними, поглаживал бороду и значительно кашлял. Ухаживанье графа было ему по нутру. У него зятем граф! Что может быть слаще этой мечты для уездного бонвивана? После того как начались ухаживанья графа за его дочерью, он вырос в своих глазах на целый аршин. А какими величественными взглядами измерял он меня, как ехидно покашливал, когда беседовал со мною! «Ты вот, мол, поцеремонился, ушел, а мы — наплевать! Теперь у нас граф есть!»

На другой день вечером я опять был в графской усадьбе. На этот раз я беседовал не с Сашей, а с ее братом-гимназистом. Мальчик повел меня в сад и вылил передо мной всю свою душу. Излияния эти были вызваны моим вопросом о житье его с «новой мамашей».

— Она ваша хорошая знакомая, — начал он, нервно расстегивая свой мундирчик, — вы ей расскажете, но я не боюсь... Рассказывайте, сколько угодно! Она злая, низкая!

И он рассказал мне, что Ольга отняла у него комнату, прогнала старуху няню, служившую у Урбенина десять лет, вечно кричит и злится.

— Вчера вы похвалили волосы сестры Саши... Ведь хорошие волосы? Настоящий лен! А она сегодня утром остригла ее!

«Это ревность!» — объяснил я себе это вторжение Ольги в чуждую ей парикмахерскую область...

— Ей словно завидно стало, что вы похвалили не ее волосы, а Сашины! — подтвердил мальчик мою мысль. — Она и папашу замучила. Папаша страшно тратится на нее, отрывается от дела... и опять начал пить! Опять! Она дурочка... Весь день плачет, что ей приходится жить в бедности, в таком маленьком фли-

геле. А разве папаша виноват, что у него не много денег? — Мальчик рассказал мне много печального. Он видел то, чего не видел или не хотел видеть его ослепленный отец. У бедняжки был оскорблен отец, оскорблены были сестра, старуха няня. У него отняли его маленький очаг, где он привык возиться над установой своих книжек и кормежкой пойманных им щеглят. Все было обижено, над всем посмеялась глупая и полновластная мачеха! Но бедному мальчику не могло и присниться то страшное оскорбление, которое было нанесено молодой мачехой его семье и свидетелем которого я был в тот же вечер, после разговора с ним. Все меркло перед этим оскорблением, и стриженные волосы Саши в сравнении с ним являются ничтожным пустяком.

Поздно вечером я сидел у графа. Мы, по обыкновению, пили. Граф был совершенно пьян, я же только слегка.

— Сегодня мне уже позволили нечаянно коснуться галии,— бормотал он.— Завтра, стало быть, начнем еще дальше.

— Ну, а Надя? С Надей как?

— Шествуем. С нею пока только начало. Переживаем пока еще период разговора глазами. Я, брат, люблю читать в ее черных печальных глазах. В них что-то написано этакое, чего на словах не передашь, а можешь понять только душой. Выпьем?

— Стало быть, ты ей нравишься, если она имеет терпение беседовать с тобой по целым часам. И папаше ее нравишься.

— Папаше? Это ты про того болвана? Ха-ха! Дуралей подозревает во мне честные намерения!

Граф закашлялся и выпил.

— Он думает, что я женюсь! Не говорю уж о том, что мне нельзя жениться, но если честно рассуждать, то для меня лично честнее обольстить девушку, чем жениться на ней... Вечная жизнь с пьяным, кашляющим полустариком — бррр! Жена моя зачахла бы или убежала бы на другой день... Но что это за шум?

Мы с графом вскочили... Захлопали почти одновременно несколько дверей, и к нам в комнату вбежала

Ольга. Она была бледна как снег и дрожала как струна, по которой сильно ударили. Волосы ее были распущены, зрачки расширены. Она задыхалась и мяла между пальцами грудные сборки своего ночного пеньюара...

— Ольга, что с тобой? — спросил я, хватая ее за руку и бледнея.

Графа должно было удивить это нечаянно пророченное «тобой», но его он не слышал. Весь обратившийся в большой вопросительный знак, раскрыв рот и выпуча глаза, он глядел на Ольгу, как на привидение.

— Что случилось? — спросил я.

— Он бьет меня! — проговорила Ольга и, зарывшись в кресло, упала в кресло. — Он бьет!

— Кто он?

— Муж! Я не могу с ним жить! Я ушла!

— Это возмутительно! — стукнул граф кулаком по столу. — Какое он имеет право! Это тирания... это... это черт знает что такое! Бить жену?! Бить! За что это он вас?

— Ни за что ни про что, — заговорила Оля, утирая слезы. — Вынимаю я из кармана носовой платок, а из кармана и выпало то письмо, что вы мне вчера прислали... Он подскочил, прочел и... стал бить... Схватил меня за руку, сдвинул — посмотрите, до сих пор на руке красные пятна — и потребовал объяснений... Я, вместо того чтоб объяснять, прибежала сюда... Хоть вы заступитесь! Он не имеет права обращаться так грубо с женой! Я не кухарка! Я дворянка!

Граф заходил из угла в угол и стал молотить пьяным, путающимся языком какую-то чушь, которая, в переводе на трезвый язык, должна была бы означать: «О положении женщин в России».

— Это варварство! Это Новая Зеландия! Не думает ли также этот мужик, что на его похоронах будет зарезана его жена? Дикари ведь, уходя на тот свет, берут с собой и своих жен!..

Я же не мог опомниться... Как нужно было понять внезапный визит Ольги в ночном пеньюаре, что нужно было думать, что решить? Если ее побили, если оскор-

били ее достоинство, то почему она бежала не к отцу, не к экономке... наконец не ко мне, который для нее был все-таки близок? Да и впрямь ли ее оскорбили? Сердце мое говорило о невинности простака Урбенина; оно, чуя правду, сжималось тѣю болью, которую в это время должен был чувствовать ошеломленный муж. Не задавая вопросов и не зная, с чего начать, я стал успокаивать Ольгу и предложил ей вина.

— Как я ошиблась! Как ошиблась! — вздохнула она сквозь слезы, поднося рюмку к губам. — А ведь каким тихоней прикидывался он, когда ухаживал за мной! Я думала, что это ангел, а не человек!

— А вы хотели, чтоб ему понравилось то письмо, которое выпало из кармана? — спросил я. — Хотели, чтоб он расхохотался?

— Не будем об этом говорить! — перебил меня граф. — Как бы там ни было, а его поступок подл! С женщинами так не обращаются! Я его на дуэль вызову! Я ему покажу! Верьте, Ольга Николаевна, что это не пройдет ему даром!

Граф хорохорился, как молодой индюк, хотя его никто не уполномочивал становиться между мужем и женой. Я молчал и не противоречил ему, потому что знал, что молчание за чужую жену ограничится одним только пьяным словоизвержением в четырех стенах и что о дуэли будет забыто завтра же. Но почему молчала Ольга?.. Не хотелось думать, что она была не прочь от услуг, которые предлагал ей граф. Не хотелось верить, что у этой глупой красивой кошки было так мало достоинства, что она охотно согласится, чтобы пьяный граф стал судьей мужа и жены...

— Я его с грязью смешаю! — провизжал новоиспеченный рыцарь. — Наконец я ему пощечину дам! Завтра же!

И она не зажала рта этому прохвосту, оскорблявшему спяна человека, который был виноват только в том, что обманул и был обманут! Урбенин сдал сильно ей руку, и это вызвало скандальный побег в графский дом, теперь же на ее глазах пьяный нравственный недоросль давил честное имя и лил грязными помоями на человека, который в это время должен

был изнывать от тоски и неизвестности, сознавать себя обманутым, да она хоть бы бровью двинула!

Пока граф изливал свой гнев, а Ольга утирала слезы, человек подал жареных куропаток. Граф положил гостье полкуропатки... Она отрицательно покачала головой, потом же как бы машинально взяла вилку и нож и начала есть. За куропаткой следовала большая рюмка вина, и скоро от слез не осталось никакого следа, кроме розовых пятен около глаз да редких глубоких вздохов.

Скоро мы услышали смех... Ольга смеялась, как утешенное, забывшее обиду дитя. Граф, глядя на нее, тоже смеялся.

— Знаете, что я надумал? — начал он, подсаживаясь к ней. — Я хочу устроить у себя любительский спектакль. Дадим пьесу с хорошими женскими ролями. А? Как вы думаете?

Начали говорить о любительском спектакле. Как эта глупая беседа не вязалась с тем недавним ужасом, который был написан на лице Ольги, когда она вбежала час тому назад бледная, плачущая, с распущенными волосами! Как дешевы этот ужас, эти слезы!

А время между тем шло. Пробило двенадцать. Порядочные женщины в эту пору ложатся спать. Ольге пора уже было уходить... Но пробило половину первого, пробило час, а она все сидела и беседовала с графом.

— Пора уже спать, — сказал я, взглянув на часы. — Я уйду... Вы позволите проводить вас, Ольга Николаевна?

Ольга поглядела на меня, на графа.

— Куда же я пойду? — прошептала она. — К нему я не могу идти.

— Да, да, конечно, к нему вы уже не можете идти, — сказал граф. — Кто поручится, что он не побьет вас еще раз? Нет, нет!

Я прошелся по комнате. Наступила тишина. Я ходил из угла в угол, а мой друг и моя любовница следили за моими шагами. Мне казалось, что я понимал и эту тишину и эти взгляды. В них было

что-то выжидательное, нетерпеливое. Я положил шляпу и сел на диван.

— Тэк-с,— бормотал граф, нетерпеливо потирая руки.— Тэк-с... Такие-то дела...

Пробило половину второго. Граф быстро взглянул на часы, нахмурился и зашагал по комнате. По взглядам, которые он бросал на меня, видно было, что ему хотелось что-то сказать мне, что-то нужное, но щекотливое, неприятное.

— Послушай, Сережа! — решился он наконец, садясь рядом со мной и шепча мне на ухо.— Ты, голубчик, не обижайся... Ты, конечно, поймешь мое положение, и тебе не покажется странной и дерзкой моя просьба.

— Говори поскорей! Нечего мочалу жевать!

— Видишь ли, в чем дело... тово... Уйди, голубчик! Ты *нам* мешаешь... Она у меня останется... Ты меня извини за то, что я тебя гоню, но... ты поймешь мое нетерпение.

— Ладно.

Друг мой был отвратителен. Не будь я брезглив, я, быть может, раздавил бы его, как жука, когда он, трясясь как в лихорадке, просил меня оставить его с Урбениной. Поэтическую «девушку в красном», мечтавшую об эффектной смерти, воспитанную лесами и сердитым озером, хотел взять он, расслабленный анахорет, пропитанный насквозь спиртом и болью! Нет, она не должна быть даже на версту от него!

Я подошел к ней.

— Я ухожу,— сказал я.

Она кивнула головой.

— Мне уйти отсюда? Да? — спросил я, стараясь прочесть истину на ее хорошеньком, разгоревшемся личике.— Да?

Чуть заметным движением своих длинных черных ресниц она ответила: «Да».

— Ты обдумала?

Она отвернулась от меня, как отворачиваются от надоевшего ветра. Ей не хотелось говорить. Да и к чему было говорить? Нельзя на длинную тему от-

ветить коротко, а для длинных речей не было ни места, ни времени.

Я взял шляпу и, не простясь, вышел. Впоследствии Ольга рассказывала мне, что тотчас же после моего ухода, как только шум от моих шагов смешался с шумом ветра и сада, пьяный граф сжимал уже ее в своих объятиях. А она, закрыв глаза, зажав себе рот и ноздри, едва стояла на ногах от чувства отвращения. Была даже минута, когда она чуть было не вырвалась из его объятий и не убежала в озеро. Были минуты, когда она рвала волосы на голове, плакала. Нелегко продаваться.

Выйдя из дома и направляясь к конюшне, где стояла моя Зорька, я должен был проходить мимо дома управляющего. Я заглянул в окно. При тусклом свете сильно пущенной, коптящей лампы за столом сидел Петр Егорыч. Лица его я не видел. Оно было закрыто руками. Но во всей его толстой, неуклюжей фигуре чудилось столько горя, тоски и отчаяния, что не нужно было видеть лица, чтобы понять состояние души. Перед ним стояли две бутылки. Одна пустая, другая только что начатая. Обе были водочные. Бедняга искал мира не в себе самом, не в людях, а в алкоголе.

Через пять минут я ехал домой. Темнота была ужасная. Озеро сердито бурлило и, казалось, гневалось, что я, такой грешник, бывший сейчас свидетелем грешного дела, дерзал нарушать его суровый покой. В потемках не видал я озера. Казалось, что ревело невидимое чудовище, редела сама окутывавшая меня тьма.

Я остановил Зорьку, закрыл глаза и задумался под рев чудовища.

— А что, если я ворочусь сейчас и уничтожу их?

Страшная злоба бушевала в душе моей... Все то небольшое хорошее и честное, что осталось во мне после продолжительной жизненной порчи, все то, что уцелело от тления, что я берег, лелеял, чем гордился, было оскорблено, оплевано, обрызгано грязью!

Ранее знавал я продажных женщин, покупал их, изучал, но у тех не было невинного румянца и искрен-

них голубых глаз, которые видел я в то майское утро, когда шел лесом на теневскую ярмарку... Я, сам испорченный до мозга костей, прощал, проповедовал терпимость ко всему порочному, снисходил до слабости... Был я того убеждения, что нельзя требовать от грязи, чтобы она не была грязью, и нельзя винить те червонцы, которые силою обстоятельств попадают в грязь... Но ранее не знал я, что червонцы могут растворяться в грязи и смешиваться с нею в одну массу. Растворимо, значит, и золото!

Сильный порыв ветра сорвал с меня шляпу и унес ее в окружавший мрак. Сорвавшаяся шляпа на лету шмыгнула по морде Зорьки. Она испугалась, взвилась на дыбы и понеслась по знакомой дороге.

Приехав домой, я повалился в постель. Поликарп, предложивший мне раздеваться, был ни за что ни про что обруган чертом.

— Сам — черт, — проворчал Поликарп, отходя от кровати.

— Что ты сказал? Что ты сказал? — вскочил я.

— Глухому попу две обедни не служат.

— Ааа... ты еще смеешь говорить мне дерзости! — задрожал я, выливая всю свою желчь на бедного лакея... — Вон! Чтоб и духу твоего здесь не было, негодай! Вон!

И, не дожидаясь, пока человек выйдет из комнаты, я повалился в постель и зарыдал, как мальчишка. Напряженные нервы не вынесли. Бессильная злоба, оскорбленное чувство, ревность — все должно было вылиться так или иначе.

— Муж убил свою жену! — горланил мой попугай, ероша свои жидкие перья...

Под влиянием этого крика мне пришла в голову мысль, что Урбенин мог убить свою жену...

Засыпая, я видел убийство. Кошмар был душасный, мучительный... Мне казалось, что руки мои гладили что-то холодное и что стоило бы мне только открыть глаза, и я увидел бы труп... Мерещилось мне, что у изголовья стоит Урбенин и глядит на меня умоляющими глазами...

После описанной ночи наступило затишье.

Я засел дома, позволяя себе выходить и выезжать только по делам службы. Дел у меня накопилось пропасть, а потому скучать было невозможно. От утра до вечера я сидел за столом и усердно строчил или же допрашивал попавший в мои следовательские когти люд. В Карнеевку, в графскую усадьбу, меня более уже не тянуло.

На Ольгу я махнул рукой. Что с воза упало, то пропало; а она была именно тем, что упало с моего воза и, как я думал, безвозвратно пропало. Я не думал о ней и думать не хотел.

«Глупая, развратная дрянь!» — третировал я ее всякий раз, когда она во время моих усиленных занятий появлялась в моем воображении.

Изредка разве, когда я ложился спать или просыпался утром, мне приходили на память различные моменты из знакомства и непродолжительного житья моего с Ольгой. Мне вспоминались: Каменная Могила, лесной домик, в котором жила «девушка в красном», дорога в Тенево, свидание в пещере... и сердце мое начинало усиленно биться... Я ощущал щемящую боль... Но все это было непродолжительно. Светлые воспоминания быстро ступшеывались под напором тяжелых воспоминаний. Какая поэзия прошлого могла устоять перед грязью настоящего? И теперь, покончив с Ольгой, я далеко уже не так глядел на эту «поэзию», как прежде... Теперь я глядел на нее как на оптический обман, ложь, фарисейство... и она утратила в моих глазах половину прелести.

Граф же мне опротивел окончательно. Я рад был, что не вижу его, и меня всегда злило, когда его уса́тая физиономия робко появлялась в моем воображении. Он каждый день присылал мне письма, в которых умолял меня не хандрить и посетить «уже не одинокого отшельника». Послушаться его писем — значило бы сделать для себя неприятность.

«Кончено! — думал я... — И слава богу... Надоело...»

Я решил прервать с графом сношения, и эта решимость не стоила мне ни малейшей борьбы. Теперь я был уже не тот, что недели три тому назад, когда

после ссоры из-за Пшехоцкого едва сидел дома. Приманки уже не было...

Посидев безвыходно дома, я заскучал и написал доктору Павлу Ивановичу письмо с просьбой приехать поболтать. Ответа на письмо я почему-то не получил и послал другое. На второе был такой же ответ, как и на первое... Очевидно, милый Щур делал вид, что сердится... Бедняга, получив отказ от Надежки Калининой, причиной своего несчастья считал меня. Он имел право сердиться, и если ранее никогда не сердился, то потому, что не умел.

«Когда же это он успел научиться?» — недоумевал я, не получая ответа на свои письма.

На третьей неделе моего упорного, безвыходного сиденья меня посетил граф. Побранив меня за то, что я не езжу к нему и не отвечаю на его письма, он разлегся на диване и, прежде чем захрапеть, поговорил на свою любимую тему — о женщинах...

— Я понимаю, — сказал он, томно щуря глаза и кладя под голову руки, — ты деликатен и шепетилен. Ты не ездешь ко мне из боязни нарушить наш дуэт... помешать... Гость не вовемя хуже татарина, гость же в медовый месяц хуже черта рогатого. Я тебя понимаю. Но, друг мой, ты забываешь, что ты друг, а не гость, что тебя любят, уважают... Да, своим присутствием ты только дополнил бы гармонию... А уж и гармония, братец ты мой! Такая гармония, что и описать тебе не могу!

Граф вытащил из-под головы руку и махнул ею.

— Сам не разберу, хорошо ли мне с нею живется, или скверно. И черт не разберет! Бывают действительно минуты, когда полжизни бы отдал за «bis», но зато бывают деньки, когда ходишь из угла в угол, как очумелый, и реветь готов...

— Чего же ради?

— Не понимаю, брат, я этой Ольги. Какая-то лихорадка, а не женщина... В лихорадке то жар, то зноб, так вот и у нее, пять перемен на день. То ей весело, то скучно до того, что глотает слезы и молится... То любит меня, то нет... Бывают минуты, когда она ласкает меня, как отроду не ласкала меня еще ни одна жен-

щина. Но зато бывает и так. Проснешься нечаянно, откроешь глаза и видишь обращенное на тебя лицо... этакое какое-то ужасное, дикое... Перекошено оно, это лицо, злобой, отвращением... Как увидишь этакую штуку, все обаяние пропало... И часто она так на меня смотрит...

— С отвращением?

— Ну да!.. Не пойму никак... Сошлась со мной, как уверяет, только по любви, а между тем не проходит ночи, чтоб я этакое лица не видел. Чем объяснить? Мне начинает казаться, чему я, конечно, верить не хочу, что она меня терпеть не может, а отдалась мне только из-за тех тряпок, которые я теперь ей покупаю. Ужасно любит тряпки! В новом платье она в состоянии простоять перед зеркалом от утра до вечера; из-за испорченной оборки она в состоянии проплакать день и ночь... Ужасно суетна! Более всего во мне нравится ей то, что я граф. Не будь я графом, она не полюбила бы меня. Не проходит того обеда и ужина, чтоб она не упрекнула меня со слезами, что я не окружаю себя аристократическим обществом. Ей, видишь, хотелось бы царить в этом обществе... Странная!

Граф устремил свой мутный взор в потолок и задумался. К великому моему удивлению, я заметил, что он на этот раз, сверх обыкновения, был трезв. Это меня поразило и даже тронуло.

— А ты сегодня нормален,— сказал я,— и не пьян и водки не просишь. Что сей сон означает?

— Да так! Некогда было пить, все время думал... Я, надо сказать тебе, Сережа, увлекся серьезно, не на шутку. Она мне понравилась страшно. Да оно и понятно... Женщина она редкая, недюжинная, не говоря уж о наружности. Умишко не особенный, но сколько чувства, изящества, свежести!.. Сравнить ее с моими обычными Амалиями, Анжеликами да Грушами, любовью которых я доселе пользовался, невозможно. Она нечто из другого мира, мира, который мне незнаком.

— Философствуй! — засмеялся я.

— Увлекся, вроде как бы полюбил! Но теперь

вижу, что напрасно я стараюсь ноль возвести в квадратную степень. То была маска, вызвавшая во мне фальшивую тревогу. Яркий румянец невинности окзывается суриком, поцелуй любви — просьбой купить новое платье... Я взял ее в дом, как жену, она же держит себя, как любовница, которой платят деньги. Но теперь шабаш! Смирю в душе тревогу и начинаю видеть в Ольге любовницу... Шабаш!

— Ну, что? Как муж?

— Муж? Гм... А как ты думаешь, что с ним?

— Я думаю, что несчастнее его человека и вообразить теперь трудно.

— Ты думаешь? Напрасно... Это такой негодяй, такая шельма, что я нисколько его не жалею. Шельма никогда не может быть несчастлива, она всегда найдет себе выход...

— За что же ты его так ругаешь?

— За то, что он плут. Ты знаешь, что я его уважал, я ему верил, как другу... Я и даже ты — все вообще считали его человеком честным, порядочным, неспособным на обман. А между тем он меня обкрадывал, грабил! Пользуясь своим положением управляющего, он распоряжался моим добром, как хотел. Не брал только то, чего нельзя было сдвинуть с места.

Я, знавший Урбенина как человека в высшей степени честного и бескорыстного, услышав слова графа, вскочил, как ужаленный, и подошел к графу.

— Ты поймал его на воровстве? — спросил я.

— Нет, но я знаю о его воровских проделках из достоверных источников.

— Из каких же это источников, позвольте узнать?

— Не беспокойся, напрасно не стану обвинять человека. Мне Ольга все про него рассказала. Она, еще не бывши его женой, собственными глазами видела, как он отправлял в город возы битых кур и гусей. Не раз она видела, как мои гуси и куры шли в подарок каким-то благодетелям, у которых квартирует его сын-гимназист. Мало того, она видела, как он туда же отправлял муку, просо, сало. Допустим, что все это пустяки, но разве эти пустяки ему принадлежат? Тут дело не в стоимости, а в принципе. Принцип оскорб-

лен! Потом-с. Она видела у него в шкафу пачку денег. На вопрос ее, чьи это деньги и откуда он их взял, он попросил ее не проболтаться, что у него есть деньги. Милый мой, ты знаешь, что он гол как сокол! Жалованья его едва хватает на пропитание... Объясни же мне, откуда у него взялись эти деньги?

— И ты, глупец, даешь веру словам этой маленькой гадины? — закричал я, возмущенный до глубины души. — Ей мало того, что она бежала от него, опозорила его на весь уезд. Ей нужно было еще предать его! Такое маленькое, необъемистое тело, а сколько в нем тaitся всякой мерзости!.. Куры, гуси, просо... хозяин, хозяин! Твое политико-экономическое чувство, твоя сельскохозяйственная глупость оскорблены тем, что он к празднику посылал в подарок битую птицу, которую съели бы лисицы да хорьки, если бы ее не били да не дарили, но проверял ли ты хоть раз те громадные отчеты, которые подает тебе Урбенин? Считал ли ты тысячи и десятки тысяч? Нет! Да что с тобой говорить? Ты глуп и животен. Рад бы упечь мужа своей любовницы, да не знаешь как!

— Моя связь с Ольгой тут ни при чем. Муж он ей или не муж, но, раз он украл, я должен открыто называть его вором. Но оставим плутовство в стороне. Скажи мне: честно или нечестно получать жалованье и по целым дням валяться без просыпу пьяным? Он пьян каждый день! Нет того дня, чтоб я не видел, как он пишет мыслете! Гадко и низко! Так дела порядочные люди не делают!

— Потому-то он и пьет, что он порядочный, — сказал я.

— У тебя какая-то страсть заступаться за подобных господ. Но я порешил быть беспощадным. Сегодня я отослал ему расчет и попросил очистить место для другого. Терпение мое лопнуло.

Убеждать графа в том, что он несправедлив, непрактичен и глуп, я почел излишним. Не перед графом заступаться за Урбенина.

Дней через пять я услышал, что Урбенин с сыном-гимназистом и с дочкой переехал на житье в город. Говорили мне, что он ехал в город пьяный, полумерт-

вый и что два раза сваливался с телеги. Гимназист и Саша всю дорогу плакали.

Немного спустя после отъезда Урбенина мне, против моей воли, довелось побывать в графской усадьбе. У одной из графских конюшен воры сломали замок и утащили несколько дорогих седел. Дали знать судебному следователю, то есть мне, и я *volens nolens*¹ должен был ехать.

Графа застал я пьяным и сердитым. Он ходил по всем комнатам, искал убежища от тоски и не находил его.

— Замучился я с этой Ольгой! — сказал он, махнув рукой. — Рассердилась на меня сегодня утром, притрозила утопиться, ушла из дому, и вот, как видишь, до сих пор ее нет. Я знаю, что она не утопится, но все-таки скверно. Вчера целый день куксила и била посуду, третьего дня объелась шоколаду. Черт знает что за натура!

Я утешил графа как умел и сел с ним обедать.

— Нет, пора бросить эти ребячества, — бормотал он во все время обеда. — Пора, а то глупо и смешно. И к тому же, признаться, она начинает уже мне надоедать своими резкими переходами. Мне хочется чего-нибудь тихого, постоянного, скромного, вроде Наденьки Калининой, знаешь ли... Чудная девушка!

После обеда, гуляя в саду, я встретился с «утопленницей». Увидев меня, она страшно покраснела и — странная женщина — засмеялась от счастья. Стыд на ее лице смешался с радостью, горе с счастьем. Поглядев на меня искоса, она разбежалась и, не говоря ни слова, повисла мне на шею.

— Я люблю тебя, — зашептала она, сжимая мою шею. — Я по тебе так соскучилась, что если бы ты не приехал, то я бы умерла.

Я обнял ее и молча повел к беседке. Через десять минут, расставаясь с нею, я вынул из кармана четвертной билет и подал ей. Она сделала большие глаза.

— Зачем это?

¹ волей-неволей (лат.).

— Это я плачу тебе за сегодняшнюю любовь.

Ольга не поняла и продолжала глядеть на меня с удивлением.

— Есть, видишь ли, женщины,— пояснил я,— которые любят за деньги. Они продажные. Им следует платить деньги. Бери же! Если ты берешь у других, почему же не хочешь взять от меня? Я не желаю одолжений!

Как я ни был циничен, нанося это оскорбление, но Ольга не поняла меня. Она не знала еще жизни и не понимала, что значит «продажные» женщины.

Был хороший августовский день.

Солнце грело по-летнему, голубое небо ласково манило вдаль, но в воздухе уже висело предчувствие осени. В зеленой листве задумчивых лесов уже золотились отжившие листки, а потемневшие поля глядели тоскливо и печально.

Предчувствие неизбежной, тяжелой осени залегало и в нас самих. Нетрудно было предвидеть, что развязка была уже близка. Должен же был когда-нибудь ударить гром и брызнуть дождь, чтоб освежить душную атмосферу! Перед грозой, когда на небе надвигаются темные, свинцовые тучи, бывает душно, а нравственная духота уже сидела в нас. Она сказывалась во всем: в наших движениях, улыбках, речах.

Я ехал в легком шарабане. Возле меня сидела Наденька, дочь мирового. Она была бледна как снег, подбородок и губы ее вздрагивали, как перед плачем, глубокие глаза были полны скорби, а между тем она всю дорогу смеялась и делала вид, что ей чрезвычайно весело.

Впереди и сзади нас двигались экипажи всех родов, времен и калибров. По бокам скакали всадники и амазонки. Граф Карнеев, облеченный в зеленый охотничий костюм, похожий более на шутовской, чем охотничий, согнувшись вперед и набок, немилосердно подпрыгивал на своем вороном. Глядя на его согнувшееся тело и на выражение боли, то и дело мелькавшее на его испитом лице, можно было подумать, что

он ездил верхом впервые. На спине его болталась новенькая двустволка, а на боку висела сумка, в которой ворочался подстреленный кулик.

Украшением кавалькады была Оленька Урбенина. Сидя на вороном коне, подаренном ей графом, одетая в черную амазонку и с белым пером на шляпе, она уже не походила на ту девушку в красном, которая несколько месяцев тому назад встретилась нам в лесу. Теперь в ее фигуре было что-то величественное, «грандамское». Каждый взмах хлыстом, каждая улыбка — все было рассчитано на аристократизм, на величественность. В ее движениях и улыбках было что-то вызывающее, зажигательное. Она надменно-фатовски поднимала вверх голову и с высоты своего коня обливала все общество презрением, словно ей нипочем были громкие замечания, посылаемые по ее адресу нашими добродетельными дамами. Она бравировала и кокетничала своим нахальством, своим положением «при графе», словно ей было неизвестно, что она уже надоела графу и что последний каждую минуту ждал случая, чтоб отвязаться от нее.

— Меня граф хочет прогнать! — сказала мне она с громким смехом, когда кавалькада выезжала со двора; стало быть, ей было известно ее положение и она понимала его...

Но к чему же громкий смех? Я глядел на нее и недоумевал: откуда у этой лесной мещанки могло взяться столько прыти? Когда она успела научиться так грациозно покачиваться на седле, гордо шевелить ноздрями и щеголять повелительными жестами?

— Развратная женщина — та же свинья, — сказал мне доктор Павел Иванович. — Когда ее сажают за стол, она и ноги на стол...

Но это объяснение было слишком просто. Никто не мог быть так пристрастен к Ольге, как я, и я первый готов был бы бросить в нее камень; но смутный голос правды шептал мне, что то была не прыть, не бахвальство сытой, довольной женщины, а отчаянность, предчувствие близкой и неизбежной развязки.

Мы возвращались с охоты, на которую отправились с самого утра. Охота вышла неудачна. Около

болот, на которые мы возлагали большие надежды, мы встретили компанию охотников, которые объявили нам, что дичь распугана. Нам удалось отправить на тот свет трех куликов и одного утенка — вот и все, что выпало на долю десятка охотников. В конце концов у одной из амазонок разболелись зубы, и мы должны были поспешить обратно. Возвращались мы прекрасной дорогой по полю, на котором желтели снопы недавно сжатой ржи, в виду угрюмых лесов... На горизонте белели графская церковь и дом. Вправо от них широко расстилалась зеркальная поверхность озера, влево темнела Каменная Могила...

— Какая ужасная женщина! — шептала мне Наденька всякий раз, когда Ольга равнялась с нашим шарабаном. — Какая ужасная! Она столько же зла, сколько и красива... Давно ли вы были шафером на ее свадьбе? Не успела она еще износить с тех пор башмаков, как ходит уже в чужом шелку и щеголяет чужими бриллиантами... Не верится даже этой странной и быстрой метаморфозе... Если уж у нее такие инстинкты, то была бы хоть тактична и подождала бы год, два...

— Торопится жить! Ждать некогда! — вздохнул я.

— А знаете, что делается с ее мужем?

— Говорят, пьянствует...

— Да... Папа третьего дня был в городе и видел, как он откуда-то ехал на извозчике. Голова, знаете ли, набок, шапки нет, на лице грязь... Погиб человек! Бедность, говорят, страшная: есть нечего, за квартиру не заплачено. Бедная девочка Саша по целым дням сидит не евши. Папа описал все это графу... Но ведь вы знаете графа! Он честный, добрый, но не любит задумываться и рассуждать. «Я, говорит, pošлю ему сто рублей». Взял и послал... Я думаю, что большего оскорбления нельзя было нанести Урбенину, как послать ему денег... Он оскорбится этой графской подачкой и станет пить еще больше...

— Да, граф глуп, — сказал я. — Он мог бы послать эти деньги через меня и от моего имени.

— Он не имел права посылать ему денег! Имею ли

я право кормить вас, если я вас душу и вы меня ненавидите?

— Это правда...

Мы умолкли и задумались... Мысль о судьбе Урбенина была для меня всегда тяжела; теперь же, когда перед моими глазами гарцевала погубившая его женщина, эта мысль породила во мне целый ряд тяжелых мыслей... Что станет с ним и с его детьми? Чем в конце концов кончит она? В какой нравственной луже кончит свой век этот тщедушный, жалкий граф?

Возле меня сидело существо, единственно порядочное и достойное уважения... Двух только людей знал я в нашем уезде, которых я в силах был любить и уважать, которые одни только имели право отвернуться от меня, потому что стояли выше меня... Это были Надежда Калинина и доктор Павел Иванович... Что ожидало их?

— Надежда Николаевна! — сказал я ей. — Сам того не желая, я причинил вам немало зла и менее, чем кто-либо, имею право рассчитывать на вашу откровенность. Но, клянусь вам, никто не поймет вас так, как я пойму. Ваше горе — мое горе, ваше счастье — мое счастье... Если я задам вам сейчас вопрос, то не заподозрите в нем праздное любопытство. Скажите мне, моя дорогая, зачем вы позволяете этому пигмею-графу приближаться к вам? Что вам мешает гнать его от себя и не слушать его гнусных любезностей? Ведь его ухаживанья не делают чести порядочной женщине! Зачем вы даете повод этим сплетницам ставить ваше имя рядом с его именем?

Наденька поглядела на меня своими ясными глазами и, словно прочитав на моем лице искренность, весело улыбнулась.

— Что же они говорят? — спросила она.

— Они говорят, что ваш папенька и вы ловите графа и что граф в конце концов натянет вам нос.

— Не знают они графа, а потому так и говорят! — вспыхнула Наденька. — Бесстыдные сплетницы! Они привыкли видеть в людях одно только дурное... Хорошее не доступно их пониманию!

— А вы нашли в нем хорошее?

— Да, я нашла! Вы первый должны были бы знать, что я не допустила бы его к себе, если бы не была уверена в его честных намерениях!

— Стало быть, у вас дело дошло уже до «честных намерений»? — удивился я. — Скоро... А на что вам сдались его честные намерения?

— Вы хотите знать? — спросила она, и глаза ее заблестали. — Те сплетницы не лгут: я хочу выйти за него замуж! Не стройте удивленной физиономии и не улыбайтесь! Вы скажете, что выходить не любя нечестно и прочее, что уже тысячу раз было сказано, но... что же мне делать? Чувствовать себя на этом свете лишнею мебелью очень тяжело... Жутко жить, не зная цели... Когда же этот человек, которого вы так не любите, сделает меня своею женою, то у меня уже будет задача жизни... Я исправлю его, я отучу его пить, научу работать... Взгляните на него! Теперь он непохож на человека, а я сделаю его человеком.

— И так далее и так далее, — сказал я. — Вы бережете его громадное состояние, будете творить благие дела... Весь уезд будет благословлять вас и видеть в вас ангела, ниспосланного на утешение несчастных... Вы будете матерью и воспитаете его детей... Да, великая задача! Умная вы девушка, а рассуждаете, как гимназист!

— Пусть моя идея никуда не годится, пусть она смешна и наивна, но я живу ею... Под влиянием ее я стала здоровей и веселей... Не разочаровывайте же меня! Пусть я сама разочаруюсь, но не теперь, а когда-нибудь... после, в далеком будущем... Оставим этот разговор!

— Еще один нескромный вопрос: вы ждете предложения руки?

— Да... Судя по его записке, которую я сегодня получила от него, судьба моя решится вечером... сегодня... Он пишет мне, что имеет сказать что-то очень важное... От моего ответа, пишет он, будет зависеть счастье всей его жизни...

— Спасибо за откровенность, — сказал я.

Смысл записки, полученной Наденькой, для меня

был ясен. Бедную девушку ожидало гнусное предложение... Я порешил избавить ее от него.

— Мы уже приехали к нашему лесу, — сказал граф, поравнявшись с нашим шарабаном. — Не желаете ли, Надежда Николаевна, устроить привал?

И, не дожидаясь ответа, он захлопал в ладоши и скомандовал громким, дребезжащим тенорком:

— Прива-а-ал!

Мы расположились на опушке леса.

Солнце спряталось за деревья, крася в золотистый пурпур одни только верхушки самых высоких ольх да играя на золотом кресте видневшейся вдали графской церкви. Над нашими головами залетали встревоженные кобчики и иволги. Кто-то из мужчин выстрелил и еще более встревожил пернатое царство. Поднялся неутомный птичий концерт. Этот концерт имеет свою прелесть весной и летом, но когда в воздухе чувствует приближение холодной осени, он раздражает нервы и напоминает о скором перелете.

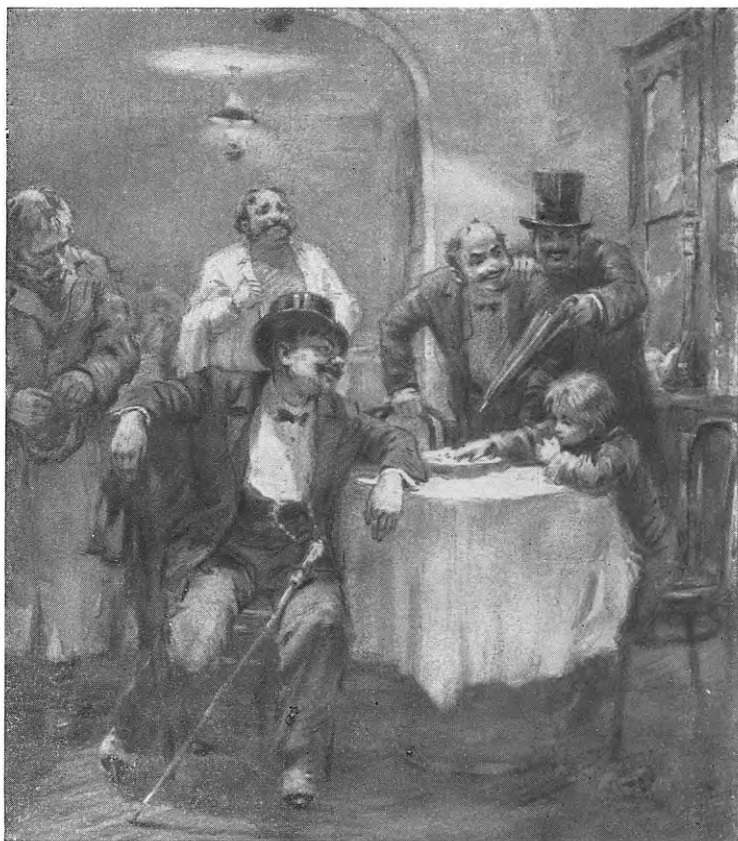
Из чащи потянуло вечернею свежестью. Носы дам посинели, и зябкий граф стал потирать руки. Как нельзя более кстати запахом самоварною гарью и зазвонка чайная посуда. Одноглазый Кузьма, пыхтя и путаясь в высокой траве, притащил ящик с коньяком. Мы принялись греться.

Продолжительная прогулка на свежем, прохладном воздухе действует на аппетит лучше всяких аппетитных капель. После нее балык, икра, жареные куропатки и прочая снедь ласкают взор, как розы в раннее весеннее утро.

— Ты сегодня умен, — сказал я графу, отрезывая себе кусок балыка. — Умен как никогда. Трудно распорядиться умнее...

— Это мы вместе с графом распорядились! — захихикал Калинин, мигнув глазом на кучеров, таскавших из шарабанов кульки с закуской, вина и посуду. — Пикничок выйдет на славу... К концу шампанея будет...

Лицо мирового на этот раз лоснилось таким довольством, как никогда. Не думал ли и он, что в этот вечер его Наденьке будет сделано предложение? Не для того ли он припас и шампанского, чтобы поздравить моло-



К рассказу «Устрицы».
Художник В. Старов. 1954.

дых? Я пристально взглянул на его физиономию, но, по обыкновению, не прочел ничего, кроме бесшабашного довольства, сытости и тупой важности, разлитой во всей его солидной фигуре.

Мы весело набросились на закуски. К съедобной роскоши, лежавшей перед нами на коврах, отнеслись безучастно только двое: Ольга и Наденька Калинина. Первая стояла в стороне и, облокотившись о задок шарабана, неподвижно и молча глядела на ягдташ, сброшенный на землю графом. В ягдташе ворочался подстреленный кулик. Ольга следила за движением несчастной птицы и словно ждала ее смерти.

Надя сидела рядом со мною и безучастно глядела на весело жевавшие рты.

«Когда же все это кончится?» — говорили ее утомленные глаза.

Я предложил ей бутерброд с икрой. Она поблагодарила и положила его в сторону. Очевидно, ей было не до еды.

— Ольга Николаевна! Вы же чего не садитесь? — крикнул граф Ольге.

Ольга не ответила и продолжала стоять неподвижно, как статуя, и глядеть на птицу.

— Какие есть бессердечные люди, — сказал я, подходя к Ольге. — Неужели вы, женщина, в состоянии равнодушно созерцать мучения этого кулика? Чем глядеть, как он корчится, вы бы лучше приказали его добить.

— Другие мучаются, пусть и он мучается, — сказала Ольга, не глядя на меня и хмури брови.

— Кто же еще мучается?

— Оставь меня в покое! — прохрипела она. — Я не расположена сегодня говорить ни с тобой... ни с твоим дураком графом! Отойди от меня прочь!

Она вскинула на меня глазами, полными злобы и слез. Лицо ее было бледно, губы дрожали.

— Какая перемена! — сказал я, поднимая ягдташ и добывая кулика. — Какой тон! Поражен! Совсем поражен!

— Оставь меня в покое, говорят тебе! Мне не до шуток!

— Что же с тобой, моя прелесть?

Ольга окинула меня взором снизу вверх и отвернулась.

— Таким тоном разговаривают с развратными и продажными женщинами,— проговорила она.— Ты меня такой считаешь... ну и ступай к тем святым!.. Я здесь хуже, подлее всех... Ты, когда ехал с этой добродетельной Наденькой, боялся глядеть на меня... Ну, и иди к ним! Чего же стоишь? Иди!

— Да, ты здесь хуже и подлее всех,— сказал я, чувствуя, как мною постепенно овладевает гнев.— Да, ты развратная и продажная.

— Да, я помню, как ты предлагал мне проклятые деньги... Тогда я не понимала значения их, теперь же понимаю...

Гнев овладел всем моим существом. И этот гнев был так же силен, как та любовь, которая начинала когда-то зарождаться во мне к девушке в красном... Да и кто бы, какой камень остался бы равнодушен? Я видел перед собою красоту, брошенную немилосердной судьбою в грязь. Не были пощажены ни молодость, ни красота, ни грация... Теперь, когда эта женщина казалась мне прекрасней, чем когда-либо, я чувствовал, какую потерю в лице ее понесла природа, и мучительная злость на несправедливость судьбы, на порядок вещей наполняла мою душу...

В минуты гнева я не умею себя сдерживать. Не знаю, что бы еще пришлось Ольге выслушать от меня, если бы она, повернувшись ко мне спиной, не отошла. Она тихо направилась к деревьям и скоро скрылась за ними... Мне казалось, что она заплакала...

— Вы, милостивые государыни и милостивые государи! — услышал я речь Калинина.— В сей день, в который мы все соединились для... для того, чтоб объединиться... Мы здесь все в сборе, все между собою знакомы, все веселимся, и этим давно желанным объединением нашим мы обязаны никому другому, как нашему светилу, звезде нашей губернии... Вы, граф, не конфузьтесь... Дамы понимают, о ком я говорю... Хе, хе, хе!.. Ну-с, будем продолжать... Так как всем этим мы обязаны нашему просвещенному и юному...

юному... графу Карнееву, то предлагаю выпить сей тост за... Но кто-то едет! Кто это?

К опушке, где мы сидели, по направлению от графской усадьбы катила коляска...

— Кто бы это мог быть? — удивился граф, направляя свой бинокль в сторону коляски...— Гм... странно... Это, должно быть, проезжие... Ах нет! Я вижу рожу Каэтана Казимировича... С кем это он?

И граф вдруг вскочил, как ужаленный... Лицо его покрылось смертельной бледностью, из рук выпал бинокль. Глаза его забегали, как у пойманной мыши, и, словно прося о помощи, останавливались то на мне, то на Наде... Не все уловили его смущение, потому что внимание большинства было отвлечено приближавшейся коляской.

— Сережа, поди сюда на минутку! — зашептал он, хватая меня под руку и отводя в сторону.— Голубчик, умоляю тебя как друга, как лучшего из людей... Ни вопросов, ни вопрошающих взглядов, ни удивления! Все расскажу после! Клянусь, что ни одна иота не останется для тебя тайной... Это такое несчастье в моей жизни, такое несчастье, что и выразить тебе не могу! Все узнаешь, а теперь без вопросов! Помоги мне!

Между тем коляска была все ближе и ближе... Наконец она остановилась, и глупая тайна нашего графа стала достоянием уезда. Из коляски, пыхтя и улыбаясь, вылез Пшехоцкий, облеченный в новый чесунчиковый костюм. За ним ловко выпрыгнула молодая дама, лет двадцати трех. Это была высокая стройная блондинка с правильными, но несимпатичными чертами лица и с синими глазами. Я помню только эти синие, ничего не выражающие глаза, напудренный нос, тяжелое, но роскошное платье и несколько массивных браслетов на обеих руках... Я помню, что запах вечерней сырости и пролитого коньяка уступил свое место пронзительному запаху каких-то духов.

— Как вас здесь много! — проговорила незнакомка ломаным русским языком.— Должно быть, очень весело! Здравствуй, Алексис!

Она подошла к Алексису и подставила ему свою

щеку. Граф быстро чмокнул и тревожно взглянул на своих гостей.

— Моя жена, рекомендую! — забормотал он.— А это, Созя, мои хорошие знакомые... Гм... Кашель у меня.

— А я только что приехала! Каэтан говорит мне: отдохни! Но я говорю, зачем мне отдыхать, если я всю дорогу спала! И я лучше поеду на охоту! Оделась и поехала... Каэтан, где мои сигареты?

Пшехоцкий подскочил к блондинке и подал ей золотой портсигар.

— А это — брат моей жены...— продолжал граф бормотать, указывая на Пшехоцкого.— Да помоги же мне! — толкнул он меня под локоть.— Выручи, ради бога!

Говорят, что с Калининым сделалось дурно и что Надя, желая помочь ему, не могла подняться с места. Говорят, что многие поспешили сесть в свои экипажи и уехать. Я всего этого не видел. Помню, что я пошел в лес и, ища тропинки, не глядя вперед, направился куда ноги пойдут¹.

На ногах моих висели куски липкой глины, и весь я был в грязи, когда вышел из лесу. Вероятно, мне приходилось перепрыгивать через ручей, но обстоятельства этого я не помню. Словно меня сильно избили палками, до того я чувствовал себя утомленным и замученным. Нужно было отправиться в графскую усадьбу, сесть на Зорьку и ехать. Но я этого не сделал, а отправился домой пешком. Не мог я видеть ни графа, ни его проклятой усадьбы².

¹ Тут в рукописи Камышева зачеркнуто сто сорок строк.—
А Ч.

² На этом месте рукописи нарисована чернилами хорошенькая женская головка с искаженными от ужаса чертами. Все, написанное ниже ее, старательно зачеркнуто. Верхняя половина следующей сраницы тоже зачеркнута, и сквозь сплошную чернильную кляксу можно разобрать одно только слово «висок». —
А. Ч.

Дорога моя лежала по берегу озера. Водяное чудовище уже начинало реветь свою вечернюю песню. Высокие волны с белыми гребнями покрывали всю громадную поверхность. В воздухе стояли гул и рокот. Холодный, сырой ветер пронизывал меня до костей. Слева было сердитое озеро, а справа неслышимый шум сурового леса. Я чувствовал себя с природой один на один, как на очной ставке. Казалось, весь ее гнев, весь этот шум и рев были для одной только моей головы. При других обстоятельствах я, быть может, ощутил бы робость, но теперь я едва замечал окружающих меня великанов. Что гнев природы был в сравнении с той бурей, которая кипела во мне? ¹

Придя домой, я, не раздеваясь, повалился в постель.

— Опять, бесстыжие глаза, в озере в одежде купался! — заворчал Поликарп, стаскивая с меня мокрую и грязную одежду. — Опять, наказание мое! Еще тоже благородный, образованный, а хуже всякого трубочиста... Не знаю, чему там в ниверситете вас учили.

Я, не вынося ни человеческого голоса, ни лица, хотел крикнуть на Поликарпа, чтоб он оставил меня в покое, но слово мое застряло в горле. Язык был так же обессилен и изнеможен, как и все тело. Как это ни мучительно было, но пришлось позволить Поликарпу стащить с меня все, даже измокшее нижнее белье.

— И хоть бы повернулся! — ворчал мой слуга, ворочая меня с боку на бок, как маленькую куклу. — Завтра же расчет! Ни-ни... ни за какие деньги! Будет с меня, дурака! Чтобы мне провалиться, ежели останусь!

Свежее, теплое белье не согрело и не успокоило меня. Я дрожал и от гнева и от страха до того сильно, что у меня стучали зубы. Страх был необъяснимый... Не пугали меня ни привидения, ни выходцы из могил, ни даже портрет моего предшественника Поспелова, висевший над моей головой. Он не спускал с меня своих безжизненных глаз и, казалось, мигал ими, но меня нимало не коробило, когда я глядел на него.

¹ Тут тоже зачеркнуто.— А. Ч.

Будущее мое было не прозрачно, но все-таки можно было с большею вероятностью сказать, что мне ничто не угрожает, что черных туч вблизи нет. Смерть не скоро, болезни мне были не страшны, личным несчастьям я не придавал значения... Чего же я боялся и отчего стучали мои зубы?

Не был мне понятен и мой гнев... «Тайна» графа не могла разозлить меня так сильно. Мне не было дела ни до графа, ни до его женитьбы, которую он скрыл от меня.

Остается объяснить тогдашнее состояние моей души нервным расстройством и утомлением. Иное объяснение мне не под силу.

По уходе Поликарпа я укрылся с головой, намереваясь уснуть. Было темно и тихо. Беспокойно ворочался в своей клетке попугай, да доносилось мерное постукивание стенных часов из Поликарповой комнаты, во всем же остальном царили мир и тишина. Физическое и душевное утомление взяли свое, и я стал засыпать... Я чувствовал, как с меня постепенно спадала какая-то тяжесть, как ненавистные образы сменялись в сознании туманом... Помню, я даже начинал видеть сон. Снилось мне, что в светлое зимнее утро шел я по Невскому в Петербурге и, от нечего делать, засматривал в окна магазинов. На душе моей было легко, весело... Некуда было спешить, делать было нечего — свобода абсолютная... Сознание, что я далеко от своей деревни, от графской усадьбы и сердитого, холодного озера, еще более настраивало меня на мирный, веселый лад. Я остановился у самого большого окна и стал рассматривать женские шляпки... Шляпки были мне знакомы... В одной из них я видел Ольгу, в другой Надю, третью я видел в день охоты на белокурой голове внезапно приехавшей Сози... Под шляпками заулыбались знакомые физиономии... Когда я хотел им что-то сказать, они все три слились в одну большую красную физиономию. Эта сердито задвигала своими глазами и высунула язык... Кто-то сзади сдавил мне шею...

— Муж убил свою жену! — крикнула красная физиономия. Я вздрогнул, вскрикнул и, как ужаленный,

вскочил с постели... Сердце мое страшно билось, на лбу выступил холодный пот.

— Муж убил свою жену! — повторил попугай.— Дай же мне сахару! Как вы глупы! Дурак!

— Это попугай...— успокоил я себя, ложась в постель.— Слава богу...

Слышался монотонный ропот... То о кровлю стучал дождь... Тучи, которые я видел на западе, когда шел по берегу озера, заволокли теперь все небо. Слабо блеснула молния и осветила портрет покойного Поспелова... Над самой моей головой прогремел гром...

«Последняя гроза за это лето»,— подумал я.

Вспомнилась мне одна из первых гроз... Точно такой же гром гремел когда-то в лесу, когда я первый раз был в домике лесничего... Я и девушка в красном стояли тогда у окна и глядели на сосны, которые освещала молния... В глазах прекрасного создания светился страх. Она сказала мне, что мать ее умерла от молнии и что она сама жаждет эффектной смерти... Хотелось бы ей одеться так, как одеваются богатейшие аристократки уезда. Она чувала, что к ее красоте шла роскошь наряда. И, сознавая свое суетное величие, гордая им, она хотела бы взойти на Каменную Могилу и там эффектно умереть.

Мечта ее сб..... хотя и не на Камен.....¹

Потеряв всякую надежду уснуть, я поднялся и сел на кровати. Тихий ропот дождя постепенно обращался в сердитый рев, который я так любил, когда душа моя была свободна от страха и злости... Теперь же этот рев казался мне зловещим. Удар грома следовал за ударом.

— Муж убил свою жену! — каркнул попугай.

Это была последняя его фраза... Закрыв в малодушном страхе глаза, я нащупал в темноте клетку и швырнул ее в угол...

— Черти бы тебя взяли! — крикнул я, услышав звон клетки и писк попугая...

¹ Тут, к сожалению, опять зачеркнуто. Заметно, что Камышев зачеркивал не во время писания, а после... К концу повести я обращаю на эти зачеркивания особое внимание.— А. Ч.

Бедная, благородная птица! Полет в угол не обошелся ему даром... На другой день его клетка содержала в себе холодный труп. За что я убил его? Если его любимая фраза о муже, убившем свою жену, напом¹.

Мать моего предшественника, Поспелова, уступая мне квартиру, взяла с меня деньги за всю обстановку, даже за фотографические изображения незнакомых мне людей. Но она ни копейки не взяла с меня за дорогого попугая. Накануне своего отъезда в Финляндию она всю ночь прощалась со своей благородной птицей. Я помню всхлипыванья и причитанья, которыми сопровождалось это прощанье. Помню слезы, с которыми она просила меня сберечь ее друга до ее возвращения. Я дал ей честное слово, что ее попугай не пожалеет о том, что познакомился со мною. И не сдержал я этого слова. Я убил птицу. Воображаю, что сказала бы старуха, если бы узнала о судьбе своего крикуна!

Кто-то осторожно постучался в мое окно. Домишко, в котором я жил, стоял по дороге одним из крайних, и стук в окно приходилось мне слышать нередко, в особенности в дурную погоду, когда проезжие искали ночлега. На сей раз стучались ко мне не проезжие. Пройдя к окну и дождавшись, когда блеснет молния, я увидел темный силуэт какого-то высокого и тонкого человека. Он стоял перед окном и, казалось, ежился от холода. Я отворил окно.

— Кто здесь? Что нужно? — спросил я.

— Сергей Петрович, это я! — услышал я жалобный голос, каким говорят сильно иззябшие и испуганные люди. — Это я! К вам, мой дорогой!

В жалобном голосе темного силуэта узнал я, к своему великому удивлению, голос моего друга, доктора Павла Ивановича. Посещение Щура, ведущего регулярную жизнь и ложащегося спать раньше двенадцати, было непонятно. Что могло заставить его изменить

¹ Тут беспорядочно зачеркнута почти целая страница. Поощажены только несколько слов, не дающих ключа к уразумению зачеркнутого. — А. Ч.

своим правилам и явиться ко мне в два часа ночи, да вдобавок еще в такую ужасную погоду?

— Что вам нужно? — спросил я, послав в глубине души нежданного гостя к черту.

— Извините, голубчик... Я хотел постучать в дверь, но ваш Поликарп, наверное, спит теперь как мертвец. Я решил постучать в окно.

— Да что вам нужно?

Павел Иванович подошел ближе к моему окну и забормотал что-то непонятное. Он дрожал и походил на пьяного.

— Я вас слушаю! — сказал я, теряя терпение.

— Вы... вы, я вижу, сердитесь, но... если бы вы знали все, что случилось, то вы перестали бы сердиться на такие пустяки, как прерванный сон и визит не в пору... Не до сна теперь! Господи боже мой! Жил я на свете три десятка лет и только впервые сегодня так страшно несчастлив! Я несчастлив, Сергей Петрович!

— Ах, да что же случилось? И какое мне дело? Я сам еле стою на ногах... Не до людей мне!

— Сергей Петрович! — проговорил Щур плачущим голосом, протягивая к моему лицу мокрую от дождя руку. — Честный человек! Друг мой!

И засим я услышал мужской плач. Плакал доктор.

— Павел Иваныч, идите домой! — сказал я после некоторого молчания. — Сейчас я не могу с вами говорить... Я боюсь и своего и вашего настроения. Мы не пойдем друг друга...

— Дорогой мой! — проговорил доктор умоляющим голосом. — Женитесь на ней.

— Вы с ума сошли! — сказал я, захлопывая окно...

После поугая доктор был второй пострадавший от моего настроения. Я не пригласил его в комнату и захлопнул перед его носом окно. Две грубые, неприличные выходки, за которые я вызвал бы на дуэль даже женщину¹. Но кроткий и незлобный Щур не имел понятия о дуэли. Он не знал, что значит сердиться.

¹ Последняя фраза написана выше зачеркнутой строки, в которой можно разобрать: «Сорвал бы с плеч голову и вышиб бы все окна». — А. Ч.

Минуты через две блеснула молния, и я, взглянув на окно, увидел согнувшуюся фигуру моего гостя. Поза его на этот раз была просительная, выжидательная, как у нищего, стерегущего милостыню. Он ждал, вероятно, что я *прощу* его и позволю ему высказаться.

К счастью, во мне зашевелилась совесть. Мне стало жаль себя, жаль, что природа всадила в меня столько жестокости и мерзости! Низкая душа моя была такой же кремень, как и мое здоровое тело...¹ Я подошел к окну и открыл его.

— Войдите в комнату! — сказал я.

— Некогда!.. Каждая минута дорога! Бедная Надя отравилась, и врачу нельзя отходить от нее... Едва удалось спасти бедняжку... Это ли не несчастье? И вы можете не слушать, захлопывать окно?

— Она жива все-таки?

— Все-таки... Таким тоном не говорят о несчастных, мой хороший друг! Кто бы мог подумать, что эта умная, честная натура захочет расстаться с жизнью из-за такого субъекта, как граф? Нет, друг мой, к несчастью людей, женщины не могут быть совершенны! Как бы ни была умна женщина, какими бы совершенствами она ни была одарена, в ней все-таки сидит гвоздь, мешающий жить и ей и людям... Возьмем хоть Надю... Ну к чему она это сделала? Самолюбие и самолюбие! Болезненное самолюбие! Чтобы уколоть вас, она задумала выйти за этого графа... Не нужно ей было ни его денег, ни знатности... Ей нужно было только удовлетворить свое чудовищное самолюбие... И вдруг неудача!.. Вы знаете, что приехала его жена... Оказывается, что этот развратник женат... А еще тоже говорят, что женщины выносливы, что они умеют терпеть лучше мужчин!.. Где же тут выносливость, если такая жалкая причина заставляет хвататься за фосфорные спички? Это не выносливость, а суетность!

¹ Далее следует пластически-вычурное толкование о душевной выносливости автора. Вид человеческих скорбей, кровь, судебные вскрытия и пр. не производят якобы на него никакого впечатления. Все это место носит оттенок хвастливой наивности, неискренности. Оно поражает своей грубостью, и я выпустил его. Для характеристики Камышева оно не важно.— А. Ч.

— Вы простудитесь...

— То, что я видел сейчас, хуже всякой простуды... Глаза эти, бледность... а! К неудавшейся любви, к неудавшейся попытке насолить вам прибавилось еще неудавшееся самоубийство... Большее несчастье и вообразить себе трудно!.. Дорогой мой, если у вас есть хотя капля сострадания, если... если бы вы ее увидели... ну, отчего бы вам не прийти к ней? Вы любили ее! Если уже не любите, то отчего бы и не пожертвовать ей своей свободой? Жизнь человеческая дорога, и за нее можно отдать... все! Спасите жизнь!

Кто-то сильно постучал в мою дверь. Я вздрогнул... Сердце мое обливалось кровью!.. Я не верю в предчувствие, но на этот раз тревога моя была не напрасна... Стучались ко мне с улицы...

— Кто там? — крикнул я в окно.

— К вашей милости!

— Что нужно?

— От графа письмо, ваше благородие! Человека убили!

Какая-то темная фигура, закутанная в тулуп, подошла к окну и, ропща на погоду, подала мне письмо... Я быстро отошел от окна, зажег свечу и прочел следующее: «Забудь, ради бога, все на свете и приезжай *сейчас же*. Убита Ольга. Я потерял голову и сейчас сойду с ума. Твой А. К.»

Убита Ольга! От этой короткой фразы у меня закружилась голова и потемнело в глазах... Я сел на кровать и, не имея сил соображать, опустил руки.

— Это вы, Павел Иванович? — услышал я голос присланного мужика, — а я только что к вам хотел ехать... И к вам письмо есть.

Через пять минут я и Щур сидели в крытом экипаже и ехали к графской усадьбе... По верху экипажа стучал дождь, впереди нас то и дело вспыхивала ослепительная молния.

Слышался рев озера...

Начиналось последнее действие драмы, и двое из действующих лиц ехали, чтобы увидеть раздирающую душу картину.

— Ну, как вы думаете, что нас ждет? — спросил я дорогой Павла Иваныча.

— Ничего я не думаю... Не знаю...

— Я тоже не знаю...

— Гамлет жалел когда-то, что господь земли и неба запретил грех самоубийства, так я теперь жалею, что судьба сделала меня врачом... Глубоко сожалею!

— Боюсь, чтобы в свою очередь мне не пришлось пожалеть, что я судебный следователь, — сказал я. — Если граф не смешал убийства с самоубийством и если действительно Ольга *убита*, то достанется моим бедным нервам!

— Вам можно отказаться от этого дела...

Я вопросительно поглядел на Павла Иваныча и, конечно, благодаря потемкам ничего не увидел... Откуда он знал, что я *могу* отказаться от этого дела? Я был любовником Ольги, но кому это было известно, кроме самой Ольги да, пожалуй, еще Пшехоцкого, угостившего меня когда-то аплодисментами?..

— Почему вы думаете, что мне можно отказаться? — спросил я Щура.

— Так... Вы можете заболеть, подать в отставку... Все это несколько не бесчестно, потому что есть кому заменить вас, врач же поставлен совершенно в другие условия...

«Только-то?» — подумал я.

Экипаж после долгой, убийственной езды по глинистой почве остановился наконец у подъезда. Два окна над самым подъездом были ярко освещены, из крайнего правого, выходящего из спальни Ольги, слабо пробивался свет, все же остальные окна глядели темными пятнами. На лестнице нас встретила Сычиха. Она поглядела на меня своими колючими глазками, и морщинистое лицо ее наморщилось в злую, насмешливую улыбку.

«Ужо будет вам сюрприз!» — говорили ее глаза.

Вероятно, она думала, что мы приехали покутить и не знали, что в доме горе.

— Рекомендую вашему вниманию, — сказал я Павлу Ивановичу, стаскивая со старухи чепец и обнажая совершенно лысую голову. — Этой ведьме девяносто

лет, душа моя. Если бы нам с вами пришлось когда-нибудь вскрывать этого субъекта, то мы сильно разошлись бы во мнениях. Вы нашли бы старческую атрофию мозга, я же уверил бы вас, что это самое умное и хитрое существо во всем нашем уезде... Черт в юбке!

Войдя в зал, я был поражен. Картина, которую я здесь увидел, была совсем неожиданная. Все стулья и диваны были заняты людьми... В углах и около окон тоже стояли группы людей... Откуда они могли взяться? Если бы мне ранее сказал кто-нибудь, что я встречу здесь этих людей, то я бы расхохотался. До того невероятно и неуместно было их присутствие в доме графа в то время, когда, быть может, в одной из комнат лежала умершая или умиравшая Ольга. Это был цыганский хор обер-цыгана Карпова из ресторана «Лондон», тот самый хор, который известен читателю по одной из первых глав. Когда я вошел, от одной из групп отделилась моя старая приятельница Тина и, узнав меня, радостно вскрикнула. По ее бледному смуглому лицу разлилась улыбка, когда я подал ей руку, и из глаз брызнули слезы, когда она хотела мне что-то сказать... Слезы не дали ей говорить, и я не добился от нее ни одного слова. Я обратился к другим цыганам, и они объяснили мне свое присутствие таким образом. Утром граф прислал им в город телеграмму, требуя, чтобы весь хор в полном своем составе обязательно был в графской усадьбе к девяти часам вечера. Они, исполняя этот «заказ», сели на поезд и в восемь часов были уже в этой зале...

— И мы мечтали доставить его сиятельству и господам гостям удовольствие... Мы знаем так много новых романсов!.. И вдруг...

И вдруг прилетел верхом мужик с известием, что на охоте совершено зверское убийство, и с приказанием приготовить постель Ольги Николавны. Мужичку не поверили, потому что мужик был пьян «как свинья», но когда на лестнице послышался шум и через залу пронесли черное тело, сомневаться уже нельзя было...

— И теперь мы не знаем, что нам делать! Остаться нам здесь нельзя... Когда здесь священник,

веселым людям нужно убираться... Да и к тому же все певички встревожены и плачут... Они не могут быть в том доме, где покойник... Нужно уехать, а между тем нам не хотят дать лошадей! Господин граф лежат больны и никого к себе не впускают, а прислуга на просьбу о лошадях отвечает насмешками... Не идти же нам пешком в такую погоду и в такую темную ночь! Прислуга вообще ужасно груба!.. Когда мы попросили для наших дам самовар, нас послали к черту...

Все эти жалобы кончились слезным обращением к моему великодушию: не выхлопочу ли я для них экипажи, чтобы они могли убраться из этого «проклятого» дома?

— Если лошади не в загоне и если кучера не посланы, то вы уедете, — сказал я. — Я прикажу...

Беднягам, одетым в шутовские костюмы и привыкшим кокетничать своими ухарскими манерами, были очень не к лицу их постные физиономии и нерешительные позы. Своим обещанием отправить их на станцию я несколько расшевелил их. Мужской шепот обратился в громкий говор, а женщины перестали плакать...

Затем, проходя в графский кабинет через целую анфиладу темных, неосвещенных комнат, я заглянул в одну из многочисленных дверей и увидел умиляющую душу картину. За столом около шумевшего самовара сидели Созя и ее брат Пшехоцкий... Созя, одетая в легкую блузу, но все в тех же браслетах и перстнях, нюхала что-то из флакона и, томничая, брезгливо отхлебывала из чашки. Глаза ее были заплаканы... Вероятно, событие на охоте сильно расстроило ее нервы и надолго испортило расположение ее духа. Пшехоцкий с таким же деревянным лицом, как и прежде, хлебал большими глотками из блюдечка и что-то говорил сестре. Судя по менторскому выражению его лица и манерам, он успокаивал и убеждал не плакать.

Графа, само собою разумеется, я застал в самых разлохмаченных чувствах. Дряблый и хилый человек похудел и осунулся больше прежнего... Он был бледен, и губы его дрожали, как в лихорадке. Голова была повязана белым носовым платком, от которого на всю комнату разило острым уксусом. При моем входе

он вскочил с софы, на которой лежал, и, запахнувши полы халата, бросился ко мне...

— А? а? — начал он, дрожа и захлебываясь.— Ну?

И, издав несколько неопределенных звуков, он потащил меня за рукав к софе и, дождавшись, когда я сяду, прижался ко мне, как испуганная собачонка, и принялся изливаться свою жалобу...

— Кто б мог ожидать? а? Постой, голубчик, я укроюсь пледом... у меня лихорадка... Убита, бедная! И как варварски убита! Еще жива, но земский врач говорит, что сегодня ночью умрет... Ужасный день!.. Приехала ни к селу ни к городу эта... черт бы ее взял совсем, жена... Это моя несчастнейшая ошибка. Меня, Сережа, в Петербурге пьяного женили. Я скрывал от тебя, мне совестно было, но вот она приехала, и ты можешь ее видеть... Гляди и казись... О, проклятая слабость! Под влиянием минуты и водки я в состоянии сделать все что хочешь! Приезд жены — первый подарок, скандал с Ольгой — второй... Жду третьего... Я знаю, что еще случится... Знаю! Я сойду с ума!

Всплакнувши, выпивши три рюмки водки и назвав себя ослом, негодяем и пьяницей, граф путающимся от волнения языком описал драму, имевшую место на охоте... Рассказал он мне приблизительно следующее. Минут через двадцать — тридцать после моего ухода, когда удивление по поводу приезда Сози несколько поулеглось и когда Созя, познакомившись с обществом, стала изображать из себя хозяйку, компания услышала вдруг пронзительный, раздирающий душу крик. Этот крик несся со стороны леса и раза четыре был повторен эхом. Был он до того необычаен, что люди, слышавшие его, вскочили на ноги, собаки залаяли, а лошади наосгрили уши. Крик был неестественный, но графу удалось узнать в нем женский голос... Звучали в нем отчаяние, ужас... Так должны вскрикивать женщины, когда видят привидение или внезапную смерть ребенка... Встревоженные гости поглядели на графа, граф на них... Минуты три царило гробовое молчание...

И пока господа переглядывались и молчали, кучера и лакеи побежали к тому месту, откуда был слышен крик. Первым вестником скорби был лакей, старый

Илья. Он прибежал из леса к опушке и, бледный, с расширенными зрачками, хотел что-то сказать, но одышка и волнение долго мешали ему говорить. Наконец, поборов себя и перекрестившись, он выговорил: — Убили барыню!

Какую барыню? Кто убил? Но Илья не дал ответа на эти вопросы... Роль второго вестника выпала на долю человека, которого не ожидали и появлением которого были страшно поражены. Были поразительны и неожиданное появление, и вид этого человека... Когда граф увидел его и вспомнил, что Ольга гуляет в лесу, то у него замерло сердце и подогнулись от страшного предчувствия ноги.

Это был Петр Егорыч Урбенин, бывший управляющий графа и муж Ольги. Сначала компания услышала тяжелые шаги и треск хвороста... Казалось, что из леса на опушку пробирался медведь. Потом же показалось массивное тело несчастного Петра Егорыча... Выйдя на опушку и увидев компанию, он сделал шаг назад и остановился как вкопанный. Минуты две он молчал и не двигался и, таким образом, дал себя осмотреть... На нем были его обиходные серенькие пиджак и брюки, достаточно уже поношенные... На голове шляпы не было, и всклоченные волосы прилипли к вспотевшим лбу и вискам... Лицо его, обыкновенно багровое, а часто и багрово-синее, на этот раз было бледно... Глаза смотрели безумно, неестественно широко... Губы и руки дрожали...

Но что поразительнее всего, что прежде всего обратило на себя внимание ошеломленных зрителей, так это окровавленные руки... Обе руки и манжеты были густо покрыты кровью, словно их вымыли в кровавой ванне.

После трехминутного столбняка Урбенин, как бы очнувшись от сна, сел на траву по-турецки и простонал. Собаки, чужавшие что-то необычайное, окружили его и подняли лай... Обводя компанию мутными глазами, Урбенин закрыл обеими руками лицо, и наступил новый столбняк...

— Ольга, Ольга, что ты наделала! — простонал он. Глухие рыдания вырвались из его груди и потрясли

богатырские плечи... Когда он отнял от лица руки, то компания увидела на его щеках и на лбу кровь, перешедшую с рук на лицо...

Дойдя до этого места, граф махнул рукой, выпил судорожно рюмку водки и продолжал:

— Дальше мои воспоминания путаются. Как ты можешь себе представить, все происшедшее так меня ошеломило, что я потерял способность мыслить... Ничего не помню, что потом было! Помню только, что мужчины принесли из лесу какое-то тело, одетое в порванное, окровавленное платье... Я не мог на него смотреть! Положили в коляску и повезли... Не слышал я ни стонов, ни плача... Говорят, что ей в бок засадили тот кинжальчик, который при ней всегда был... помнишь его? Эту вещь я ей подарил. Тупой кинжал, тупее, чем этот край стакана... Какую, стало быть, надо иметь силу, чтобы всадить его! Люблю я, братец, кавказское оружие, но теперь бог с ним, с этим оружием! Завтра же прикажу его выбросить вон!..

Граф выпил еще рюмку водки и продолжал:

— Но какой срам! Какая мерзость! Подвозим мы ее к дому... Все, знаешь, в отчаянии, в ужасе. И вдруг, черт бы их взял, этих цыган, слышится разудалое пение!.. Выстроились в ряд и давай, подлещи, орать!.. Хотели, видишь ли, с шиком встретить, а вышло очень некстати... Похоже на Иванушку-дурачка, который, встретивши похороны, пришел в восторг и заорал: «Таскать вам, не перетаскать!» Да, брат! хотел угодить гостям, выписал цыган, а вышла ерунда. Не цыган нужно приглашать, а докторов да духовенство. И теперь я не знаю, что делать! Что мне делать? Не знаю я этих формальностей, обычаев. Кого звать, за кем послать... Может быть, тут полиция нужна, прокурор... Ни черта я не смыслю, хоть убей!.. Спасибо, отец Иеремия, узнавши про скандал, пришел приобщить, а сам бы я не догадался его пригласить. Умоляю тебя, дружище, возьми на себя все эти хлопоты! Ей-богу, с ума схожу! Приезд жены, убийство... бррр!.. Где теперь моя жена? Ты ее не видел?

— Видел. Она с Пшехоцким чай пьет.

— С братцем, значит... Пшехоцкий — это шельма!

Когда я удирал из Петербурга тайком, он пронюхал о моем бегстве и привязался... Сколько он у меня денег выжулил за все это время, так это уму непостижимо!

Разговаривать долго с графом мне было некогда. Я поднялся и направился к двери.

— Послушай,— остановил меня граф.— Тово... а меня не пырнет этот Урбенин?

— А Ольгу разве он пырнул?

— Понятно, он... Недоумеваю только, откуда он взялся! Какие черти его принесли в лес? И почему именно в этот самый лес! Допустим, что он притаился там и поджидал нас, но почему он знал, что я захочу остановиться именно там, а не в другом месте?

— Ты ничего не понимаешь,— сказал я.— Кстати, раз навсегда прошу тебя... Если я возьму на себя это дело, то, пожалуйста, не высказывай мне своих соображений... Ты потрудишься только отвечать на мои вопросы, но не больше.

Оставив графа, я отправился в комнату, где лежала Ольга...¹

В комнате горела маленькая голубая лампа, слабо освещавшая лица... Читать и писать при ее свете было невозможно. Ольга лежала на своей кровати. Голова ее была в повязках; видны были только чрезвычайно бледный заостренный нос да веки закрытых глаз. Грудь в то время, когда я вошел, была обнажена: на нее клали пузырь со льдом². Стало быть, Ольга еще не умерла. Около нее хлопотали два врача. Когда я вошел, Павел Иваныч, щуря глаза, бесконечно сопя и пыхтя, выслушивал ее сердце.

Земский врач, чрезвычайно утомленный и на вид больной человек, сидел около кровати в кресле и, задумавшись, делал вид, что считает пульс. Отец Иеремия, только что кончивший свое дело, заворачивал в епитрахиль крест и собирался уходить...

¹ Тут зачеркнуты две строки.— А. Ч.

² Обращаю внимание читателя на одно обстоятельство. Камышев, любящий разглагольствовать о состоянии своей души всюду, даже в описаниях стычек своих с Поликарпом, ничего не говорит о впечатлении, произведенном на него видом умирающей Ольги. Думаю, что это пробел преднамеренный.— А. Ч.

— А вы, Петр Егорыч, не скорбите! — говорил он, вздыхая и поглядывая в угол. — На все божья воля, к богу и прибегните.

В углу на табурете сидел Урбенин. Он до того изменился, что я едва узнал его. Безделье и пьянство последнего времени сильно сказывались как на его платье, так и на наружности: платье было изношено, лицо тоже.

Бедняга неподвижно сидел и, подперев кулаками голову, не отрывал глаз от кровати... Руки и лицо его все еще были в крови... О мытье было забыто...

О, пророчество моей души и моей бедной птицы!

Когда моя благородная, убитая мной птица выкрикивала фразу о муже, убившем свою жену, в моем воображении всегда появлялся на сцену Урбенин. Почему?.. Я знал, что ревнивые мужья часто убивают жен-изменниц, знал в то же время, что Урбенины не убивают людей... И я отгонял мысль о возможности убийства Ольги мужем как абсурд.

«Он или не он?» — задал я себе вопрос, поглядев на его несчастное лицо.

И, откровенно говоря, я не дал себе утвердительного ответа, несмотря даже на рассказ графа, на кровь, которую я видел на руках и лице.

«Если бы он убил, то он давно бы уже смыл с рук и лица кровь... — вспомнилось мне положение одного приятеля-следователя. — Убийцы не выносят крови своих жертв».

Если бы я захотел пошевелить мозгами, то я вспомнил бы немало сему подобных положений, но не следовало забегать вперед и набивать свою голову преждевременными заключениями.

— Мое почтение! — обратился ко мне земский врач. — Очень рад, что хоть вы пришли... Скажите, пожалуйста, кто здесь хозяин?

— Здесь нет хозяина... Здесь царит хаос... — сказал я.

— Изречение очень милое, но тем не менее мне несколько не легче, — желчно закашлялся земский врач. — Три часа прошу, умоляю дать сюда бутылку портвейна или шампанского, и хоть бы кто снизошел

к мольбам! Все глухи, как тетерева! Льду только что сейчас принесли, хотя я приказал достать его три часа тому назад. Что же это такое? Человек умирает, а они словно смеются! Граф изволит в своем кабинете распивать ликеры, а сюда не могут дать рюмки! Посылаю в город, в аптеку — говорят, что лошади заморены и ехать некому, потому что все пьяны... Хочу послать к себе в больницу за лекарствами и повязками, и мне делают одолжение: дают мне какого-то пьяницу, который еле на ногах стоит. Послал его два часа тому назад, и что же? Говорят, что он только что сейчас уехал! Ну не безобразие ли это? Все пьяны, грубы, неотесаны!.. Все какие-то идиоты! Клянусь богом, первый раз в жизни вижу таких бессердечных людей!

Негодование врача было справедливо. Он нисколько не преувеличивал, а напротив... Чтоб излить желчь на все беспорядки и безобразия, имевшие место в графской усадьбе, не хватило бы целой ночи. Деморализованная бездельем и безначалием прислуга была отвратительна. Не было того лакея, который не мог бы служить типом зажившегося и заживевшего человека.

Я отправился добывать вино. Дав две-три оплеухи, я добыл и шампанского и валерьяновых капель, чем несказанно порадовал медиков. Через час¹ приехал из больницы фельдшер и привез с собою все необходимое.

Павлу Ивановичу удалось влить в рот Ольге столовую ложку шампанского. Она сделала глотательное движение и простонала. Затем ей впрыснули под кожу что-то вроде гофманских капель.

— Ольга Николаевна! — крикнул земский врач, нагнувшись к ее уху.— Ольга Ни-ко-ла-евна!

¹ Я должен обратить внимание читателя еще на одно очень важное обстоятельство. В продолжение 2—3 часов г. Камышев занимается только тем, что ходит из комнаты в комнату, возмущается с врачами прислугой, щедро сыплет оплеухи и проч. Узнаёте ли вы в нем судебного следователя? Он, видимо, не спешит и старается чем-нибудь убить время. Очевидно, «ему убийца известен». Затем, описанный ниже, ничем не мотивированный обыск у Сычихи и допрос цыган, более похожий на издевательство, чем на допрос, могут быть проделаны только для проволочки времени.— А. Ч.

— Трудно ожидать, чтоб она пришла в сознание!— вздохнул Павел Иваныч.— Крови много потеряно, да и кроме того удар по голове каким-то тупым орудием, наверное, сопровождался сотрясением мозга.

Было ли сотрясение мозга, или нет, не мое дело решать, но только Ольга открыла глаза и попросила пить... Возбуждающие средства на нее подействовали.

— Вы теперь можете спросить, что вам нужно...— толкнул меня под локоть Павел Иваныч.— Спрашивайте.

Я подошел к кровати... Глаза Ольги были обращены на меня.

— Где я? — спрашивала она.

— Ольга Николаевна! — начал я.— Вы узнаете меня?

Ольга несколько секунд поглядела на меня и закрыла глаза.

— Да! — простонала она.— Да!

— Я Зиновьев, судебный следователь. Имел честь быть с вами знаком и даже, если припомните, был шафером на вашей свадьбе...

— Это ты? — прошептала Ольга, протягивая вперед левую руку.— Сядь...

— Бредит! — вздохнул Щур.

— Я Зиновьев, следователь...— продолжал я...— Если помните, я присутствовал на охоте... Как вы себя чувствуете?

— Задавайте вопросы по существу! — шепнул мне земский врач.— Я не ручаюсь, что сознание будет продолжительно...

— Прошу, пожалуйста, не учить! — обиделся я.— Я знаю, что мне говорить... Ольга Николаевна,— продолжал я, обращаясь к Ольге,— вы потрудитесь припомнить события истекшего дня. Я помогу вам... В час дня вы сели на лошадь и поехали с компанией на охоту... Охота продолжалась часа четыре... Засим следует привал на опушке леса... Помните?

— И ты... и ты... убил...

— Кулика? После того как я добил подстреленного кулика, вы поморщились и удалились от компа-

нии... Вы пошли в лес...¹ Теперь потрудитесь собрать все свои силы, поработать памятью. В лесу во время прогулки вы потерпели нападение от неизвестного нам лица. Спрашиваю вас, как судебный следователь, кто это был?

Ольга открыла глаза и поглядела на меня.

— Назовите нам имя этого человека! Здесь, кроме меня, трое...

Ольга отрицательно покачала головой.

— Вы должны назвать его,— продолжал я.— Он понесет тяжелую кару... Закон дорого взывает за его зверство! Он пойдет в каторжные работы...² Я жду.

Ольга улыбнулась и отрицательно покачала головой. Дальнейший допрос не привел ни к чему. Больше я не добился от Ольги ни одного слова, ни одного движения. В без четверти пять она скончалась.

В седьмом часу утра прибыли из деревни вытребованные мною староста и понятые. Ехать на место преступления было невозможно: дождь, начавшийся ночью, все еще лил как из ведра. Маленькие лужи обратились в озера. Серое небо глядело сурово и не обещало солнца, смоченные деревья, уныло свесив свои ветви, сыпали целый град крупных брызг при каждом дуновении ветра. Ехать было невозможно, да и, пожалуй, незачем: следы преступления, как-то: кровавые пятна, человеческие следы и проч., вероятно, были за ночь размыты дождем. Но формальность требовала, чтобы место преступления было осмотрено, и я отложил эту поездку до приезда полиции, а пока занялся составлением начерно протокола и допросом. Прежде всего я допросил цыган. Бедные певцы всю ночь просидели в залах, ожидая, что им дадут лошадей для

¹ Это уклонение от вопроса первой важности имело в виду только одно: растянуть время и дожидаться потери сознания, когда Ольга не могла бы уже назвать имя убийцы. Прием характерный, и удивительно, что врачи не оценили его по достоинству.— А. Ч.

² Все это наивно только на первый взгляд. Очевидно, Камышеву нужно было дать понять Ольге, какие тяжелые последствия для убийцы будет иметь ее сознание. Если ей дорог убийца, ergo³ — она должна молчать.— А. Ч.

³ следовательно (лат.).

поездки на станцию. Но лошадей им не дали; прислуга посылала их к графу, предупреждая в то же время, что его сиятельство не велели никого «впускать». Не дали им и самовара, который они попросили утром. Это более чем странное, неопределенное положение в чужом доме, где лежала покойница, безызвестность относительно часа выезда и сырая, унылая погода — все это вогнало бедных цыган и цыганок в такую тоску, что они за одну ночь похудели и побледнели. Они слонялись из угла в угол, словно испуганные или ожидающие строгого вердикта. Своим допросом я еще более увеличил их душевную тяжесть. Во-первых, мой продолжительный допрос надолго отсрочил их отъезд из «проклятого» дома и, во-вторых, испугал их. Простые люди, вообразив, что их сильно подозревают в убийстве, с плачем стали уверять меня, что они не виноваты и знать ничего не знают. Тина, увидав во мне официальное лицо, совсем забыла наши прежние отношения и, говоря со мной, дрожала и млела от страха, как высеченная девочка. На мою просьбу не волноваться и на уверения, что я вижу в них только свидетелей, помощников правосудия, они в один голос заявили мне, что никогда они свидетелями не были, знать ничего не знают и надеются, что бог и на будущее время избавит их от близкого знакомства с судейским людом.

Я спросил их, какую дорогою ехали они со станции, не ехали ли они через тот лес, где произошло убийство, не отделялся ли кто-нибудь из них от компании, хотя бы даже на короткое время, и не был ли им слышен раздирающий душу крик Ольги¹. Допрос этот не привел ни к чему. Испуганные им цыгане отрядили из хора двух молодцов и послали их в деревню нанять подводы. Бедняги страстно желали уехать. К их несчастью, в деревне, где уже шли разговоры об убийстве в лесу, подозрительно взглянули на смуглых послов и, задержав их, привели ко мне. Только вечером измученный хор избавился от кошмара и вздохнул свободно, нанявши втридорога пять мужицких подвод и выехав

¹ Если все это нужно было г. Камышеву, то не легче ли было допросить кучеров, которые везли цыган? — А. Ч.

из графского дома. Впоследствии за их приезд было им заплачено, но никто не заплатил им за нравственные муки, которые претерпели они в графских хоромах...

Допросив их, я произвел у Сычихи обыск¹. В ее сундуках я нашел пропасть всякого старушечьего хлама, но, перебрав все поношенные чепцы и перештопанные чулки, я не нашел ни денег, ни драгоценных вещей, которые старуха воровала у графа и его гостей... Не нашел я и вещей, которые были когда-то украдены у Тины... Очевидно, у яги было другое складочное место, известное ей одной...

Я не привожу здесь своего протокола, предварительных сведений и осмотра... Длиннен он, да и забыл я его... Сообщая его здесь в общих чертах, вкратце... Прежде всего я описал, в каком положении я застал Ольгу, и во всех подробностях изложил приведенный мною допрос ее. Из этого допроса видно было, что Ольга давала мне ответы сознательно и сознательно же скрыла от меня имя убийцы. Она *не хотела*, чтоб убийца понес кару, и это неминуемо наводит на предположение, что преступник был для нее дорог и близок.

Осмотр платья, произведенный мною вместе с приехавшим вскоре становым, дал очень многое... Казакин от амазонки, бархатный, на шелксовой подкладке, был еще влажен... Правый бок, где находилось отверстие, сделанное кинжалом, был пропитан кровью и местами носил на себе кровавые сгустки... Кровотечение было сильное, и удивительно, как это Ольга не умерла на месте. Левый бок был тоже в крови... Левый рукав был порван на плече и у кисти руки... Верхние две пуговицы были оторваны, и при осмотре мы их не нашли. Юбка амазонки, черная кашемировая, найдена страшно измятой: ее смяли, когда несли Ольгу из лесу к экипажу и из экипажа к кровати. Потом ее стащили с Ольги и, безобразно скомкав, швырнули под кровать. У пояса она была разорвана; этот продольный разрыв, имевший в длину семь вершков, получился, вероятно,

¹ К чему? Допустим, что все это проделано судебным следователем спяна или спросонок, тогда зачем же об этом писать? Не лучше ли скрыть от читателя эти грубые ошибки? — А. Ч.

при переноске и стаскивании; он мог быть также сделан при жизни: Ольга, не любившая заниматься починками и не зная, кому отдать починить юбку, могла прятать этот разрыв под казакином. Думаю, что здесь ни при чем дикое остервенение преступника, на которое впоследствии напирал в своей речи товарищ прокурора. Правая часть пояса и правый карман были пропитаны кровью. Носовой платок и перчатка, лежавшие в этом кармане, представляли собой два бесформенных комочка ржавого цвета. На всей юбке, от пояса до конца шлейфа, были рассыпаны кровавые пятна различной величины и формы... Большинство из них были отпечатками окровавленных пальцев и ладоней, принадлежавших, как потом выяснилось на допросе, кучерам и лакеям, несшим Ольгу... Сорочка была окровавлена, и более всего на правой стороне, где находилась дыра, произведенная режущим орудием... Так же, как и в казакине, на левом плече и около кисти были разрывы... Манжетка была наполовину оторвана.

Вещи, бывшие при Ольге, как-то: золотые часы, длинная золотая цепочка, брошка с бриллиантом, серьги, кольца и портмоне с серебряной монетой, были найдены при одежде. Ясно, что преступником руководили не корыстные побуждения.

Судебно-медицинское вскрытие, произведенное в моем присутствии Шуром и земским врачом на другой день после смерти Ольги, дало в конечном результате очень длинный протокол, который привожу здесь в общих чертах. При наружном осмотре были найдены врачами следующие повреждения. На голове, на границе с левой височной и теменной костями,— рана, имеющая полтора дюйма длины и проникающая до кости. Края раны не ровны и не прямолинейны... Нанесена она тупым орудием, вероятно, как мы потом порешили, клинком кинжала. На шее, на уровне шейного позвонка, замечается красная полоса, имеющая вид полукруга и обхватывающая циркулярно заднюю половину шеи. На всем протяжении этой полосы усмотрены повреждения кожицы и незначительные кровоподтеки. На левой руке, на один вершок выше кисти, найдено четыре синих пятна: одно на тыльной стороне и другие

три на ладонной. Произошли они от давления и, вероятнее всего, пальцами... Последнее подтверждается еще тем, что на одном из пятен усмотрена маленькая ссадина, произведенная ногтем... Соответственно месту, где находились эти пятна, как припомнит читатель, был разорван левый рукав казакина и наполовину оторвана левая манжетка сорочки... Между четвертым и пятым ребром на линии, мысленно проведенной из середины подмышковой впадины вертикально вниз, находится большая, зияющая рана, длиною в дюйм. Края ее ровные, как бы порезанные, пропитаны жидкой и свернувшейся кровью... Рана проникающая... Произведена она режущим орудием и, как видно из собранных предварительных сведений, кинжалом, ширина которого вполне соответствовала величине раны.

Внутренний осмотр показал поранение правых легкого и плевры, воспаление легкого и кровоизлияние в полость плевры.

Врачи, насколько помню, дали приблизительно такое заключение: а) смерть произошла от малокровия, которое последовало за значительной потерей крови; потеря крови объясняется присутствием на правой стороне груди зияющей раны; б) рану головы следует отнести к тяжким повреждениям, а рану груди к безусловно смертельным; последнюю следует признать за непосредственную причину смерти; в) рана головы нанесена тупым орудием, а рана груди режущим и притом, вероятно, обоюдоострым; г) все вышеписанные повреждения не могли быть нанесены собственной рукою умершей и е) покушения на оскорбление женской чести, вероятно, не было.

Чтобы не откладывать в долгий ящик и потом не повторяться, передам тут же читателю картину убийства, набросанную мною под первым впечатлением осмотра, двух-трех допросов и чтения протокола вскрытия.

Ольга, отделившись от компании, гуляла в лесу. Замечтавшись или поддавшись печальным мыслям (читатель помнит ее настроение в тот злополучный вечер), она забрела далеко в чащу. Тут ей встретился убийца. Когда она стояла под деревом и думала свои

думы, к ней подошел человек и заговорил с ней... Человек этот не был подозрителен, иначе бы она крикнула на помощь, но этот крик не был бы раздирающим душу. Поговорив с ней, убийца схватил ее за левую руку, и так сильно, что порвал рукав казакина и сорочки и оставил след в виде четырех пятен. Тут, вероятно, она вскрикнула тем криком, который слышала компания,— вскрикнула от боли и, вероятно, прочитав на лице и в движениях убийцы его намерение. Желая ли, чтоб она не вскрикнула еще раз, или, может быть, под влиянием злобного чувства, он схватил ее за грудь около воротника, о чем свидетельствуют две оторванные верхние пуговицы и красная полоса, найденная врачами на шее... Убийца, хватая за грудь и потрясая, натянул золотую цепочку, бывшую на шее... От трения и давления цепочкой произошла полоса. Затем убийца наносит ей удар по голове каким-то тупым орудием — например, палкой или, быть может, даже клинком кинжала, висевшего у Ольги на поясе. Придя в азарт или найдя, что одной этой раны недостаточно, он обнажает кинжал и с силой вонзает его в правый бок — я говорю: с силой, потому что кинжал был туп.

Таков мрачный вид картины, которую я имел право набросать на основании вышеизложенных данных. Вопрос, кто был убийцей, по-видимому, не был труден и решался сам собою. Во-первых, убийцей руководили не корыстные цели, а какие-то другие... Подозревать, стало быть, какого-нибудь заблудившегося бродягу или оборванцев, занимавшихся на озере рыбной ловлей, не было надобности. Крик жертвы не мог обезоружить грабителя: снять брошку и часы было делом одной секунды...

Во-вторых, Ольга намеренно не назвала мне убийцы, чего бы она не сделала, если бы убийца был простым грабителем. Очевидно, убийца был ей дорог, и она не хотела, чтобы его подвергли из-за нее тяжело-му наказанию... Такими людьми могли быть ее сумасшедший отец, ее муж, которого она не любила, но перед которым, вероятно, чувствовала себя виноватой, граф, которому она, быть может, в душе чувствовала

себя обязанной... Сумасшедший отец в вечер убийства, как показала потом прислуга, сидел у себя в лесном домике и весь вечер сочинял письмо к исправнику, прося его обуздать мнимых воров, день и ночь будто бы окружавших квартиру сумасшедшего... Граф до и в момент убийства не отделялся от компании. Оставалось всю тяжесть подозрения взвалить на одного только несчастного Урбенина. Его внезапное появление, вид и прочее могли служить только хорошими уликами.

В-третьих, жизнь Ольги в последнее время состояла из сплошного романа. Роман этот был такого сорта, что обыкновенно оканчиваются уголовщиной. Старый, любящий муж, измена, ревность, побои, бегство к любовнику-графу через месяц-два после свадьбы... Если прекрасная героиня такого романа убита, то не ищите воров и мошенников, а поисследуйте героев романа. По этому третьему пункту самым подходящим героем-убийцей был все тот же Урбенин...

Предварительное дознание делал я в мозаичковой гостиной, в которой любил когда-то валяться на мягких диванах и любезничать с цыганками... Первым, кого я допросил, был Урбенин. Его привели ко мне из комнаты Ольги, где он все еще продолжал сидеть в углу на табурете и не отрывал глаз от опустевшей постели... Минуту он стоял передо мной молча, глядя на меня безучастно, потом же, догадавшись, вероятно, что я намереваюсь говорить с ним как судебный следователь, он проговорил голосом утомленного, убитого горем и тоскою человека:

— Допросите, Сергей Петрович, других свидетелей, а меня уж после... Не могу...

Урбенин считал себя свидетелем или думал, что его таковым считают...

— Нет, мне нужно допросить вас именно теперь,— сказал я.— Потрудитесь сесть...

Урбенин сел против меня и склонил голову. Он был утомлен и болен, отвечал неохотно, и я с большим трудом выжал из него показание.

Он показал, что он — Петр Егорыч Урбенин, дворянин, 50 лет, православного вероисповедания. Имеет имение в соседнем К—м уезде, где служил по выбо-

рам и два трехлетия состоял почетным мировым судьей. Разорившись, заложил имение и почел за нужное поступить на службу. В управляющие к графу поступил он шесть лет тому назад. Любя агрономию, он не стыдился служить частному лицу и находит, что только глупцы стыдятся труда. Жалованье получал он от графа исправно, и жаловаться ему не на что. От первого брака имеет сына и дочь и т. д. и т. д.

На Ольге женился по страстной любви. С чувством своим он долго и мучительно боролся, но ни здравый смысл, ни логика практического пожилого ума — ничего не поделали: пришлось поддаться чувству и жениться. Что Ольга выходит за него не по любви, он знал, но, считая ее в высокой степени нравственной, он решил довольствоваться одной только ее верностью и дружбою, которую надеялся заслужить.

Дойдя до того места, где начинаются разочарование и оскорбление седи́н, Урбенин попросил позволения не говорить о «прошлом, которое ей простит господь» или же по крайней мере отложить разговор об этом до будущего.

— Не могу... Тяжело... Да и сами вы видели.

— Хорошо, оставим до будущего раза... Теперь только скажите мне: правда ли, что вы били вашу жену? Говорят, что, найдя однажды у нее записку графа, вы ударили ее...

— Это неправда... Я только схватил ее за руку, она же расплакалась и побежала в тот вечер с жалобой...

— Отношения ее к графу были вам известны?

— Я просил отложить этот разговор... Да и к чему он?

— Ответьте мне только на один этот вопрос, имеющий большую важность... Были ли вам известны отношения вашей жены к графу?

— Конечно...

— Я так и запишу, а об остальном, касающемся неверности вашей жены, до следующего раза... Теперь мы перейдем к другому, а именно, я попрошу вас объяснить мне, как вы попали вчера в лес, где была

убита Ольга Николаевна... Ведь вы, как говорите, в городе были... Как же вы очутились в лесу?

— Да-с, я в городе живу, у двоюродной сестры, с самого того времени, как потерял место... Занимался тем, что искал место и пьянствовал с горя... Особенно сильно пил в этом месяце... Прошлой недели, например, совсем не помню, потому что пил без просыпа... Третьего дня напился тоже... одним словом, пропал... Пропал безвозвратно!..

— Вы хотели рассказать, каким образом вы очутились вчера в лесу...

— Да-с... Вчера утром проснулся я рано, часа в четыре... Голова болела от вчерашнего пьянства, тело все ломило, словно в горячке... Лежу я на постели, вижу в окно, как солнце всходит, и вспомнилось мне... разное... Тяжело стало... Захотелось вдруг увидеть ее, увидеть хоть раз, может в последний. И злоба охватила и тоска... Вытащил я из кармана сто рублей, что мне граф прислал, поглядел на них и давай ногами топтать... Топтал, топтал и порешил пойти и бросить ему эту милостыню в лицо. Как бы я ни был голоден и оборван, но чести своей я продать не могу и всякую попытку купить ее считаю оскорблением моей личности. Так вот-с, захотелось взглянуть на Олю, а ему, оболстителю, швырнуть в харю деньги. И так охватило меня это желание, что я чуть с ума не сошел. Чтоб ехать сюда, денег у меня не было. Его сто рублей на себя потратить я не мог. Пошел пешком. Спасибо, на пути попался мне знакомый мужичонка, который за гривенник провез меня восемнадцать верст, а то бы я до сих пор пешком шел. Мужичок ссадил меня в Теневе. Оттуда пошел я пешком сюда и пришел этак часа в четыре.

— Вас видел кто-нибудь здесь в это время?

— Да-с. Сторож Николай сидел у ворот и сказал мне, что господ дома нет и что они на охоте. Я изнемогал от усталости, но желание видеть жену было сильнее боли. Пришлось, ни минуты не отдыхая, идти пешком к месту, где охотились. По дороге я не пошел, а отправился лесочками... Мне каждое дерево знако-

мо, и заблудиться в графских лесах мне так же трудно, как в своей квартире.

— Но, идя по лесу, а не по дороге, вы могли разминуться с охотниками.

— Нет-с, я все время держался дороги и так близко, что мог услышать не только выстрелы, но и разговор.

— Стало быть, вы не предполагали, что встретитесь в лесу с женой?

Урбенин поглядел на меня с удивлением и, подумав немного, ответил:

— Вопрос, извините, странный. Нельзя предполагать, что с волком встретишься, а предвидеть страшные несчастья невозможно и подавно: бог посылает их внезапно. Взять хоть этот ужасный случай... Иду я по ольховскому лесу, никакого горя не жду, потому что у меня и без того много горя, и вдруг слышу странный крик. Крик был до того резкий, что мне показалось, что меня кто-то резанул в ухо... Бегу на крик...

Рот Урбенина перекосило в сторону, подбородок его задрожал. Он замигал глазами и зарыдал.

— Бегу на крик и вдруг вижу... лежит Оля. Волоса и лоб в крови, лицо ужасное. Начинаю кричать, звать ее по имени... Она не движется... Целую ее, поднимаю...

Урбенин захлебнулся и закрыл лицо рукавом. Через минуту он продолжал:

— Негодяя я не видал... когда бежал к ней, слышал чьи-то поспешные шаги... Вероятно, это он убегал.

— Все это прекрасно придумано, Петр Егорыч,— сказал я.— Но знаете ли, следователи плохо верят в такие редкие случайности, как совпадение убийства с вашей случайной прогулкой и проч. Придумано недурно, но объясняет очень мало.

— То есть как придумано? — спросил Урбенин, делая большие глаза...— Я не придумывал-с...

Урбенин вдруг покраснел и поднялся.

— Словно вы подозреваете меня...— пробормотал он...— Подозревать, конечно, всякого можно, но вы-то,

Сергей Петрович, знаете меня уже давно... Вам грех клеймить меня таким подозрением... Вы меня ведь знаете.

— Я все знаю — это так... но мои личные мнения тут ни при чем... Личные мнения закон предоставляет только одним присяжным заседателям, в распоряжение же следователя отданы одни только улики... Улик много, Петр Егорыч.

Урбенин испуганно поглядел на меня и пожал плечами.

— Да какие ни были бы улики,— проговорил он,— вы должны понимать... Ну разве я могу... Я! И кого же?! Убить перепелку или кулика еще, пожалуй, можно, а человека... человека, который дороже мне жизни, моего спасения... одна мысль о котором просветляла мое мрачное состояние, как солнце... И вдруг вы подзреваете!

Урбенин махнул рукой и сел.

— Тут и так смерти хочется, а вы еще оскорбляете! Добро бы оскорблял незнакомый чиновник, а то вы, Сергей Петрович... Позвольте мне уйти-с!

— Можете... Еще раз я допрошу вас завтра, а пока, Петр Егорыч, я должен заключить вас под стражу... Надеюсь, что к завтрашнему допросу вы оцените всю важность имеющихся против вас улик, не станете затягивать понапрасну времени и сознаетесь. Что Ольга Николаевна убита вами, я убежден... Больше я вам сегодня ничего не скажу... Можете идти.

Я проговорил это и нагнулся к бумагам... Урбенин поглядел на меня с недоумением, поднялся и как-то странно растопырил руки.

— Вы это шутите или... серьезно? — проговорил он.

— Нам с вами не до шуток... — сказал я. — Можете идти.

Урбенин все еще продолжал стоять. Я взглянул на него. Он был бледен и растерянно глядел на мои бумаги.

— А отчего это у вас руки в крови, Петр Егорыч? — спросил я.

Он взглянул на свои руки, на которых все еще была кровь, и пошевелил пальцами.

— Отчего кровь... Гм... Если это одна из улик, то это плохая улика... поднимая окровавленную Ольгу, я не мог не опачкать рук в крови... Не в перчатках же я был.

— Вы говорили сейчас мне, что, увидев свою жену, вы кричали, звали на помощь... Отчего же никто не слышал вашего крика?

— Не знаю, меня так ошеломила вид Оли, что я не мог громко кричать... Впрочем, ничего не знаю... Незачем мне оправдываться, да и не в моих это правилах.

— Едва ли вы кричали... Убив жену, вы побежали и были ужасно поражены, когда увидели на опушке людей.

— Я и не заметил ваших людей. Не до людей мне было.

Этим допрос Урбенина на сей раз кончился. После него Урбенин был взят под стражу и заперт в одном из графских флигелей.

На другой или на третий день прикатил из города товарищ прокурора Полуградов — человек, которого я не могу вспомнить без того, чтобы не испортить себе расположение духа. Представьте себе высокого и тощего человека, лет тридцати, гладко выбритого, завязанного, как барашек, и щегольски одетого; черты лица его тонки, но до того сухи и малосодержательны, что по ним нетрудно угадать пустоту и хлыщеватость изображаемого индивида; голосок тихий, слащавый и до приторности вежливый.

Приехал он рано утром в наемной коляске с двумя чемоданами. Прежде всего он, с сильно озабоченным лицом и жеманно жалуясь на утомление, справился, есть ли в графском доме для него помещение. Ему по моей команде отвели маленькую, но очень уютную и светлую комнату, где поставили для него все, начиная с мраморного рукомошника и кончая спичками.

— Па-аслушайте, милый! Приготовьте мне теплой воды! — начал он, расположившись в комнате и брезгливо понюхивая воздух, — чеаэк, я вам говорю! Теплой воды, пожалуйста...

И, прежде чем приступить к делу, он долго одевался, умывался и причесывался; даже почистил себе

зубы красным порошком и минуты три обрезал свои острые, розовые ногти.

— Ну-с,— приступил он наконец к делу, перелистывая наши протоколы,— в чем дело?

Я рассказал ему, в чем дело, не пропуская ни одной подробности...

— А на месте преступления были?

— Нет, еще не был.

Товарищ прокурора поморщился, провел своей белой женской рукой по свежевывытому лбу и зашагал по комнате.

— Мне непонятны соображения, по которым вы еще там не были,— забормотал он,— это прежде всего нужно было сделать, полагаю. Вы забыли или не сочли нужным?

— Ни то, ни другое: вчера ждал полицию, а сегодня поеду.

— Там теперь ничего не осталось: все дни идет дождь, да и вы дали время преступнику скрыть следы. По крайней мере вы поставили там сторожа? Нет? Н-не понимаю!

И фронт авторитетно пожал плечами.

— Пейте чай, а то он простынет,— сказал я тоном равнодушного человека.

— Я люблю холодный.

Товарищ прокурора нагнулся к бумагам и, сопя на всю комнату, стал читать вполголоса, изредка вставляя свои замечания и поправки. Раза два его рот покривился в насмешливую улыбку: гусю лапчатому¹ не нравились почему-то ни мой протокол, ни протокол врачей. В вычищенном и вымытом чиновнике сильно высказывался педант, нафаршированный самомнением и чувством собственного достоинства.

В полдень мы были на месте преступления. Шел проливной дождь. Конечно, не нашли мы ни пятен, ни следов: все было размыто дождем. Кое-как удалось мне найти пуговицу, недостававшую на амазонке уби-

¹ Напрасно Камышев бранит товарища прокурора. Винават этот прокурор только в том, что его физиономия не понравилась г. Камышеву. Честнее было бы сознаться или в неопытности, или же в умышленных ошибках.— А. Ч.

той Ольги, да товарищ прокурора подобрал какую-то красную мякоть, которая впоследствии оказалась красной табачной оберткой. Сначала мы было набрали на куст, у которого были надломаны две боковые веточки; товарищ прокурора обрадовался этим веточкам: они могли быть сломаны преступником, а потому указывали бы направление, по которому шел преступник, убив Ольгу. Но радость прокурора была напрасна: скоро мы нашли много кустов с поломанными ветками и ощипантыми листьями; оказалось, что через место преступления проходил скот.

Набросав план местности и расспросив взятых с нами кучеров о положении, в котором была найдена Ольга, мы поехали обратно, чувствуя себя не солоно хлебавши. Когда мы исследовали место, в движениях наших посторонний наблюдатель мог бы уловить лень, вялость... Быть может, движения наши отчасти были парализованы тем обстоятельством, что преступник был уже в наших руках и, стало быть, не было надобности пускаться в лекоковские анализы.

Возвратившись из леса, Полуградов опять долго умывался и одевался, опять требовал теплой воды. Покончивши с туалетом, он изъявил желание допросить еще раз Урбенина. На этом допросе бедный Петр Егорыч не сказал ничего нового: он по-прежнему отрицал свою виновность и ни во что ставил наши улики.

— Я даже удивляюсь, как это можно меня подозревать! — сказал он, пожимая плечами, — странно!

— Не наивничайте, любезнейший! — сказал ему Полуградов, — напрасно подозревать никто не станет, а если подозревают, то, значит, имеют на то причины!

— Да какие ни были бы причины, как бы ни были тяжелы улики, но надо же ведь рассуждать по-человечески! *Не могу* я убить... понимаете? *Не могу*... Стало быть, чего же стоят ваши улики?

— Ну, — махнул рукой товарищ прокурора, — беда с этими интеллигентными преступниками: мужику втолкуешь, а извольте-ка с этим поговорить! *Не могу*... по-человечески... так и бьют на психологию!

— Я не преступник, — обиделся Урбенин, — прошу вас быть в ваших выражениях поосторожнее...

— Замолчите, любезнейший! Некогда нам перед вами извиняться и выслушивать ваши неудовольствия... Не угодно вам сознаваться, так и не признавайтесь,— только позвольте уж нам считать вас лгуном...

— Как вам угодно,— проворчал Урбенин,— вы можете проделывать теперь со мной что вам угодно... ваша власть...

Урбенин махнул рукой и продолжал, глядя в окно:

— Мне, впрочем, все равно: жизнь пропала.

— Послушайте, Петр Егорыч,— сказал я,— вчера и третьего дня вы были так убиты горем, что еле держались на ногах и едва выговаривали лаконические ответы; сегодня же, напротив, вы имеете такой цветущий, конечно сравнительно, и веселый вид и даже пускаетесь в разглагольствования. Обыкновенно ведь горюющим людям не до разговоров, а вы мало того, что длинно разговариваете, но еще и высказываете мелочное неудовольствие. Чем объяснить такую резкую перемену?

— А вы чем объясняете ее? — спросил Урбенин, насмешливо шуря на меня глаза.

— Я это объясняю тем, что вы забыли свою роль. Трудно ведь долго актерствовать: или роль забудешь, или надоест...

— Это следовательское измышление,— усмехнулся Урбенин,— и оно делает честь вашей находчивости... Да, вы правы: перемена произошла во мне большая...

— Вы можете объяснить ее?

— Извольте, скрывать не нахожу нужным: вчера я был так убит и придавлен своим горем, что думал наложить на себя руки или... сойти с ума... но сегодня ночью я раздумался... мне пришла мысль, что смерть избавила Олю от развратной жизни, вырвала ее из грязных рук того шалопая, моего губителя; к смерти я не ревную: пусть Ольга лучше ей достается, чем графу; эта мысль повеселила меня и подкрепила: теперь уж в моей душе нет такой тяжести.

— Ловко придумано! — процедил сквозь зубы Полуградов, покачивая ногой,— за ответом в карман не лезет!

— Я чувствую, что я говорю искренно, и мне удивительно, что вы, образованные люди, не можете отличить искренности от притворства! Впрочем, предубеждение слишком сильное чувство, под влиянием его не ошибаться трудно; я понимаю ваше положение, воображаю, что будет, когда, поверив вашим уликам, станут меня судить... воображаю: возьмут во внимание мою зверскую физиономию, мое пьянство... у меня не зверская наружность, но предубеждение возьмет свое...

— Хорошо, хорошо, довольно,— сказал Полуградов, нагибаясь к бумагам,— ступайте...

По уходе Урбенина мы приступили к допросу графа. Его сиятельство пожаловал к допросу в халате и с укусной повязкой на голове; познакомившись с Полуградовым, он развалился на кресле и стал давать показания...

— Я вам все расскажу, с самого начала... Ну, что поделявает теперь ваш председатель Лионский? Все еще не развелся с женой? Я с ним случайно в Петербурге познакомился... Господа, да что же вы не велите себе чего-нибудь подать? С коньяком как-то веселее и разговаривать... а что в этом убийстве виноват Урбенин, я не сомневаюсь...

И граф рассказал нам все то, что уже знакомо читателю. По просьбе прокурора, он во всех подробностях рассказал свое житье с Ольгой и, описывая прелести житья с хорошенькой женщиной, так увлекся, что несколько раз причмокнул губами и подмигнул глазом. Из его показания я узнал одну очень важную подробность, которая неизвестна читателю. Я узнал, что Урбенин, живя в городе, беспрестанно бомбардировал графа письмами; в одних письмах он проклинал, в других умолял возратить ему жену, обещая забыть все обиды и бесчестия; бедняга хватался за эти письма как за соломинку.

Допросив двух-трех кучеров, товарищ прокурора плотно пообедал, прочел мне целую инструкцию и уехал. Перед отъездом он заходил во флигель, где содержался заключенный Урбенин, и объявил последнему, что наше подозрение в его виновности ста-

ло уверенностью. Урбенин махнул рукой и попросил позволения присутствовать на похоронах жены; последнее ему было разрешено.

Полуградов не гнал Урбенину: да, наше подозрение стало уверенностью, мы были убеждены, что нам известен преступник и что он уже в наших руках; но недолго сидела в нас эта уверенность!..

В одно прекрасное утро, когда я запечатывал пакет, чтобы отправить с ним Урбенина в город, в тюремный замок, я услышал страшный шум. Выглянув в окно, я увидел занимательное зрелище: десяток дюжих молодцов волокли из людской кухни одноглазого Кузьму.

Кузьма, бледный и растрепанный, упирался в землю ногами и, не имея возможности оборониться руками, бил своих врагов большой головой.

— Ваше благородие, пожалуйста туда! — сказал мне встревоженный Илья, — не хочет идтить!

— Кто не хочет идти?

— Убивец.

— Какой убивец?

— Кузьма... он убил, ваше благородие... Петр Егорыч занапрасну терпит... ей-богу-с...

Я вышел на двор и направился к людской кухне, где Кузьма, вырвавшийся уже из дюжих рук, рассыпал пощечины направо и налево...

— В чем дело? — спросил я, подойдя к толпе...

И мне рассказали нечто странное и неожиданное.

— Ваше благородие, Кузьма убил!

— Врут! — завопил Кузьма, — побей бог, врут!

— А зачем же ты, чертов сын, кровь отмывал, ежели у тебя совесть чистая? Постой, их благородие все разберут!

Объездчик Трифон, проезжая мимо реки, заметил, что Кузьма что-то старательно мыл. Трифон думал сначала, что тот стирает белье, но, взглядевшись, он увидел поддевку и жилетку. Ему показалось это странным: суконного не стирают.

— Что ты делаешь? — крикнул Трифон.

Кузьма смутился. Вглядевшись еще пристальнее, Трифон заметил на поддевке бурые пятна...

— Я сейчас же догадался, что это кровь... пошел на кухню и рассказал нашим; те подстерегли и видели, как он ночью сушил в саду поддевку. Ну, известно, испужались. Зачем ему мыть, ежели он не виноват? Стало быть, крива душа, коли прячется... Думали мы, думали и потащили его к вашему благородию... Его тащим, а он пятится и в глаза плюет. Зачем ему пятиться, ежели он не виноват?

Из дальнейшего допроса оказалось, что Кузьма перед самым убийством, в то время, когда граф с гостями сидел на опушке и пил чай, отправился в лес. В переноске Ольги он не участвовал, а стало быть, испачкаться в крови не мог.

Приведенный ко мне в комнату, Кузьма сначала не мог выговорить от волнения ни слова; вращая белком своего единственного глаза, он крестился и бормотал божбу...

— Ты успокойся, расскажи мне, и я тебя отпущу,— сказал я ему.

Кузьма повалился мне в ноги и, заикаясь, стал божиться...

— Чтобы мне сгинуть, ежели это я... Чтобы ни отцу, ни матери моей... Ваше благородие! Убей бог мою душу...

— Ты уходил в лес?

— Это правильно-с, я уходил... подавал господам коньяк и, извините, хлебнул малость; ударило мне в голову, и захотелось полежать, пошел, лег и заснул... А кто убил и как, не знаю и ведать — не ведаю... Истинно вам говорю!

— А зачем ты отмывал кровь?

— Боялся, чтобы чего не подумали... чтобы в свидетели не забрали...

— А откуда на твоей поддевке взялась кровь?

— Не могу знать, ваше благородие.

— Как же не можешь знать? Ведь поддевка твоя?

— Это точно, что моя, но не могу знать: увидел кровь, когда уже был проснувшись.

— Так, стало быть, ты во сне запачкал поддевку в кровь?

— Точно так...

— Ну, ступай, братец, подумай... Ты несешь чепуху; подумай, завтра мне скажешь... Или.

На другой день, когда я проснулся, мне доложили, что Кузьма желает со мной говорить. Я велел его привести.

— Надумал? — спросил я его.

— Точно так, надумал...

— Откуда же у тебя на поддевке кровь?

— Я, вашескоблагородие, как во сне помню: припоминается что-то, как в тумане, а правда это или нет, не разберу.

— Что же тебе припоминается?

Кузьма поднял вверх свой глаз, подумал и сказал:

— Чудное... словно, как во сне или в тумане... Лежу я на траве пьяный и дремлю; не то я дремлю, не то совсем сплю... Только слышу, кто-то идет мимо и ногами сильно стучит... открываю глаз и вижу, словно как бы в беспамятстве или во сне: подходит ко мне какой-то барин, нагинается и вытирает руки о мои полы... вытер о полы, а потом рукой по жилетке мазнул... вот так.

— Какой же это барин?

— Не могу знать; помню только, что это был не мужик, а барин... в господском платье, а какой это барин, какое у него лицо, совсем не помню.

— Какого же цвета у него было платье?

— А кто его знает! Может, белое, а может, и черное... помнится только, что это был барин, а больше ничего не помню... Ах да, вспомнил! Нагнувшись, они вытерли свои ручки и сказали: «Пьяная сволочь!»

— Это тебе снилось?

— Не знаю... может, и снилось... Только откуда же кровь взялась?

— Барин, которого ты видел, похож на Петра Егорыча?

— Словно как бы нет... а может быть, это и они были... Только они сволочью ругаться не станут.

— Ты припомни... ступай, посиди и припомни... может быть, вспомнишь как-нибудь.

— Слушаю.

Это неожиданное вторжение одноглазого Кузьмы в почти уже законченный роман произвело неосветимую путаницу. Я решительно потерялся и не знал, как понимать мне Кузьму: виновность свою он отрицал безусловно, да и предварительное следствие было против его виновности: убита была Ольга не из корыстных целей, покушения на ее честь, по мнению врачей, «вероятно, не было»; можно было разве допустить, что Кузьма убил и не воспользовался ни одною из этих целей только потому, что был сильно пьян и потерял соображение или же струсил,— что не вязалось с обстановкой убийства.

Но если Кузьма был не виноват, то почему же он не объяснял присутствия крови на его поддевке и к чему выдумывал сны и галлюцинации? К чему приплел он барина, которого он видел, слышал, но не помнит настолько, что забыл даже цвет его одежды?

Прилетал еще раз Полуградов.

— Вот видите-с! — сказал он.— Осмотри вы место преступления тотчас же, то, верьте, теперь все было бы ясно как на ладони! Допроси вы тотчас же всю прислугу, мы еще тогда бы знали, кто нес Ольгу Николаевну, а кто нет, а теперь мы не можем даже определить, на каком расстоянии от места происшествия лежал этот пьяница!

Часа два бился он с Кузьмой, но последний не сообщил ему ничего нового; сказал, что в полусне видел барина, что барин вытер о его полы руки и выбранил его «пьяной сволочью», но кто был этот барин, какие у него были лицо и одежда, он не сказал.

— Да ты сколько коньяку выпил?

— Я отпил полбутылки.

— Да то, может быть, был не коньяк?

— Нет-с, настоящий финь-шампань...

— Ах, ты даже и названия вин знаешь! — усмехнулся товарищ прокурора...

— Как не знать! Слава богу, при господах уж три десятка служим, пора научиться...

Товарищу прокурора для чего-то понадобилась очная ставка Кузьмы с Урбениным... Кузьма долго глядел на Урбенина, помотал головой и сказал:

— Нет, не помню... может быть, Петр Егорыч, а может, и не они... Кто его знает!

Полуградов махнул рукой и уехал, предоставив мне самому из двух убийц выбирать настоящего.

Следствие затянулось... Урбенин и Кузьма были заключены в арестантский дом, имевшийся в деревеньке, в которой находилась моя квартира. Бедный Петр Егорыч сильно пал духом; он осунулся, поседел и впал в религиозное настроение; раза два он присылал ко мне с просьбой прислать ему устав о наказаниях; очевидно, его интересовал размер предстоящего наказания.

— Как же мои дети-то будут? — спросил он меня в один из допросов, — будь я одинок, ваша ошибка не причинила бы мне горя, но ведь мне нужно жить... жить для детей! Они погибнут без меня, да и я... не в состоянии с ними расстаться! Что вы со мной делаете?!

Когда стража стала говорить ему «ты» и когда раза два ему пришлось пройти пешком из моей деревни до города и обратно под стражей, на виду знакомого ему народа, он впал в отчаяние и стал нервничать.

— Это не юристы! — кричал он на весь арестантский дом, — это жестокие, бессердечные мальчишки, не щадящие ни людей, ни правды! Я знаю, почему я здесь сижу, знаю! Свалив на меня вину, они хотят скрыть настоящего виновника! Граф убил, а если не граф, то его наемник!

Когда ему стало известно о задержании Кузьмы, он на первых порах очень обрадовался.

— Вот и нашелся наемник! — сказал он мне, — вот и нашелся!

Но скоро, когда он увидел, что его не выпускают, и когда сообщили ему показание Кузьмы, он опять запечалился.

— Теперь я погиб,— говорил он,— окончательно погиб: чтоб выйти из заключения, этот кривой черт, Кузьма, рано или поздно назовет меня, скажет, что это я утирал свои руки о его полы. Но ведь видели же, что у меня руки были не вытерты!

Рано или поздно наши сомнения должны были разрешиться.

В конце ноября того же года, когда перед окнами моими кружились снежинки, а озеро глядело бесконечно белой пустыней, Кузьма пожелал меня видеть: он прислал ко мне сторожа сказать, что он «надумал». Я приказал привести его к себе.

— Я очень рад, что ты наконец надумал,— встретил я его,— пора уж бросить скрытничать и водить нас за нос, как малых ребят. Что же ты надумал?

Кузьма не отвечал; он стоял посреди моей комнаты и молча, не мигая глазами, глядел на меня... В глазах его светился испуг, да и сам он имел вид человека, сильно испуганного: он был бледен и дрожал, с лица его струился холодный пот.

— Ну, говори, что ты надумал? — повторил я.

— Такое, что чуднее и выдумать нельзя... — выговорил он.— Вчера я вспомнил, какой на том барине галстук был, а нынче ночью задумался и самое лицо вспомнил.

— Так кто же это был?

Кузьма болезненно усмехнулся и вытер со лба пот.

— Страшно сказать, ваше благородие, уж позвольте мне не говорить: больно чудно и удивительно, думается, что это мне снилось или причудилось...

— Но кто же тебе причудился?

— Нет, уж позвольте мне не говорить: если скажу, то засудите... Дозвольте мне подумать и завтра сказать... Боязно.

— Тьфу! — рассердился я,— зачем же ты меня беспокоил, если не хочешь говорить? Зачем ты шел сюда?

— Думал, что скажу, а теперь вот страшно. Нет, ваше благородие, отпустите меня... лучше завтра скажу... Если я скажу, то вы так разгневаетесь, что мне пуше Сибири достанется,— засудите...

Я рассердился и велел увести Кузьму¹. В тот же день вечером, чтобы не терять времени и покончить раз навсегда с надоевшим мне «делом об убийстве», я отправился в арестантский дом и обманул Урбенина, сказав ему, что Кузьма назвал его убийцею.

— Я ждал этого...— сказал Урбенин, махнув рукой,— мне все равно...

Одинокое заключение сильно повлияло на медвежье здоровье Урбенина: он пожелтел и убавился в весе чуть ли не наполовину. Я обещал ему приказать сторожам пускать его гулять по коридору днем и даже ночью.

— Нет нужды опасаться, что вы уйдете,— сказал я.

Урбенин поблагодарил меня и после моего ухода уже гулял по коридору: его дверь уж более не запиралась.

Уходя от него, я постучался в дверь, за которой сидел Кузьма.

— Ну что, надумал? — спросил я.

— Нет, барин...— послышался слабый голос,— пущай господин прокурор приезжает, ему объявлю, а вам не стану сказывать.

— Как знаешь...

Утром другого дня все решилось.

Сторож Егор прибежал ко мне и сообщил, что одноклазый Кузьма найден в своей постели *мертвым*. Я отправился в арестантскую и убедился в этом... Здоровый, рослый мужик, который еще вчера дышал здоровьем и измышлял ради своего освобождения разные сказки, был неподвижен и холоден, как камень... Не стану описывать ужас мой и стражи: он понятен читателю. Для меня дорог был Кузьма как обвиняемый или свидетель, для сторожей же это был арестант, за смерть или побег которого с них дорого взыскивалось... Ужас наш был тем сильнее, что про-

¹ Хорош следователь! Вместо того чтобы продолжать допрос и вынудить полезное показание, он *рассердился* — занятие, не входящее в круг обязанностей чиновника. Впрочем, я мало верю всему этому... Если г. Камышеву были нипочем его обязанности, то продолжать допрос должно было заставить его простое человеческое любопытство.— А. Ч.

изведенное вскрытие констатировало смерть насильственную... Кузьма умер от задушения... Убедившись в том, что он задушен, я стал искать виновника и искал его недолго... Он был близко...

Я отправился в камеру Урбенина и, не имея сил сдержаться себя, забыв, что я следователь, назвал его в самой резкой и жесткой форме убийцей.

— Мало вам было, негодяй, смерти вашей несчастной жены,— сказал я,— вам понадобилась еще смерть человека, который уличил вас! И вы станете после этого продолжать вашу грязную, воровскую комедию!

Урбенин страшно побледнел и покачнулся...

— Вы лжете! — крикнул он, ударив себя кулаком по груди.

— Не лгу я! Вы проливали крокодиловы слезы на наши улики, издевались над ними... Бывали минуты когда мне хотелось верить более вам, чем уликам... о, вы хороший актер!.. но теперь я не поверю вам, даже если из ваших глаз вместо этих актерских, фальшивых слез потечет кровь! Говорите, вы убили Кузьму?

— Вы или пьяны, или же издеваетесь надо мной! Сергей Петрович, всякое терпение и смирение имеет свои границы! Я этого не вынесу!

И Урбенин, сверкая глазами, застучал кулаком по столу.

— Вчера я имел неосторожность дать вам свободу,— продолжал я,— позволил вам то, чего не позволяют другим арестантам: гулять по коридору. И вот, словно в благодарность, вы ночью идете к двери этого несчастного Кузьмы и душите спящего человека! Знайте, что вы погубили не одного только Кузьму: из-за вас пропадут сторожа.

— Что же я сделал такое, боже мой? — проговорил Урбенин, хватая себя за голову.

— Вы хотите знать доказательства? Извольте... ваша дверь, по моему приказанию была отперта... дурачье-прислуга отперла дверь и забыла припрятать замок... все камеры запираются одинаковыми замками... вы ночью взяли свой ключ и, выйдя в коридор, отперли им дверь своего соседа... задушив его, вы дверь заперли и ключ вставили в свой замок.

— За что же я мог его задушить? За что?

— За то, что он назвал вас... Не сообщите я вам вчера этой новости, он остался бы жив... Грешно и стыдно, Петр Егорыч!

— Сергей Петрович, молодой человек! — заговорил вдруг нежным, мягким голосом убийца, хватая меня за руку, — вы честный и порядочный человек... не губите и не пятняйте себя несправедливыми подозрениями и опрометчивыми обвинениями! Вы не можете только понять, как жестоко и больно вы оскорбили меня, взвалив на мою ни в чем не повинную душу новое обвинение... Я мученик, Сергей Петрович! Бойтесь обидеть мученика! Будет время, когда вам придется извиняться передо мной, и это время скоро... Не обвиняют же меня в самом деле! Но извинение это не удовлетворит вас... Чем набрасываться на меня и оскорблять так ужасно, вы бы лучше по-человечески, — не говорю, по-дружески: вы уже отказались от наших хороших отношений, — вы бы лучше расспросили меня... Как свидетель и ваш помощник, я для правосудия принес бы больше пользы, чем в роли обвиняемого. Взять бы хоть это новое обвинение... я мог бы многое вам сообщить; ночью-то я не спал и все слышал...

— Что вы слышали?

— Ночью, часа в два... были потемки... слышу, кто-то тихонько ходит по коридору и все за дверь мою трогает... ходил, ходил, а потом отворил мою дверь и вошел.

— Кто?

— Не знаю; темно было, — не видал... Постоял в моей камере минутку и вышел... и именно так, как вот вы говорите, — вынул из двери моей ключ и отпер соседскую камеру. Минутки через две я услышал хрипенье, а потом возню. Думал я, что это сторож ходит и возится, а хрипенье принял за храп, а то бы я поднял шум.

— Басни! — сказал я, — некому тут, кроме вас, Кузьму убивать. Дежурные сторожа спали. Жена одного из них, не спавшая всю ночь, показала, что все три сторожа в течение ночи спали как убитые и не оставляли своих постелей ни на минуту; бедняги не

знали, что в этой жалкой арестантской могут водиться такие звери. Служат они здесь уж более двадцати лет, и за все это время у них не было ни одного случая побега, не говорю уж о такой мерзости, как убийство. Теперь жизнь их благодаря вам перевернута вверх дном; да и мне достанется за то, что я не отправил вас в тюремный замок и дал вам здесь свободу гулять по коридорам. Благодарю вас!

Это была последняя моя беседа с Урбениным. Больше я уж с ним никогда не беседовал, если не считать тех двух-трех вопросов, которые задал он мне, как свидетелю, сидя на скамье подсудимых...

Мой роман в заголовке назван «уголовным», и теперь, когда «дело об убийстве Ольги Урбениной» осложнилось еще новым убийством, мало понятным и во многих отношениях таинственным, читатель вправе ожидать вступления романа в самый интересный и бойкий фазис. Открытие преступника и мотивов преступления составляет широкое поле для проявления остроумия и мозговой гибкости. Тут злая воля и хитрость ведут войну с знанием, войну, интересную во всех своих проявлениях...

Я вел войну, и читатель вправе ожидать от меня описания средств, которые дали мне победу, и он, наверное, ждет следовательских тонкостей, которыми так блещут романы Габорио и нашего Шкляревского; и я готов оправдать ожидания читателя, но... одно из главных действующих лиц оставляет поле битвы, не дождавшись конца сражения,— его не делают участником победы; все, что было им сделано ранее, пропадает даром,— и оно идет в толпу зрителей. Это действующее лицо — ваш покорнейший слуга. На другой день после описанной беседы с Урбениным я получил приглашение, или, вернее, приказ, подать в отставку. Сплетни и разговоры наших уездных кумушек сделали свое дело... Моему увольнению много способствовали также убийство в арестантском доме, показания, взятые товарищем прокурора тайком от меня у прислуги, и, если помнит читатель, удар, нанесенный мною мужику веслом по голове в один из прошлых ночных кутежей. Мужик поднял дело. Произошла

сильная перетасовка. В какие-нибудь два дня я должен был сдать дело об убийстве следователю по особо важным делам.

Благодаря толкам и газетным корреспонденциям поднялся на ноги весь прокурорский надзор. Прокурор наезжал в графскую усадьбу через день и принимал участие в допросах. Протоколы наших врачей были отправлены во врачебную управу и далее. Поговаривали даже о вырытии трупов и новом осмотре, который, кстати сказать, ни к чему бы не повел.

Урбенина раза два таскали в губернский город для освидетельствования его умственных способностей, и оба раза он был найден нормальным. Я стал фигурировать в качестве свидетеля¹. Новые следователи так увлеклись, что в свидетели попал даже мой Поликарп.

Год спустя после моей отставки, когда я жил в Москве, мною была получена повестка, звавшая меня на разбирательство урбенинского дела. Я обрадовался случаю повидать еще раз места, к которым меня тянула привычка, и поехал. Граф, живший в Петербурге, не поехал и послал вместо себя медицинское свидетельство.

Дело разбиралось в нашем уездном городе, в отделении окружного суда. Обвинял Полуградов, тот самый, который раза четыре на день чистил свои зубы красным порошком; защищал некий Смирняев, высокий, худощавый блондин, с сентиментальным лицом и длинными, гладкими волосами. Присяжные всплошную состояли из мещан и крестьян; из них только четверо были грамотные, остальные же, когда им были поданы для просмотра письма Урбенина к жене, потели и конфузились. В старшины попал лавочник Иван Демьяныч, тот самый, который дал имя моему покойному попугаю.

Войдя в залу суда, я не узнал Урбенина: он совершенно поседел и постарел телом лет на двадцать.

¹ Роль, конечно, более подходящая г. Камышеву, чем роль следователя: в деле Урбенина он не мог быть следователем.—
А. Ч.

Я ожидал прочесть на лице его равнодушие к своей судьбе и апатию, но ожидания мои были ошибочны,— Урбенин горячо отнесся к суду: он отвел трех присяжных, давал длинные объяснения и допрашивал свидетелей; вину свою отрицал он безусловно и каждого свидетеля, говорившего не за него, допрашивал очень долго.

Свидетель Пшехоцкий показал на суде, что я жил с покойной Ольгой.

— Это ложь! — крикнул Урбенин, — он лжец! Жене моей я не верю, но *ему* я верю!

Когда я давал показания, защитник спросил меня, в каких отношениях я находился с Ольгой, и познать меня с показанием Пшехоцкого, когда-то мне аплодировавшего. Сказать правду — значило бы дать показание в пользу подсудимого: чем развратнее жена, тем снисходительнее присяжные к мужу-Отелло, — я понимал это... С другой стороны, моя правда оскорбила бы Урбенина... он, услышав ее, почувствовал бы неизлечимую боль... Я счел за лучшее солгать.

— Нет! — сказал я.

Прокурор в своей речи, описывая в ярких красках убийство Ольги, обращал особенное внимание на зверство убийцы, на его злобу... «Старый, поношенный сластолюбец увидал девушку, красивую собой и молодую. Зная весь ужас ее положения в доме сумасшедшего отца, он манит ее к себе куском хлеба, жильем и цветными покоем... Она соглашается: состоятельный муж-старик все-таки выносимее сумасшедшего отца и бедности. Но она молода, а молодость, господа присяжные, имеет свои неотъемлемые права... Девушка, воспитанная на романах и среди природы, рано или поздно должна была полюбить...» и т. д. в том же роде. Кончается тем, что «он, не давший ей ничего, кроме своей старости и цветных тряпок, видя ускользающую добычу, впадает в ярость животного, к носу которого поднесли раскаленное железо. Любил он животное и ненавидеть должен животное» и проч.

Обвиняя Урбенина в убийстве Кузьмы, Полуградов указывал на те воровские приемы, здраво обду-

манные и взвешенные, которыми сопровождалось убийство «спящего человека, имевшего неосторожность показать накануне против него. А что Кузьма хотел рассказать следователю именно про него, в этом вы, я полагаю, не сомневаетесь».

Защитник Смирняев не отрицал виновности Урбенина; он просил только признать, что Урбенин действовал под влиянием аффекта, и дать ему снисхождение. Описывая, как мучительно бывает чувство ревности, он привел в свидетели шекспировского Отелло. Взглянул он на этот «всечеловеческий тип» всесторонне, приводя цитаты из разных критиков, и забрел в такие дебри, что председатель должен был остановить его замечанием, что «знание иностранной литературы для присяжных не обязательно».

Воспользовавшись последним словом, Урбенин призвал бога в свидетели, что он не виноват ни делом, ни мыслью.

— Мне лично все равно, где ни быть: в этом ли уезде, где все напоминает мне мой незаслуженный позор и жену, или на каторге, но меня смущает судьба моих детей.

И, повернувшись к публике, Урбенин заплакал и просил приютить его детей.

— Возьмите их. Граф, конечно, не упустит случая щегольнуть своим великодушием, но я уже предупредил детей: они не возьмут от него ни одной крохи.

Заметив меня среди публики, он поглядел на меня умоляющими глазами и сказал:

— Защитите моих детей от благодеяний графа.

Он, видимо, забыл о предстоящем вердикте и весь предался мысли о детях. Говорил он о них до тех пор, пока не был осановлен председателем.

Присяжные совещались недолго. Урбенин был признан виновным безусловно и ни на один пункт не получил снисхождения.

Приговорен он был к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы на 15 лет.

Так дорого обошлась ему встреча в майское утро с поэтической «девушкой в красном»...

Со времени описанных событий прошло уже более восьми лет. Одни участники драмы умерли и уже сгнили, другие несут наказание за свой грех, третьи влачат жизнь, борясь с будничной скукой и ожидая смерти со дня на день.

В восемь лет изменилось многое... Граф Карнеев, не перестававший питать ко мне самую искреннюю дружбу, уже окончательно спился. Усадьба его, давшая место драме, ушла от него в руки жены и Пшехоцкого. Он теперь беден и живет на мой счет. Иногда, под вечер, лежа у меня в номере на диване, он любит вспомнить былое.

— Хорошо бы теперь цыган послушать! — бормочет он, — пошли, Сережа, за коньяком!

Я тоже изменился. Силы мои оставляют меня постепенно, и я чувствую, как выходят из моего тела здоровье и молодость. Нет уж той физической силы, нет ловкости, нет выносливости, которой я шеголял когда-то, бодрствуя несколько ночей подряд и выпивая количество, которое я теперь едва ли подниму,

На лице одна за другой появляются морщины, волосы редеют, голос грубеет и слабеет... Жизнь прошла...

Прошлое я помню, как вчерашний день. Как в тумане, вижу я места и образы людей. Беспристрастно относиться к ним нет у меня сил; люблю и ненавижу я их с прежней силой, и не проходит того дня, чтобы я, охваченный чувством негодования или ненависти, не хватал бы себя за голову. Граф для меня по-прежнему гадок, Ольга отвратительна, Калинин смешон своим тупым чванством. Зло считаю я злом, грех грехом.

Но бывают нередко минуты, когда я, взглядевшись в стоящий на моем столе портрет, чувствую непреодолимое желание пройти с «девушкой в красном» по лесу под шумок высоких сосен и прижать ее к груди, несмотря ни на что. В эти минуты прощаю я и ложь и падение в грязную пропасть, готов простить все для того, чтобы повторилась еще раз хотя бы частица прошлого... Утомленный городской скукой, я хотел бы еще раз послушать рев великана-озера и промчаться

по его берегу на моей Зорьке... Я простил и забыл бы все, чтобы еще раз пройтись по теневской дороге и встретить садовника Франца с его водочным бочонком и жокейским картузиком... Бывают минуты, когда я готов даже пожать руку, обогреть кровью, и потолковать с благодушным Петром Егорычем о религии, урожае, народном образовании... Я хотел бы повидаться со Щуром, с его Наденькой...

Жизнь бешеная, беспутная и беспокойная, как озеро в августовскую ночь... Много жертв скрылось навсегда под ее темными волнами... На дне лежит тяжелый осадок...

Но за что я люблю ее в иные минуты? За что я прощаю ее и мчусь к ней душой, как нежный сын, как птица, выпущенная из клетки?..

Жизнь, которую я вижу сейчас сквозь номерное окно, напоминает мне серый круг: серый цвет и никаких оттенков, никаких светлых проблесков... Но, закрыв глаза и припоминая прошлое, я вижу радугу, какую дает солнечный спектр... Да, там бурно, но там светлее...

С. Зиновьев.

К о н е ц

Внизу рукописи написано:

Милостивый государь, г. редактор! Предлагаемый роман (или повесть, как хотите) прошу печатать, по возможности, без сокращений, урезок и вставок. Впрочем, изменения можно делать по соглашению с автором. В случае же негодности прошу рукопись сохранить для возвращения. Жительство (временное) имею в Москве, на Тверской, в номерах «Англия». Иван Петрович Камышев. P. S. Гонорар — по усмотрению редакции.

Год и число.

Теперь, познакомив читателя с романом Камышева, продолжаю прерванную с ним беседу. Прежде всего я должен предупредить, что обещание, данное мною

читателю в начале повести, не сдержано: роман Камышева напечатан не без пропусков, не *in toto*, как я обещал, а по значительном сокращении. Дело в том, что «Драма на охоте» не могла быть напечатана в газете, о которой шла речь в первой главе этой повести: газета прекратила свое существование, когда рукопись поступила в набор... Настоящая же редакция, давшая приют роману Камышева, нашла невозможным печатать его без урезок. Всякий раз, во все время печатания, она присылала мне корректуры отдельных глав с просьбой «изменить». Я же не хотел брать греха на душу, изменять чужое, и находил лучшим и полезным совсем выпускать, чем изменять неудобное место. По соглашению со мной, редакция выпустила много мест, поражавших своим цинизмом, длиннотами и небрежностью в литературной отделке. Эти выпуски и урезки требовали осторожности и времени — причина, отчего многие главы запаздывали. Выпущены нами между прочим два описания ночных оргий. Одна оргия происходила в доме графа, другая на озере. Выпущено описание библиотеки Поликарпа и оригинальная манера его чтения: это место найдено слишком растянутым и утрированным.

Более всего я отстаивал, и редакция более всего невзлюбила главу, в которой описывается отчаянная игра в карты, свирепствовавшая среди графской прислуги. Самыми страстными игроками были садовник Франц и старуха Сычиха; играли они преимущественно в стуколку и три листика. В период следствия Камышев, проходя однажды мимо одной из беседок и заглянув в нее, увидел сумасшедшую игру: играли Сычиха, Франц и... Пшехоцкий. Играли в стуколку, *в темную*, со ставкой в 90 копеек; ремиз достигал до 30 рублей. Камышев подсел к игрокам и «обчистил» их, как куропаток. Обыгранный Франц, желая продолжать игру, отправился на озеро, где он прятал свои деньги. Камышев проследил его путь и, подметив, где он прячет свои деньги, *обокрал* садовника, не оставив ему ни одной копейки. Взятые деньги он отдал рыбаку Михею. Эта странная благотворительность пре-

красно характеризует взбалмошного следователя, но описана она так небрежно и беседы партнеров пещрят такими перлами сквернословия, что редакция не согласилась даже на изменения.

Выпущено несколько описаний свиданий Ольги с Камышевым; пропущено одно объяснение его с Наденькой Калининой и т. д. Но думаю, что и напечатанного достаточно для характеристики моего героя. Sapienti sat...¹

Ровно через три месяца редакционный сторож Андрей доложил мне о приходе «господина с кокардой».

— Проси! — сказал я.

Вошел Камышев, такой же краснощекий, здоровый и красивый, как и три месяца назад. Шаги его были по-прежнему бесшумны... Он положил на окно свою шляпу так осторожно, что можно было подумать, что он клал какую-нибудь тяжесть... В голубых глазах его светилось по-прежнему что-то детское, бесконечно добродушное...

— Опять я вас беспокою! — начал он, улыбаясь и осторожно садясь. — Простите, ради бога! Ну что? Какой приговор произнесен для моей рукописи?

— Виновна, но заслуживает снисхождения, — сказал я.

Камышев засмеялся и высморкался в душистый платок.

— Стало быть, ссылка в огонь камина? — спросил он.

— Нет, зачем так строго? Карательных мер она не заслуживает, мы употребим исправительные.

— Исправить нужно?

— Да, кое-что... по взаимному соглашению...

Четверть минуты мы помолчали. У меня страшно билось сердце и стучало в висках, но подавать вид, что я взволнован, не входило в мои планы.

— По взаимному соглашению, — повторил я. — В прошлый раз вы говорили мне, что фабулой своей повести вы взяли истинное происшествие.

¹ Для умного достаточно... (лат.)

— Да, и теперь я готов повторить это же самое. Если вы читали мой роман, то... честь имею представиться: Зиновьев.

— Стало быть, это вы были шафером у Ольги Николаевны?..

— И шафером и другом дома. Не правда ли, я симпатичен в этой рукописи? — засмеялся Камышев, поглаживая колено и краснея, — хорош? Бить бы нужно, да некому.

— Так-с... Ваша повесть мне нравится: она лучше и интереснее очень многих уголовных романов... Только нам с вами, по взаимному соглашению, придется произвести в ней кое-какие весьма существенные изменения...

— Это можно. Например, что вы находите нужным изменить?

— Самый *habitus*¹ романа, его физиономию. В нем, как в уголовном романе, все есть: преступление, улики, следствие, даже пятнадцатилетняя каторга на закуску, но нет самого существенного.

— Чего же именно?

— В нем нет настоящего виновника...

Камышев сделал большие глаза и приподнялся.

— Откровенно говоря, я вас не понимаю, — сказал он после некоторого молчания, — если вы не считаете настоящим виновником человека, который зарезал и задушил, то... я уж не знаю, кого следует считать. Конечно, преступник есть продукт общества и общество виновно, но... если вдаваться в высшие соображения, то нужно бросить писать романы, а взяться за рефераты.

— Ах, какие тут высшие соображения! Не Урбенин ведь убил!

— Как же? — спросил Камышев, придвигаясь ко мне.

— Не Урбенин!

— Может быть. *Humanum est errare*² — и следова-

¹ наружный вид, облик (лат.).

² Человеку свойственно ошибаться (лат.).

тели не совершенны: судебные ошибки часты под лунной. Вы находите, что мы ошиблись?

— Нет, вы не ошиблись, а пожелали ошибиться.

— Простите, я вас опять не понимаю,— усмехнулся Камышев,— если вы находите, что следствие привело к ошибке и даже как я вас стараюсь понять, к преднамеренной ошибке, то любопытно было бы знать ваш взгляд. По вашему мнению, кто убил?

— Вы!!

Камышев поглядел на меня с удивлением, почти с ужасом, покраснел и сделал шаг назад. Затем он отвернулся, отошел к окну и засмеялся.

— Вот так клюква! — пробормотал он, дыша на окно и нервно рисуя на нем вензель.

Я глядел на его рисующую руку и, казалось, узнавал в ней ту самую железную, мускулистую руку, которая одна только могла в один прием задуть спящего Кузьму, растерзать хрупкое тело Ольги. Мысль, что я вижу перед собой убийцу, наполняла мою душу непривычным чувством ужаса и страха... не за себя — нет! а за него, за этого красивого и грациозного великана... вообще за человека...

— Вы убили! — повторил я.

— Если не шутите, то поздравляю с открытием,— засмеялся Камышев, все еще не глядя на меня,— впрочем, судя по дрожи вашего голоса и по вашей бледности, трудно допустить, что вы шутите. Экий вы нервный!

Камышев повернул ко мне свое пылающее лицо и, сияясь улыбнуться, продолжал:

— Любопытно, откуда вам могла прийти в голову такая мысль! Не написал ли я чего-нибудь такого в своем романе,— это любопытно, ей-богу... Расскажите, пожалуйста! Раз в жизни стоит испытать это ощущение, когда на тебя смотрят как на убийцу.

— Убийца вы и есть,— сказал я,— и даже скрыть этого не можете; в романе проврались, да и сейчас плохо актерствуете.

— Это совсем таки интересно,— любопытно было бы послушать, честное слово.

— Коли любопытно, так слушайте.

Я вскочил и, волнуясь, заходил по комнате. Камышев заглянул за дверь и плотнее притворил ее. Эта осторожность выдала его.

— Чего же вы боитесь? — спросил я.

Камышев конфузливо закашлялся и махнул рукой.

— Ничего я не боюсь, а просто так... взял да и взглянул за дверь. А вам и это понадобилось? Ну, рассказывайте.

— Позвольте вам допрос сделать?

— Сколько угодно.

— Предупреждаю, что я не следователь и допрашивать не мастер; порядка и системы не ждите, а потому не извольте сбивать и путать. Прежде всего скажите мне, куда вы исчезли после того, как оставили опушку, на которой кутили после охоты?

— В повести сказано: я пошел домой.

— В повести описание вашего пути старательно зачеркнуто. Вы шли тем лесом?

— Да.

— И могли, стало быть, встретиться там с Ольгой?

— Да, мог, — усмехнулся Камышев.

— И вы с ней встретились.

— Нет, не встречался.

— На следствии вы забыли допросить одного очень важного свидетеля, а именно себя... Вы слышали крик жертвы?

— Нет... Ну, батенька, допрашивать вы совсем не мастер...

Это фамильярное «батенька» меня покорило: оно плохо вязалось с теми извинениями и смущением, которыми началась наша беседа. Скоро я заметил, что Камышев глядел на меня снисходительно, свысока и почти любовался моим неумением выпутаться из массы волновавших меня вопросов...

— Допустим, что в лесу вы не встретились с Ольгой, — продолжал я, — хотя, впрочем, Урбенину труднее было встретиться с Ольгой, чем вам, так как Урбенин не знал, что она в лесу, а стало быть, не искал ее, а вы, будучи пьяным и взбешенным, не могли не искать ее. Вы, наверное, искали ее, — иначе зачем же вам было идти домой лесом, а не дорогой... Но допу-

стим, что вы ее не видали... Чем объяснить ваше мрачное, почти бешеное настроение в вечер злополучного дня? Что побудило вас убить попугая, кричавшего о муже, убившем жену? Мне кажется, что он напоминал вам о вашем злодействе... Ночью вас позвали в графский дом, и вы, вместо того чтобы тотчас же приступить к делу, медлили до приезда полиции почти целые сутки и, вероятно, сами того не замечая... Так медлят только те следователи, которым известен преступник... Вам он был известен... Далее,— Ольга не назвала имени убийцы, потому что он был для нее дорог... Будь убийцей муж, она назвала бы его. Если она в состоянии была доносить на него своему любовнику-графу, то обвинить его в убийстве ей ничего бы не стоило: она его не любила, и он не был ей дорог... Любила она вас, и именно вы для нее были дороги... вас щадила она... Позвольте вас также спросить, почему это вы медлили задать ей прямой вопрос, когда она пришла в минутное сознание? К чему вы ей задавали совершенно не идущие к делу вопросы? Позвольте уж мне думать, что все это вы делали ради проволочки времени, чтобы не дать ей назвать вас. Ольга затем умирает... В своем романе вы ни полслова не говорите о впечатлениях, которые произвела на вас ее смерть... Тут я вижу осторожность: не забываете писать о рюмках, которые выпиваете, а такое важное событие, как смерть «девушки в красном», проходит в романе бесследно... Почему?

— Продолжайте, продолжайте...

— Следствие ведете вы безобразно... Трудно допустить, чтобы вы, умный и очень хитрый человек, делали это не нарочно. Ваше следствие напоминает письмо, нарочно писанное с грамматическими ошибками,— утрировка выдает вас... Почему вы не осмотрели места преступления? Не потому, что забыли об этом или считали это неважным, а потому что ждали, чтобы дождь размыл ваши следы. Вы мало пишете о допросе прислуги. Стало быть, Кузьма не был вами допрошен до тех пор, пока его не застали за мытьем поддевки... Вам, очевидно, не было надобности влутывать его в дело. Почему вы не допросили гостей, ку-

тивших с вами на опушке? Они видели окровавленного Урбенина и слышали крик Ольги,— допросить их следовало. Но вы этого не сделали, потому что хотя бы один из них мог бы вспомнить на допросе, что вы незадолго до убийства отправились в лес и пропали. Впоследствии, вероятно, они были допрошены, но это обстоятельство было ими уже забыто...

— Ловко! — проговорил Камышев, потирая руки, — продолжайте, продолжайте!

— Неужели для вас недостаточно всего сказанного? Чтобы доказать окончательно, что Ольга убита именно вами, следует еще напомнить вам, что вы были ее любовником, любовником, которого променяли на презираемого вами человека!.. Муж может убить из ревности, любовник, полагаю, тоже... Засим перейдем к Кузьме... Судя по последнему допросу, бывшему накануне его смерти, он имел в виду вас; вы утерли руки об его поддевку и вы назвали его сволочью... Если не вы, то зачем вам было прерывать допрос на самом интересном месте? Почему вы не спросили о цвете галстука убийцы, когда Кузьма объявил вам, что он вспомнил, какого цвета этот галстук? Почему вы дали Урбенину свободу именно тогда, когда Кузьма уже вспомнил имя убийцы? Почему не раньше и не позже? Очевидно, вам нужно было взвалить на кого-нибудь вину, нужен был человек, который гулял бы ночью по коридору... Итак, Кузьму вы убили, боясь, чтоб он не назвал вас.

— Ну довольно! — проговорил Камышев, смеясь, — будет! Вы вошли в такой азарт и так побледили, что того и гляди в обморок упадете. Не продолжайте. Действительно, вы правы: я убил.

Наступило молчание. Я прошелся из угла в угол. Камышев сделал то же самое.

— Я убил, — продолжал Камышев. — Вы поймали секрет за хвост, — и ваше счастье. Редкому это удастся: больше половины ваших читателей ругнет старика Урбенина и удивится моему следовательскому уму-разуму.

Ко мне в кабинет вошел сотрудник и прервал нашу беседу. Заметив, что я занят и взволнован, этот

сотрудник повертелся около моего стола, с любопытством поглядел на Камышева и вышел. По уходе его Камышев отошел к окну и стал дышать на стекло.

— С тех пор прошло уже восемь лет,— начал он после некоторого молчания,— и восемь лет носил я в себе тайну. Но тайна и живая кровь в организме несовместимы; нельзя безнаказанно знать то, чего не знает остальное человечество. Все восемь лет я чувствовал себя мучеником. Не совесть меня мучила, нет! Совесть — само собой... да и я не обращаю на нее внимания: она прекрасно заглушается рассуждениями на тему о ее растяжимости. Когда рассудок не работает, я заглушаю ее вином и женщинами. У женщин я имею прежний успех,— это à propos¹. Мучило же меня другое: все время мне казалось странным, что люди глядят на меня как на обыкновенного человека; ни одна живая душа ни разу за все восемь лет пыливо не взглянула на меня; мне казалось странным, что мне не нужно прятаться; во мне сидит страшная тайна, и вдруг я хожу по улицам, бываю на обедах, любезничаю с женщинами! Для человека преступного такое положение неестественно и мучительно. Я не мучился бы, если бы мне приходилось прятаться и скрытничать. Психоз, батенька! В конце концов на меня напал какой-то задор... Мне вдруг захотелось излиться чем-нибудь: начхать всем на головы, выпалить во всех своей тайной... сделать что-нибудь этакое... особенное... И я написал эту повесть — акт, по которому только недалекий затруднится узнать во мне человека с тайной... Что ни страница, то ключ к разгадке... Не правда ли? Вы небось сразу поняли... Когда я писал, я брал в соображение уровень среднего читателя...

Нам опять помешали. Вошел Андрей и принес на подносе два стакана чая... Я поспешил выслать его...

— И теперь словно легче стало,— усмехнулся Камышев,— вы смотрите на меня теперь как на необыкновенного, как на человека с тайной — и я чувствую

¹ кстати (франц.).

себя в положении естественном... Но... однако уже три часа, и меня ждут на извозчике...

— Пойдите, положите шляпу... Вы рассказали мне о том, что довело вас до авторства, теперь скажите: как вы убили?

— Это вы желаете знать в дополнение прочитанного? Извольте... Убил я под влиянием аффекта. Теперь ведь и курят и чай пьют под влиянием аффекта. Вы вот в волнении мой стакан захватили вместо своего и курите чаще обыкновенного... Жизнь есть сплошной аффект... так мне кажется... Когда я шел в лес, я далек был от мысли об убийстве; я шел туда с одной только целью найти Ольгу и продолжать жалить ее... Когда я бываю пьян, у меня всегда является потребность жалить... Я встретил ее в двухстах шагах от опушки... Стояла она под деревом и задумчиво глядела на небо... Я окликнул ее... Увидев меня, она улыбнулась и протянула ко мне руки...

— Не брани меня, я несчастна! — сказала она.

В этот вечер она была так хороша, что я, пьяный, забыл все на свете и сжал ее в своих объятиях... Она стала клясться мне, что никого никогда не любила, кроме меня... и это было справедливо: она любила меня... И в самый разгар клятв ей вздумалось вдруг сказать отвратительную фразу: «Как я несчастна! Не выйди я за Урбенина, я могла бы выйти теперь за графа!» — эта фраза была для меня ушатом воды... Все накипевшее в груди забурлило... Меня охватило чувство отвращения, омерзения... Я схватил маленькое, гаденькое существо за плечо и бросил его оземь, как бросают мячик. Злоба моя достигла максимума... Ну... и добил ее... Взял и добил... История с Кузьмой вам понятна...

Я взглянул на Камышева. На лице его я не прочел ни раскаяния, ни сожаления. «Взял и добил» — было сказано так же легко, как «взял и покурил». В свою очередь и меня охватило чувство злобы и омерзения... Я отвернулся.

— А Урбенин там, на каторге? — спросил я тихо.

— Да... Говорят, что умер на дороге, но это еще неизвестно... А что?

— А что... Невинно страдает человек, а вы спрашиваете: «А что?»

— А что же мне делать? Идти да сознаваться?

— Полагаю.

— Ну, это положим!.. Я не прочь сменить Урбенина, но без борьбы я не отдамся... Пусть берут, если хотят, но сам я к ним не пойду. Отчего они не брали меня, когда я был в их руках? На похоронах Ольги я так ревел и такие истерики со мной делались, что даже слепые могли бы узреть истину... Я не виноват, что они... глупы.

— Вы мне гадки,— сказал я.

— Это естественно... И сам я себе гадок...

Наступило молчание... Я открыл счетную книгу и стал машинально читать цифры... Камышев взялся за шляпу.

— Вам, я вижу, со мной душно,— сказал он,— кстати: не хотите ли поглядеть графа Карнеева? Вон он, на извозчике сидит!

Я подошел к окну и взглянул в него... На извозчике, затылком к нам, сидела маленькая, согбенная фигурка в поношенной шляпе и с полинявшим воротником. Трудно было узнать в ней участника драмы!

— Узнал я, что здесь, в Москве, в номерах Андреева, живет сын Урбенина,— сказал Камышев.— Хочу устроить так, чтобы граф принял от него подачку... Пусть хоть один будет наказан! Но, однако, adieu! ¹

Камышев кивнул головой и быстро вышел. Я сел за стол и предался горьким думам.

Мне было душно.

¹ прощайте! (франц.)

ПРИМЕЧАНИЯ

ДЕПУТАТ, ИЛИ ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК У ДЕЗДЕМОНОВА 25 РУБЛЕЙ
ПРОПАЛО

Посвящается Л. И. Пальмину

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 22, 28 мая. Подпись: А. Чехонте.

Рассказ посвящен поэту Лиодору Ивановичу Пальмину (1841—1891). В письме к В. В. Билибину (1 февраля 1886 г.) Чехов писал о Пальмине: «Пальмин — это тип поэта, если Вы допускаете существование такого типа. Личность поэтическая, вечно восторженная, набитая по горло темами и идеями... Беседа с ним не утомляет. Правда, беседуя с ним, приходится пить много, но зато можете быть уверены, что за все 3—4 часа беседы Вы не услышите ни одного слова лжи, ни одной пошлой фразы, а это стоит трезвости».

Н. А. Лейкин в день смерти Чехова записал в своем дневнике о том, как Пальмин познакомил его с Чеховым («Николай Александрович Лейкин в его воспоминаниях и переписке», Спб. 1907, стр. 242—243).

ГЕРОЙ-БАРЫНЯ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 23, 4 июня. Подпись: А. Чехонте. Вошло в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886.

В сборнике «Пестрые рассказы» Чеховым исключена одна фраза (после слов «Любил я его, покойника»): «Прибауткам, феи, это он меня выучил...»

О ТОМ, КАК Я В ЗАКОННЫЙ БРАК ВСТУПИЛ

Рассказец

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 24, 11 июня. Подпись: А. Чехонте.

ИЗ ДНЕВНИКА ПОМОЩНИКА БУХГАЛТЕРА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 25, 18 июня. Подпись: Человек без селезенки. В исправленном виде включено автором в том I собрания сочинений.

При подготовке к собранию сочинений Чехов переработал рассказ. Были изменены некоторые мотивировки. В частности, иначе мотивируется назначение нового бухгалтера. В журнальном тексте было: «Выпив на его похоронах, я сгрубил. Как-то находясь в пьянственном недоумении, указывал кому-то на начальника пальцем и презрительно улыбался. За сию улыбку погублен. Бухгалтер не я, а Опиков».

Стр. 19. *Боткин*.— Очевидно, имеется в виду знаменитый врач Сергей Петрович Боткин (1832—1889).

Ветлянка — Ветлянинская станица Астраханской губернии. Здесь в октябре 1878 г. вспыхнула сильная эпидемия чумы.

Инбирь, калган, острая водка, семибратняя кровь.— Чехов использовал так называемое «гнездо» — «средство от всех болезней», которым торговали в лавке П. Е. Чехова в Таганроге (см. об этом «гнезде» в воспоминаниях Ал. П. Чехова [Из детских лет А. П. Чехова] в книге «Чехов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, 1954, стр. 31—32).

ВСЬ В ДЕДУШКУ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 25, 18 июня. Подпись: А. Чехонте.

В Полном собрании сочинений и писем А. П. Чехова, по которому печатается рассказ, был воспроизведен текст набранных и сверстанных для прижизненного собрания сочинений листов, правленных Чеховым и хранившихся, как указано в комментарии ко 2 тому (М. 1946, стр. 536), в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ). При подготовке настоящего издания листы с рассказом «Весь в дедушку» не обнаружены.

Лейкин писал Чехову 10 июня 1883 г.: «Письмецо Ваше с приложением трех рассказцев получил вчера и приношу сердечную благодарность. Правда, рассказы не совсем вытанцевались (кроме дневника помощника бухгалтера), но что делать... как-нибудь сойдет. И печь печет разные хлебы». Под неудачными Лейкин подразумевал рассказы «Весь в дедушку» и «Сушая правда».

РАЗ В ГОД

Впервые напечатано в журнале «Стрекоза», 1883, № 25, 19 июня, с подзаголовком *Рассказ*. Подпись: А. Ч. Вошло в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886; с небольшими изменениями включено во 2-е издание этого сборника (1891) и перепечатано в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899).

Сохранились гранки рассказа (ЦГАЛИ), набранного для собраия сочинений. Чехов сократил рассказ в гранках, выбросил, например, такой текст (после слов «...кузен генерал Битков и многие другие... человек двадцать!»): «Они приедут и наполнят ее гостиную говором. Князь Халахадзе споет что-нибудь, а генерал Битков два часа будет просить у нее розу... А она знает, как держать себя при этих господах! Непрístupность, величавость и воспитанность будут сквозить во всех ее движениях... Приедут, между прочим, купцы Хтулкин и Переулков: для этих господ положены в передней лист бумаги и перо. «Каждый сверчок знай свой шесток». Пусть распишутся и уйдут...» Были устранены также фразы, снижающие серьезный тон повествования («В голове его шум, в желудке революция») или не соответствующие характеру персонажа («Ну, с какой стати вы их огорчаете?» — в речи швейцара Марка) и т. п. Кроме того, по-видимому, еще перед сдачей в набор, была произведена некоторая правка, так как текст гранок несколько отличается от текста сборника в последнем его издании (например, вместо «воспитанность» набрано «грация», отсутствуют в гранках две фразы и т. п.). Однако гранки Чехов перечеркнул, и на одной из них его рукой сделана надпись: «Рассказ «Раз в год» — исключить». В данном издании рассказ печатается по тексту гранок.

«Раз в год» был послан в журнал «Стрекоза», в котором Чехов не сотрудничал с декабря 1880 г. Редакция «Стрекозы», получив рассказ, ответила Чехову в «Почтовом ящике» журнала (1883, № 20, 15 мая): «А. П. Ч-ву. Условия прини-

маем и просим сотрудничать. «Раз в год» написано очень недурно — с удовольствием напечатает». Затем в письме от 31 мая 1883 г. редактор Ип. Василевский сообщал Чехову: «Присланное Вами будет помещено. Будучи рады сотрудничеству Вашему, редакция покорнейше просит Вас, по установившемуся в ней обычаю, избрать псевдоним, специальный для «Стрекозы», независимый от того, которым Вы пользуетесь в других изданиях. На предложенные Вами условия гонорара редакция согласна».

Редактор «Осколков» Лейкин не преминул выразить Чехову свое недовольство тем, что рассказ не был помещен в его журнале. 26 мая 1883 г. он писал Чехову: «Из ответа в «Почтовом ящике» «Стрекозы» я вижу, что Вы и в «Стрекозе» собираетесь сотрудничать. Не поладите там, помяните мое слово. Люди тяжелые, люди, не ценящие сотрудника. Я работал в «Стрекозе», так уж знаю. Посылайте-ка лучше ко мне в «Осколки» все, что напишете. Ведь Вы, кажется, от меня гостеприимством для Ваших рассказов не обижены».

Чехов ответил (начало июня 1883 г.): «В «Стрекозу» я сумел не впервые. Там я начал свое литературное поприще. Работал я в ней почти весь 1880 год, вместе с Вами и И. Грэксом [В. В. Билибин — сотрудник «Осколков»]. В том же году я бросил работать по причинам, в Вашем письме изложенным. Вы пишете: «каяться будете». Я уже 25 раз каялся, но... что же мне делать, скажите на милость? Если мне присылать в «Осколки» все то, что мне иногда приходится написать за один хороший зимний вечер, то моего материала хватит Вам на месяц. А я, случается, пишу не один вечер, и напisyваю целую кучу. Куда же мне посылать всю эту кучу? От Москвы я откrestился, работаю в ней возможно меньше, а в Питере я знаком только с двумя журналами. Volens polens¹ приходится писать и туда, куда не хотелось бы соваться. Положение хуже губернаторского. Вы сами работали много и понимаете это положение».

Причины, которые заставили Чехова покинуть «Стрекозу», очевидно, кроются в отношении к нему редакции журнала. В «Почтовом ящике» «Стрекозы» за 1880 г. напечатаны следующие ответы Чехову:

1) «Прошение» длинно и натянуто; мелочью мы воспользовались» (№ 7, 17 февраля);

¹ Поневоле (лат.).

2) «Ужасный сон» тем только и ужасен, что невозмутимо повгоряет всем надоевшие темы. Вторую статейку поместим» (№ 10, 9 марта);

3) «Опыт изложения» злоупотребляет очень старым мотивом. Рассказ пойдет: ничего, недурен» (№ 15, 13 апреля);

4) «Очерк подождет до лета» (№ 18, 4 мая);

5) «Портрета» не поместим; он до нас не касается. Вы, очевидно, писали его для другого журнала» (№ 44, 2 ноября);

6) «Очень длинно и бесцветно; нечто вроде белой бумажной ленты, китайцем изо рта вытянутой» (№ 48, 30 ноября);

7) «Не расцвев — увядаете. Очень жаль. Нельзя ведь писать без критического отношения к своему делу» (№ 51, 21 декабря).

Чехов после этих отзывов журнала порвал с ним надолго, и только рассказ «Раз в год» в мае 1883 г. он послал опять в «Стрекозу».

После того как рассказ был напечатан, Лейкин писал Чехову (25 июня): «Прочел я Ваш рассказ в «Стрекозе» и очень жалел, что он не попал в «Осколки». Рассказ — один из лучших Ваших рассказов. Вот видите, теперь я буду ревновать Вас. Ждал от Вас обещанного рассказа «До 29 июня» и не дождался до сих пор. Уж не попал ли и он в «Стрекозу»?»

Однако со «Стрекозой» Чехов действительно так и «не поладил». Поместив в Альманахе «Стрекозы» на 1884 год рассказ «Шведская спичка», Чехов более уже не печатался в этом журнале. Редакция «Стрекозы» желала получать от Чехова лишь «мелкие статейки». В письме от 7 января 1885 г. редактор «Стрекозы» Василевский писал Чехову: «Очень жалею, что Вы, будучи в Петербурге, не удосужились зайти ко мне. Воздав должное Вашему очень милому рассказчицкому таланту, я, вероятно, сумел бы покрепче сблизить Вас со «Стрекозой». Журнал с полным удовольствием пользовался бы Вашим любезным участием, если бы Вы пожелали приноровиться к правилу «Стрекозы» — *pes multum, sed multus*¹. Очень рад буду, если нынешнее мое письмо сослужит обоюдоприятную службу. Рассказ Ваш, к сожалению, отлежав узаконенный срок в конторе, уничтожен. Единственная его слабая сторона была — длина его».

Чехов, очевидно, этими условиями не был удовлетворен.

¹ не многое, но много (большое содержание в немногих словах) (лат.).

СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 27, 2 июля, с подзаголовком *Случай*. Подпись: А. Чехонте. Без подзаголовка включено Чеховым в его сборник «Пестрые рассказы», Спб. 1886; с незначительными изменениями включено во 2-е издание этого сборника (1891) и перепечатано в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899). С небольшими изменениями включено автором в том II собрания сочинений.

Н. Лейкин писал А. П. Чехову 29 июня 1883 г.: «Получил от Вас «Осколки московской жизни», получил рассказ «Смерть чиновника». И то и другое — прелестно».

СУЩАЯ ПРАВДА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 28, 9 июля. Подпись: А. Чехонте.

злой мальчик

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 30, 23 июля, под заглавием «Скверный мальчик», с подзаголовком *Рассказ для маленьких дачников*. Подпись: А. Чехонте. В переработанном виде включено автором в том I собрания сочинений.

При включении в собрание сочинений рассказ подвергся значительной переделке и стилистической правке. Изменено заглавие, устранен подзаголовок, сильно сокращен и изменен текст. Значительно переработан конец «Злого мальчика», который в журнальной редакции изложен так:

«Но в июле счастье улыбнулось влюбленным. Раз за обедом Коля как-то особенно расшалился. Он лепил из хлеба человечков, допивал из рюмок вино, посвистывал. Когда подали вафли, он вдруг захохотал, зажмурил один глаз и спросил Лапкина.

— Сказать? А?

Лапкин и Анна Семеновна опустили глаза. Коля, не дожидаясь ответа, обратился к матери и рассказал. Рассказал при гостях, при прислуге!

— Плыву я, мамаша, смотрю, а они целуются... Хы-хы-хы...

Лапкин страшно покраснел и зажевал вместо вафли сал-фетку. Анна Семеновна вскочила из-за стола и со стыдом бе-

жала в другую комнату. После обеда Лапкин, сконфуженный, провалившийся сквозь землю, подошел к хозяйке и покаялся.

— Я с честными намерениями,— сказал он.— Прошу руки...

Целый час торговалась с ним будущая теща. Женихи нынче дороги, и она согласилась. Получивши согласие, Лапкин побежал в сад и принялся искать Колю. Найдя его, он взревел и схватил его за ухо. За другое ухо схватила Анна Семеновна, тоже искавшая и нашедшая Колю.. Нужно было видеть, какое наслаждение было написано на лицах влюбленных, когда морщился скверный мальчик. Сладка месьт!»

ПРИДАНОЕ

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1883, № 30 (разр. ценз. 6 августа), с подзаголовком *История одной маниш*. Подпись: А. Чехонте. В переработанном виде включено автором в том I собрания сочинений.

Для собрания сочинений рассказ был переработан заново: снят подзаголовок, весь рассказ сильно сокращен (сокращено пространное описание домика в начале рассказа, вместо четырех посещений домика рассказчиком оставлено три и т. д.), произведена стилистическая правка. Вот, например, описание жизни обитателей домика в журнальном варианте рассказа: «Вокруг домика рай земной, в домике же, увы, нет ничего райского. Летом в нем знойно и душно, зимою же жарко, как в бане, и чадно. Вокруг домика кипит и бьет ключом жизнь. Живет зелень, живут веселые птицы. Внутри же нет только мертвецов, чтобы домик можно было назвать мертвецкой: люди живут»; в последней редакции оно выглядит так: «Вокруг домика рай земной, зелень, живут веселые птицы, в домике же,— увы! Летом в нем знойно и душно, зимою — жарко, как в бане, угарно и скучно, скучно...»

ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ КАБАТЧИК

Плач оскудевшего

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 32, 6 августа. Подпись: А. Чехонте. С незначительными изменениями включено в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886.

Стр. 44. «Русь» — славянофильская газета, издававшаяся в Москве в 1880—1886 гг. И. С. Аксаковым (1823—1886).

ДОЧЬ АЛЬБИОНА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 33, 13 августа. Подпись: А. Чехонте. Вошло в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886; с незначительными исправлениями вошло во 2-е издание этого сборника (1891) и перепечатано в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899); включено автором в том II собрания сочинений.

6 августа 1883 г. Чехов писал Н. А. Лейкину: «Посылаю и заметки [«Осколки московской жизни»] и рассказы. Один рассказ («Дочь Альбиона») длинен. Короче сделать никак не мог. Если не сгодится, то благоволите прислать его мне обратно». Н. Лейкин ответил (10 августа 1883 г.): «Рассказ Ваш «Дочь Альбиона» длинноват, но мне нравится, хорошенький рассказ, оригинальный, хотя англичанка и утрирована в своей беззастенчивости».

Стр. 46. *Альбион* — древнейшее название Британских островов.

ПРОТЕКЦИЯ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 35, 27 августа. Подпись: А. Чехонте.

Посылая рассказ, Чехов писал Лейкину в августе 1883 г.: «Настоящий присыл принадлежит к неудачным. Заметки бледны, а рассказ не отшлифован и больно мелок. Есть тема получше и написал бы побольше и получил, но судьба на этот раз против меня. Пишу при самых гнусных условиях» (далее — о тяжелой домашней обстановке, при которой Чехову приходилось работать).

СПРАВКА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 36, 3 сентября, под заглавием «Ошибка». Подпись: А. Чехонте. В исправленном виде включено автором в том I собрания сочинений.

При включении рассказа в собрание сочинений Чехов изменил заглавие, фамилии, вставил сценку разговора со швейцаром, произвел стилистическую правку. Был также значительно переработан конец рассказа. В журнальной редакции он читался так:

«— Так вам что же, собственно говоря?

— Я хотел бы узнать, на каком таком основании наследники княгини Гугулиной...

— Так-с... Очень хорошо-с! Но вы ошиблись! Вы не к тому столу подошли! Пожалуйте вот к тому столу, к господину Белобрысову! Это к им относится! А я ничего не знаю-с!

И чиновник, приподнявшись, указал на стол, за которым сидел рыжий человек с красным лицом и нафабранными усами.

— Могу ли я,— начал Волдырев, подойдя к Белобрысову,— навести справку о...

— Посылали Семена на почту? — крикнул куда-то в сторону Белобрысов.— На почту послали, а пакеты тут лежат! Народ, посмотришь!

Белобрысов сердито рванул бумагу, вскочил и побежал за чем-то в переднюю».

ОТСТАВНОЙ РАБ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 37, 10 сентября. Подпись: А. Чехонте. Включено в первое издание сборника Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886; с незначительными исправлениями вошло во 2-е издание этого сборника (1891) и перепечатано в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899).

Рассказ Чехов предполагал включить в собрание сочинений, однако потом передумал. В Отделе рукописей Всесоюзной государственной библиотеки имени В. И. Ленина (ЛБ) хранятся гранки рассказа, перечеркнутые Чеховым, с его пометой: «Рассказ «Отставной раб» — исключить». Текст в гранках несколько отличается от текста 14-го издания сборника. В настоящем издании рассказ печатается по гранкам.

По письму Н. А. Лейкина к Чехову от 8 сентября 1883 г. можно судить, что рассказ был значительно урезан цензурой: «Не удивляйтесь, что рассказ Ваш «Отставной раб» и «Московская жизнь» являются в № 37 урезанными. Это не редакторская длань, а цензорская...»

ДУРА, ИЛИ КАПИТАН В ОТСТАВКЕ *Сценка из несуществующего водевиля*

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 38, 17 сентября. Подпись: А. Чехонте.

В ЛАНДО

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 39, 24 сентября. Подпись: А. Чехонте.

1 октября 1883 г. Лейкин сообщил Чехову, что он изменил конец рассказа: «Простите также, что в рассказе Вашем «В ландо» я урезал конец. Не буду врать. Это не цензор, а я. Урезал я также не потому, чтобы рассказ был длинен для «Осколков». Нет. Но мне казалось, что барон в натуре не станет так разговаривать с лакеем, да и лакей не станет так отвечать. Мне казалось это деланным, казалось, что конец портит прекрасное начало. Урезав конец, сделал я это не без зрелого размышления, даже посоветовавшись с одним из собратьев по перу».

Стр. 63. ...панхида по Тургеневе...— Смерть И. С. Тургенева (3 сентября 1883 г.) вызвала широкий отклик на страницах печати. 19 сентября 1883 г. Чехов писал Лейкину: «Посылаю Вам «В ландо», где дело идет о Тургеневе».

Краевский Андрей Александрович (1810—1889) — издатель и журналист.

Ришпен Жан (1849—1926) — французский писатель, в семидесятые — восьмидесятые годы выступал с анархическим протестом против буржуазной морали. Позднее — выразитель мещанских вкусов и настроений.

ОСЕНЬЮ

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1883, № 37 (разр. ценз. 24 сентября). Подпись: А. Чехонте. С небольшими изменениями вошло в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886.

В 1885 г. Чехов переделал рассказ в драматический этюд в одном действии «На большой дороге» (см. том 9 наст. изд.), который был запрещен цензурой.

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 40, 1 октября. Подпись: А. Чехонте. С изменениями вошло в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886. С новыми исправлениями включено автором в том I собрания сочинений.

При включении рассказа в сборник Чехов внес в характеристики действующих лиц существенные изменения: в журнальной редакции заискивающее поведение «тонкого» в основном вызывается начальственным окриком «толстого», а в тексте сборника пресмыкательство является чертой характера «тонкого», свойством его рабской природы. Приводим конец рассказа в журнальной редакции:

«— Пробавляемся кое-как. Служил в департаменте «Предисловий и Опечаток», а теперь сюда переведен секретарем по тому же ведомству... Здесь буду служить. Начальник, говорят, скотина, ну, да черт с ним!.. Уживусь как-нибудь. Однофамилец он твой. Ну, а ты как? Небось уж статский? А?

— Тэк-с... Так это вы, стало быть, секретарем ко мне назначены? — сказал басом толстый, надувшись вдруг, как индейский петух.— Поздно, милостивый государь, на службу являться... Поздно-с...

— Вв... вы? Это вы?.. Я, ваше превосходительство..

Тонкий вдруг побледнел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой... Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длинней; Нафанаил вытянулся во фронт и инстинктивно, по рефлексу, застегнул пуговки своего мундира...

— Я, ваше превосходительство.. Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и в такие магнаты-с! Хи-хи-с..

— Не следует опаздывать-с...

— Извините-с, ваше-ство, не мог к сроку прибыть-с, потому жена вот была больна... Луиза вот... лютеранка...

— Надеюсь, милостивый государь,— сказал толстый, подавая тонкому руку.— Надеюсь... Прощайте... Завтра на службу прошу...

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал. Жена улыбнулась... Нафанаил шаркнул ногой и уронил шапку. Все трое были приятно ошеломлены.

При включении «Толстого и тонкого» в собрание сочинений Чехов внес в рассказ стилистические исправления.

ТРАГИК

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 41, 8 октября, с подзаголовком *Историйка*. Подпись: А. Чехонте. В исправленном виде и без подзаголовка вошло в сборник Чехова «Сказки Мельпомены», М. 1884. Включено автором в том II собрания сочинений.

Подготавливая рассказ для собрания сочинений, Чехов сделал много стилистических исправлений, заменил некоторые фамилии (Гемофилов стал Феногеновым, Спичкин — Сидорецким). Были внесены изменения также и в характеристики героев. На-

пример, в сборнике было: «Скоро, однако, Маша узнала адрес трупы, изменила мужу, чтобы заработать денег на дорогу, и поехала к Гемофилову». Стало: «...но Маша узнала и прибежала на вокзал после второго звонка, когда актеры уже сидели в вагонах». Было: «Боже мой, как я счастлива! — простонала она. На этот раз она была счастлива. Первый раз за все время своего замужества она была так близка к своему малороссу. Ранее же не было не только объятий, но ни ласкового слова, ни хорошего взгляда.— Боже мой, как я счастлива! — повторила Маша, прижимаясь к мужу». Стало: «Пожалейте меня! — прошептала она ему на ухо.— О, пожалейте меня! Я так несчастна!»

Рассказ был послан в «Осколки» задолго до его напечатания Чехов еще в начале августа 1883 г. запрашивал Лейкина: «Какова судьба моего «Трагика»? Неплохой рассказ вышел бы, если бы не рамки... Пришлось сузить даже самую суть и соль... А можно было бы и целую повесть написать на эту тему». О причинах задержки с печатанием известно из писем Лейкина к Чехову: «Вы спрашиваете о судьбе Вашего «Трагика». Рассказ набран, пропущен цензурой и пойдет в № 33, если Вы к тому времени пришлете еще какой-нибудь рассказец. Дело в том, что при ужасных цензурных условиях я всегда должен иметь у себя запасной набор. Вот я и берегу «Трагика». Иначе может случиться, что и номер не выйдет. Бывает так, что цензор херит $\frac{1}{3}$ посылаемого к нему» (4 августа 1883 г.). «Бога ради не смущайтесь тем, что я не печатаю Ваш рассказ «Трагик». Рассказ прелестен, но великоват, и я все никак не могу его втиснуть» (1 октября 1883 г.).

Из писем Лейкина видно, что он задерживал печатание рассказов еще и потому, что распределял их по сезонно-календарному признаку. Так, в письме от 1 октября 1883 г. он писал Чехову: «Трагик» набран и лежит в наборе. Теперь разгар театрального сезона, рассказ является рассказом à propos¹, и я его непременно помещу в октябре месяце».

ДОЧЬ КОММЕРЦИИ СОВЕТНИКА
Роман

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 42, 15 октября. Подпись: А. Чехонте.

Стр. 81. «Лев и Солнце» — персидский орден.

¹ кстати (*франц.*).

Стр. 83. «Гражданин» — крайне реакционная литературно-политическая газета-журнал. Издавалась в Петербурге в 1882—1914 гг. князем В. П. Мещерским.

ОПЕКУН

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 43, 22 октября. Подпись: А. Чехонте.

ЗНАМЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 43, 22 октября. Подпись: Человек без селезенки.

В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 44, 29 октября. Подпись: А. Чехонте. С небольшими стилистическими исправлениями и с некоторыми добавлениями включено автором в том I собрания сочинений.

ИЗ ДНЕВНИКА ОДНОЙ ДЕВИЦЫ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 44, 29 октября. Подпись: Человек без селезенки.

В МОРЕ

Рассказ матроса

Впервые напечатано в журнале «Мирской толк», 1883, № 40, 29 октября, без подзаголовка. Подпись: А. Чехов. В переработанном виде и под заглавием «Ночью» напечатано в альманахе «Северные цветы», изд. «Скорпион», М 1901. С новыми стилистическими исправлениями и с подзаголовком включено Чеховым в том XII собрания сочинений, изд. 1903 г.

В журнальной редакции рассказ «В море» пародировал переводной «морской» рассказ. Подготавливая рассказ для альманаха, Чехов значительно переработал его, снял пародийный тон. Вот пример работы Чехова над текстом рассказа. В журнальной редакции было: «— Сегодня, мальчишка, мы с тобой счастливы,— сказал он мне, кривя улыбкой свой мускулистый, беззубый рот.— Знаешь что, сын? Мне сдается, что когда мы

бросали жребий, за нас на том свете молилась твоя мать, а моя жена! Ха! ха! — Мою мать ты можешь оставить в покое! — сказал я. По телу отца пробежала судорога. Он нетерпеливо топнул ногой и спросил, который час. Было только одиннадцать часов. До вождяленного часа оставалась целая вечность. Чтобы укоротить время, мы сели пить. Водку мы пьем, как воду, и — странное дело — природа смеется над нами. От водки наши мускулы делаются тверже и крепче, а несдерживаемые страсти не ослабляют нас. Напротив, они делают нас тиграми». Во второй редакции это место читалось уже так: «— Сегодня, мальчишка, мы с тобой счастливы, — сказал он мне. — Слышишь, мальчишка? Счастье в одно время выпало тебе и мне. Это что-нибудь да значит! — Он нетерпеливо спросил, который час. Было только одиннадцать».

При включении рассказа в собрание сочинений Чехов его вновь значительно выправил. Были сняты, например, фразы: (после слов «Дул холодный, сырой ветер») — «Он бил по лицам и насквозь пронизывал наши куртки. Ждали дождя и удивлялись, отчего его нет так долго...»; (после слов «Новобрачная... не отрывала... глаз от его белокурой головы») — «Не мне описывать ее лицо. Оно казалось мне неземным»; (после слов «...а я пожирал глазами ее лицо») — «Я читал на ее лице, если только способен грубый, каменный человек читать на лицах, таких прекрасных лицах!» В тексте собрания сочинений к фразе «Раздавался громкий, пьяный смех нашей братии» было добавлено: «слышались прибаутки, кто-то для потехи пел петухом». Некоторые фразы и отдельные слова Чехов заменил. Так, вместо фразы в альманахе «Они будут говорить до утра, чтобы черт их побрал! — проворчал отец» — стало: «Черрт, меня укусила крыса! — проворчал отец»; вместо: «Она в отчаянии ломала руки...» — стало: «Она стояла неподвижно и думала...» Стилистически исправил текст. Например: вместо «Англичанин-банкир вынул из кармана пачку банковых билетов и подал их пастору» — стало: «Англичанин-банкир вынул из кармана какую-то пачку, быть может пачку банковых билетов, и подал пастору»; вместо «...где уже начиналась настоящая осенняя буря» — стало: «...где уже шел настоящий осенний дождь...»

В одном из писем Чехов говорит о неряшливой работе издателей альманаха и о той рекламе, которая предшествовала его участию в этом издании: «От «Скорпиона» получил корректуру, но в крайне неряшливом виде, с одной копеечной маркой,

так что пришлось штраф платить; публикует «Скорпион» о своей книге тоже неряшливо, выставляя меня первым,— и я, прочитав это объявление в «Русских ведомостях», дал себе клятву больше уж никогда не ведаться ни со скорпионами, ни с крокодилами, ни с ужами» (И. А. Бунину, 14 марта 1901 г.).

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 45, 5 ноября. Подпись: А. Чехонте.

Стр. 97. *...насаживали из «Мадам Анго».*— Имеется в виду оперетта французского композитора Шарля Лекока «Дочь мадам Анго» (1872).

В МОСКВЕ НА ТРУБНОЙ ПЛОЩАДИ

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1883, № 43 (разр. ценз. 5 ноября), под заглавием «В Москве на Трубе». Подпись: А. Чехонте. В исправленном виде включено автором в том II собрания сочинений.

При включении в собрание сочинений Чехов изменил заглавие и начало рассказа, стилистически исправил текст, дописал новый конец. В журнальной редакции рассказ заканчивался так: «Про щеглят и снегирей он готов говорить по целым часам, а о зайцах иначе и не говорит, как выпучив глаза и сильно размахивая руками. Он поэт. Летом, вероятно, он перепелов на дудочку ловит и рыбку удит. Хороший тип!»

Первоначально Чехов предполагал поместить рассказ в «Осколках», что видно из его письма Н. А. Лейкину от 19 сентября 1883 г.: «...Посылаю Вам... «В Москве на Трубе». Последний рассказ имеет чисто московский интерес. Написал его, потому что давным-давно не писал того, что называется легенькой сценкой». Однако рассказ не был напечатан Лейкиным. «Чувствую, что Вы на меня будете сердиться,— писал Лейкин Чехову,— но рассказец Ваш «В Москве на Трубе» принужден возвратить Вам и прилагаю его при сем. Видите ли: он имеет чисто этнографический характер, а такие рассказы для «Осколков» не идут» (1 октября 1883 г.).

КЛЕВЕТА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 46, 12 ноября. Подпись: А. Чехонте. С незначительными исправлениями включено в сборник «Пестрые рассказы», Спб. 1886. С про-

пуском начальной фразы («Было весело, приятно и радостно») вошло во 2-е издание этого сборника (1891) и повторено в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899). С дополнительными мелкими исправлениями включено автором в том II собрания сочинений.

ОН ПОНЯЛ

Впервые напечатано в журнале «Природа и охота», 1883, т. IV, ноябрь (разр. ценз. 3 декабря), с подзаголовком *Этюд*. Подпись: А. Чехов. С незначительными исправлениями включено Чеховым в его сборник «Пестрые рассказы», Спб. 1886.

В книжном шкафу в кабинете Чехова (Ялта) хранится экземпляр номера журнала с карандашными и чернильными авторскими исправлениями, видимо сделанными перед включением рассказа в сборник.

Вначале рассказ предназначался для помещения в Альманахе журнала «Стрекоза» на 1884 год, но был возвращен редактором Ип. Василевским, который писал Чехову (5 августа 1883 г.): «Присланный Вами этюд «Он понял» действительно не совсем подходит для «Альманаха». Очерк почти лишен юмористического характера, и его несложная фабула не соответствует относительно значительному объему. Для сборника нужно что-нибудь забавно задуманное и более тщательно в литературном отношении выработанное». Вместо возвращенного рассказа Чеховым был написан рассказ «Шведская спичка». Позднее Чехов послал рассказ «Он понял!» в журнал «Природа и охота», откуда получил следующий ответ редакции (23 октября 1883 г.): «Картинка Ваша «Он понял» найдена редакцией вполне подходящей для журнала и очень хорошенькой, так что мы с удовольствием напечатали бы ее, если б Вы отдали ее нам бесплатно. Средства журнала так еще ограничены, что мы можем платить только за фундаментальные статьи, дающие какие-либо сведения, Ваша же статья — хорошенькая игрушечка или пирожное: мы, конечно, не прочь полакомиться, но лишь в том случае, когда лакомство даровое».

Стр. 113. *Вильгельм Телль* — герой швейцарской народной легенды, меткий стрелок из лука.

СБОРНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 49, 50 (3, 10 декабря). Подпись: А. Чехонте.

Впервые напечатано в Альманахе «Стрекозы» на 1884 год, изд. журнала «Стрекоза» (разр. ценз. 5 декабря 1883 г.), с иллюстрациями. Подпись: А. Чехов. С небольшими изменениями включено Чеховым в его сборник «Пестрые рассказы», Спб. 1886. С новыми исправлениями включено автором в том II собрания сочинений.

Рассказ был написан Чеховым для Альманаха по предложению редактора «Стрекозы» Ип. Василевского. В письме от 18 июля 1883 г. он писал Чехову: «Довольно значительный объем сборника позволяет мне принимать в нем к напечатанию вещи относительно крупные, доходящие по своим размерам до половины печатного листа. Само собою разумеется, что от статей, предназначенных для «Альманаха», требуется известная цельность, законченность и возможно тщательная отделка по отношению к форме». О строгих требованиях к литературным достоинствам рассказов для Альманаха Василевский писал Чехову еще раз (27 июля 1883 г.): «Что касается «Альманаха», то он, будучи иллюстрированным, будет и подцензурным. Заготавливая рассказ для него, благоволите обратить внимание на тщательную отделку его в литературном отношении». Чехов, приняв предложение участвовать в сборнике, вначале послал рассказ «Он понял!», который, однако, был ему возвращен редакцией как не подходящий к характеру сборника (см. прим. к рассказу «Он понял!» — стр. 560), после чего им был послан рассказ «Шведская спичка». Получив рассказ, редактор ответил Чехову (22 августа 1883 г.): «Присланный Вами рассказец будет помещен в «Альманахе». Редакция была бы обязана, если бы Вы участили свое сотрудничество в журнале высылкою преимущественно небольших сцен и очерков». О своем рассказе Чехов писал Лейкину (19 сентября 1883 г.): «Недавно я искусился. Получил я приглашение от Буквы [Ип. Василевский] написать что-нибудь в «Альманах Стрекозы»... Я искусился и написал крупнейший рассказ в печатный лист. Рассказ пойдет. Название его «Шведская спичка», а суть — пародия на уголовные рассказы. Вышел смешной рассказ».

Мысль написать пародию на уголовный рассказ могла возникнуть у Чехова в связи с увлечением многих современных ему газет уголовными романами и рассказами. Этого вопроса Чехов

касался в одном из своих фельетонов (журнал «Осколки», 1884, № 47, «Осколки московской жизни». См. прим. к «Драме на охоте», стр. 584).

Стр. 131. *Нана* — героиня одноименного романа (1880) французского писателя Эмиля Золя.

Стр. 140. *Габорио* Эмиль (1835—1873) — французский писатель, автор уголовных романов «Дело Леруж», «Лекок, агент сыскальной полиции», «Петля на шее» и др. Многие романы Габорио переведены на русский язык.

Стр. 144. *Гладстон* Уильям (1809—1898) — английский политический и государственный деятель.

В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1883, № 50 (разр. ценз. 22 декабря), с посвящением М. П. Чеховой, сестре писателя. Подпись: А. Чехонте. Без посвящения и с небольшими исправлениями и сокращениями вошло в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886.

Рассказ, по-видимому, был дан журналу «Будильник» в ответ на просьбу редактора А. Курепина (10 декабря 1883 г.): «Редакция «Будильника» надеется, что Вы не забыли свое обещание — дать что-нибудь хорошенькое для декабрьских номеров (их остается только два). Чем скорее, тем лучше бы. Да и вообще не забывайте «Будильник». Кто бы ни заправлял им, но если он не изменится в худую сторону, — он заслуживает всякой поддержки. Не вдохновят ли Вас святки или Новый год?»

ЛИБЕРАЛ

Новогодний рассказ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 1, 7 января. Подпись: А. Чехонте.

Посылая рассказ, Чехов писал Н. А. Лейкину (31 декабря 1883 г.): «И заметки [фельетон «Осколки московской жизни»] длинные, и новогодний рассказ длинен — каюсь. Но.. ради того, что новогодний номер должен быть отменно хорош, прошу Вас на сей раз не поцеремониться и сократить, елико возможно. Сам я не взялся сокращать; Вам виднее, что идет к делу, что лишнее». Н. Лейкин отвечал Чехову (5 января 1884 г.): «Статьи, как московское обозрение, так и рассказ Ваш сократил. Нельзя

было не сокращать, слишком много срочных новогодних статей накопилось, таких статей, которые непременно должны идти в № 1. № 1 полуторный, а и то в нем они еле-еле уместились...» Лейкиным было дано и название рассказу, что видно из его слов в том же письме: «...В рассказе Вашем я переменял заглавие и назвал рассказ: «Либерал». Так короче и лучше».

ОРДЕН

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 2, 14 января. Подпись: А. Чехонте. Без изменений вошло в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886. С некоторыми сокращениями вошло во 2-е издание этого сборника (1891) и перепечатано в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899). С дополнительными незначительными стилистическими изменениями и сокращениями включено автором в том II собрания сочинений.

75 000

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1884, № 2 (разр. ценз. 13 января). Подпись: А. Чехонте.

Стр. 163. *Хохлов* Павел Акинфиевич (1854—1919) — известный оперный певец.

Плевако Федор Никифорович (1843—1908) — адвокат, выдающийся судебный оратор.

Неклюжев — действующее лицо в комедии А. И. Пальма (1823—1885) «Наш друг Неклюжев» (1879).

КОМИК

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 4, 28 января. Подпись: А. Чехонте. Без изменений вошло в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886.

МЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ

Впервые напечатано в журнале «Русский сатирический листок», 1884, № 4, 2 февраля. Подпись: Анче.

ВАНЬКА

Впервые напечатано в журнале «Русский сатирический листок», 1884, № 5, 9 февраля. Подпись: А. Чехонте.

РЕПЕТИТОР

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 6, 11 февраля, с подзаголовком *Сценка*. Подпись: А. Чехонте. Без подзаголовка вошло в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886. С небольшими стилистическими исправлениями включено автором в том I собрания сочинений.

НА ОХОТЕ

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1884, № 6 (разр. ценз. 11 февраля), под заглавием «Дядюшка и собака», с подзаголовком *По случаю выставки собак*. Подпись: А-н Ч-те.

В Полном собрании сочинений и писем А. П. Чехова, по которому печатается рассказ, был воспроизведен текст набранных для прижизненного собрания сочинений гранок, правленных Чеховым и хранившихся, как указано в комментарии к 3 тому (М. 1946, стр. 581), в ЦГАЛИ. При подготовке настоящего издания гранки эти не обнаружены.

О, ЖЕНЩИНЫ, ЖЕНЩИНЫ!..

Впервые напечатано в газете «Новости дня», 1884, № 45, 15 февраля. Подпись: Анче.

В воспоминаниях брата писателя, М. П. Чехова, говорится, что Чехов как-то задумал водевиль «Бритый секретарь с пистолетом», для чего должен был сочинить бездарное стихотворение, в котором несколько раз повторялось бы слово «стремглав» (М. П. Чехов, Антон Чехов, театр, актеры и «Татьяна Репина», Пг. 1924, стр. 8—9). Из этого стихотворения воспроизведены в настоящем рассказе четыре первых стиха. Первое четверостишие в рассказе совпадает с началом стихотворения «Последнее прости», которое было послано Чеховым Е. И. Юношевой 2 ноября 1883 г. в виде письма (см. оба стихотворения во 2 томе Полного собрания сочинений и писем А. П. Чехова, М. 1946, стр. 494—495).

НАИВНЫЙ ЛЕШИЙ

Сказка

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 7, 18 февраля. Подпись: Человек без селезенки.

По поводу этого рассказа Чехов писал Лейкину (середина февраля 1884 г.): «В сказке я упоминаю про наш Воспитательный дом. В нем ревизия. Происходит нечто скандальное. Под-

чиненным тошно от начальства — суть в этом. Попросите И. Грэка в одной из его мелочишек коснуться слегка, упомянуть... Большая злоба дня!»

Стр. 186. *«Вестник Европы»* — русский ежемесячный журнал либерального направления. Издавался в 1866—1918 гг. в Петербурге.

СОН РЕПОРТЕРА

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1884, № 7 (разр. ценз. 18 февраля), под заглавием «Французский бал», с подзаголовком *Сонная фантазия*. Подпись: А. Чехонте.

В Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский дом) хранятся гранки рассказа, набранные для собрания сочинений. В гранках Чехов изменил заглавие и подправил рассказ: выбросил три фразы (такие, например, как «и чувствовал в области желудка нечто похожее на бескорыстную, платоническую любовь», «роскошь ужасная»), дописал последнюю фразу. Однако в собрание сочинений «Сон репортера» включен не был. Значительной правке рассказ был подвергнут также еще до набора его для собрания сочинений, так как текст гранок сильно отличается по стилю от текста журнальной редакции. Кроме того, в журнальной редакции рассказа упоминались фамилии московских журналистов, что подчеркивало его газетно-злободневный характер, — в тексте гранок эти фамилии уже отсутствуют. В настоящем издании полностью воспроизведен текст гранок.

Рассказ написан на злободневную тему, причем Чехов использовал афишу, помещенную в газетах (объявление в газете «Новости дня», 1884, № 42, 12 февраля): «...17 февраля... в пользу французского благотворительного общества дан будет комитетом этого общества... большой костюмированный бал-паре... Залы будут богато убраны цветами, растениями, эмблемами и проч. Большое аллегри, в состав выигрышей которого войдет большое количество ценных предметов. Главный выигрыш: ваза северского фарфора, дар президента Французской республики». О бале, устраиваемом французским благотворительным обществом, Чехов писал также в одном из своих фельетонов «Осколки московской жизни» («Осколки», 1884, № 1).

Стр. 189. *Стенли* Генри Мортон (1841—1904), *Ливингстон* Давид (1813—1873) — английские путешественники, исследователи Африки.

ПЕВЧИЕ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 8, 25 февраля. Подпись: А. Чехонте. Без изменений вошло в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886, и повторено в его переизданиях 2—14 (1891—1899). С незначительными исправлениями включено автором в том III собрания сочинений.

Стр. 194. *Бортнянский* Дмитрий Степанович (1751—1825) — композитор. Большое внимание уделял созданию культовой хоровой музыки. Стиль его произведений считался образцовым для русского церковного пения.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 10, 10 марта, с подзаголовком *Копия*. Подпись: А. Чехонте. Включено автором в том I собрания сочинений.

Для собрания сочинений Чехов переработал рассказ: заменил некоторые фамилии, снял вульгаризмы, вставил новую запись: «Катенька, я вас люблю безумно!» После этой записи в собрании сочинений даны завершающие рассказ запись начальника станции и ответ на нее: «Хоть ты и седьмой, а дурак», — которые в журнальной редакции находились в середине рассказа, после подписи: «Конторщик Самолучшев». Выброшены фразы, следовавшие после записи «Никандров социалист!»: «Неправда, я не социалист. Ты сам, сволочь, социалист. Меня все знают, и я в высших учебных заведениях не обучался. Никандров».

ДВА ПИСЬМА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 10, 10 марта. Подпись: Человек без селезенки. Вошло в дополнительный, XIX том второго издания собрания сочинений А. П. Чехова, Спб. 1911, составленный из произведений, не включенных Чеховым в прижизненное собрание сочинений. Текст рассказа в этом томе имеет небольшие стилистические отличия от журнального текста и, очевидно, набирался по не дошедшему до нас оригиналу.

PERPETUUM MOBILE

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 11, 17 марта, с подзаголовком *Рассказ*. Подпись: А. Чехонте. В переработанном виде и без подзаголовка включено автором в том II собрания сочинений.

ЧТЕНИЕ

Рассказ старого воробья

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 12, 24 марта, под заглавием «Осторожней с огнем!», с подзаголовком *Рассказ «старого воробья»*. Подпись: А. Чехонте. С небольшими стилистическими исправлениями, с новым заглавием и заменой некоторых фамилий включено автором в том I собрания сочинений.

ТРИФОН

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 13, 31 марта. Подпись: А. Чехонте. С незначительными изменениями вошло в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886.

Стр. 215. *«И не жаль мне прошлого ничуть»* — из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

МАРЬЯ ИВАНОВНА

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1884, № 13 (разр. ценз. 31 марта). Подпись: А. Чехонте. В Полном собрании сочинений и писем А. П. Чехова, по которому печатается рассказ, был воспроизведен текст гранок, значительно правленных Чеховым и хранившихся, как указано в комментарии к 3 тому (М. 1946, стр. 585), в ЦГАЛИ. При подготовке настоящего издания гранки не обнаружены.

ГОВОРИТЬ ИЛИ МОЛЧАТЬ

Сказка

Рассказ при жизни А. П. Чехова опубликован не был. В Полном собрании сочинений и писем А. П. Чехова, по которому печатается рассказ, воспроизведен текст гранок, хранившихся, как указано в комментарии к 3 тому (М. 1946, стр. 604), в ЦГАЛИ. При подготовке настоящего издания гранки эти не обнаружены.

Чехов предполагал опубликовать рассказ в журнале «Осколки», куда он и был послан. Однако 11 апреля 1884 г. Н. А. Лейкин писал Чехову: «Мелочишки недурны, но боюсь, что одна из них, о Крюгере и Смирнове, пожалуй, не пройдет сквозь горнило цензуры. Крепко поналегли на нас в последнее время; поналегли и давят, душат». И цензура, действительно,

не пропустила рассказ. В письме от 20 апреля 1884 г. Н. А. Лейкин сообщает: «В этот же посыл захерена и Ваша блесточка, очень хорошенькая, «Говорить или молчать», корректуру которой при сем препровождаю для сохранения на память. Я, кажется, предсказывал Вам, что этот рассказ не пройдет. Так и вышло»

Цензор объяснял запрещение рассказа тем, что в нем «наша внутренняя государственная жизнь представлена в крайне безобразном виде» (Центральный государственный исторический архив в Ленинграде — ЦГИАЛ).

ГОРДЫЙ ЧЕЛОВЕК

Рассказ

Впервые напечатано с двумя иллюстрациями в газете «Московский листок», 1884, № 112, 24 апреля. Подпись: А. Чехов.

АЛЬБОМ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 18, 5 мая. Подпись: А. Чехонте. Включено автором в том I собрания сочинений. В тексте собрания сочинений Чехов провел стилистическую правку и исключил характеристики, которые начальник дает своим подчиненным. Приводим эти характеристики:

«— Ты, папка, отдай мне этот альбом... Слышишь? Я его спрячу... Такой хорошенький... А это кто такой худой?

— Это? Это тот.. Кратеров... Вот, господа... Человек он ничего себе, трудящийся, но... не выношу! Не знаю, отчего я его не выношу... не лежит сердце, да и только! Странный у меня характер!

— А это кто с орденом? Какой смешной! Глядит, словно выстрелить хочет! Ха-ха! Вот тип...

— Это мой верный Закусин... правая рука Ведь вот, господа! Человек хороший, нравственный, набожный... в глазах уважение, а пропащий! Совсем пропащий! Пьет, извините, как сапожник! Бьюсь, бьюсь с ним и ничего не поделаю. Придется уволить беднягу!

— А у этого вот умное лицо... Вероятно, образован...

— Пиндеев образован? Ха-ха!! Это такая фекла, прости господи, что и двух слов связать не может... Человек ничего себе, смирный, но... не выношу!

— А у этого какая длинная шея! Как у лебедя! И глаза выпучил!

— С этим не шутите-с! Это Ещоткин... Т-тип! Хе-хе-хе... Рожца-то у него предательская, но ничего себе, сносен. Я вечно над ним посмеиваюсь... Чудак такой! «Как это ты, говорю, Ещоткин, на собственной лошадке умудряешься ездить, ежели ты только 16 р. 43 коп. получаешь?» Ничего, не сердится. Около трехсот, шельма, зарабатывает. Что значит за недоимочным столом сидеть! Много значит! А вот это, господа, Пантелеев... Представьте себе: кончил в университете, говорит на двенадцати языках... фокусы разные знает, а глуп! Ужасно глуп! Вечно молчит, надутый такой, людей сторонится... Надо будет его встряхнуть немножечко... Ну-с... Унеси, Олечка, альбом... Тут больше никого уж нет... Все неинтересные... Тля... Унеси, милочка».

САМООБОЛЬЩЕНИЕ

Сказка

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 20, 19 мая. Подпись: Человек без селезенки.

ДАЧНИЦА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 22, 2 июня. Подпись: А. Чехонте. С незначительными изменениями включено в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886.

С ЖЕНОЙ ПОССОРИЛСЯ

Случай

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 23, 9 июня. Подпись: А. Чехонте.

БРОЖЕНИЕ УМОВ

Из летописи одного города

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 24, 16 июня, с подзаголовком *Клочок из летописи города Нищегладска*. Подпись: А. Чехонте. С исключением двух фраз вошло в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886. С подзаголовком *Из летописи одного города* и стилистическими исправлениями включено автором в том I собрания сочинений.

Стилистически исправляя рассказ, Чехов устранил ругательства Акима Данилыча, а также вульгаризмы («ежели», «отседа», «покеда», «акроме» и т. п.).

Предназначенный для журнала «Осколки» рассказ сначала был назван «Волнение умов», но под таким заглавием не был пропущен цензором, о чем Н. Лейкин сообщал Чехову (18 июня 1884 г.): «В рассказе «Волнение умов» цензор везде выхерил слово «волнение», а потому в одном месте, чтобы был смысл, я вставил «брожение умов», вставил уже на свой риск, после получения подписанной корректуры, и ничего, прошло, номер вышел». Кроме этой замены, Лейкин вставил в конце рассказа в письме Акима Данилыча после слов «...Столько я вынес за сей день, что и описать не могу» — фразу: «И ведь все из-за стаи скворцов вышло». Очевидно, на запрос Чехова по этому поводу Лейкин писал (22 июня 1884 г.): «Это нужно было сделать. Только благодаря ей и рассказ был дозволен к печати. Надо было выяснить, что из-за скворцов. Иначе было непонятно. Да и заглавие «Брожение умов» вводило в заблуждение. Иначе б можно было думать, что скворцы сами по себе, а брожение умов само по себе, что толпа собралась вовсе не из-за скворцов, а из-за чего-то другого. Я искал место, где бы можно было вклеить эту фразу, кроме письма, но при всем моем навыке к отыскиванию мест, такого подходящего места не оказалось, иначе бы пришлось переделывать весь разговор толпы».

Вставленная Лейкиным фраза была снята Чеховым при перепечатке рассказа в сборнике.

ВОДЕВИЛЬ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 26, 30 июня. Подпись: А. Чехонте.

Стр. 245. *Иродиада* — по библейской легенде, иудейская царица, известная своей безнравственностью и жестокостью.

ЭКЗАМЕН НА ЧИН

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 28, 14 июля, с подзаголовком *Рассказ*. Подпись: А. Чехонте. Без подзаголовка вошло в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886. В стилистически исправленном виде включено автором в том I собрания сочинений.

При включении в собрание сочинений Чехов произвел стилистическую правку, изменил причину назначения экзаменов и исключил из рассказа угрозы Галкина Фендрикову. В тексте сборника вместо фразы «Он строго посмотрел на Фендрикова и прошел дальше» (о Галкине) было: «Ужо промою я тебя щелоком! — пригрозил он Фендрикову, пробегая.— Я тебя заезжу, почтовая крыса! Будешь ты у меня вежливо с публикой обращаться!»

Фендриков побледнел и умоляющими глазами поглядел на Пивомедова.

— Наплюйте... Он шутит...— успокоил тот.

Но и это успокоение было непродолжительным».

Чехов, живший летом 1884 г. в г. Воскресенске (Московской губернии), писал Н. Лейкину 25 июня 1884 г. о рассказе, жалующься на ограничения со стороны редакции в отношении размера: «Первый дачный блин вышел, кажется, комом. Во-первых, рассказ плохо удался. «Экзамен на чин» милая тема, как тема бытовая и для меня знакомая, но исполнение требует не часовой работы и не 70—80 строк, а побольше... Я писал и то и дело херил, боясь пространства. Вычеркнул вопросы экзаменаторов-уездников и ответы почтового приемщика — самую суть экзамена». И далее об источнике темы для рассказа: «...Вечером же хожу на почту к Андрею Егорычу [воскресенский почтмейстер] получать газеты и письма... Андрей Егорыч дал мне тему для рассказа «Экзамен на чин».

Стр. 249. *Саул* — первый царь Израильско-Иудейского царства (XI в. до н. э.). Библейская легенда повествует о длительной борьбе за власть между Саулом и жрецами.

РУССКИЙ УГОЛЬ *Правдивая история*

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 30, 28 июля. Подпись: А. Чехонте. Без изменений включено в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886.

ХИРУРГИЯ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 32, 11 августа, с подзаголовком *Сценка*. Подпись: А. Чехонте. Без подзаголовка и с небольшими исправлениями в пунктуации вошло в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886, и повторено

в последующих, 2—14, его изданиях (1891—1899). С исключением нескольких слов вошло в том II собрания сочинений.

О происхождении сюжета рассказа говорит брат писателя, М. П. Чехов. Во время пребывания в г. Воскресенске Чехов часто бывал в земской больнице, где работал известный врач П. А. Архангельский. Здесь Чехов наблюдал случай, аналогичный изображенному им в «Хирургии», когда неопытный студент-практикант, заменявший врача, не смог вырвать у больного зуб и только сломал коронку. Пациент выругался и ушел (М. П. Чехов, Антон Чехов и его сюжеты, М. 1923, стр. 29). По другим воспоминаниям (Н. Тан-Богораз, На родине Чехова. В книге «Чеховский юбилейный сборник», изд. Учительского дома, М. 1910, стр. 486), в основу рассказа положен случай из таганрогской жизни. Отмечалось также, что в гимназические годы одной из излюбленных импровизаций Чехова было изображение зубного врача. Роль пациента исполнял брат А. П. Чехова Александр. Чехов вооружался щипцами для углей, и начиналась «операция», вызывавшая хохот зрителей.

НЕВИДИМЫЕ МИРУ СЛЕЗЫ

Рассказ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 34, 25 августа. Подпись: А. Чехонте.

Стр. 264. «*Нива*» — еженедельный иллюстрированный журнал, издававшийся в Петербурге в 1870—1918 гг. А. Ф. Марксом. В приложениях к журналу давались собрания сочинений русских и иностранных классиков литературы, а также олеографии с картин известных художников.

Стр. 266. *Мишель* Луиза (1830—1905) — участница Парижской коммуны 1871 г.

ХАМЕЛЕОН

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 36, 8 сентября, с подзаголовком *Сценка*. Подпись: А. Чехонте. Без подзаголовка вошло в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886, и перепечатано в последующих, 2—14, его изданиях (1891—1899). С изменением одной фразы включено автором в том II собрания сочинений.

ЯРМАРОЧНОЕ «ИТОГО»

Впервые напечатано в журнале «Развлечение», 1884, № 36, 13 сентября. Подпись: Человек без селезенки.

из огня да в полымя

Впервые напечатано в журнале «Развлечение», 1884, № 37, 20 сентября. Подпись: А. Чехонте. С исправлениями стилистического характера включено автором в том II собрания сочинений.

В собрании сочинений фамилия адвоката Нечистов изменена на Калякин.

Стр. 278. *Сан-Стефанский мир* — мир, заключенный в 1878 г. между Россией и Турцией в Сан-Стефано.

НАДЛЕЖАЩИЕ МЕРЫ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 38, 22 сентября, с подзаголовком *Сценка*. Подпись: А. Чехонте. Вошло в сборник «Пестрые рассказы», Спб. 1886. С стилистическими и пунктуационными исправлениями включено автором в том I собрания сочинений.

При включении рассказа в собрание сочинений в фразе надзирателя: «...Уничтожь вместе с яблоками... потому — зараза! Тулон!» Чеховым было исключено слово «Тулон», содержащее намек: летом 1884 г. газеты сообщали об эпидемии холеры в Тулоне, и в юмористических журналах появились карикатуры, рассказы, сценки на эту тему.

ВИНТ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 39, 29 сентября, под заглавием «Новинка», с подзаголовком *Вниманию гг. винтёров*. Подпись: А. Чехонте. С незначительными изменениями вошло в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886. Под заглавием «Винт» и с мелкими исправлениями включалось в последующие, 2—14, издания этого сборника (1891—1899). С небольшой правкой включено автором в том II собрания сочинений.

Сохранился отзыв цензора драматических произведений

(1890), находившего сцену Чехова «Новинка» «окончательно неудобной для исполнения перед публикой». На рапорте цензора резолюция: «Запретить» (ЦГИАЛ).

ЗАТМЕНИЕ ЛУНЫ
Из провинциальной жизни

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 39, 29 сентября. Подпись: Человек без селезенки.

НА КЛАДБИЩЕ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 40, 6 октября. Подпись: А. Чехонте. Включено автором в том I собрания сочинений.

При включении в собрание сочинений Чехов выправил текст. «Известный актер К.» (видимо, злободневный намек) был заменен им «актером Мушкиным». Кроме того, опущено значительное место в конце рассказа, где говорилось об околоточном и его жалости к умершему вольнодумцу. Приводим журнальный вариант конца рассказа:

«Становилось темно, и они спешили, спотыкаясь и покачивая носилками... За гробом шли две старухи и один мужчина в шинели околоточного.

— Тихон Иваныч! — подбежал я к околоточному. — Какими судьбами? Кого хороните?

— Гришу... — прошептал околоточный, конфузливо косясь на мою компанию и робко оглядываясь.

Знал я этого Гришу. Жил он в околотке Тихона Иваныча, в шестом этаже серого, угрюмого дома, битком набитого мошенниками, проститутками и непризнанными талантами. Жил он около чьей-то кухни, днем задыхаясь от чада, а ночью сражаясь с клопами и крысами. Он играл где-то вторую скрипку, писал плохие лирические стихи, участвовал в любительских спектаклях и — не сочтешь всех его талантов, от которых он ждал великие и богатые милости! В свободное от занятий время он ходил к своему дальнему родственнику околоточному и внушал жене его идеи...

— Вы же зачем здесь, Тихон Иваныч?! — удивился я, вспомнив, какого сорта были эти «идеи»...

— Для порядка-с...

Врал, бестия! Не для порядка шагал он за гробом. Жаль ему было вольнодумца Гришу, так жаль, что, глядя на его бледное лицо, трудно было сразу решить, что блестело на его щеках: слезы то были или дождевые капли? Знать, и его прошибло Гришино слово... Но не сознаваться же ему было передо мной, если на его плечах болталась шинель... Стыдился и боялся он своих чувств, и я оставил его в покое...

— Гуляем мы здесь два часа, а при нас уж третьего несут... По домам, господа?»

ЯЗЫК ДО КИЕВА ДОВЕДЕТ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 41, 13 октября. Подпись: Человек без селезенки.

МАСКА

Впервые напечатано в журнале «Развлечение», 1884, юбилейный номер (к 25-летию журнала), 27 октября, под заглавием «Noli me tangere!»¹, с подзаголовком *Из жизни провинциальных козырей*. Подпись: А. Чехонте. Включено автором в том II собрания сочинений.

При включении рассказа в собрание сочинений Чехов провел тщательную стилистическую правку (заменял диалектизмы, вульгаризмы, неправильные грамматические конструкции) и сократил текст, особенно центральную сцену, в которой Пятигоров снимает маску. Вот журнальный вариант этой сцены:

«Евстрат Спиридоныч не замедлил явиться, но и он ничего не добился.

— Прошу вас выйти отсюда! — прохрипел он, держа под мышкой внушительный портфель и шевеля нафабранными усами.

— А ведь испужал! Ей-ей, испужал! — усмехнулась маска.— Бывают же такие страсти, побей меня бог! Усы запустил, как кот, левольвер перекинул через пузо и — черту не брат! Хе-хе... А в смысле точки зрения, ежели рассуждать, я тебя могу, Евстрат, купить и выкупить!..

— Прошу не рассуждать, а извольте выйти, иначе я прикажу вас вывести! — вспыхнул Евстрат Спиридонович.

— Тэк-с... Выходит, стало быть, что вы до утра отседа не выйдете? Что ж! Сидите, ежели желаете... Мне плевать... Только вы не обижайтесь, ежели я при вас с мамзелями безобразить

¹ «Не тронь меня», недотрога (лат.).

буду... Сами виноваты, зачем не выходите... Эй, ты, холуй, сбегай-ка, принеси монахорцу! А ты, Евстрат, не мантифоль... Поди-ка лучше, выбери себе в зале мамзель да валяй сюда... Чем ругаться-то, побезобразим лучше для праздника... Ну, чего, дурында, глазащи выпучил? Нешто не дело говорю?

— Как? Что вы сказали? Господа, вы слышали?

В читальне поднялся шум. Евстрат Спиридоныч, красный как рак, стуча ногами и жестикулируя руками, начал доказывать, что он этого не потерпит, что мало того, что нарушили общественную тишину и спокойствие, но даже дерзнули оскорбить его при исполнении им служебных обязанностей! Ему вторил Жестяков, голос Жестякова покрывался пронзительным тенорком Белебухина... Кричали все интеллигенты, но голоса всех их павали перед басом и раскатистым смехом расходившейся маски. Танцы благодаря всеобщей сумятице прекратились, и мужчины повалили из залы к читальне...

— Снимите маску и извольте сказать, как ваша фамилия! — прохрипел Евстрат Спиридоныч.

В ответ на это маска показала два громаднейших кукиша. Евстрат Спиридоныч плюнул и сел писать протокол.

— Пиши, пиши,— говорила маска, тыча пальцем под его перо.— Пиши: а фамилия моя 2-й гильдии купеческий сын Петр Парфенов Гвоздиков. Таперя что ж со мной, с бедным, будет? Чай, посадят? Бедная моя головушка! За что ж губите вы меня, сиротинушку? Не буду... смилуйтесь... Ха-ха.. Ах, вы черти черномазые! Ну, что ж? Готов протокол? Все расписавшись? Ну, теперь глядите! Раз... два... три!!

Буян поднялся, вытянулся во весь свой рост и сорвал с себя маску. Открыв свое пьяное лицо и взглянув на произведенный им эффект, он упал в кресло и захохотал... А эффект был действительно необыкновенен. Все интеллигенты взглянули друг на друга, побледнели и почесали свои затылки... Евстрат Спиридоныч почесал свой затылок так громко, что даже в коридорах было слышно...»

Ученым комитетом Министерства народного просвещения в январе 1905 г. рассказ был признан «неудобным» к допущению в народные библиотеки-читальни и ученические библиотеки, как «рассказ о безобразном поведении богача, которого никто не решается тронуть благодаря его средствам» (Журнал заседаний ученого комитета при Министерстве народного просвещения за 1905 г.— ЦГИАЛ).

Л. Н. Толстой назвал рассказ «Маска» в числе тридцати лучших, по его мнению, рассказов А. П. Чехова. Вот что писал сын Толстого, И. Л. Толстой, Чехову 25 мая 1903 г.: «Спешу исполнить свое обещание относительно рассказов, отмеченных моим отцом. Оказывается, что они, кроме того, еще разделены на два сорта: 1-й и 2-й. 1-й сорт: 1) Детвора, 2) Хористка, 3) Драма, 4) Дома, 5) Тоска, 6) Беглец, 7) В суде, 8) Ванька, 9) Дамы, 10) Злоумышленник, 11) Мальчики, 12) Темнота, 13) Спать хочется, 14) Супруга, 15) Душечка.

2-й сорт: 1) Беззаконие, 2) Горе, 3) Ведьма, 4) Верочка, 5) На чужбине, 6) Кухарка женится, 7) Канитель, 8) Переполох, 9) Ну, публика! 10) Маска, 11) Женское счастье, 12) Нервы, 13) Свадьба, 14) Беззащитное существо, 15) Бабы.

Не могу Вам сказать, выбирал ли он эти рассказы из всех, или это только те, которые пришли ему на память, как особенно выдающиеся, но во всяком случае мне очень было бы интересно знать Ваше мнение о его выборе».

В ПРИЮТЕ ДЛЯ НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНЫХ И ПРЕСТАРЕЛЫХ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 43, 27 октября. Подпись: А. Чехонте.

Стр. 304. «Юрий Милославский». — Речь идет о историческом романе М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», вышедшем в 1829 г. в трех частях.

О ДРАМЕ Сценка

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 44, 3 ноября. Подпись: А. Чехонте.

Стр. 306. Тэн Ипполит (1828—1893) — французский буржуазный историк литературы и искусства, позитивист.

Лессинг Готхольд Эфраим (1729—1781) — один из крупнейших деятелей немецкого и европейского просвещения, теоретик искусства, драматург.

Бернар Сара (1844—1923) — известная французская актриса. Сальвини Томмазо (1829—1916) — знаменитый итальянский трагический актер.

Стр. 307. Шпажинский Ипполит Васильевич (1844—1917) и

Невежин Петр Михайлович (1841—1919) — драматурги, авторы многочисленных популярных в семидесятые — восьмидесятые годы пьес.

И ПРЕКРАСНОЕ ДОЛЖНО ИМЕТЬ ПРЕДЕЛЫ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 44, 3 ноября. Подпись: Человек без селезенки.

БРАК ПО РАСЧЕТУ
Роман в двух частях

Впервые напечатано в журнале «Развлечение», 1884, № 43, 8 ноября, под заглавием «Брак по расчету, или За человека страшно!», с подзаголовком *Роман в двух одинаковых плачевных частях*. Подпись: Человек без селезенки. Вошло в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886. С заглавием «Брак по расчету. *Роман в двух частях*» и со стилистическими исправлениями включено автором в том I собрания сочинений.

В тексте собрания сочинений исключены фамилии телеграфиста (Паршивцев) и посаженного отца (Желпачов).

В связи с тем, что рассказ был помещен не в «Осколках», Н. А. Лейкин, очень ревниво относившийся к сотрудничеству Чехова в других изданиях, писал ему (середина ноября 1884 г.): «Вот зачем Вы, например, отдали рассказ в последний номер «Развлечения»? Рассказ отличный. Он бы и мог идти в запас для «Осколков». Денег Вам нужно было, так Вы только бы черкнули две строчки, и контора выслала бы Вам за него вперед. Или в «Развлечении» лучше платят?» На это Чехов ответил (середина ноября 1884 г.): «Я не думал, что мой рассказ, напечатанный в «Развлечении», достоин «Осколков». Я не послал Вам его, ибо он длинен и плох — так по крайней мере мне казалось. А Вы не сердитесь, когда видите меня дезертирующим из «Осколков»... Человек я семейный, неимуший... деньги надобны, а «Развлечение» платит мне 10 коп. со строки. Мне нельзя зарабатывать менее 150—180 руб. в месяц, иначе я банкрот».

Отдельные мотивы рассказа были позднее использованы Чеховым для водевиля «Свадьба».

ГОСПОДА ОБЫВАТЕЛИ
Пьеса в двух действиях

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 45, 10 ноября, под заглавием «Господа обыватели», с подзаголовком

Мистерия в двух действиях. Подпись: Человек без селезенки. Включено в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886. Под заглавием «Господа обыватели. Пьеса в двух действиях» вошло в том I собрания сочинений.

При включении в собрание сочинений Чехов подверг рассказ стилистической правке, очищая язык от вульгаризмов; значительно расширил выступление брандмейстера (со слов «Я человек...» до слов «Гласные.— Выдать Семену Вавилычу в виде одновременного пособия...»). В сборнике это место читалось так: «Я человек старый, который не сегодня, так завтра со святыми упокой... Пожил, и слава богу... Ничего мне не нужно... Только мне удивительно и... даже обидно... (машет обиженно рукой). Служишь, служишь за жалованье, честно, беспорочно... ни днем, ни ночью покою... и не знаешь, зачем служишь!.. какой интерес? Я не про себя рассуждаю, мне все равно... Другой не станет жить при таком иждивении... Пьяница пойдет на эту должность, а человек дельный плюнет, руками и ногами... Какой интерес? (Говорит долго и потупя взоры.)»

РЕЧЬ И РЕМЕШОК

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 47, 24 ноября. Подпись: А. Чехонте.

Из письма Н. Лейкина (3 декабря 1882 г.) видно, что рассказ был написан Чеховым еще в 1882 г., то есть в самом начале его сотрудничества в «Осколках», но не был пропущен цензурой. Лейкин писал: «Спешу Вам сообщить далеко не радостную весточку. Ваша прекрасная статейка «Речь и ремешок» не дозволена цензурой к напечатанию. Цензор по моей просьбе представлял ее в заседание цензурного комитета, но и там она не прошла» (ЦГАЛИ). Однако Лейкин сохранил корректуру рассказа и в 1884 г. снова представил его в цензуру, о чем сообщил Чехову (середина ноября 1884 г.): «Заметив, что в последнее время цензура стала как будто послабее, я послал к цензору корректуру Вашего старого непропущенного рассказа «Речь и ремешок», и, о диво! Корректурка прислана обратно с дозволением печатать. Но я боюсь, не поместили ли Вы «Речь и ремешок» где-нибудь, кроме «Осколков». Корректурка лежала у меня с 1882 года». Чехов ответил Лейкину (середина ноября 1884 г.): «Сей рассказ напечатан нигде не был. Суть его я припоминаю, исполнение забыто... Прочту с удовольствием, как нечто не мое...»

У ПОСТЕЛИ БОЛЬНОГО

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 48, 1 декабря. Подпись: Человек без селезенки.

УСТРИЦЫ

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1884, № 48 (разр. ценз. 6 декабря), с подзаголовком *Набросок*. Подпись: А. Чехонте. С изменениями в пунктуации вошло в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886. С исключением нескольких фраз перепечатано во 2—14 изданиях этого сборника (1891—1899). Без последующих изменений напечатано в книге: «Проблески». Сборник произведений русских авторов, изд. «Посредник», М. 1895. С исправлениями отдельных слов и фраз включено автором в том III собрания сочинений.

Чехов говорил о рассказе «Устрицы» в письме В. В. Билибину, когда писал ему (18 января 1886 г.) по поводу произведений, предназначенных для сборника «Пестрые рассказы»: «Один рассказец, не вошедший в транспорт, при сем прилагаю. Присовокупите его к общей массе. Прочтите его, если хотите: в этом рассказе я пробовал себя, как *medicus*»¹.

СВАДЬБА С ГЕНЕРАЛОМ

Рассказ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 50, 15 декабря. Подпись: А. Чехонте.

Получив рассказ, Н. А. Лейкин писал Чехову (10 ноября 1884 г.): «Затем пересылаю Вам корректуру Вашего рассказа «Свадьба с генералом». Так я переименовал Ваш рассказ «Маленький шантаж». Корректура уже подписана цензором. Пересылаю Вам для того, чтобы Вы выправили ее и возвратили мне. Я боюсь, что у нас переврали морские термины, а морского словаря в своей библиотеке не имею. Рассказ вышел ужасно длинен, и я просто не знаю, как его помещать». И в другом письме (середина ноября 1884 г.): «Теперь у меня остается Вашего только «Свадьба с генералом». Если в запас к понедельнику не будет мне от Вас выслано рассказа, то «Свадьбу» я не могу пускать в № 47 и оставляю ее лежать...»

¹ врач, медик (лат.).

А. С. Лазарев-Грузинский в своих воспоминаниях говорит, что в работе над рассказом Чехов использовал толкователь разных слов и иностранных терминов, употребляемых в русском флоте (см. «Чехов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, 1954, стр. 114).

В основу рассказа положен распространенный в мещанско-купеческом быту того времени обычай. В одном из фельетонов Чехова «Осколки московской жизни» читаем: «Женех не успокоится, если не проедется по улицам в золоченой свадебной карете, если будут петь не самые лучшие певчие и октава дьякона не будет достаточно низка. Нанимай ему на свадьбу генерала и непременно со звездой, греми ему музыка...» («Осколки», 1884, № 41), и в другой заметке: «Генералы да статские советники нужны купцам. Без них ни купеческие свадьбы, ни обеды, ни купеческие думы обойтись не могут» («Осколки», 1884, № 51). Позднее, в 1889 г., рассказ был переделан Чеховым в водевиль «Свадьба» (см. т. 9 наст. изд.).

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ДУШКА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 51, 22 декабря. Подпись: А. Чехонте.

Стр. 338. *...русский народный быт взять.. горбуновское что-нибудь...*— Имеется в виду русский писатель и актер, Иван Федорович Горбунов (1831—1895), мастер устных комических рассказов преимущественно из народного быта.

«И на лбу роковые слова...» — цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Убогая и нарядная» (1857).

СТРАШНАЯ НОЧЬ

Впервые напечатано в журнале «Развлечение», 1884, № 50, 27 декабря, с подзаголовком *Святочный рассказ. Посвящается гробокопателю М. П. Ф...у*. Подпись: А. Чехонте. Без подзаголовка и с небольшими исправлениями вошло в сборник Чехова «Невинные речи», М. 1887. Вошло в том I собрания сочинений.

Рассказ представлял собою пародию на распространенный в журналистике того времени святочный «страшный» рассказ.

При включении рассказа в собрание сочинений была произведена стилистическая обработка его и переделан конец. Приводим журнальную редакцию конца рассказа:

«Мы взглянули в гроб и... Тут Панихин схватил себя за виски, покачнулся и опустился на диван...

— Не могу,— прошептал он...— Простите... я выйду...

Рассказчик приподнялся и, покачиваясь, вышел... Таким образом страшная история с гробами осталась для слушателей тайной.

Ч. Хонте.

Ваганьковское кладбище. 24 декабря. Полночь.

Р. С. Рассказ этот был уже набран и отрецензирован, как кто-то постучал ко мне в дверь и попросил позволения войти... Это был Панихин...

— Очень рад, что встречаю вас! — воскликнул я...— Говорите скорее, что же вы увидели в гробе? Что?

— Вы все о том же! — махнул он рукой.— Эти рассказчики те же бабы... Всякую дрянь выложь им да положь... В гробе увидели мы письмо... Письмо было от нашего общего друга Ваньки Заездова и содержало в себе следующее:

«Милый Погостов! Ты знаешь, что дела моего тестя пришли к страшному упадку. Он залез в долги по горло... Завтра или послезавтра явятся описывать его имущество, и это окончательно погубит и его семью и мою... На вчерашнем семейном совете мы порешили припрятать все ценное и дорогое... Так как все имущество моего тестя заключается в гробах (он, как тебе известно, гробовых дел мастер, лучший в городе), то мы порешили припрятать самые лучшие гробы... Обращаясь к твоему содействию, посылаю тебе, голубчик, один гроб, который прошу спрятать и хранить... Без помощи знакомых ничего не поделаем. Надеюсь, что ты не откажешь мне, тем более что гроб простоит у тебя не более недели. Всем нашим я послал по гробу и надеюсь, что они спасут мою семью от голода. Любящий тебя Заездов». — Чепуха, как видите...

— Тьфу! — плюнул я.— Так зачем же вы, черт вас возьми, скотина этакая, когда рассказывали этот рассказ в тот вечер дамам, то ломались, бледнели, потели, покачивались? Стало быть, это актерство?

— Гм... Если бы вы выпили столько же, сколько я, да если бы вас так мутило, как меня, то вы еще не так бы бледнели да покачивались! Я еле на ногах стоял.

Я плюнул и порешил никогда больше не слушать «святочных» рассказов.

Впервые напечатано в журнале «Развлечение», 1884, № 50, 27 декабря. Подпись: Человек без селезенки.

Стр. 348. Зорина В.— артистка оперетты, пользовавшаяся большим успехом в восьмидесятых годах.

Окрейц Станислав Станиславович — издатель черносотенного журнала «Луч», выходившего в Петербурге в 1880—1890 гг. Окрейц разослал с одним из номеров журнала свой портрет, что часто осмеивалось на страницах газет и журналов.

«Новь» — иллюстрированный литературный журнал. Выходил в Петербурге в 1884—1900 гг.

НЕ В ДУХЕ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 52, 29 декабря, с подзаголовком *Рассказец*. Подпись: А. Чехонте. Стилистически выправленный, значительно сокращенный и без подзаголовка рассказ был включен автором в том I собрания сочинений.

Во второй редакции Чехов снял, например, следующие фразы:

После слов «Влепить бы ему десяток горячих, так не очень бы торжествовал...»: «...мерзавец этакий... Мужичонка, дрянь, а тоже поди торжествует, словно и в самом деле человек есть... Тля и больше ничего!»

После слов «Принесли же ее черти не вовремя!»: «— Ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке... в тулупе, в красном кушаке...» — Еще бы он, хам, барином оделся! Ямщик, пьяница! Рад небось мимо заставы прокатить, чтоб не платить за шоссе! В красном кушаке... Гм... Украл где-нибудь! Снять бы этот самый кушак с пуза, да: не пей! не воруй! не пей! не воруй, подлец! А ведь Клавдия Сергеевна передернула! Ей-богу... Дама, а передернула!»

После слов «Поужинать бы, да и уехать...»: «Нет, сел-таки! Не утерпел.— «Шалун уж заморозил пальчик... заморозил пальчик...» — Не отвалится палец, не околешь... Не нежничай, мужицкое рыло... Счастье еще, что я заглянул в карты Андрея Филатыча!»

ПРЕДПИСАНИЕ
Из захолустной жизни

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1884, № 52, 29 декабря. Подпись: Человек без селезенки.

ДРАМА НА ОХОТЕ
Истинное происшествие

Впервые напечатано в газете «Новости дня»: 1884, №№ 212, 213, 219, 226, 233 (4, 5, 11, 18, 25 августа); №№ 241, 247, 254, 261 (2, 8, 15, 22 сентября); №№ 275, 282, 289, 296 (6, 13, 20, 27 октября); №№ 303, 310, 317 (3, 10, 17 ноября); №№ 331, 338, 345 и 353, ошибочно обозначенный как 352 (1, 8, 15, 23 декабря); 1885, № 26 (27 января); №№ 45, 54 (16, 25 февраля); №№ 61, 62, 75, 80 (4, 5, 18, 23 марта); №№ 95, 98, 102, 107, 111 (9, 12 16, 21, 25 апреля).

Подпись в первых трех номерах (№№ 212, 213, 219 за 1884 г.): Антоша Чехонте; от № 226 за 1884 г. до конца — А. Чехонте (за исключением № 317 за 1884 г., подпись: Чехонте; №№ 75, 107 за 1885 г.— без подписи).

В беллетристическом отделе газеты одновременно с «Драмой на охоте» публиковались низкопробные произведения: «Царица ночи», «Современная драма», «Отцеубийца», «Крозью за кровь», «Восковая женщина», «Братоубийца», «Женщина-вампир» и др. Характеристику этой бульварной литературе А. П. Чехов дал в фельетоне «Осколки московской жизни» («Осколки», 1884, № 47. Подпись: Улисс): «Страшно делается, что есть такие страшные мозги, из которых могут выползть такие страшные «Отцеубийцы», «Драмы» и проч. Убийства, людоедства, миллионные проигрыши, привидения, лжеграфы, развалины замков, совы, скелеты, сомнамбулы и... черт знает, чего только нет в этих раздражениях пленной и хмельной мысли!.. Страшна фабула, страшны лица, страшны логика и синтаксис, но знание жизни всего страшней...»

«Драма на охоте», написанная в жанре уголовно-приключенческого романа, существенно отличалась от этой наводнявшей газеты сенсационной беллетристики. Чехов дает острые сатирические зарисовки провинциального быта восьмидесятых годов. Ничтожные интересы, душевная пустота «аристократиче-

ского» уездного общества обрисованы со свойственным Чехову мастерством. Резко отличаются от психологических эффектов, на которых «наши романисты легавую собаку съели» (как писал Чехов в том же фельетоне), тонкие наблюдения автора над скрытой от посторонних глаз внутренней жизнью, душевным миром героев. Узнается будущий Чехов и в проникновенных, любовных зарисовках картин русской природы, лакокичных пейзажах. А главное — уже в этом произведении звучит тема, которая в дальнейшем будет играть очень большую роль в чеховском творчестве — тема гибели, опошления, разрушения красоты (в образе юной героини повести). Образ Ольги из «Драмы на охоте» переключается с образом Ариадны из одноименного рассказа.

Об обстановке в «Новостях дня» М. П. Чехов вспоминает: «За свой роман «Драма на охоте»... брат Антон должен был получать по три рубля в неделю. Бывало, придешь в редакцию, ждешь-ждешь, когда газетчики принесут выручку.

— Чего вы ждете? — спросит наконец издатель.

— Да вот получить три рубля.

— У меня их нет. Может быть, вы билет в театр хотите или новые брюки?» («Вокруг Чехова», изд. «Academia», М.—Л. 1933, стр. 103).

Позднее А. П. Чехов писал: «Когда в этой милой газете («Пакости дня» называл ее Чехов в дружеском кругу.— *Е. Ш*) я вижу свою фамилию, то у меня бывает такое чувство, будто я проглотил мокрицу» (Письмо Е. З. Коновицеру от 6 августа 1896 г.).

Стр. 356. *Спенсер мог бы назвать его образцом грации.*— Английский буржуазный философ, психолог и биолог Герберт Спенсер (1820—1903) придавал большое значение физическому воспитанию, цель которого он видел в том, чтобы подготовить человека «к предстоящей... борьбе», сделать его «физически способным выносить всевозможные невзгоды» («Воспитание умственное, нравственное и физическое», Спб. 1880, стр. 249).

Стр. 358. *Габорио.*— См. прим. к стр. 140.

Шкляревский Александр Андреевич (1837—1883) — популярный в семидесятые — восьмидесятые годы автор уголовных повестей и романов: «Секретное следствие», «Как он принудил себя убить ее?», «Роковая судьба (Рассказ следователя)» и т. п.

Стр. 363. *Лекок* — герой романа Э. Габорио «Лекок, агент сыскальной полиции» (1869), наделенный необычайным хитроумием и проникательностью.

Стр. 365. *Конт Огюст* (1798—1857) — французский реакционный философ и социолог.

Стр. 373. *Лопорелло* — искаженное Лепорелло — преданный слуга и наперсник победителя женских сердец Дон-Жуана, героя испанской легенды, легшей в основу многочисленных литературных произведений.

Стр. 384. «*Нива*». — См. прим. к стр. 264.

Стр. 385. «*Люблю грозу в начале мая!*» — первая строка из стихотворения Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза» (1828), переложенного на музыку в 1875 г. М. В. Бегичевым.

Стр. 389. *Борн* Георг (1837—1902) — немецкий писатель, автор многочисленных исторических романов бульварного характера, в том числе широко популярного в мещанских кругах романа «Тайны города Мадрида, или Грешница и кающаяся» (ч. 1) и «Тайны мадридского двора» (ч. 2), вышедшего в русском переводе в 1870 г.

«*Дело*» — ежемесячный литературно-политический журнал (до 1883 г. демократического направления), выходивший в Петербурге в 1866—1888 гг.

«*Складчина*» — литературный сборник, состоящий из произведений русских писателей. Издан в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии. В сборнике принимали участие Салтыков-Щедрин, Тургенев, Достоевский, Некрасов, Гончаров, Островский, А. К. Толстой, Плещеев и др. Вышел в Петербурге в 1874 г.

Стр. 400. «*Ночи безумные, ночи веселые...*» — неточная цитата из стихотворения А. Н. Апухтина (1841—1893) «Ночи безумные, ночи бессонные...», написанного в 1876 г. Позже переложено на музыку П. И. Чайковским.

Стр. 424. ...«*старух зловещих*» — слова из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824).

Стр. 436. *Видал я... много неравных браков, не раз стоял перед картиной Пукирева...* — Имеется в виду высоко оцененная прогрессивной общественностью известная картина В. В. Пукирева (1832—1890) «Неравный брак» (1862).

Стр. 440. *Он, как Рислер-старший в романе Альфонса Доде, сияя и потирая ст удовольствия руки, глядел на свою молодую*

жену...— В социальном романе французского писателя Альфонса Доде (1840—1897) «Фромон-младший и Рислер-старший» (1874) состоятельный пожилой владелец торговой фирмы женится на бедной, но тщеславной молодой девушке. Брак этот кончается так же трагически, как и брак Урбенина.

Стр. 443. *...крыловский медведь, оказавший услугу пустынно-ку... бледнеет... когда я вспоминаю себя в роли «услужливого дурака»...*— Медведь из басни И. А. Крылова «Пустынный и медведь» (1804), сгоня мух со лба своего друга пустытника, убивает его камнем.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. П. Чехов. 1883.

«Смерть чиновника». Художник А. Базилевич. 1955. Стр. 32—33.

«Дочь Альбиона». Художники Кукрыниксы. 1941. Стр. 96—97.

«Толстый и тонкий». Художник Б. Калаушин. 1954. Стр. 160—161.

«Хирургия». Художники Кукрыниксы. 1954. Стр. 224—225.

«Хамелеон». Художники Кукрыниксы. 1941. Стр. 288—289.

«Надлежащие меры». Художники Кукрыниксы. 1941. Стр. 352—353.

«Маска». Художник Б. Калаушин. 1954. Стр. 416—417.

«Устрицы». Художник В. Старов. 1954. Стр. 480—481.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Депутат, или Повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало. <i>Посвящается Л. И. Пальмину</i>	5
Герой-барыня	9
О том, как я в законный брак вступил. <i>Рассказец</i>	14
Из дневника помощника бухгалтера	18
Весь в дедушку	21
Раз в год	24
Смерть чиновника	28
Сущая правда	31
Злой мальчик	34
Приданое	37
Добродетельный кабатчик. <i>Плач оскудевшего</i>	43
Дочь Альбиона	46
Протекция	50
Справка	53
Отставной раб	56
Дура, или Капитан в отставке. <i>Сценка из несущест- вующего водевиля</i>	59
В лаидо	62
Осенью	65
Толстый и тонкий	72
Трагик	75
Дочь коммерции советника. <i>Роман</i>	80
Опекун	84
Знамение времени	87
В почтовом отделении	88

Из дневника одной девицы	90
В море. <i>Рассказ матроса</i>	92
Начальник станции	96
В Москве на Трубной площади	100
Клевета	104
Он понял!	109
Сборник для детей	120
Шведская спичка. <i>Уголовный рассказ</i>	125
В рождественскую ночь	146
Либерал. <i>Новогодний рассказ</i>	153
Орден	158
75 000	162
Комик	167
Месть женщины	169
Ванька	173
Репетитор	176
На охоте	180
О, женщины, женщины!..	182
Наивный леший. <i>Сказка</i>	185
Сон репортера	189
Певчие	193
Жалобная книга	199
Два письма	201
Regretium mobile	203
Чтение. <i>Рассказ старого воробья</i>	211
Трифон	215
Марья Ивановна	220
Говорить или молчать. <i>Сказка</i>	224
Гордый человек. <i>Рассказ</i>	226
Альбом	231
Самообольщение. <i>Сказка</i>	234
Дачница	236
С женой поссорился. <i>Случай</i>	239
Брожение умов. <i>Из летописи одного города</i>	241
Водевиль	245
Экзамен на чин	249
Русский уголь. <i>Правдивая история</i>	253
Хирургия	258
Невидимые миру слезы. <i>Рассказ</i>	262
Хамелеон	268

Ярмарочное «итого»	272
Из огня да в полымя	274
Надлежащие меры	281
Винт	285
Затмение луны. <i>Из провинциальной жизни</i>	289
На кладбище	291
Язык до Киева доведет	294
Маска	296
В приюте для неизлечимо больных и престарелых	302
О драме. <i>Сценка</i>	306
И прекрасное должно иметь пределы	309
Брак по расчету. <i>Роман в двух частях</i>	312
Господа обыватели. <i>Пьеса в двух действиях</i>	317
Речь и ремешок	321
У постели больного	323
Устрицы	324
Свадьба с генералом. <i>Рассказ</i>	329
Либеральный душка	336
Страшная ночь	340
Елка	347
Не в духе	350
Предписание. <i>Из захолустной жизни</i>	353
Драма на охоте. <i>Истинное происшествие</i>	354
Примечания	545
<i>Перечень иллюстраций</i>	588

Антон Павлович

ЧЕХОВ

Собрание сочинений, т. 2

Редактор *В. Пересыпкина*
Художеств. редактор *И. Жихарев*
Технич. редактор *Ф. Артемьева*
Корректор *М. Фридкина*

*

Сдано в набор 24/IX 1959 г. Подписано
к печати 25/XII 1959 г. Бумага
84×108^{1/2}—18,5 печ. л. 30,34 усл. печ. л.
Уч.-изд. л. 26,40 + 9 вкл. = 26,85 л.
Тираж 625 000. Заказ № 3612. Цена 11 р.

С 1. I. 1961 г. цена 1 р. 10 к.

Гослитиздат, Москва, Б-66,
Ново-Басманная, 19.

*

Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Московского городского совнархоза.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.

